

Зин. ДАВЫДОВ

КОРАБЕЛЬНАЯ СЛОБОДКА



ДЕТГИЗ · 1955

Зин. ДАВЫДОВ

КОРАБЕЛЬНАЯ СЛОБОДКА

*ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ*



Рисунки В. Высоцкого

Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1955



I

Счастливого плавания!

На рассвете повеяло сыростью. Широкая улица стала как будто еще просторнее. И осторожным сделался шорох бухты, и отдалился рокот моря...

Марья Белянкина, жена матроса с корабля «Императрица Мария», проснулась в кухоньке у себя и сразу крикнула:

— Мишук, вставай!

Но из-за дощатой перегородки слышалось только:

— Мммм, пффф...

— Мишук, пора! — снова крикнула мать из кухни.

И опять вместо ответа:

— Ммм, пффф...

«Пускай еще поспит, — решила Марья. — Вчера вон и легли только в полночь, в амбарушке как раз первые петухи пропели. Да и сейчас времени много ль: солнышко еще не гуляет и за Черной речкой».

Часов у Белянкиных не было. Впрочем, часы в ту пору водились только у бар да у купцов. В Севастополе на Городской стороне карманными часами щеголяли морские офицеры.

А Корабельная слободка в том же Севастополе вся населена была одними матросами да еще парусными мастерами и работницами с сухарного завода. На всю слободку часы были у одного лишь дедушки Перепетуя, серебряные часы, старые, как сам Перепетуй, и пузатые, как луковица. Носил их дедушка в жилетном кармане на волосяной цепочке.

Дедушку Перепетуя звали так не в лицо, а только за глаза. При встрече с дедушкой его величали Петром Иринеичем. Кличку свою Петр Иринеич получил давно, еще тогда, когда работал на телеграфной вышке морской библиотеки в Севастополе. Еще в то время он сбил у себя на дворе из разных обрезков крохотный сарайчик и стал там мастерить какой-то загадочный прибор. Слободские ребята, когда проходили мимо домика Петра Иринеича, только и слышали: «тюк-тюк. тюк-тюк».

Когда Петра Иринеича спрашивали, что же такое творит он у себя в сарайчике, Петр Иринеич лукаво улыбался. Но однажды, когда Петр Иринеич подгулял на свадьбе у сына, то на прямо поставленный вопрос ответил прямо: дескать, хочет он изобрести такой прибор, называется по-латыни перпетуум-мобиле — вечное движение; еще месяц либо два месяца — и машина готова; будет она работать без пара и безо всего, сама по себе.

И вышел у Петра Иринеича тогда на свадьбе спор с молодым моряком лейтенантом Нахимовым. Лейтенант Нахимов сказал, что такая машина, вечный двигатель, невозможна. Это было бы против законов физики, если бы машина сама по себе развивала движение. И давно уже доказано наукой, что это самое перпетуум-мобиле просто мечта, которой не суждено осуществиться.

Очень обиделся тогда Петр Иринеич на молодого лейтенанта. Даже домой хотел уйти. Старика насилу успокоили. снова усадили за стол и налили ему большой стакан красного вина. С этого вечера и стали в Корабельной слободке называть Петра Иринеича с его перпетуум-мобиле — дедушкой Перепетuem.

Много лет прошло с тех пор. Лейтенант Нахимов оказался прав: никакого перпетуум-мобиле у Петра Иринеича не получилось. Петр Иринеич давно бросил эту затею, но осталась за ним его кличка: дедушка Перепетуй. А лейтенант Нахимов все плавал и плавал на кораблях Черноморского флота, и с турками сражался, и стал за эти годы знаменитым адмиралом...

Марья Белянкина увидела в раскрытое окошко, что солнце уже перевалило через речку и пошло по кругу, незаметно подбираясь с востока на юг. А из-за угла в конце улицы показался тем временем Петр Иринеич — дедушка Перепетуй.

«Вот славно, — решила Марья: — сейчас узнаю в точности, много ли времени набежало. Перепетууй на часы посмотрит и скажет».

Но дедушка Перепетууй подвигался медленно. Он шел в теплом сюртуке, на голове у него был стеганный на вате картуз, опирался дедушка на кизилковую палку. И все время останавливался, потому что из всех окон по пути высывались женщины и спрашивали у дедушки, который час. И дедушка всякий раз расстегивал сюртук, доставал часы из жилетного кармана и всем называл точное время. Кроме того, за дедушкой Перепетуем бежали ребятишки и тоже спрашивали, сколько времени, и просили, чтобы дедушка дал им послушать, как тикают часы. Дедушка Перепетууй никому не отказывал, и ребята по очереди приносили ухом к часам. Затаив дыхание, они слушали, как что-то бьется там внутри, точно синичка в клетке. И так вот, останавливаясь, здороваясь с каждым и каждому отвечая, добрал наконец дедушка до хатенки Елисея Белянкина, на взгорке над бухтой.

— Петр Иринеич, не взыщи, дедушка! — крикнула ему Марья Белянкина в раскрытое окошко. — Спросить бы тебя: времени много ль набежало?

— Время теперь сорок шесть минут пятого, — сказал дедушка Перепетууй, взглянув на часы. — Ты что же это, Маша? Выход в море в шесть часов указан. Елисей-то твой на корабле?

— И-и, родимый, он еще о полуночи на корабль побежал, как только Мишука уложила. Пойду будить малого: того гляди, на пристань опоздаешь.

— Поднимай малого, — сказал дедушка Перепетууй и пошел дальше по направлению к Южной бухте.

А Марья из кухонки тотчас же снова крикнула за перегородку:

— Мишук, вставай!

И опять услышала:

— Ммм, пффф...

Тогда она подбежала к Мишуку и сдернула с него одеяло.

Мишук удивленно открыл глаза. Заметив синий шелковый платок на матери, он сразу вспомнил, что сегодня семнадцатое число и месяц сентябрь 1853 года. И что сегодня ровно в шесть утра эскадра адмирала Нахимова уходит в море.

Как мяч, подскочил Мишук на лавке, на своем войлочном тюфячке. Парнишка в один миг натянул парусиновые штаны и побежал к глиняному рукомоинику под старым тополем. Вода в рукомоинике с ночи была еще студена. Мишук фыркал от удовольствия, освежая себе лицо и голову. Мать ждала, пока он проглотит кусок хлеба и запьет его парным козьим моло-



ком. И с этим Мишук управился тоже в два счета. Потом Марья нацепила на дверь замок, Мишук тем временем прикрыл ворота, и оба вышли на улицу.

А на улице людей было полно. Все шли на Городскую сторону, к Графской пристани, проводить в плавание кто отца, кто мужа, кто брата. Обгоняя других, к бухте бежала девушка в ситцевом платке, который едва прикрывал ее русые косы.

— Погоди, Дашенька! — крикнула ей Марья. — Погоди уж, вместе идем, Дарёнка!

Но девушка только руками взмахнула:

— Ой, бегу... Марья Терентьевна, бегу...

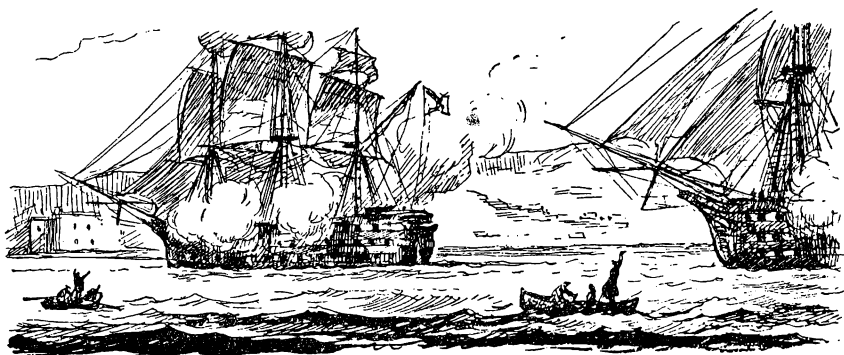
И побежала дальше.

Тогда и Марья с Мишуком прибавили шагу и живо добрались до Театральной площади.

На Театральной площади у фонтана стоял в кожаной каске полицейский пристав Дворецкий и, страшно вращая глазами, грозил направо и налево толстым указательным пальцем. Марья и Мишук налетели на него и сразу шарахнулись в сторону. Пристав и Мишуку хотел погрозить пальцем, но вдруг скинул руку под козырек, выкатил грудь колесом и словно окаменел на месте.

Открытая коляска, обитая внутри малиновым бархатом, вырвалась на площадь и, перерезав ее, понеслась вниз по Екатерининской улице. Мишук успел разглядеть светлейшего князя Меншикова, командующего Крымской армией. Меншиков сидел в коляске, откинувшись на подушки; лицо у него было желто и сморщено, как высохший лимон; седые усы обвисли. А позади коляски скакал казачий конвой в синих чекменях¹ и черных смушковых шапках.

¹ Чекмень — короткий кафтан в талию.



На Графской пристани играла музыка. Весь берег бухты был усеян народом. Корабли были вытянуты в одну линию, один за другим. Впереди стояла на якоре «Императрица Мария», и Мишук с берега узнал отца. Елисей Белянкин стоял в строю на верхней палубе и, подняв голову, глядел, как матросы управляют на реях с парусами. На капитанском мостике корабля вице-адмирал Павел Степанович Нахимов¹ разговаривал с командиром «Императрицы Марии» капитаном второго ранга Барановским.

Восторг и гордость за отца и за Нахимова вдруг охватили Мишука, и он закричал пронзительно:

— Тя-а-ть! Слышь ты... А-а-а!

Услышал ли это отец? Должно быть, услышал. Елисей Белянкин перестал разглядывать паруса и сигнальные флаги вверх, скользнул глазами по берегу и улыбнулся. Но тут на кораблях стали поднимать якоря из воды. Корабли дрогнули и тронулись с места. С Николаевской береговой батареи ударил первый залп прощального салюта. Мишук сорвал с головы бескозырку и снова закричал:

— А-а-а-а!

Но он уже и сам своего голоса не слышал. Все слилось в общем гуле. На салюты с Николаевской батареи стали отвечать пушки на кораблях. Не умолкал на пристани оркестр, провожая эскадру Черноморским маршем. А «ура», грянувшее с берегов бухты, было до того многоголосым, что приглушило и военный оркестр и пушечные залпы.

— Счастливого плавания! — кричал дедушка Перепетуй, широко размахивая своим стеганым картузом.

Но пушки били, «ура» не затихало, и стоявшей неподалеку Марье Белянкиной казалось, что дедушка, широко раскрыв рот, только шевелит губами, а из горла у него не вырывается ни звука.

Дедушкина пропаша

Народ не расходился, следя за покидающей порт эскадрой. Одна Даша бросилась обратно в Корабельную слободку, едва только фрегат «Кагул» миновал Николаевскую батарею.

Напрасно матрос Александров, марсовой¹ на фрегате «Кагул», высматривал теперь дочку в толпах народа — на пристани и вдоль берега бухты. Даша махнула ему рукою в последний раз и заторопилась: ей надо было у дедушки Перепетуя и дом прибрать, и посуду вымыть, и кур накормить, и обед приготовить.

Тем временем корабли эскадры вытянулись из бухты в открытое море. Все на эскадре, до последнего юнги и до кока² в камбузе³, знали, что эскадра направляется к берегам Кавказа, где турки стали в последнее время нападать на наши пограничные посты. Турок подстрекали к этому англичане и французы. Все они — и французы, и англичане, и турки — боялись России. Они хотели бы видеть нашу родину без морского флота, слабой и нищей, такой, какой она была в глухую старину, в стародавние времена. А если уж, думали враги наши, завелся у России флот, и даже на Черном море, то надо сделать так, чтобы он не отходил далеко от русских берегов. На Босфоре и в Дарданеллах, по берегам этих проливов, были турецкие форты, в фортах были английские пушки. Без дозволения именем турецкого султана ни один русский корабль не мог выйти из Черного в Средиземное море и дальше — на широкий океанский простор.

Когда в Севастополе были получены сообщения о том, что на Кавказе банды турецких башибузуков постреливают на нашей границе, эскадра вице-адмирала Нахимова вышла в море. На кораблях у Нахимова были теперь не одни моряки. Там была и береговая пехота и сухопутная артиллерия с пушками и конными запряжками.

Черное море, как обычно в сентябре, было беспокойно. Корабли шли, покачиваясь на большой волне. На палубах у них разместились 16 393 солдата и 824 лошади.

Синие волны, и над ними — высокое небо. Далеко-далеко в открытом море край неба как бы погрузился в воду. И туда, к этому краю неба, уходили с попутным ветром русские корабли. Сначала они со всеми своими парусами казались с бере-

¹ Марсовой — дозорный на площадке, прикрепленной к вершине мачты.

² Кок — повар.

³ Камбуз — кухня на корабле.

га огромными птицами, низко реявшими над самыми гребнями волн. Но с каждой минутой корабли словно уменьшались в размерах и теперь уже выглядели совсем игрушечными, будто вырезанными из синего картона. Народ стал расходиться с пристани, только когда последний парус исчез наконец за широкой дугой горизонта, в беспредельной дали морской.

Дедушка Перепетуй возвращался к себе в Корабельную слободку, расстегнув сюртук и обмахиваясь своим стеганным картузом. Дедушка был ростом высок, и Мишуку с матерью издали видна была яйцеобразная дедушкина голова, его похожая на куполок лысина, коричневая от горячего крымского солнца.

Чтобы сократить путь, дедушка пошел базарной площадью. И чего тут на Корабельной стороне, на Новом базаре, не было! Балаклавские греки навезли свежей рыбы — большие корзины серебристой кефали и яркосиней скумбрии. Из горных аулов приехали татары в своих повозках-маджарах, и маджары эти были выше верха нагружены уже поспевшим виноградом. В одном углу площади вздымались целые горы арбузов и дынь. Собаки стаями собирались у мясного ряда, заглядываясь на бараньи туши, развешанные на крюках. Дедушка походил по базару, посмотрел что почем, но приценился только к анасной дыне и, погрузив ее в картуз, понес домой.

Жил дедушка один, совсем один в своем домике и своем саду. Жена у него умерла лет десять назад. А оба сына, старший Михаил и младший Николай, стали ездить в Одессу — сначала только учиться. Потом они совсем уехали туда на постоянную работу. Оба они унаследовали от отца его интерес к механизмам, и оба работали судовыми механиками на военных пароходах. А к дедушке каждое утро приходила матросская дочь Даша, Даша Александрова. Матери Даша не помнила, отец всегда в море... Даша стряпала дедушке, чистила, мыла, стирала и после обеда уходила к себе, в лачужку в Кривой балке, на краю Корабельной слободки.

Дедушка, придя после проводов эскадры домой, застал Дашу на кухне. Ловкая и быстрая, Даша на обратном пути далеко опередила дедушку. Она ведь и ушла с пристани раньше; а кроме того, дедушка подвигался не спеша и по дороге домой походил еще по базару. Когда дедушка вошел к себе в квартиру, у Даши уже и обед поспевал.

Сняв сюртук, дедушка вынул из жилетного кармана часы и повесил их на гвоздик, у себя над кроватью. Потом плеснул на лицо водички из ковшика и посидел у ворот на лавочке, пока Даша не кликнула со двора:

— Дедушка Петр Иринеич, на стол собрано! Не мешкай, а то простынет.

К обеду была всякая огорожина, вареная и пареная, — борщ из помидоров, перец фаршированный и запеканка из овощей. А на сладкое дедушка разрезал свою дыню.

Дыня была не гладкая, а дольчатая, и кожура у нее была вся в сеточку. Зеленоватая мякоть была сладка, как сахар, и в самом деле пахла свежим ананасом. Жуя дыню, дедушка даже глаза закрывал от удовольствия. И Даше дыня понравилась. Она ела и хвалила дедушкину попку. Потом Даша ушла домой, а дедушка прилег отдохнуть. Он чувствовал усталость, но заснуть не мог и лежал вытянувшись, с открытыми глазами.

На часах у дедушки было без четверти два, когда он, надев на босу ногу козловые чуваки, вышел в сад.

Сад у дедушки был невелик, а росли там и яблони, и сливы, и миртовые кусты, и тамариски, и кусты желтых осенних крымских роз. Но заветное местечко у дедушки было под большой шелковицей. Там была зеленая садовая скамья и стол перед скамьей, а на столе стояла баночка из-под помады, и были в баночку налиты чернила.

Шелковица была старая и дуплястая. Подойдя к ней, дедушка насторожился, оглянулся... Потом, став ногами на скамью, поднялся на носки и засунул руку в дупло.

Сначала дедушка вытащил из дупла камень зеленого цвета, обглаженный и отполированный морской волной. Затем из дупла полетела вниз пачка старых газет. А после газет дедушка извлек из дупла на свет божий объемистую тетрадь.

Отдуваясь, дедушка слез со скамьи, положил тетрадь на стол и сам присел к столу.

За этим столом в саду у себя, под этой старой шелковицей, дедушка проводил по многу часов. Он все строчил что-то в своей тетради, время от времени засыпая на несколько минут, убаюканный однообразным треском кузнечиков и разморенный крымским зноем.

Дедушка редко заглядывал теперь в свой сарайчик, где всё больше покрывались ржавчиной и пылью сваленные в углу пружины, шагуны и зубчатые колеса. Что было делать теперь дедушке с этим добром? Ведь прав-то все-таки оказался Павел Степанович Нахимов! Дедушка охотно сознавался в этом. Он даже любил рассказывать, как Павел Степанович, тогда еще совсем молодой лейтенант, проучил его, отца двух взрослых сыновей. Никакое, дескать, перпетуум-мобиле невозможно; все-де это, сказал тогда Павел Степанович, одни мечты.

Но с тех пор как дедушка перестал постукивать молотком в своем сарайчике, у него появилась новая забота. Он завел

себе эту толстую тетрадь, переплетенную в синий картон, и на первой странице тетради выписал крупно и четко:

*О славном городе Севастополе
записки исторические
и о войнах русско-турецких.
Писаны
Петром Иринеевым
Ананьевым
о разных случаях.
Да не изгладится память
великих дел.*

Написав это, дедушка на следующей странице начертил план Севастополя и украсил этот план несколькими видами примечательных в Севастополе мест: Графской пристани, морской библиотеки, Николаевской батареи и памятника Казарскому. А на самом плане был весь Севастополь: Городская сторона и Северная и Корабельная; а на Корабельной стороне — Корабельная слободка с Широкой улицей и домиком дедушкиным и даже с пирамидальным тополем, который рос тут же, у лавочки подле калитки.

Управившись с этой работой, дедушка стал затем изо дня в день исписывать в своей тетради страницу за страницей. Вот уж скоро кончится тетрадь, и придется тогда дедушке заводить новую... Впрочем, бумага у дедушки давно припасена, надо только с переплетчиком сговориться.

Но сегодня дедушке и не спалось после обеда и не писалось что-то в саду под шелковицей. День-то уж такой необычайный: прогулка к пристани и обратно, и пушечные салюты, и музыка, и «ура»... А ведь годов-то дедушке — полных семьдесят семь лет! Он родился еще тогда, когда на месте Севастополя стояла просто татарская деревушка.

Дедушка отложил в сторону перо и стал перелистывать тетрадь. Он задерживался на минуту то на одной странице, то на другой. И вот что прочитал дедушка в своей тетради.

«Начинается повествование о славном городе Севастополе. А расположен город Севастополь на юго-западном конце Крыма. Омываемый водами Черного моря, стоит Севастополь на берегах скалистых, известковых. Севастопольская бухта есть первейшая в Европе по размерам своим и удобствам для стоянки судов морских».

Огромный шмель, словно одетый в золотую с черными полосками парчу, вдруг затрубил, как в валторну, у дедушки над головой. Дедушка откинулся на скамье — шмель шарахнулся было в сторону, потом сел на раскрытую тетрадь. Дедушка едва согнал его. Шмель еще потрубил, потрубил и улетел куда-

то в другое место трубить. А дедушка — снова за свою тетрадь.

«Еще в XV веке, — читал дедушка в тетради, — прикочевала в Крым татарская орда, расплодилась по всему Крыму, в улусах и аулах, и был у них в двух верстах от нынешнего Севастополя поселок Ахтиар, что означает — Белый утес.

Татары южного Крыма разводили сады. По северному, степному, Крыму кочевали татары-скотоводы со своими отарами овец и косяками лошадей. Но не в садах и стадах была тут сила. Вся орда питалась прежде всего набегами. И не было для татар лучшего промысла, нежели торг русскими пленниками, продаваемыми в вечное рабство. Всегда опасным было соседство наше с ничтожными крымскими ханами, управлявшими народом, склонным к разбою и вероломству. И как цепные псы, оберегали татары все выходы к Черному морю, чтобы русская ладья не прошла и запорожская чайка¹ не проскользнула. Бесперывно воевал народ русский с крымской ордой, сначала только отбиваясь. А впоследствии, сочтя, что лучшая защита состоит в нападении, русское царство само вторглось в Крым, коим совершенно и навечно овладело в 1783 году.

Присоединителем Крыма к империи Российской справедливо почитается князь Григорий Александрович Потемкин. Этот Потемкин, хотя и был кутилка, однако ум имел государственный. Он понял все выгоды для отечества нашего, представляемые великолепной Ахтиарской бухтой. И жалкая татарская деревушка Ахтиар переименована была в Севастополь, что на языке великих греков древности означает — город славы.

Город Севастополь рос и укреплялся с каждым днем; и с каждым годом приумножался наш черноморский флот. Так что узнал потом султан турецкий, как воевать с Россией и с русским народом.

Тогда-то прославил себя подвигом молодой капитан-лейтенант Казарский, командир брига «Меркурий». А бриг есть совсем небольшое суднышко, двухмачтовое, и всего на нем какой-нибудь десяток пушчонок. Однако 14 мая 1829 года на самом рассвете бриг Казарского был замечен у Босфорского пролива с турецкой эскадры. И пустились в погоню за десятью пушчонками Казарского два турецких корабля: один стодесятипушечный, а другой в семьдесят четыре пушки; итого как бы сто восемьдесят четыре турка против десяти русских.

И нагнали они Казарского на его двухмачтовом суднышке так что не податься стало «Меркурию» ни вправо, ни влево, ни туда, ни сюда. С правого борта — турок, с левого борта — турок, бриг — между двух огней. И решено было на бриге

¹ Чайка — большая долбленая лодка.

биться до последнего, а не черный флаг поднимать и не в плен идти и судно свое неприятелю отдавать.

Положил Казарский на верхней палубе заряженный пистолет: смотри, мол, ребята, последний, кто в живых останется, хватай пистолет и пали в пороховую камеру; тогда всем славная могила на дне моря, и бригу тоже.

— Согласны? — спрашивает Казарский.

Все согласны.

А у турка на корабле уже сигнал из флажков поднят: сдавайся, мол, урус¹.

— Ах, ты так? — кричит Казарский. — По орудиям, комендоры!² — кричит. — С обоих бортов залпами в того и в другого! Готовься! Целься! Пли!

Рванули из всего десятка сразу.

Ну, турки оказались догадливы. Поняли, что урусы на последнюю отчаянность идут, будут драться до последнего; а последний со всем судном и взорвется на воздух. Да не только с этим бригом своим взорвется, но при таком случае и оба турецких корабля разнесет в дым и в досточки, и взлетят они выше облака ходячего.

Делать, значит, туркам что же? Они и палить перестали и уйти дали Казарскому.

И дабы не изгладилась память великих дел, Казарскому в Севастополе памятник поставлен; а на памятнике начертано: на одной стороне — «Казарскому», на другой — «Потомству в пример».

Истинные благодеяния Севастополю были оказаны Михаилом Петровичем Лазаревым, великим адмиралом и великим строителем. Ученики Лазарева Корнилов Владимир Алексеевич, Нахимов Павел Степанович...»

Едва дедушка дошел до Нахимова, как ему представился Павел Степанович. Вот он, Нахимов, в адмиральских эполетах, стоит на мостике корабля «Императрица Мария» и отдает приказания капитану второго ранга Барановскому. А Барановский Петр Иванович кричит матросам в рупор — то ли парусов прибавить, то ли сигнал набрать из разноцветных флажков. И вверху на мачтах кораблей появляются один за другим сигнальные флаги. Красные, и зеленые, и желтые; сплошные и полосатые; квадратные и треугольные... Дедушка едва успевает в них разбираться. Вот они почему-то слились в одно пятно неопределенного цвета, и дедушка, откинув голову к стволу шелковицы и мерно похрапывая, теряет их и вовсе из виду.

Дедушка спит и не видит, что калитка в сад приоткрыта и

¹ Урус — русский.

² Комендор — старший матрос при артиллерийском орудии.

соседская коза Гашка уже в саду. Коза бодро идет по дорожке, потряхивая рогами. Под шелковицей коза остановилась, поглядела на дедушку, понюхала его чувяки и, задрвав голову, лизнула на столе тетрадь. Трудно объяснить, чем пришлось тетрадь эта Гашке по вкусу. Может быть, цвет переплета — синий с белыми крапинками — мог пленить козу? Но тетрадь была раскрыта, и коза переплета не видела. Тогда, значит, запахом клейстера соблазнилась она? Как бы то ни было, но Гашка выдрала из тетради страницу, прожевала ее не торопясь и, так же не торопясь, проглотила. Потом вцепилась зубами в переплет ихватила всю тетрадь со стола.

Дедушка во сне опять увидел флаги. Он не только их видел, он даже слышал, как шуршат они, словно накрахмаленные. И невдомек было дедушке, что это не флаги шуршат, а шкодливая коза Гашка пожирает его записки «О славном городе Севастополе и о войнах русско-турецких».

Не выпуская тетради, Гашка задней ногой почесала у себя за ухом и побрела прочь, унося в зубах свою добычу.

Коза через калитку выбралась во двор; там она одним прыжком очутилась на мусорном ящике; а дальше дорога была известная: с ящика на обвалившуюся каменную стенку, а за стенкой была Широкая улица — ступай куда хочешь.

Гашка, обронив тетрадь в расщелину стены, скакнула вниз и пошла куда глаза глядят.

А через полчаса дедушка обнаружил пропажу тетради, соседка Кудряшова хватилась козы. Тетради как не бывало, а коза как в воду канула.



Коза нашлась только к вечеру. Мишук Белянкин и еще двое ребят из Корабельной слободки — Николка Пищенко и Жора Спилюти — обнаружили козу в балке за Черной речкой. Они притащили Гашку за рога и сдали с рук на руки обрадованной Кудряшовой.

А дедушкина тетрадь и к вечеру не нашлась, и на другой день ее не было... Дедушка топтался у себя по саду, шарил по всем дуплам, сколько их ни было в тополях и шелковицах, разводил руками, бормотал что-то себе под нос и поминутно выходил за ворота, выглядывая там «голубых»: не идут ли жандармы в светлосиних — до небесной голубизны — мундирах, не стучат ли саблями, не звенят ли шпорами...

Особенная тоска стала нападать на дедушку с вечера, когда Даши уже не было и он оставался один. Долго, за полночь и до рассвета, пробивался у него на улицу сквозь щели в ставенках свет. Дедушка, поджидая «голубых» из жандармской канцелярии, сновал в одном исподнем по дому, перетряхивая все: обитый жостью сундук, старый кожаный чемодан, и ящики комода, и ящики в столах... Иногда дедушка так и замирал на месте, прислушиваясь: кажется, уже стучатся, взламывают калитку, топчут в сенях... А там поволокнут дедушку Перепетуя на улицу, где у ворот поджидает тележка с «голубым» на облучке. Получаса не пройдет, как дедушка предстанет перед «самым голубым» — перед жандармским полковником Зубовым.

Жандармский полковник Зубов, хоть и коротышка, круглый, как шар, но лицом чем-то смахивает на «всероссийского голубого», на царя Николая Первого. Дедушка в изнеможении опускается на стул и закрывает глаза. Ему нетрудно представить себе полковника Зубова и царя Николая. Дедушке кажется, что оба они пристально смотрят на него в кабинете у жандармского полковника: император Николай Павлович — с портрета, а полковник Зубов — откинувшись в кресле. На столе перед Зубовым тетрадь... в синем переплете... раскрыта на... на сорок восьмой странице. На сорок восьмой!

Дедушка еле добирается до кровати и валится на нее, как сноп.

Догорает в большой комнате на этажерке свечка, умолк сверчок, сквозь щели в ставенках заглядывают с улицы трепетные полоски утреннего света.

Так прошла неделя, за ней — другая, и не обнаружилось ничего: не было тетради, но и «голубые» не показывались. А «самый голубой» — коротышка в полковничьих эполетах с серебряной канителью, — он, говорили, проводил теперь ночи за карточным столом в гостинице Томаса, где пристал приезжий флигель-адъютант.

Дедушка еще подождал, еще потужил и поохал и наконец успокоился. Он даже стал про себя пошучивать над своей бедой. Не иначе, дескать, как на дно морское попала его тетрадь, и читают ее одни рыбы, пускай даже и с сорок восьмой страницы.

— На-поди! — махал рукой дедушка. — Что поделаешь, пускай!

«Ведь рыбы-то немые, — хитро улыбался дедушка: — не развонят, не разболтают... Не то что Зубову — даже «всероссийскому голубому» ввек не добиться от них ничего».

Решил так, дедушка облачился в свой сюртук, надел на голову стеганый картуз и, прихватив давно припасенную бумагу, пошел к переплетчику заказывать новую тетрадь.

III

Солдат-горемыка

В Корабельной слободке остались теперь почитай что одни женщины — матросские жены, да старые старики, да малые ребята. Взрослые мужчины почти все были в море на эскадре Нахимова. И пока шла в слободке сумятица — у кого со сбжавшей козой, а у дедушки Перепетуя с пропавшей тетрадью, — корабли эскадры по бурному морю благополучно достигли кавказских берегов. Только семь дней взял этот замечательный переход на парусах от Севастополя в Крыму до Анаклии на кавказском побережье. Утром 24 сентября суда подошли к берегам Кавказа, а в 5 часов пополудни все было выгружено — солдаты, лошади, пушки. И пошла теперь эскадра налегке искать турок в Черном море.

Надвигалась осень, дни становились короче, вечера — длиннее, ночи — темнее. Большие южные звезды пылали всю ночь над морем, и над Севастополем, и над Корабельной слободкой в Севастополе. Дедушка Перепетуй, накинув старенькое пальтецо, выходил вечером и среди ночи на крылечко, дышал свежим, сухим, ароматным воздухом и глядел на небо, точно перелистывал альбом узоров.

Вот Большая Медведица — семь крупных звезд. Большая Медведица очень похожа на большой ковш. Дедушка еще поднял голову и над ковшом увидел Полярную звезду, ярчайшую из целой группы звезд, тоже расположенных ковшиком: это Малая Медведица.

И дальше пошел дедушка искать в небе и нашел квадрат созвездия Пегаса и созвездие Лебеда в форме большого креста. Подле созвездия Лебеда блистала и переливалась звез-

да-красавица Вега. А от края до края пролегал по небу Млечный Путь из множества мелких звезд. Словно обоз с мучкой прошел там через все небо и рассыпал по дороге светлую мучную пыль.

Дедушку всегда радовали эти прогулки по ночному небу. Он уже примирился со своей пропажей, только понять не мог, как это все могло произойти и на что кому понадобилась вся испанская, чуть не от корки до корки, тетрадь. И все так и вошло бы в свою колею, тихо и мирно, если бы не солдат с Николаевского поста.

Он появился в слободке рано утром, когда хозяйки еще и коз не подоили. Оборванный, заросший табачного цвета бородой и с лицом, словно покрытым ржавчиной, он шел, припадая на одну ногу и опираясь на высокий костыль. На площадке, где много лет лежала неубранной большая куча железного лома, солдат присел на камень и снял с головы свою фуражку без козырька, круглую и плоскую, как большой гречневый блин. Солдат сидел молча, насупись, понунив голову.

Скоро около солдата стали собираться люди.

Первая остановилась подле него Михеевна, мать Кудряшовой, у которой пропала, а потом счастливо нашлась коза.

Мишук еще спал, когда Марья Белянкина, открыв калитку, тоже заметила солдата на камне, а Михеевну — подле солдата. Марья подошла поближе послушать, о чем говорят добрые люди.

Потом и Мишук, проснувшись, выскочил за ворота и побежал к солдату; а там около солдата уже были и Николка Пищенко, и Жора Спидиоти, и много всякого другого народу. Не было только дедушки Перепетуя.

Но вот он и дедушка, идет, постукивает палкой и поглядывает на часы. Время-то — рань какая, а народ уже на улице весь.

«Что такое за собрание? — удивился дедушка. — А-а, вон что! Солдат служивый новостей притащил целый короб... Пойти послушать. Солдаты — пройдисветы, всё в походах; что ни день, у них новоселье; нигде не заживаются, народ бывалый... Попробовать разве расспросить солдата, не попадалась ли ему на глаза синяя тетрадь, записки, Петром Ананьевым сочиненные?..»

И дедушка тоже подошел к солдату.

— Николаевский пост слышали, сударки? — говорил солдат, обращаясь к толпе женщин, обступивших его. — Укрепление наше так прозывается — Николаевский пост. Вот тебе — Кавказ; вот тебе — Черное море; вот тебе — Чолок-река, в Черное море впала. Промеж двух держав этот Чолок течет:

правая сторона — наша, на супротивной — турок сидит. А правду сказать, так и укрепления-то никакого нет, одно название. Сказать коли по-настоящему, так не укрепление вовсе, а таможенная застава там у нас, только и всего. Да еще склад провианта при заставе этой. Ну, там хат ветхих с полсотни наберется на песчаном бугре при море, церковь, воинского начальника дом... Поселение малое, а досада от турка великая. Лезет турок из-за Чолока: где пулькой свистнет, где скотину к себе перегонит, а где и живого казака на свою сторону через речку умкнет. Что делать будешь? Вот видишь, сударки, ночь была темная и дождь как из ведра. Пятнадцатого числа было, октября пятнадцатого. Ночью тревога, бьют барабаны — турок из-за Чолока пришел. Уже разъезд наш вырезан начисто, и восемьдесят турецких судов к морскому берегу причалили, десант высаживают. А войска у нас на заставе — какое у нас войско? Прямо скажу: на одного нашего двадцать турок приходилось.

Дедушка Перепетуи приложил ладонь к уху, чтобы лучше слышать. А в задних рядах, когда заметили дедушку, то раступились и пропустили его поближе к солдату.

— Да, сударки, — повторил солдат: — один против двадцати. Стали мы по турку беглым огнем бить, а он в нас гранаты шарахает. И теснит нас и теснит, к провиантскому складу прижал, а на складе у нас тысяча восемьсот пудов хлеба сложено. Тут и мы охулки на руку не положили: картечью гостей встретили. Как дали!.. Всю ночь рубились; тут и сабли и кинжалы... У меня так штык от такой работы скрутился винтом. Стоим насмерть, потому что знаем: спасу нам нет. Часовой у склада видит — одолевает нас турок. Что делать будешь? Хорошо, тук сухой рогожи у часового под навесом. Зажег и в склад подкинул. Занялось сразу. Светло стало. И видно, как турки на часового набросились, живого в огонь кинули.

Боль и испуг отразились на лицах у женщин. Уже кое-кто всхлипывал в толпе. Солдат уставился на свои стоптанные сапоги, покрытые белой пылью.

— Что ж, сударки, — продолжал солдат, — не сдаваться же турку! Неужли русскому солдату на басурманскую сторону переметываться? Двадцать четыре человека нас осталось, перераненные, перекалеченные. Меня так в ногу контузило... болит, смерть моя!.. А другие наши из двенадцатого линейного батальона мало не все полегли. Таможенного чиновника турки к кресту пригвоздили и потешку себе сделали — палили в таможенного из ружей. Священнику — верьте, сударки, правде моей! — голову отпилили. А уж лекаря нашего мучили! Пыткой пытали: скажи, где деньги спрятал. А что скажешь, коли денег

нет и звания, всегда в долгу, как в шелку. Часишки, правда... так у духанщика они в закладе. Ну, часишки — это дело десятое, а вот нас — так всего двадцать четыре человека, и уж семь часов, как мы в сражении... Стали мы штыками пробиваться; пробились, к Озургетам отступаем. Идем и падаем, идем и падаем... Уже на полпути к Озургетам навстречу нам из Озургет полковник Карганов с тремя ротами и с полевыми орудиями. Бежит, торопится, к нам на подмогу спешает. Вернулись мы с Каргановым обратно на заставу Николаевский пост, турок уложили сотен немало — за товарищей наших это им мечь — и с Каргановым снова на Озургеты отступили. А нога моя, нога! Чем дальше, тем пуще. Разнесло, раздуло — стала, как колода. «Не воин ты больше, — сказали мне в лазарете. —



И года твои вышли. Отставка тебе будет. Да только, — сказывали лекаря, — как станешь прочь отсель подаваться, так не ходи ты кавказскими землями: горы-де высоки, пропасти глубоки и народы немирные. Подайся, — сказывали, — в Крым, сразу на русскую сторону. К грекам просись на какую ни есть шаланду¹. Они те подвезут до Керчи либо в Севастополь, как им поспособнее станет». Ну, — закончил солдат, — спасибо грекам: тут я, на русской стороне.

¹ Ш а л а н д а — грузовое судно.

Мишук, и Жора, и Николка — все они слушали рассказ солдата, замирая от ужаса. Марья Белянкина вытирала краем передника слезы. Дедушка Перепетуй нахмурился и стоял молча, опершись на палку. А солдат тем временем расстегнул свой ранец, где уложено было все его добро: дратва и шило, чем подметки к разбитым сапогам подкинуть, и чистая рубаха, в которой, если придется, так и в могилу лечь. Ну, еще сухарей ржаных несколько, чтобы с голоду не умереть до срока. Солдат и вытащил один такой сухарь. Был он, видно, когда-то коричневым, а теперь стал серым и твердым, как тот камень у дороги. Марья Белянкина, увидев это, всплеснула руками и бросилась домой, в хатенку к себе. Через минуту она уже бежала обратно с пшенинником и ломтем белого хлеба. И Михеевна — на что стара, но и она мигом обернулась и налила солдату из подойничка козьего молока в манерку¹. И другие тоже нанесли всякой снеди, так что у солдата уже и ранец распирало от хлеба, от огурцов и помидоров, от кусков пирога и вареных яиц. Солдат повеселел, приналег на пищу, а когда подкрепился, то дедушка Перепетуй увел его к себе.

— Передохни, служба, — сказал ему дедушка, подвигаясь с ним вместе по улице к своему белому домику с голубыми ставенками. — Путь тебе не близкий, дорога твоя дальняя. Дорога твоя — только до Москвы-матушки клади тысячу верст с полтысячей. От Севастополя сразу возьмешь на Бахчисарай... Слышал о таком? А с Бахчисарая пойдешь на Симферополь. Далее будут тебе города Перекоп и Берислав, Никополь и Екатеринослав, всё шляхами, степь да степь, даже за Харьковом до самого Курска все степью будешь топтать. Ну, свет не без добрых людей, сам знаешь: иной раз ямщик порожняком возвращается на тройке почтовой — неужли солдата калечного не подвезет? В другом месте на степном шляху к чумацкому обозу приткнешься: чумаки эти на волах рыбу возят из Крыма, рыбу либо соль. Ну, значит, и тут тебе подмога будет. Так до Курска и доберешься. С Курска уже и пойдет она — большая Россия; столбовой дорогой махнешь от Курска, шоссейкой — прямой тракт на Москву. А дале — тебя не учить, пехота. Учили ж тебя в полку палками, а кормили чем? Березовой кашей кормили?

— Бывало, — ответил солдат, ковыляя рядом с дедушкой. — Двадцать полных годов царю отслужил, только вот этот костыль и выслужил.

— Значит, выходит с тобой по пословице, — заметил дедушка: — солдат-горемыка хуже лапотного лыка. Тебя, служба, как звать-то?

¹ Манерка — баклажка из жести.

— Лукой зовусь я. Пантелеевы мы. И деревня наша Пантелеева звалась. А я — Лука Пантелеев. И братья мои — кто жив, кто помер — все Пантелеевы.

— Ну, это конечно, — согласился дедушка. — Коли братья от одного отца, так хоть живи, хоть помирай, а все, как один, пишутся Пантелеевы. Так ты, Лука Пантелеев, вот что... Нога у тебя, эвон вишь, как сбита, так ты поживи у меня; дай ты ноге своей в силу войти.

И дедушка, открыв калитку, пропустил Луку Пантелеева на двор.

Дедушка пытался и так и сяк навести солдата на разговор о пропавшей тетради. Лука Пантелеев сначала не понимал ничего.

«Хитрит, — решил дедушка. — Сразу видно: тертый калач».

Но солдат клялся и божился, что о дедушкиной тетради ничего не слыхал. Видел он, правда, однажды какую-то тетрадь у лекаря, когда лежал в лазарете. Но та тетрадь была лечебная, для записи, из чего мази составлять и пластыри делать. И была она в желтой коже. А на коже змея нарисована, пьет из чаши.

— Нет, нет, — качал головой дедушка. — Моя без змеи, а с якорем. Синяя, с якорем...

— Тетради с якорем не видал, — заявил решительно солдат. — Со змеей видал, не отрицаюсь.

Солдат Лука Пантелеев прожил у дедушки Перепетуя три дня.

За эти три дня солдат отдохнул, отоспался, подкормился и подбил подметки к своим стоптанным сапогам. На четвертый день на рассвете он попрощался с дедушкой, поклонившись ему в пояс за хлеб, за соль и за ласку. И закатился потом солдат Лука Пантелеев по дороге на Бахчисарай, и на Симферополь, и на Перекоп...

Долгий предстоял путь солдату и шляхами и шоссейкой. Не один, должно быть, месяц пройдет, пока увидит он свою деревню Пантелееву, если только деревня не сгорела, если только сам солдат не замерзнет в пути.

Солдат ушел, но память по себе оставил. В Корабельной слободке только и разговору было, что о зверствах турок на Николаевском посту. Все думали, что войны теперь не миновать, и ждали вестей с эскадры Нахимова.

Там, на кораблях — у мачт, у парусов, у пушек, — управлялась нынче почти вся мужская половина Корабельной слободки.

Шла осень.

Дни, сменяясь, стояли без ветра и солнца, притихшие и задумчивые.

В открытом море

А потом зарядили дожди.

Огромные клочья белесого тумана кружились над морем, медленно перемещаясь с места на место. И всюду хлестало, моросило, капало, с шорохом скатывалось по одубелым парусам на корабельные палубы.

Старый матрос Елисей Белянкин с корабля «Императрица Мария» прислонился к своей толстобрюхой пушке, которую с давних пор называл «Никитишной». Дуло у «Никитишны» было закрыто осиновою втулкой. За бортом сердито шипела черноморская волна. Сивые бакенбарды у Елисея Белянкина отсырели. Белый с синими полосами флаг вице-адмирала Нахимова, вверху на передней мачте, и вовсе намок.

Елисей обернулся и с открытой батареи верхней палубы увидел своего адмирала на капитанском мостике рядом с капитаном второго ранга Барановским. У обоих, у командира эскадры и у командира корабля, стекали с козырьков фуражек крупные дождевые капли. Адмирал заметил Белянкина, улыбнулся в усы и кивнул ему. Белянкин откинулся от пушки и вытянулся «смирно».

— Изверги... Вот изверги! — сказал Нахимов громко и прищурясь.

Видимость была плохая, морскую даль застило частой сеткой дождя.

— Вторгшись в наши пределы на Кавказе, — продолжал Нахимов, — турки зверствовали у нас на Николаевском посту. Они начали. И вот... — Широким жестом показал он на кипящие за бортом волны, и голос у него дрогнул. — Война объявлена, — не сказал, а словно выдал из себя.

Раздвинув подзорную трубу, он поднес ее к правому глазу. И долго-долго вглядывался в низкий, весь в тяжелых тучах горизонт.

— Объявлена, — повторил он и оторвался наконец от подзорной трубы.

Потом резко повернулся к Барановскому и отчеканил:

— Имею известие, что турецкий флот вышел в море с намерением захватить у нас Сухум.

— Суху-ум? — протянул удивленно Барановский.

— Да, — отрезал Нахимов: — Сухум. Принадлежащий нам порт Сухум-Кале.

Ветер ли бросил Елисею Белянкину в уши это слово — война — или просто почудилось оно ему? Нет, должно быть, это слово произнес на мостике адмирал.

— Эва, — молвил чуть слышно Белянкин и погладил шершавой рукой мокрый ствол у «Никитишны». — Вот оно... Значит, воевать?

Но «Никитишна», видимо, не расслышала, о чем шептал нахмурившийся вдруг матрос. Во всяком случае, она ни звуком не откликнулась на замечание своего комендора.

— Скоро заговоришь у меня, старая! — погрозился Белянкин. — Рывкнешь, даже охрипнешь!

И Елисей вспомнил, что не вынимал втулки из своего оружия едва ли не с того дня, как снялись они всей эскадрой, покидая родной Севастополь. Чуть зорька занялась, а народу что тогда столпилось на берегу!.. Все тут были: из города, вся Корабельная слободка, Северная сторона... И долго виднелся Елисею синий платок жены у пристани, а сынишка Мишук все махал и махал старенькой отцовской бескозыркой. Мальчишке, видно, очень не хотелось на берегу оставаться, все приступал к отцу: возьми-де меня да возьми на корабль... Ух, и бойкая же стрела этот Мишук!

Вслед за «Марией» рыл носом воду сорокачетырехпушечный фрегат «Кагул». Белянкин долго смотрел, как судно берет поперек волны и качается со всеми своими парусами, точно коромысло: носом кверху — и корма опускается вниз, носом в воду — и корма взносится вверх... «Вот, — вспоминает Елисей, — на «Кагуле», слышно, плавает нынче какой-то мальчуган, от горшка два вершка; батька будто уломал командира взять мальчишку на борт; а то ведь озоруют они без отцов в Севастополе. Ну, скажем, озоруют... Да не брать же Мишука с собой в море!» И, обращаясь про себя к Мишуку, Елисей продолжал свои размышления: «А мать с кем оставлю, ты подумай, Мишук. Да ведь и время тебе, Мишук, не припело. Сиди пока что дома, в книжку смотри: «а» да «бе» — «аб»; «а» да «ве» — «ав»...»

Размечтался Елисей Белянкин, комендор с корабля «Императрица Мария». Он провел рукой по глазам, словно отгоняя от себя сон, и расправил усы и бакенбарды.

Нахимов и Барановский всё еще стояли на мостике. Нахимов — в сдвинутой на затылок фуражке, с подозрительной трубой, поднесенной к правому глазу.



— В случае встречи с неприятелем, даже превышающим нас в силах, я атакую его, — сказал Нахимов. — Я совершенно уверен, что каждый из нас исполнит свой долг и сделает свое дело.

Нахимов сунул подзорную трубу подмышку. Елисей Белянкин слышал, как молодо застучали ноги пятидесятилетнего адмирала по крутой лестнице. Вскоре мимо Белянкина промчался в адмиральскую каюту юнга Филохненко с чайником и сухарями.

«Когда только отдыхает? — нежно подумал Белянкин о любимом матросами адмирале. — День-деньской на мостике; глядь — и в ночь на мостик норовит».

В это время рупор вахтенного¹ офицера покрыл кипение волн и барабанную дробь усилившегося дождя:

— Вперед смотреть!

— Е-эсть, смотри-им! — откликнулся сверху марсовой.

Впереди попрежнему под свинцовым небом толклись большие свинцовые волны. Позади за «Императрицей Марией» шли один за другим остальные пять кораблей и оба фрегата. Прошло несколько минут, и тот же голос звонко выкрикнул:

— Впереди корабль в море!

На мостике ударили в колокол. Из адмиральской каюты показался Нахимов. Он быстро шел по палубе, застегивая на ходу сюртук. Неожиданно рванул шквалистый ветер и сразу взъерошил волосы на висках у адмирала, но хлынувший проливной дождь снова пригладил их словно щеткой.

Впереди были только клочья тумана; мгновение — и там скользнула какая-то тень. Она стала быстро расти и шириться... Зигзаг молнии разорвал черную, низкую тучу, и огромный косой парус на большой шаланде бросился в глаза всем, кто пытался с верхней палубы «Императрицы Марии» что-то разглядеть на тусклой поверхности вздыбленного моря.

— Капитана шаланды взять на корабль, — сказал Нахимов уже очутившемуся подле него Барановскому.

— По местам! — крикнул Барановский.

Свистела боцманская дудка; топали по палубам ноги; сигнальная пушочка ударила на корме... Елисей Белянкин, стоя на вахте у своей «Никитишны», видел, как отвалила от шаланды шлюпка и с каким трудом выгребали на ней матросы, пока не вышли на ту сторону, в которую дул ветер. И полетела тогда шлюпка, как чайка морская, взлетая по гребням волн и низвергаясь с волны вниз, зарываясь носом в воду. Вблизи корабля шлюпка вылавировала, подошла к корме и подтянулась к веревочной лестнице. Быстро и ловко поднялись из

¹ Вахтенный — дежурный на корабле.

шлюпки на палубу корабля три человека. Елисею особенно запомнился один — высокий черноусый грек с шаланды, в короткой, расшитой золотом куртке под мокрым расстегнутым дождевиком. За поясом у черноусого торчали пистолеты с серебряной насечкой на рукоятках, и он молодежато выступал по палубе; а следом за ним шли два матроса, тоже с шаланды, с двухведерными бочонками на головах. От всех от них пахло свежей рыбой и старым вином. Рыбой — потому что все они были рыбаками; а вином — потому что оно поплескивало у них в бочонках, и они несли его в подарок русскому адмиралу.



Греков — обоих матросов и капитана — всех троих проводили в адмиральскую каюту. У черноусого вспыхнул в глазах веселый огонек, когда он заметил на груди у адмирала, рядом с русским георгиевским крестом, греческий орден Спасителя, орден борьбы за освобождение Греции от власти турок.

Павел Степанович Нахимов и командир «Императрицы Марии» Барановский потчевали гостей обедом. В бочонках, доставленных греками на корабль, было чудесное хиосское вино, выдержанное, ароматное и густое. Оно было розлито в большие граненые стаканы, и все пили за русский флаг и за греческую независимость, за освобождение всех греков от страшного турецкого ига. И долго потом хозяева и гости говорили на каком-то чужестранном наречии, так что прислуживавшему за столом юнге Филохненке ничего нельзя было понять. Он нарочно мешкал в каюте, перебирая тарелки и чайники, и слышал одно многократно повторяемое слово: «Синоп» да «Синоп». Нахимов спрашивал, а черноусый грек обстоятельно объяснял, потом чертил что-то карандашом на клочке бумаги — флажки и кораблики — и все говорил, говорил, говорил...

— Не иначе, ваше благородие, как идти нам в Синоп, — бросил юнга лейтенанту Лукашевичу, прошмыгнув мимо него по палубе с целой горой тарелок.

Уже смеркалось, когда греки вышли на палубу и по веревочной лестнице полезли с кормы вниз, в свою четырехвесельную шлюпку. Черноусый кивнул оттуда всем головой и крикнул вверх лейтенанту Лукашевичу, стоявшему на корме у борта:

— Ехваристо¹, капитане, спасибо!

И шлюпка понеслась к шаланде — на желтый огонек, мерцавший вдали. А скоро и огонек пропал и самих греков как не бывало.

Ночь, ненастная, осенняя, словно черным, непроницаемым пологом окутала русскую эскадру. Тьма была — зги не видать. Вверху — черные тучи, внизу — темная морская пучина. Как далекие звездочки, мерцали на кораблях огни; заунывен был бой отбиваемых в колокол часов; и дождевые капли шлепали всю ночь по кровелькам палубных надстроек, по парусиновым плащам матросов и по уложенным в большие круги пеньковым канатам. Все намокло, разбухло, раскисло. И медленно, с трудом пробивался чахлый рассвет сквозь свинцовые облака. Когда совсем рассвело и наконец поредел туман, на адмиральском корабле был поднят сигнал: «Приготовиться к бою и идти на Синопский рейд²».

V

Турецкие капуданы

Было сыро, но дождь перестал. Штурманский прапорщик Сенечка Высота успел выспаться после ночной вахты, и его потянуло из душной каюты на свежий воздух. Недолго думая Сенечка натянул пальто и, выбравшись на верхнюю палубу, устроился у штурманской рубки на уложенных в круг канатах.

Сенечке едва минуло восемнадцать лет. Хотя он и теребил иногда свою верхнюю губу, но никаких признаков растительности на лице у него не было. Присев на канаты, Сенечка сразу сунул себе в рот леденец. И, зажмурив глаза, весь отдался ни с чем не сравнимому восторгу полета над морской пучиной: чуть вверх, чуть вниз; то выше, то ниже; и все вперед и вперед. Налетавшись вдоволь, Сенечка открыл глаза и, достав из кармана пальто небольшую книжечку в потертом кожаном переплете, стал ее листать.

Читать про себя Сенечка еще не привык. Что бы ни пришлось, он читал вслух. И как только он показывался где-нибудь с книгой, картой либо тетрадью, его сразу обступали несколько человек матросов.

— «Черное море, — стал читать Сенечка из потрепанной книжечки своей, — имеет наибольшую длину шестьсот десять миль».

Кто с голиком в руках, кто со шваброй, но матросы уже сто-

¹ Благодарю.

² Р е й д — часть моря, защищенная от ветра и волн и предназначенная для стоянки флота.

яли подле, словно окаменев на месте, стараясь не пропустить ни слова из того, что вычитывал тут прапорщик Высота.

— «Скрытых опасностей на всем пространстве моря нет, исключая лежащих весьма близко к берегам».

В это время мимо рубки проходил боцман Лагутин, большой волосатый человек с носом пуговкой. Увидев штурманского прапорщика за книгой, боцман остановился и из приличия вздохнул.

— «С запада в Черное море, — читал Сенечка, — впадают реки Дунай и Днестр, из коих первая есть одна из величайших в Европе».

— Из величайших в Европе! — повторил многозначительно боцман. — Дунай-река.

Сенечка поднял голову и взглянул на матросов своими голубыми, словно эмалевыми, глазами. А матросы не сводили глаз с Сенечки, готовые, видимо, слушать хоть до вечера. И Сенечка стал снова читать:

— «При норд-осте, дуящем зимой на Черном море довольно долго, по горизонту стоит густая мгла, совершенно закрывающая берег в самом близком расстоянии; и это случается при ясном небе».

— Ветрище, да... норд-ост, — счел нужным заметить боцман. — И мгла по берегу. Что верно, то верно.

Но Сенечка продолжал, не останавливаясь:

— «От мыса Ероса, что за Трапезундом, до Синопского полуострова считается сто девяносто пять миль. А маяка при Синопе нет вовсе».

Боцман хотел было и тут вставить слово, но будто молния сверкнула у него пред глазами. На капитанском мостике стояли рядом.... стоял Нахимов, и стоял Барановский. А боцман и не заметил, как поднялись они на мостик.

— По местам! — рявкнул боцман. — Палубу драить¹.

Палуба была и без того надраена до блеска. Но матросы вмиг оторвались от Сенечки и рассыпались по уже надраенной палубе. Сенечка посмотрел им вслед, потом вскинул свои голубые глаза кверху, туда, где на кораблях празднично развевались на мачтах белые с синими накрест полосами флаги — русские флаги.

Двумя колоннами при попутном ветре шли теперь на всех парусах корабли Нахимова на юг, к Синопу, всё дальше от крымских берегов, всё ближе к шести береговым батареям турецкой крепости, прямо под пушки турецких фрегатов. Нахимов приник к подзорной трубе, стараясь разглядеть в бескрайнем пространстве что-то очень нужное именно теперь.

¹ Д р а и т ь — скрести, мыть, чистить.

— Сейчас... — твердил он, протирая стекла трубы носовым платком. — Еще запорожцам они были известны: минарет мечети на берегу, две белые мельницы... Завидя их издали, и запорожцы понимали, что приближаются к Синопу. Да... Знаете, Петр Иванович, — обратился он к стоявшему рядом на мостике Барановскому, — я-то ведь запорожского рода. Предки мои — запорожцы, морские бродяги. Они вот так же, как мы с вами, кидались на этих волнах с гребня на гребень и к Синопу ходили в своих суденышках — чайках... Тоже искали на горизонте минарет и два белых ветряка. Так-с... Но где же они, эти ветряки и минарет этот?

Ни минарет мечети, ни белые мельницы всё еще не возникли у Нахимова в объективе трубы. Синоп оставался закрытым далью, дымкой тумана, низким горизонтом. И там, за далью, за горизонтом, притаился турецкий флот — там, в Синопе. Греки с шаланды только подтвердили то, что Павел Степанович знал и без них. Конечно, в Синопе, который есть верное убежище от бурь и ветров.

В Синопе, на Синопском рейде, на турецком сорокачетырехпушечном фрегате «Айны-аллах», сидит теперь у левого борта в складном кресле, тоже с подзорной трубой в руке, командир турецкой эскадры вице-адмирал Осман-паша, старый моряк, отличный был когда-то моряк — зря хулить не станешь. Там еще — шестьдесят четыре пушки на фрегате «Низамие»... И еще пушки: двадцать — на корвете «Неджи-фешан», сорок четыре — на фрегате «Фазлы-аллах»...

«Фазлы-аллах», «Фазлы-аллах»... Нахимову ли не знать, что это за такой «Фазлы-аллах», ведь по-другому назывался он раньше! Да что Нахимов! Вот и Елисей Белянкин только поплеывает на руки, услышав, что на Синопском рейде стоит на якоре этот самый «Фазлы-аллах».

«Нос у него и корма позолочены, — вспоминает Елисей. — На носу статуя прибита. Работа чистая...»

— Ваше благородие, — обращается Белянкин к вахтенному офицеру лейтенанту Лукашевичу: — поясните на милость, что оно по-русски означает — «Фазлы-аллах».

— «Фазлы-аллах», — говорит Лукашевич, — в переводе означает «богом данный».

Елисей Белянкин круто повернулся и в сердцах стукнул кулаком в борт:

— Ух, пропади ты!

Лейтенант Лукашевич рассмеялся, но, вспомнив, что он на вахте и в такой великий день, вдруг выпрямился, вскинул кверху рупор и выкрикнул гулко:

— Вперед смотреть!

— Е-эсть, смотри-им! — отозвался, как обычно, марсовой.

— «Фазлы-аллах»... — бормочет Елисей Белянкин, качая головой.

Давно не слышно было на Черном море об этом фрегате. Где-то за Босфором скользил он, чуть покачиваясь на воде. Под холщовым навесом, на цветистом ковре из Смирны и пестрых шелковых подушках сиживал на верхней палубе «Фазлы-аллаха» его толстый, неповоротливый «капудан». Рассеянно слушал этот вечно сонный человек, как под горячим ветром хлопает на фрегате красный флаг с белым полумесяцем и восьмиконечной звездой, и плещет в борт изумрудная волна, и вопит провинившийся матрос, истязуемый палками на глазах у капудана.

И жарко. Ветер с юга, и море почти не умеряет зноя. Жарко, жарко... Капудан ударяет в ладоши, и босоногий юнга бежит с чашечкой дымящегося кофе на крохотном подносике. Капудан прихлебывает из чашки, не замечая, что полумертвого матроса уже швырнули в трюм, и флаг обвис, не полощется на безветрии, и волна не плещет в борт, а только ластится беззвучно, словно потягиваясь вдоль судна.

Так жарко, что капудану лень и пальцем пошевелинуть. Да и к чему шевелить! «Известно, — думает капудан, — без воли аллаха ни один волос не упадет с головы правоверного. Вот захотел аллах и сделал меня, толстого Сулеймана-задэ, капуданом фрегата «Фазлы-аллах». Правда, пришлось-таки тебе, Сулейман-задэ, раскошелиться в Стамбуле — сунуть в руку тому, и другому, и третьему в канцелярии капудана-паши... Но, наверно, и этого хотел аллах. Велик аллах и Магомет, пророк его!»

— Ля-илях-илляллах, — шепчет капудан: — нет бога кроме бога, высокого, великого.

Феска — красная шапочка с черной кистью — сползает у капудана набок; как-то сам собою развязывается на животе широкий шелковый пояс; и капудан, оставив на ковер поднос с чашечкой, валится на подушки. И больше на фрегате никого не бьют палками, никто не вопит больше; босоногие матросы мелькают вокруг беззвучно, как тени. Тише, капудан спит, и горе тому, кто нарушит сон капудана.

У «Фазлы-аллаха» с его толстым капуданом были причины держаться подальше от русских берегов. Он шнырял в Эгейском море меж островов Архипелага. Завидя мирных греческих пастухов на горных склонах Мореи, капудан посылал им на всякий случай несколько каленных на жаровне ядер. Потом капудан брал курс на Босфор и подолгу отстаивался в Стамбуле.

Случилось однажды при переходе из Стамбула в Александрию, что толстый капудан поел у себя в каюте шашлыка, пос-

ле чего два раза икнул и тут же, не выходя из каюты, умер. Тогда на фрегат пришел новый капудан, молодой Адиль-бей, с золотыми перстнями на пальцах, с расчесанными усиками и крохотной, как мушка, бородкой и с темными задумчивыми глазами. Вскоре турецкая эскадра, и с нею фрегат «Фазлы-аллах», получила приказ идти в Черное море, к русским берегам.

Капудан Адиль-бей стоял на юте¹, устремив свой задумчивый взор на уходящие всё дальше от него минареты Стамбула. В трюме у Адиль-бея были свинцовые пластины для литья пуль, бочонки с французским порохом и ящики с английскими штуцерами². Впрочем, этого добра полно было и в трюмах других кораблей турецкой эскадры. Вице-адмиралу Осману-паше надлежало тайно сдать этот груз врагам России, мятежным горцам, где-нибудь в укромном местечке кавказского побережья.

VI

Барабаны бьют тревогу

— Имею сведения, — объявил Нахимов, — что вице-адмиралу Осману-паше велено снабдить мятежников оружием и боеприпасами. Неприятель, убоясь нашей силы, задания не выполнил и отошел к Синопу.

В каюте у адмирала собрались командиры всех кораблей эскадры. В Синопской бухте — вот где противник! Греки, побывавшие накануне у Нахимова, тоже утверждают это. И на сближение с противником шли теперь без колебаний русские корабли.

Нахимов говорил, любуясь своими подчиненными. Павел Степанович знал, что все они исполнят свой долг.

А те, в свой черед, смотрели на Павла Степановича и ждали его распоряжений. Это были командиры кораблей «Императрица Мария», «Ростислав», «Париж», «Кагул», «Кулевча», «Три святителя» — боевые командиры и могучие корабли.

— Города не жечь, — сказал Нахимов и повернулся к иллюминатору³, в который уже виден был синий силуэт гористой оконечности полуострова.

Бозтепе называют ее турки. Бычьей головой слыла она у русских моряков.

Там, на узком перешейке между полуостровом и материком, защищенный горами от холодного ветра, нежится между двумя бухтами турецкий город Синоп.

¹ Ют — кормовая часть верхней палубы.

² Штуцер — дальнобойное ружье, винтовка.

³ Иллюминатор — толстое стекло в окошке каюты.

— Города не жечь, — повторил Нахимов. — Русский моряк дерется только с вооруженным врагом; с мирными жителями — никогда. Задача: истребить турецкий флот, бить по кораблям, подойдя на пистолетный выстрел...

— На пушечный... — робко поправил Нахимова чей-то голос из темного угла каюты.

— Нет-с, — пристукнул Нахимов об пол каблуком сапога, — именно-с... на пистолетный! Только близкое расстояние в сражении считаю наилучшим в морском деле. Близкое расстояние и взаимная помощь друг другу... А если кто из капуданов спустит флаг, объявив сдачу, то и по кораблю прекратить огонь немедленно. Россия ждет славных подвигов от черноморского флота, а лежачего чего уж бить! Слыхали от матросов? Повинную-де голову и меч не сечет. Впрочем, — закончил уверенно Нахимов, — каждый из нас на своем месте исполнит все, как нужно.

Ночами, когда бессонница и подагра не давали турецкому вице-адмиралу Осману-паше уснуть, перед ним вставала тень Нахимова. Она принимала гигантские очертания, как в сказке. Но Осман-паша сорок два года провел на море; он с ног до головы обкурен пороховым дымом; он даже в Англию плавал, когда там появились винтовые пароходы. Ему ли пугаться теньей и верить сказкам!

В море бушуют теперь осенние бури, а на Синопском рейде тихо. Это едва ли не лучший, не самый безопасный рейд на всем побережье Анатолии. Здесь можно бы отстояться, привести в порядок потрепанные бурями суда... Отсюда не так уж трудно будет переправить на Кавказ штуцера и порох... Если бы Нахимов не был так близко, то не худо было бы и перезимовать в Синопе...

Опять эта тень Нахимова! Что Нахимов, думает Осман-паша. У Нахимова — корабли, и у Османа-паши — корабли. Но у Османа-паши больше кораблей. Да у Османа-паши за спиной еще и береговые батареи, а у русского адмирала — один лишь зыбкий и неверный морской простор, пучина морская. Нет, не отважится Нахимов напасть на Синоп. Вот и Мушавер-паша говорит, что вернется Нахимов в Севастополь ни с чем.

Все стены в каюте турецкого адмирала обиты венецианской парчой, и пахнет в каюте сандаловым деревом и розовым маслом. Все источает здесь сладкий, приторный аромат: лисья шуба адмирала в стенной нише; его парадный мундир с турецкими орденами, с английскими и французскими медалями; закругленная седая борода и черные расчесанные и разглаженные усы.

Старик только что вернулся с обхода кораблей. Теперь у себя в каюте он греет руки над медной жаровней. Потом тя-

нется с низенького дивана к туалетному столику, где торопливо тикают карманные часы. Не открывая крышки, адмирал нажимает стерженек на часах, и «динь-динь-динь-динь» разлетается по каюте: двенадцать слабых ударов, точно там, в часах, серебряный молоточек бьет о золотую наковаленку. Осман-паша вздыхает: часы эти — подарок Махмуда Второго, покойного султана.

Но уже полдень! Сейчас должен явиться вызванный на адмиральский корабль командир двадцатипушечного парохода «Таиф» Мушавер-паша, рыжий буйвол, как зовут его на турецкой эскадре. И верно: буйвол, вот он, уже топчет по лестнице и вваливается к адмиралу не спросясь.

Мушавер-паша совсем не похож на турка. Второму султану служит Мушавер-паша, и двадцать пять лет носит он, поверх рыжей щетины на голове, турецкую феску. И все же буйволподобный британец Адольфус Слэйд не стал за эти годы подлинно Мушавером-пашой. Его можно выкупать в розовой воде, а от него все равно будет разить портером, английским табаком, портовой таверной.

На полу в каюте, на ковре, развернута английская карта Черного моря, и Осман-паша водит по ней тростью. Легко шуршит бамбук по гладкой бумаге, и тих голос адмирала:

— Черное море... — Осман-паша провел тростью зигзаг по поверхности карты и продолжал все так же тихо: — В Черном море, близ турецких берегов, — русские корабли. Русские корабли... — повторил он, вычертив на карте той же тростью полосу арабесок. — Куда они идут, корабли неверных, и в какую сторону повернет их аллах?

Адольфус Слэйд молчит, плотно сомкнув губы и выкатив белесые глаза. Потом надвигается на адмирала...

— Хов-хов! — явственно раздается в каюте. — Голос у Слэйда громкий и сиплый. Слэйд не говорит, а лает. — Что? — кричит он. — Русские?..

И он хохочет, сорвав с головы феску:

— Хов-хов-хов-хов!.. Русские... Ноябрь месяц!.. Теперь, в месяц ветров, подойти к Синопу, под береговые батареи...

И Слэйд, запрокинув голову, снова раздражается дробным, сиплым, затяжным лаем:

— Хов-хов-хов-хов!.. Нахимов... Бежит теперь Нахимов во весь опор домой, в Севастополь. Бежит и оглядывается, не дымит ли «Таиф» позади. Смотрит Нахимов в трубу, не гонится ли за ним Мушавер-паша. Хов-хов!

Медно-рыжие волосы на голове у Слэйда встают дыбом. Стиснув зубы, Слэйд рычит:

— А Дондас, вице-адмирал Дондас? Где теперь Джеймс-Уитли Динс-Дондас?

Осману-паше хорошо известно, что командующий английским флотом вице-адмирал Дондас стоит со своей эскадрой на Босфоре. Он, конечно, не замедлит, этот Дондас, ринуться из Босфора в Черное море на выручку Синопа. Но, выручив Синоп, уйдет ли он из Синопа?

А Мушавер-паша Адольфус Слэйд, вскинув измятую феску обратно к себе на макушку, шагает по адмиральской каюте из угла в угол. Он сдвинул с места туалетный столик, чуть не опрокинул раскаленную жаровню... Осман-паша морщится: уж всегда от этого рыжего буйвола столько беспорядка! Но буйвол, небрежно кивнув адмиралу, вываливается из каюты, оставляя в ней свой запах.

И снова тихо.

Тихо в адмиральской каюте на «Айны-аллахе», тихо на Синопском рейде и в самом Синопе тихо. Это там, в Стамбуле, шум и гам огромного человеческого базара. Совсем не стало покоя правоверным мусульманам с тех пор, как англичане и французы заполонили Стамбул. Все в Стамбуле пляшут под дудку этих чужестранцев. Сам повелитель правоверных султан Абдул-Меджид шагу не ступит, не переговорив с английским послом Стрэдфордом Рэдклифом. Но от Стамбула до Синопа — до четырехсот морских миль. Не доходит сюда грохот житейских бурь, в это сонное царство.



В Синопе, позади деревянных домов с черепичными кровлями, — сады, где растут гранаты, и оливки, и миндаль. Над верхушками вековых кипарисов во дворе главной мечети еле бродит слабый ветер. И журчит, журчит день и ночь фонтан под навесом на тонких точеных столбах. И здесь же, у фонтана, Ибрагим-ибн-Джамиль, выживший из ума старик, торгует амулетами¹ против лихорадки и от блох.

Воркуют голуби... Сколько их во дворе главной мечети в Синопе! Белые, словно из фарфора, и рыжие, цвета глины; сизые, чернокрылые, рябые... Среди расхаживавших вперевалку простых сизяков сановито выступала пара козырных с хохолками и несколько трубочей — хвост колесом. Здесь попадались пары с глазами сургучного цвета, как у петуха; у других глаз был серебристо-белый; у третьих под тонкою бровью черным-черно. Все они подбирали с земли крошки и зерна, с громким плеском перелетая с места на место и утоляя жажду водой из бассейна.

«Урр-урр!» — затрубил вдруг какой-то зобастый воркун, усевшись Ибрагиму-ибн-Джамилю на плечо.

Старик согнал шалуна и замахнулся ремнем на остальных.

И тогда начался взлет. За стайей стая. Козырные стали трястись в воздухе, как лоскуты белого пламени. Широкохвостые турмана закувыркались на лету — одни через голову, другие через крыло. Была еще пара египетских; но те сразу шарахнулись к крепости и, опустившись там на каменный выступ, залились хохотом. В Синопе, откуда ни взглянешь, отовсюду между кипарисами и промеж платанов видны крепостные стены, усаженные множеством четырехугольных башен. И десятки пушек нацелились с береговых батарей прямо на выход с рейда в открытое море...

Ранним утром 18 ноября, когда совсем рассвело, Абдул-Али, ламповщик судовой верфи в Синопе, полез, как всегда, на воротную каланчу гасить лампы и протирать стекла. Не успел он, однако, приняться за дело, как заметил с вышки своей далеко на горизонте как бы игрушечную флотилию из синих корабликов — один, два, три... Абдул-Али сразу бросил считать, дернул себя за бороду и, оставив лампы гореть на каланче среди бела дня, ринулся вниз с воплями и причитаниями:

— Вай, вай... горе правоверным... мусульмане, к оружию... алла, алла... Магомет пророк...

Ошеломляющая весть мгновенно разнеслась по всем закоулкам Синопа. Ремесленники бросали работу. Торговцы запирали лавки. Один только продавец амулетов оставался на ме-

¹ А м у л е т — вещь, имеющая, по представлениям суеверных людей, чудодейственную силу.

сте, предлагая всем желающим новые амулеты — от пули, от сабли, от огня и от ночного испуга.

Осман-паша уже тоже знал, что на горизонте появилась русская эскадра. Не отрываясь смотрел старый турок через подзорную трубу в неприветливую морскую даль. Он тоже считал — считал по флагам. Им словно не терпелось — так дрожали они на мачтах русских кораблей, и вытягивались, и рвались под свежим ветром вперед. Когда сосчитал их Осман-паша, то сдвинул феску на затылок, потом разгладил усы и бороду и дал своим кораблям команду строиться в боевой порядок.

И вдруг точно полные корзины помидоров рассыпал кто-то сразу по всем палубам турецких фрегатов. Всюду замелькали красные фески на турецких матросах: подле якорей, у руля, по веревочным лестницам, по мачтам и реям... Люди в фесках кричали, барахтались по захламленным палубам, закрепляли паруса, поднимали якорь. И люди в фесках подпрыгивали, когда по голым икрам хлестала дубинка боцмана, которая не разбирала правого и виноватого.

— У, шайтан! — кричал на «Фазлы-аллахе» боцман Мехмед Ингилиз, выкатив белки и ошетинив бороду.

И медленно стали расплзаться по восточной бухте Синопа турецкие фрегаты — где собственным ходом, при посредстве парусов, а где при помощи парохода «Эрегли». Тяжело шлепали колесные плиты, мутя на рейде воду и отдаваясь гулким эхом в ущельях мыса Бозтепе. Черный дым густо валил из пароходной трубы и наползал на город, и без того стоявший под черными, низкими, осенними облаками.

Все явственнее стал обозначаться порядок, в который становились по рейду турецкие корабли. Они располагались вогнутом полумесяцем, совсем под стать мягким очертаниям Синопской бухты. Нахимов с изумлением наблюдал в подзорную трубу, как турки растягиваются по рейду.

— Знаете, Петр Иванович, — заметил он Барановскому, — нег худшей беды, нежели когда человек лишится рассудка. Ну, на что это похоже! Не думал я, чтобы Осман-паша — и так это, как бы вам сказать...

— Опростоволосился, Павел Степанович?

— Вот именно-с... опростоволосился. Вы взгляните только: своими же кораблями береговым батареям амбразуры заслонил. Ну как они будут вести с берега прицельный огонь?

— Нда-а, — только и смог ответить Барановский.

Он взгляделся и сам через подзорную трубу в то, что творилось у турок на рейде, и добавил:

— Палить — только бы гремело, а там — как аллах решит. Чудно!

— Они — полумесяцем, — стал соображать вслух Нахимов, — по-лу-ме-сяцем... гм, проще сказать, вогнутой дугой. Так-с, Петр Иванович. Ну, а мы давайте-ка, сообразуясь с этим, распустимся веером, да и вождемся в них, а?.. Чтобы дух из них вон, из всех до единого...

Попрежнему в две колонны неслись русские корабли к огненно-рыжему берегу Бозтепе. Он весь порос столетними кряжистыми дубами, еще не сбросившими осенней листвы. Вход в бухту был теперь явственно виден и матросам, только и ожидавшим приказа начинать. И наконец на всех кораблях ударили тревогу.

В ответ барабанам застучали насосы, чтобы смочить деревянные палубы, не дать им загореться от вражеских зажигательных снарядов. Пороховые камеры на кораблях были накрыты мокрым сукном. Как и прочие комендоры у пушек, и Елисей Белянкин стоял подле своей «Никитишны», из которой он вынул разбухшую от сырости втулку.

Елисей уже раз десять осмотрел ударный замок на «Никитишне» и то и дело брался за шнурок замка, чтобы дернуть и выстрелить, когда раздастся команда.

«Вот бы по «Богдану» ударить... Эх, кабы угадать по «Богдану!» — твердил сам себе Елисей Белянкин.

Он с ненавистью думал о фрегате, который турки нагло прозвали «Фазлы-аллахом» — «богом данным».

— А, чтоб тебя!.. — молвил вслух Елисей, снова берясь за шнурок.

Все на корабле замерло в ожидании; только юнга Филохненко стал в какой-то щели насвистывать от скуки старую матросскую, прощальную:

Моя головушка бездольная,
Забубенная хмельная.
Прощай, слободка Корабельная,
Да-эх, родимая сторона.

— На Корабелку до мамы схотилось хлопцу, ось и свище, — отозвался у «Никитишны» второй комендор, совсем еще молодой матрос Игнат Терешко. — Ось послушайте, Елисей Кузьмич: чисто соловейко в бузыни!

— Вон, Игнат, глянь-ко, — кивнул Елисей: — к люку, гляди, Лагутин бежит. Сейчас мальчишку так свистнет, что тот и маму забудет. Когда потребуется, так боцман и сам станет свистать в дудку. Боцману положено, по уставу, значит, положено, чтобы свистать. На то боцману и дудка дана. А ты, щенок, не балуйся. Зачем зря свистишь на корабле? Не кабак ведь!

Игнат задумался, потом улыбнулся и почесал голову под бескозыркой.

— Ох, — вздохнул он мечтательно, — скажу ж я вам, Елисей Кузьмич! Весною... в балочке под Корабелкой... соловейко...

Но он не договорил.

Зло сверкнув снопом огня, на «Айны-аллахе», на адмиральском корабле Османа-паши, рывкнула первая пушка.

VII

Разговор с „Никитишной“

Боцман Лагутин нырнул в люк, чтобы заткнуть рот рас-swистевшемуся юнге, но тут же выскочил обратно на верхнюю палубу, не осуществив своего намерения.

Сразу белым дымом заволокло Синоп, и ураган ядер пронесся у Лагутина над головой. Тогда-то русская эскадра с ходу, двумя колоннами, ворвалась на Синопский рейд. Одно мгновение — и на «Императрице Марии» взвился вверх красный боевой флаг. Эскадра открыла огонь. Подойдя к противнику на пистолетный выстрел, обе колонны стали к неприятелю — одна правым, другая левым бортом.

Ни Елисей Белянкин, ни другие комендоры на «Императрице Марии» не могли еще разобрать, где турецкий адмиральский корабль, где «богом данный» «Фазлы-аллах», где иное что. Сплошная стена порохового дыма сразу поднялась между эскадрами — русской и турецкой, — и в дыму этом вспыхивали огни и ревели пушки, и эхо, точно взбесившееся, скакало по всему мысу Бозтепе, бросаясь из ущелья в ущелье...

«Бух, бац, бум» — кричали пушки на рейде и с береговых батарей.

«Ах, ах, ах» — словно ужасалось эхо, с разгону ввергаясь в пещеры Бозтепе и тут же отскакивая обратно рикошетом.

А Елисей Белянкин пока без точной наводки — где там было точно наводить, когда перед глазами только дым стеною! — Елисей Белянкин дергал и дергал шнурок, посылая турку гостинцы, прислушиваясь после выстрела к грохоту «Никитишны» при ее откате от борта корабля.

— Здорова? — спрашивал «Никитишну» Елисей.

И опытным ухом улавливал, что орудие еще не перегрето, деревянный станок, на котором лежала «Никитишна», нигде трещины не дал, колеса станка идут как по маслу. Тогда Елисей сам и отвечал за «Никитишну»:

— Здорова.

— Ну, так будь здорова, не простужайся, — твердил Елисей и опять кричал своим людям: — К борту!

Откатившуюся после выстрела «Никитишну» ставили на место, и крепко слаженная работа кипела в дыму и в пару и в чудовищном грохоте жестокого боя.

Елисей только одним глазом глянул на Федора Карнаухова, выронившего из рук банник¹ и схватившегося за живот. Банник тут же подхватил Петро Граченков, подносивший пакеты с порохом. Елисей дернул шнурок — «Никитишна» рывкнула, Петро мокрым банником прочистил ей глотку. Елисей на этот раз уже не весело, а сурово пожелал ей не простужаться, и орудие снова подкатили к борту. Елисею запомнилось, как оттащили окровавленного Федора от борта прочь и понесли вниз, туда, где помещался на корабле лазарет. Руки у Федора свесились и волочились по палубе, как плети.

— Ах, ты! — крикнул разъяренный Елисей, сам не зная кому.

Он хотел что-то еще прибавить, чтобы облегчить душу, но тут рванул ветер и вмиг разодрал в клочья дымовую завесу. Перед Елисеем сразу открылся весь рейд: турецкие фрегаты, содрогавшиеся от собственных выстрелов, береговые батареи, изрыгавшие огонь... Елисей быстро глянул направо, налево, и перед ним мгновенно обнаружился весь развернутый веером строй русских кораблей. Они укрепились на якорах от одного берега бухты до другого и с бортов, из трехсот пятидесяти восьми орудий, громили турецкий флот и береговые батареи крепости. На берегу одна из шести батарей уже умолкла, сметенная яростным огнем, который вел по ней корабль «Ростислав». Но на «Ростиславе» барабаны, задыхаясь, били тревогу; оттуда доносился трезвон в колокол — там горело что-то на верхней палубе; струи воды из брандспойтов, вздымаясь и перекрещиваясь, спадали вниз и превращались в пар.

И Нахимов мелькнул на мгновение перед Елисеем Белянкиным. Адмиральские эполеты были у Павла Степановича забрызганы кровью, и кровь струилась у него по лицу. С визгом пролетело в эту минуту у него над самой головой ядро, и Елисей успел заметить, как Павел Степанович махнул рукой, будто от мухи отмахнулся. Другим был занят Нахимов в эту минуту: турецкий адмиральский корабль омертвел у него на глазах. Еще и получаса не прошло, как на «Айны-аллахе» ударила первая пушка, а фрегат Османа-паши уже качался прямо напротив «Императрицы Марии» с перебитыми мачтами, с ободранными снастями и отшибленным рулем. Течением и ветром отогнало неуправляемый фрегат куда-то в сторону... И тут Елисей Белянкин сразу увидел другое. словно сердце подсказало ему, что очутившийся теперь под пушками «Императрицы

¹ Банник — щетка для прочистки канала орудия.

Марии» другой фрегат — это и есть «Фазлы-аллах». Да и кроме того: корма фрегата была позолочена, на носу было укреплено какое-то резное чудовище... А на капитанском мостике фрегата стоит молодой капудан и удивленно таращит глаза; Елисею показалось — прямо на него, на комендора Белянкина. Елисей навалился сам и взял «Никитишну» на прямую наводку.

А тут откуда ни возьмись, как нарочно, вынырнул из белого дымного облака лейтенант Лукашевич. Пробегая мимо Елисея, он только успел крикнуть ему:

— Он самый, «богом данный»! Лупи, Белянкин!

И Белянкин ударил.

Раз за разом бил он в левый борт фрегата, временами чуть меня прицел: авось какое-нибудь ядро все-таки грохнет в пороховую камеру, и тогда все полетит там к чорту вместе с этим идолом, командиром в феске на капитанском мостике. Елисей и с «Никитишной» перестал разговаривать, а молча и свирепо делал свое дело. Он не оторвался от него и тогда, когда заметил, что какой-то турецкий пароход вытянулся слева, совсем близко, и стал затем елозить по рейду, то приближаясь, то отдаляясь, идя то вперед, то назад. На верхней палубе парохода, разевая бульдожьей пасть, метался какой-то рыжий с вздыбленными волосами. Елисею как будто даже собачий лай послышался:

— Хов-хов!

Это Мушавер-паша метался и лаял у себя на верхней палубе, потому что он решил теперь снова обратиться в англичанина Адольфуса Слэйда из турка Мушавера-паши.

— Четверка чертей с одним куцым чортом впридачу! — шипел Слэйд себе под нос, обегая палубы «Таифа». — Очень мне нужно погибать с этими грязными турками в их паршивом Синопе! Только бы выбраться из этого ада!

И «Таиф», маневрируя и взрывая буграми воду, вдруг рванулся и побежал к выходу из бухты, где Нахимов оставил под парусами на дозоре два своих фрегата — «Кагул» и «Кулевчу». «Таиф» послал им по залпу сразу с обоих бортов, и ядра, не долетев, только шархнулись по воде. Но одно ядро срезало мачту на палубе «Кагула», и огромная мачта, падая, зашибла насмерть матроса Александрова из Корабельной слободки, Дашиного отца. А «Таиф» зигзагами ушел в открытое море.

— Полный ход! — надрывался Слэйд, склонившись с двумя пистолетами в руках над люком машинного отделения. — Самый полный! Прибавь па-а-ру-у!

Голые негры, шуруя уголь, задыхались у топок; обезумели поршни, обжигаемые горячим паром; и шатуны коленчатого вала стучали, как табун взбесившихся лошадей. При такой

гонке — уже через двое суток перед глазами Слэйда встанет восьмигранная башня маяка на всхолмленном берегу Румелии, у входа в Босфор... А там через несколько часов Слэйд причалит в Стамбуле. И никто не назовет дезертиром Мушавера-пашу. Наоборот, он заявится в Стамбул как единственный командир, которому удалось спасти команду и судно. Остальные будут в это время гнить на дне морском.

Русским парусникам не угнаться было за паровой машиной Мушавера-паши. «Кулевча» и «Кагул» повернули обратно к рейду и заняли места среди сражавшихся кораблей. А тем временем посередине рейда медленно погрузился в воду турецкий фрегат. Он пошел на дно с людьми и вооружением, одни только обломанные мачты остались над поверхностью воды. словно руки вскинуло тонувшее судно, моля о пощаде, да так и кончилось со вскинутыми к небу изувеченными руками. Два других турецких фрегата ринулись к берегу и очутились на отмели. Они всё еще отстреливались, пока не свалились набок. И тут же подле этих фрегатов горел турецкий пароход «Эрегли».

И город горел. Он не мог не загореться. Сбитые с якорей турецкие фрегаты кружили по рейду без мачт и штурвалов, охваченные огнем, и наконец взрывались один за другим. При этом они осыпали город множеством зажигательных бомб и раскаленных ядер. Летящими факелами проносились через рейд и падали в городе дымные головни и пучки горячей пакли.

В эту минуту около Белянкина снова мелькнул Нахимов. Лицо у Павла Степановича было попрежнему мокро от крови и пота, а на сюртуке поблескивал теперь только один эполет. Но голос адмирала был спокоен. И удивительно вняты были слова его в неумолкающем реве сражения. Не повышая голоса, Нахимов молвил:

— Поднять приказ — «адмирал изъявляет свое удовольствие».

И чей-то голос ответил лихо:

— Есть поднять приказ!

Но через минуту Белянкин услышал тот же голос:

— Приказ не может быть выполнен, ваше превосходительство. Вся сигнальная снасть перебита, поднять приказ не на чем.

«Ладно, Мишук, — подумал Елисей, почему-то мысленно обращаясь к сынишке, оставленному в Севастополе. — Адмирал, слышь ты, изъявляет свое удовольствие. Неужто, Мишук, не сбить нам того лупоглазого на «Богдане»? Эх, с полным бы нашим удовольствием, Мишук!»

«Никитишна» полыхала жаром. Уже по звуку удара раз-

личал Елисей, что орудие перегрето. Если орудие в исправности, оно только ухнет и успокоится сразу. «Никитишна», когда она в полной силе, словно говорила Елисею: делай, мол, свое дело, а я свое сделаю. Да тут вдруг пошло с каждым выстрелом: «ух-дзымдззз», «ух-дзымдззз»...

— Не дзымкай, не дзымкай! — прикрикнул на свою пушку Елисей. — Пить захотела? На, получай.



И он схватил полное ведро воды, стоявшее около, и смаху окатил «Никитишну» всю с жерла и едва не до замка.

Но в это мгновение кто-то жиганул Елисея в левую руку и вывернул ее из сустава.

Елисей почувствовал удар в локоть и страшную боль в плече. Ведро выпало у него из рук и с грохотом завертелось по палубе. Он присел подле откатившегося орудия, от которого поднимался пар. Кровь залила Елисею рукав парусиновой куртки, и станок у «Никитишны» был забрызган кровью... Двое подхватили Елисея — один под руки, другой за ноги, и на него словно сразу навалилось всю свою тяжестью свинцовое небо.

Корабль «Три святителя» стал наплывать на Елисея и, вра-

щаясь, вдруг скользнул между кораблями «Ростислав» и «Париж»...

Но что было дальше, Елисей не помнил.

Он закрыл глаза и потерял сознание.

VIII

Птица-пигалица

И уже другой комендор, черноусый и чернобровый Игнат Терешко, хлопотал возле «Никитишны» и бил прицельным огнем по «Фазлы-аллаху». Вместе с прочими комендорами сбивал он на фрегате — одно за другим — реи и мачты и палубные надстройки.

— Эге! — твердил Игнат, наблюдая кутерьму, которая после каждого выстрела из «Никитишны» поднималась на вражеском судне. — Добре! Оцэ, хлопцы, добре!.. А ну, еще!

Игнат и сам мечтал о том, как бы старухе «Никитишне» взять да угодить фрегату прямо в пороховую камеру, где наберется, пожалуй, пудов восемьсот пороху... Либо как-нибудь иначе угадать, но только бы извести!.. И счастье, которое так и не далось старому комендору Елисею Белянкину, выпало на долю второму комендору, Игнату Терешке.

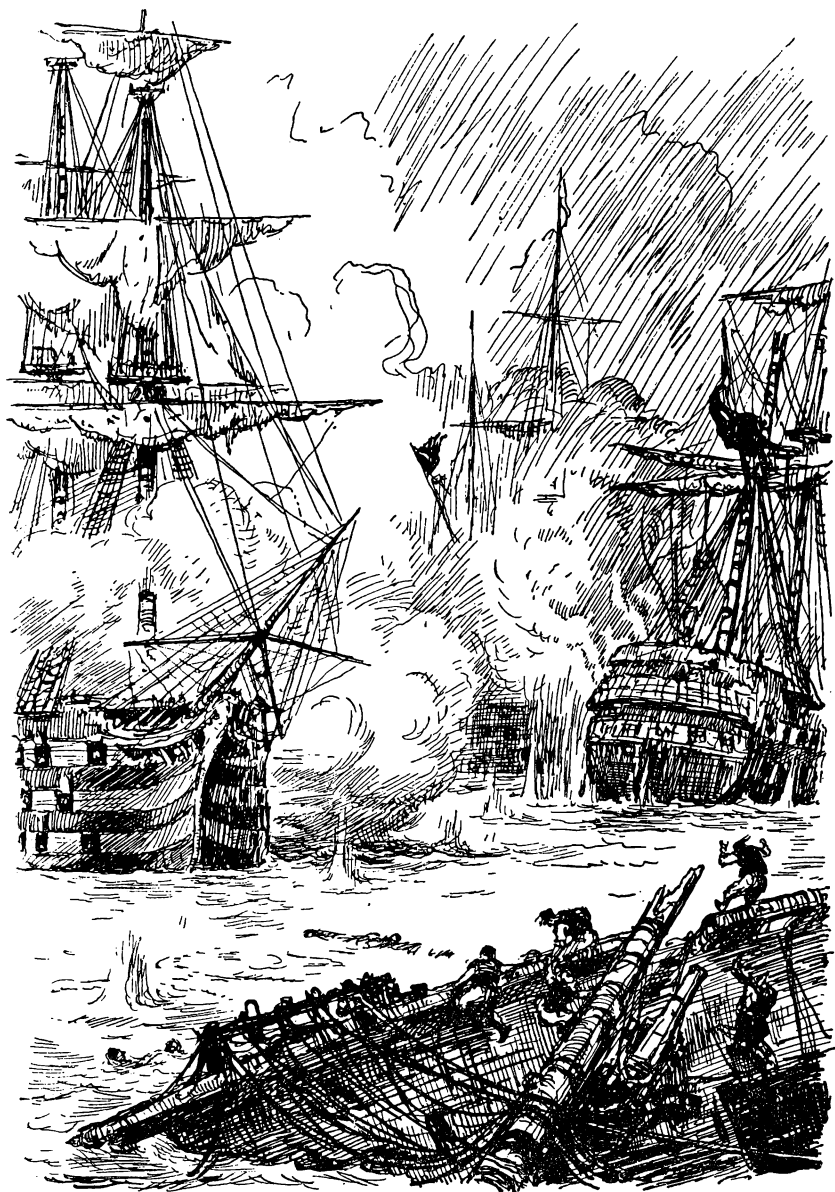
Было мгновение, когда Игнат дернул шнурок замка — и сразу что-то брякнуло на «Фазлы-аллахе», что-то взвизгнуло, что-то заскрежетало нестерпимым металлическим скрежетом и окуталось смрадным дымом. И шустрые огоньки вмиг набросились на деревянную обшивку фрегата... и пошло, и пошло...

— Предать огню... — произнес тихо Нахимов. — Предать огню, когда возвращен будет в наши руки.

Он когда-то уже произнес эти слова. Это было четверть века назад на верхней палубе корвета «Наварин».

И на минуту возникла в памяти Нахимова весна 1829 года. Так же кипела война, развязанная султаном турецким, и русский флаг развевался на кораблях черноморского флота, как теперь, под чужим ветром, далеко от русских берегов.

Командиром корвета «Наварин» был молодой капитан-лейтенант Павел Нахимов, когда стало известно, что в этих же водах близ берегов Анатолии командир русского фрегата «Рафаил» Стройников, увидев себя на рассвете совершенно окруженным турецкими кораблями, сдал фрегат туркам. Они поднялись на борт фрегата и под удары бубнов и блянье рожков подняли поверх приспущенного до половины русского флага флаг турецкий. И стал «Рафаил» с того черного дня называться «Фазлы-аллахом». И на другом языке другие



командиры кричали на капитанском мостике в рупор — сначала толстый Сулейман-задэ, а с недавних пор этот истукан Адиль-бей. Было ясно, что обращенный в турка, обасурманенный «Рафаил» не должен возвращаться в честную семью русских кораблей. И капитан-лейтенант Павел Нахимов, командир корвета «Наварин», сказал тогда своим матросам:

— Не бывало, други мои, на морях и океанах, чтобы русский фрегат скинул свой флаг, подняв у себя флаг турецкий или иной. Не слыхано еще об этом, чтобы корабль российского флота передался врагу, в то время как мог бы еще защищаться. Да... родина, братцы... родное наше место... Россия, она на суше, и на море, и на корабле. Да-с, это так: и корабль — Россия. И нет ее лучше. Кругом света плавали, видали: в чужом месте и весна не красна.

Капитан-лейтенант Нахимов вдруг сорвал с себя фуражку и замахнулся ею:

— Стреляй в меня, братцы, ежели приказал бы сдачу! И себе в пороховую камеру, пали, взрывайся. Пусть все летит на воздух, не задумывайся! Умри! Не доставайся врагу!

— Сейчас умереть за родное место! — кричали матросы, обступив своего молодого командира.

А потом на верхней палубе была выстроена вся команда корвета, и капитан-лейтенант Нахимов отчетливо, слово за словом, прочитал знаменитый приказ по черноморскому флоту: «Предать огню фрегат «Рафаил» как недостойный носить русский флаг, когда возвращен будет в наши руки».

Двадцать четыре года прошло с того дня. И день этот ясно вспомнился пятидесятилетнему вице-адмиралу Нахимову теперь, когда до облаков поднялось огромное пламя горящего «Фазлы-аллаха».

— Да... предать огню... — повторил Павел Степанович из старого приказа. — Таков был приговор. А исполнение приговора — через четверть века... сегодня... сейчас.

Он снял с головы фуражку и вытер лицо платком. С удивлением глянул он на платок, красный от крови, и сунул его обратно в карман. Потом с капитанского мостика «Императрицы Марии» окинул взором всю бухту, от края до края.

Где теперь все эти турецкие фрегаты с полумесяцем на кормовом флаге? Где «Навэк-бахри» и «Низамие», где корвет «Гюли-сефид» и оба турецких транспорта и два купеческих брига?.. Одни из них пошли на дно; другие, прижатые к берегу, охвачены пламенем. А фрегат Османа-паши «Айны-аллах», простреленный пушками с «Марии» и «Парижа», загнался в дальний край бухты, под раздавленную «Ростиславом» батарею номер шесть.

Но попрежнему стройны были боевые порядки русских ко-

раблей. Впереди — фрегат «Кулевча»; за ним по обоим флангам — «Кагул» и «Мария»; потом — «Париж» и «Константин»; дальше — «Три святителя» и «Чесма»; и наконец — «Ростислав», на котором удалось потушить возникший было пожар. Все они прицельными залпами из бортовых орудий давили турецкие фрегаты, не спускавшие флага. И на берегу ядра с русских кораблей рвали землю и дробили камень, растирая батареи Синопа в пыль и мусор.

И снова навел Нахимов трубу на обреченный пламени и дыму, преданный огню фрегат «Фазлы-аллах». Там на баке¹ шла неловкая и лихорадочная возня с якорной цепью. Даже капудана Адиль-бей покинула в эту минуту обычная апатия. Он тоже был на баке и от нетерпения шаркал ногами, подскакивал на месте и грозился кулаком. Сколько же этим висельникам нужно времени, чтобы отклепать цепь! Ведь только и дела, что вынуть болт из скобы, и тогда цепь разъята.

— Рожденные собакой! — кричит Адиль-бей, топая ногами.

Но он во-время отскочил к борту. Отклепанная цепь одним концом взвивается вверх, и боцман Мехмед Ингилиз валится навзничь с раздробленной скулой. А фрегат дрогнул, качнулся... и вдруг вся эта масса огня и дыма ринулась к берегу. Там, под умолкшей береговой батареей, фрегат с ходу врезался в мель, раздался взрыв, и с «Фазлы-аллахом» было покончено навсегда. Тысячью горящих факелов разлетелся фрегат по воздуху во все стороны и подбавил огня в Синопе, где теперь уже пылало все — кофейни в порту, деревянные лавки на площади, сараи и лачужки во дворе главной мечети... Полоумный торговец амулетами побросал свой товар и с обожженной бородой бежал в горы. Стаи испуганных голубей взметывались вверх над огромными языками пламени.

Адиль-бей, командира не существовавшего больше фрегата «Фазлы-аллах», воздушной волной перекинуло на борт турецкого же судна «Неджи-фешан». Оглушенный Адиль-бей очнулся от боли в переломанных ребрах на груди наваленных на палубе парусов. Над головой у него низко бежали вперегонки темносизые облака. Капудан различал сплошную барабанную дробь вдали и разрозненные взрывы. И собаки тявкали на берегу...

С удивлением взглянул Адиль-бей на свои пальцы, на которых привык видеть перстни с бирюзой, голубою, как небо, и перстни с топазами, желтыми, как закат, и еще один, самый любимый, с перуанским изумрудом, зеленым, как морская волна. Увы, не было теперь ни перстней, ни золотых часов, ни красного сафьянового мешочка с золотыми монетами, который

¹ Ба к — передняя часть верхней палубы.

Адиль-бей носил под рубахой на груди. Все это сняли с него, пока он лежал без сознания, матросы с корвета «Неджи-фешан». И остался теперь Адиль-бей капуданом без корабля, и без часов, и без монет, гол как сокол.

А кругом всё гремели и гремели взрывы — из покинутого жителями Синопа и с пылавших турецких фрегатов. Там, по трюмам турецких кораблей, французский порох в пузатых бочонках рвал теперь в клочья длинные ящики с английскими штуцерами. И все это вместе со свинцовыми пластинами для литья пуль и с людьми из предназначенного для Кавказа десанта, — все летело вверх и погружалось затем на морское дно.

Барабаны на русских кораблях били отбой. Эскадры Османа-паши не существовало больше. А сам Осман-паша лежал с перебитой ногою на палубе наполовину затонувшего «Айны-аллаха», держась руками за привязанный к борту канат. Старый адмирал закрыл глаза.

Ему хотелось забыть этот день поражения и позора, не видеть дня гибели. Это матросы Османа-паши сцепились и катаются по палубе, не поделив золотого шитья с парадного адмиральского мундира, вытащенного из каюты вместе с лисьей шубой. Они уже выковыряли все алмазы из золотой сабли адмирала; они взломали его денежную шкатулку; они шарили у него в карманах... и в грязные руки бандитов перешли золотые часы, которые подарил Осману-паше покойный султан Махмуд. Когда катер с «Императрицы Марии» причалил наконец к «Айны-аллаху», лейтенант Лукашевич обнаружил на фрегате только вот этого замызганного старичка. Матросы же, ограбив своего адмирала, бросили его одного, а сами, выбравшись на берег, бежали в горы Бозтепе.

На адмирале не осталось никаких знаков различия. Не было эполет с витой золотой бахромой. Не было и турецкого ордена Меджидие, осыпанного бриллиантами, на пурпуровой с зелеными полосками ленте. Не было двух золотых медалек с изображениями на одной козлобородого императора французов и на другой — юной королевы Британии. Всё сорвали с адмирала матросы адмиральского же корабля. Старик лежал теперь в одном изодранном чекменьке, забрызганном кровью и грязью, и ему казалось, что перед ним всё еще мелькают осатаневшие лица его матросов — и Мустафа-Халиль-оглу, и Джамиль-Джурга, и Абу-Тураб...

— Дед?! — изумился матрос с «Императрицы Марии» Тимоха Дубовой, маленький, коренастый, с рябинами на лице, с серебряной серьгой в ухе. — Дедушка, аль тебя ранили чем?

Осман-паша поднял веки с густыми ресницами и взглянул на Тимоху своими черными с поволокой глазами.

— Должно, мулла, — поделился Тимоха своей догадкой с

подоспевшими товарищами: — как бы сказать, поп по-нашему. Тоже ведь и они, к примеру...

— Все — люди, — сказал свирепого вида скуластый матрос, с головой, обмотанной окровавленной тряпкой. И, вздохнув, добавил: — Ничего не скажешь.

Он наклонился над Османом-пашой...

— погоди, дай-ко я с ним поговорю, — снова вмешался Тимоха. — Я на Каспийском море когда был, так этих персюков да турок перевидал... Дед, а дед! Ала мала, была мала.

Старик вскинул глаза на Тимоху и произнес несколько слов.

— Понял! — обрадовался Тимоха. — На Каспийском море, как бы сказать...

— Может, и понял, — сказал матрос с обвязанной головой. — Да он-то чего сказывает?

— Чего сказывает, не понял я, — сознался Тимоха. — На Каспийском море...

— Да что ты заладил: «на Каспийском море» да «на Каспийском море»! — оборвал Тимоху скуластый. — Надо бы, братцы мои, старика чем утешить. Водки ему хлебнуть...

— Ни-ни! — запротестовал Тимоха. — Закон у них — «коран» называется, Магометом даден. И таков, значит, у них закон, чтобы водки не хлестать. А этот к тому ж и мулла — поп, как бы сказать. На Каспийском...

— Ну, и дураки! — махнул рукой скуластый.

— Что тут у вас? — спросил лейтенант Лукашевич, подойдя к обступившим Османа-пашу матросам.

— Да вот, ваше благородие, — доложил Тимоха, — дед тут объявился, мулла; как бы сказать, поп ихний.

Осман-паша бросил взгляд на лейтенанта, лицо у него оживилось...

— Я не могу, лейтенант, передать вам мою саблю, — произнес он на отличном французском языке. — Ее у меня похитили. Но я ваш пленник. Je sui vice-amiral Osman-pascha ¹.

— Amiral?! ² — поразился Лукашевич. — Amiral...

На лейтенанта смотрели матросы, ожидая объяснения тому, что тут происходило. Но, вместо всякого объяснения, лейтенант вдруг вскинул голову и не своим голосом выкрикнул:

— Смирно-о!

И рванул руку к лакированному козырьку фуражки.

— Перенести на катер! — шипел он задыхаясь. — Осторожно... Как зеницу ока...

Бережно подняли матросы Османа-пашу на руки, уложили

¹ Я вице-адмирал Осман-паша.

² Адмирал?!

в висячую парусиновую койку на пробковый матрац и на уцелевших канатах спустили на катер.

— Должно, не какой-нибудь, — шепнул Тимоха скуластому матросу, когда они в катере убирали крюки. — Тоже и у них всякие бывают. Не иначе, не простой мулла, а, как бы сказать, архиерей ихний либо архимандрит...

— Дурак ты, Тимоха! — только и молвил скуластый.

«Ну, уж и дурак», — подумал обидчиво Тимоха.

Тряхнув серьгой, он поплевал себе на руки и взялся за весло.

Игнат Терешко налег на руль, и катер, рассекая воду, вышел на середину рейда.

— Мабудь¹, вельку птаху пиймалы, ваше благородие, Миколай Михайлович? — спросил Игнат шопотом, наклонившись к Лукашевичу.

Лукашевич потер руки, лицо у него просияло...

— Да, уж и птица! — сказал он улыбнувшись. — Как это по-вашему? Птыця-пигальбця. Да... Адмирал — вон что за птица! — добавил он резко. — Флагман эскадры.

— Ого! — вытаращил глаза Игнат.

Перед ним в катере лежал на пробковом матраце старичок в замызганном чекменьке. Шаровары у старичка подбились кверху, тесемки на кальсонах развязались... Игнат только рукой махнул.

— От то ж, — сказал он, покачав головой: — таки довоевавсь!

Лукашевич рассмеялся и снова потер руки.

IX

Лазарет

На корабле «Императрица Мария» Османа-пашу уложили в общей офицерской каюте на диване. Молодой лекарь Порфирий Андреевич Успенский протер полый полотняного халата стекла своих золотых очков и принялся осторожно ощупывать у пленного адмирала перебитую обломком мачты ногу. Старик лежал с закрытыми глазами и время от времени тихо стонал. Нахимов сидел у стола и молча ждал результатов осмотра.

А на другом диване, тут же, лежал весь обвязанный бинтами капудан Адиль-бей с несуществовавшего больше фрегата «Фазлы-аллах». Адиль-бея еще с час назад доставил сюда на своей шлюпке мичман Никольский. Молодой капудан никогда и ничему не дивился так, как сегодня. Он переводил глаза, ши-

¹ Должно быть.

роко поставленные на застывшем лице, с Нахимова на Османа-пашу, с Османа-паши на русского лекаря и только диву давался, куда может завести человека судьба.

— Ну как, Порфирий Андреевич? — нарушил наконец общее молчание Нахимов.

— Голень у старика перебита в двух местах, — ответил лекарь. — Возьмем ногу в лубки. Сейчас распорядюсь с гипсом. А потом пусть выспится хорошенько. Проспится и в разум войдет. Это ему урок; ему и тем, кто за его спиной, в Лондоне, в Париже...

— А этот? — кивнул Павел Степанович в сторону Адиль-бея.

— Этому — ничего: молод. Что вынуто из раны, что вправлено... Жив будет. Трудно мне было с ним.

— А что, кричал?

— Если б кричал! А то уставился, вот как сейчас: глядит, не мигая, прямо в глаза мне. Мне даже жутко стало. Тронулся он, что ли, умом сегодня, всегда ли такой был?.. Случилось со мной уже раз вот с таким же, как этот. Положил я его на стол, а он на меня уставился да вдруг как зарычит — и в горло мне зубами! Вот...

Лекарь запрокинул голову, и Нахимов увидел у него, немного вправо от большого кадыка, багровые следы укуса.

— Взяли его в мундире капитана второго ранга, — заметил Нахимов. — Тоже ведь в некотором роде трофей.

— Победа, Павел Степанович, — откликнулся со складного стула лекарь. — Да, великая победа! Вот, ей-ей, уж всякий скажет, победа эта выше Чесменской победы, Наваринской победы выше...

— Ну, знаете, конечно... — не то соглашался, не то как будто пробовал отрицать Нахимов, возясь с обкусанным чубуком, вправляя его в потухшую трубку. — А и верно! Англичане, французы — глаза-то у них у всех завидушке; они теперь глянут и ахнут: «Ого-го, куда Россия прынула! А мы-то ее ни во что не ставили». Эва, хватились! Ду-ра-чье!

Нахимов встал и сунул трубку в задний карман сюртука. Лицо у Павла Степановича было при свете настенной лампы смугло и бледно, под глубоко запавшими глазами легли густые тени. Он перегнулся через стол и глянул Адиль-бею прямо в глаза. А капудан не спускал глаз с русского адмирала. Ни одна жилка не дрогнула на лице у Адиль-бея и под пристальным, прямо на него направленным взглядом Нахимова; на неподвижном лице капудана просто не отразилось ничего.

— Вздор-с! — притопнул ногою Нахимов. — Ахинея, бели-

берда! Такую куклу надо бы отправить в музей восковых фигур. Фу! — вздохнул он тяжело и вытащил из кармана свой перепачканный кровью платок.

И вдруг почувствовал, будто валится на стол от усталости; но, что-то вспомнив, заторопился:

— В лазарет... да, в лазарет, Порфирий Андреевич, мне можно пройти?

— Вам, Павел Степанович, всюду можно.

— Если разрешите, доктор, — молвил Нахимов и вышел из каюты.

Вечерело. Из разорванных облаков выглядывали стайки испуганных звезд. На рейде догорали турецкие фрегаты. Плотники и конопатчики перестукивались на русских кораблях.

На воздухе Нахимов почувствовал неожиданный прилив сил. Голова у него снова работала отчетливо и просветленно. От минутного головокружения в кают-компании не осталось и следа.

«На пушечный выстрел... — вспомнил Павел Степанович собственный наказ: — близкое расстояние от противника... близкое расстояние и взаимная помощь русских кораблей. Правильно! Сегодня в сражении был «Чесмою» выручен «Константин»; от «Трех святителей» не осталось бы и щепки, если бы на помощь кораблю не обратился «Ростислав»... Правильно! А теперь скорее, скорее откачать воду в трюмах, заделать все пробоины, законопатить все щели — и в Севастополь на капитальный ремонт».

Кончился, прошел этот день, великое в истории России семнадцатое число месяца ноября тысяча восемьсот пятьдесят третьего года... Но Нахимов не испытывал чувства торжества. Он знал: имя Синопа прогремит теперь по свету... Уничтожена эскадра Османа-паши, ни одного не оставлено фрегата... И что ж?

Сутулясь, пробирался Павел Степанович верхней палубой, еще не освобожденной от всего, что нагромоздилось на ней после горячего трехчасового боя.

«И что же? — спрашивал он сам себя. — Есть убитые... да, тридцать восемь человек. И раненых двести сорок. Русские офицеры и матросы. Корабли сильно потрепаны, но все уцелели. А турецкие, с оружием для кавказских горцев, с десантом и наемными возмутителями, все пущены на дно. И воздано за русскую кровь, вероломно пролитую на Николаевском посту. Звери!.. Сегодня зверю обрублены когти в его же берлоге. Пусть-ка теперь сунутся! Победа! Русская победа в морской баталии, в знаменитейшей отныне баталии... Да, но...»

И Павел Степанович остановился на минуту у груды сваленных, расщепленных, превращенных в дрова мачт и рей и

глубоко вдохнул в себя свежий воздух, чуть горьковатый от гари, которую не развеял еще ветер.

«Да, но... — продолжал Павел Степанович, снова пускаясь в путь: — но последствия будут каковы? По-след-стви-я! Сколь-ко на Босфоре вражеских выпелов? Сотни! Английская эскадра, французские корабли... На Черном море флот российский белом у них на глазу. Не первый год ярятся и только предлога ждут. Предлог им надобен, предлог им подай! Ну, и не кончится дело Синопом, не кончится, не кончится...»

В люке, до которого наконец добрался Нахимов, чуть отсвечивало, и глухо, как из погребя, отдавали оттуда голоса.

«Не кончится...» — продолжал твердить про себя Павел Степанович, спускаясь по отвесной почти лесенке в лазарет, где тускло горел фонарь и резко пахло эфиром и кровью. На койках, а где и прямо на матрацах по столам и под столами лежали раненые матросы, кто молча, кто стелая, кто бормоча в бреду невесть что. Но у самой лесенки лежали рядом два матроса, оба головой к лесенке, один — на койке, другой — на полу. И странно тихой, спокойной и рассудительной была их беседа в этом стенании вокруг, с нечеловеческим хрипом, со страшным скрежетом зубовным.

— Сколько этих турок в воду с кораблей посшибало — страсть! — молвил матрос с койки.

— Одних посшибало, Елисей Кузьмич, а другие, верно, и сами в воду бултых, — заметил матрос на полу. — Это они с опиума шалют. Как сражение, так они — ала-ала, а потом давай опиум курить. С опиума им как бы море по колено становится. Я это с прежних сражений знаю, а нынче видеть не довелось: в пороховой камере находился.

— Это, Антон, да, — откликнулся матрос с койки. — Пороховая камера — местечко глухое.

— Настороже мы стояли, Елисей Кузьмич, в пороховой камере, с фитилем, я да еще Тимоха Дубовой. Порядок давно известный, и Павел Степанович тоже объявлял: как будет подходить неприятель и станется так, что нам его не удержать, то нужно нашему кораблю с турецким сцепиться. И ты, говорит Павел Степанович, сразу по сигналу, Антон Майстренков, зажигай в пороховой камере фитиль, чтобы взорваться на воздух и ему и нам, а не даваться ему в руки. Нельзя, говорит Павел Степанович, чтобы русскому войску да отдаться в плен.

— Да, это — да, — подтвердил матрос с койки.

Нахимов спустился на ступеньку ниже и услышал еще отчетливее.

— Ну, это так, — продолжал матрос, лежавший на полу. — Да что это, говорю Тимохе Дубовому, будто дымком к нам в пороховую камеру тянет? Нет ли тут беды? Без огня дыму не

бывает. Надо, говорю, Тимоха, в колокол ударить. А Тимоха мне: «Никакого дыму нет, это тебе, Антон, померещилось». Ну, думаю, нет дыму — так нет, а все же, думаю, лучше бы наверх слазить, поглядеть, не дымно ли там повыше. Так ты, говорю Тимохе, если сигнал будет, сразу зажигай фитиль, чтобы нам всем на воздух взорваться, а не идти в плен к неприятелю. «Зажгу, — говорит Тимоха, — если такой сигнал будет, что одолевает неприятель. Полезай, — говорит, — не сомневайся». Я полез, добрался до верхней палубы, из люка до половины вылез, и тут сразу в глаза мне — пыхх! Как хватило, то и день ведь такой, что в небе облака сплошь, а в глазах у меня будто солнце засверкало. Прямо беда! А теперь с каждым часом все хуже: ни солнышка, ни облака, ни тебя, Елисей Кузьмич, — ничегошеньки глазами не вижу. Кабы не это, то была бы мне только великая радость от победы такой.

— Ты гляди, — предупредил матрос с койки: — в госпиталях фельдшера эти — пьяницы. Станут ляписом прижигать — как бы ненароком и вовсе тебе очей не выжгли.

У Нахимова, который слышал весь этот разговор, сжалось сердце.

«Вот — матросы, — подумал он, — русские люди, слуги отечества. И велика наша Россия, да вот...»

Он развел руками и уронил их, и они повисли у него, бессильные что-нибудь сделать, чем-нибудь по-настоящему помочь.

«Велика Россия, — вертелось у него в голове, — а фельдшера — пьяницы, а провиантмейстеры — воры, а городничие — взяточники, да по одному штуцеру приходится чуть ли не на целую роту...»

Он махнул рукой, шагнул с лестницы вниз... И его сразу заметили, гул прошел по лазарету и затих, только слышнее стали выкрики тяжело раненных, метавшихся в бреду.

— Никак, Белянкин? — молвил Нахимов, взглядываясь в испитое, похудевшее лицо Елисея.

— Так точно, ваше превосходительство Павел Степанович! Я самый.

— Ну, как рука у тебя, Белянкин?

— Руку правили, да по локоток оттяпали. Только недавно очнулся: где ты, рученька моя? — И Елисей вскрикнул. — Вовсе я, Павел Степанович, теперь однорукий. Выходит, значит, мне чистая отставка. Небо ли мне теперь коптить, гусей ли пасти?..

— Не тужи, Белянкин, — положил ему руку на плечо Нахимов. — Ты, друг, насчет этого не тужи. Всё образуем. Надо лечить рану. Семейство твое, Белянкин, в Севастополе? Какое у тебя семейство?

— Как же, Павел Степанович, — обрадовался Елисей: — в Севастополе! Жена у меня, сынишка Мишук в училище ходит..

— Это хорошо, что в училище ходит, — одобрил Нахимов. — Пусть учится. А ты не тужи. Образуем всё. Вот возьми на табачок или на что другое...

И Нахимов вынул из кармана бумажку и сунул ее под подушку Елисею.

— Да, Павел Степанович... — смутился Елисей. — Что ж вы это? Еще не нищий я. Стало быть...

— Без разговоров, Белянкин! — оборвал его Нахимов. — Табачку, а то винца хвати; можешь выпить за мое здоровье.

— За ваше здоровье, Павел Степанович, это мы можем с полным удовольствием.

— Ну, и чудесно! А рану лечить надо.

И Нахимов, достав из бокового кармана сюртука пачку денег, пошел их рассовывать под подушки раненым матросам, твердя, словно оправдываясь:

— На табачок, братцы. Нельзя без табачку матросу. Любит матросская душа трубочку! Служба-с... Так-то, братцы. Без этого никак нельзя.

Рассовав все свои деньги, Нахимов, словно стыдясь того, что он сделал, бочком выбрался из лазарета и прошел к себе в каюту.

Х

Возвращение

Обратный переход из Синопа в Севастополь взял у эскадры два дня. Корабли шли с кое-как заделанными пробоинами, с разбитыми мачтами, с истрелянными в клочья кормовыми флагами. Почетные раны, полученные эскадрой в победоносной битве, были замечены с кораблей, стоявших на севастопольском рейде. Корабли эти были расцвечены пестрыми флагами; матросы стояли на реях; «ура», «ура» без конца и пушечные салюты приветствовали победителей. Торжественно, один за другим входили возвращавшиеся корабли на Большой севастопольский рейд, и дедушка Перепетуй махал каждому кораблю своим ватным картузом. Дедушка при этом кричал что-то, но ничего не было слышно, потому что с береговых батарей непрерывно били салюты. А кроме того, подле дедушки все, решительно все кричали «ура». Наверно, и дедушка кричал «ура».

Стояла отличная погода. Вода в бухте была зелена, как малахит, и прозрачна, как стекло. Точно осколки разбитого зеркала, сверкали на воде солнечные блики. Вся бухта кишела лодками различного устройства: яликами, шлюпками, гичками...

Громыхая цепями, плюхались якоря в студеную воду, и желтые карантинные¹ флаги были подняты на всех вернувшихся в гавань кораблях. На берегу гремела музыка и весь день толпились люди — родные и друзья героев Синопа. Но никто из экипажей кораблей не мог сойти на берег, пока длился карантин.

— Никаких исключений, — едко морщился командующий Крымской армией светлейший князь Меншиков.

Худой, длинный, старый, он, проходя по набережной, путался ногами в своей гвардейской шинели, и, казалось, еще минута — и его собьет ветром. Но ему как-то удавалось и против ветра держаться на ногах, только руками он размахивал, как ветряная мельница крыльями.

Мало было у старика радостей. Но «светлейший» был счастлив уже тем, что как-то смог умерить торжество Нахимова. Меншикову претило простое обхождение Нахимова с людьми и то, что Павла Степановича так любили матросы. «Матросский батяка», — презрительно называл Нахимова Меншиков.

— Пгавила без исключений, — картавил по старой привычке «светлейший», мелко перебирая ногами, потому что его мучил застарелый геморрой. — Под желтые флаги... извольте... на... на четыре дня.

Военные оркестры, сменяя друг друга, играли теперь на Графской пристани каждый день с полудня и до вечера, и резвые звуки маршей, галопов и полек разносились далеко в прозрачном осеннем воздухе. А к вечеру приезжал на пристань капельмейстер Новицкий, усатый толстяк, и давал концерты из вальсов и оперных арий. Пристань была иллюминирована разноцветными фонариками. Матросы на кораблях толпились у правого борта. Им был хорошо виден бычий затылок Новицкого и его белые панталоны, его шпоры и каска, и золотые пуговицы на растопыренных фалдочках зеленого мундира, и тяжелые руки в белых перчатках, едва шевелившиеся в такт исполняемому номерам.

На кормовом балконе своей каюты сидел Павел Степанович Нахимов. Он, посасывая трубку, глядел на берег и думал о командире «Императрицы Марии» капитане второго ранга Барановском. Барановский в Синопском сражении получил сильную контузию в бок и в ноги, а на берег в Севастополе свезти нельзя: карантин!

— Глупо, гадко, нелепо, — твердит Нахимов.

И вспоминает, что у Синопа погиб в бою штурманский прапорщик Семен Высота. Совсем безусый мальчик, худенький, стройный, как лозинка... Сидит бывало Сенечка в штурманской

¹ Карантин — задержание на определенный срок для дезинфекции, в целях предупреждения распространения заразы.

рубке за своими морскими картами, а рядом на столе — фунтик с изюмом.

— Убит, — шепчет Нахимов: — пал смертью храбрых в бою при Синопе.

И еще других перебрал в памяти Павел Степанович: матросы разных статей, молодые и безусые и старики-усачи... Всех их Нахимов знал в лицо и, вспоминая теперь каждого, кончал тем, что каждый раз мысленно приговаривал: пал смертью храбрых в бою при Синопе.

Вот и Федор Карнаухов, тоже с «Императрицы Марии»; и он пал смертью храбрых... Крепко держал он в руках свой банник и сноровисто управлялся подле орудия. Да вот, поди ж ты! И банник из рук выронил и сам пал, как подрубленное дерево.

В первый же день по возвращении, когда стали они в Севастополе на якоре против Графской пристани, подошла на ялике к кораблю круглолицая матроска Арина Карнаухова. Заметив знакомого матроса на верхней палубе, она крикнула звонко, на всю бухту:

— Прокофьич, здравствуй! Мой-то где же?

— Не жди, Арина, — молвил ей матрос сурово. — Ядром... чуть не первого...

Заглотила, причитала Арина, весла выронила из рук; отнесло ее ялик на середину бухты. До самого вечера разносились Ариныны вопли не в лад с медными трубами оркестра, который все гремел и гремел на пристани, почти не умолкая.

И Марья Белянкина залилась слезами, когда тоже на ялике подходила к кораблю, где она увидела Елисея с рукой в бинтах и на черной перевязи через плечо. Марье сразу бросилось в глаза, что забинтовано у Елисея что-то несоразмерно малое. И лицо Елисея, бледное, опавшее, подсказало ей, что много, видно, крови потерял Елисей. И Мишук все это заметил. Он бросил махать отцу бескозыркой и только переводил испуганно глаза с отца на мать, с матери на отца...

Но Марья услышала, что ответил Прокофьич Арине Карнауховой. И увидела, как пала Арина на дно ялика и понесло неуправляемый ялик на середину бухты. Сразу тогда притихла Марья, но слезы еще долго струились у нее по лицу, и она вытирала его краем синего шелкового праздничного платка. Как сквозь сон, разбирала она, что кричал ей с палубы Елисей: что это, мол, ничего; что, конечно, прощай морская служба, и выйдет ему теперь чистая отставка; но вот и Павел Степанович говорит, что все образуется. А Мишук что? В училище ходит? Ну, и пускай ходит; вот и Павел Степанович говорит: хорошо, мол, что Мишук ходит в училище; пускай, говорит, учится Мишук.

Уже смеркалось, когда Мишук с матерью, помахав Елисею на прощанье, пустились обратно домой, в Корабельную слобод-

ку. За пристанью, под старой акацией, темнела фигура. Марья и в сумерках различила толстые девичьи косы, отливавшие темным золотом, и ситцевый платок, оброненный в пожухлую траву. Девушка прижалась лицом к дереву, и плечи у нее содрогались от беззвучных рыданий.

— Даша! — вскрикнул Мишук и остановился.

Но Марья подбежала к девушке и обхватила ее руками.

Тут Мишук вспомнил, что рассказал сегодня тятя о матросе Александре с фрегата «Кагул». Нет уже у Даши и отца, убит матрос Александр Александров, пал в сражении при Синопе.

Каждый день Мишук прибегал теперь на пристань. Там он подбирался к какому-нибудь яличнику, отдыхавшему после обеда под стенкой пристани, и выпрашивал у него ялик тятеньку проведать.

— На минуточку, дяденька, миленький, только на минуточку! — улещивал Мишук яличника. — Словечко тятеньке молвить; очень нужно.

— Знаю я вас, арештантов! — ворчал яличник, насупив седые брови и укладываясь на подостланной под себя ветхой шинельке. — На минуточку... Жди тебя потом...

— Лопни мои глаза, дяденька! — клялся Мишук. — Враз обернись.

— Враз... Знаю я, как это враз, арештанты... А-а-а, — протяжно зевал яличник и, уже смежив глаза, спрашивал: — Ты чей же это такой будешь?

— Белянкина, — отвечал Мишук, — Елисей Кузьмича.

— Белянкина? — откликнулся яличник, вглядываясь в мальчугана. — Так бы и сказал. Ну, раз-два, вались в ялик!

И Мишук, ног под собой не чуя, не бежал, а летел к ялику, колыхавшемуся на приколе.

— Навались! — отдавал Мишук самому себе команду.

Поплевав на руки, он тут же и отвечал самому себе:

— Есть навались!

И пока Мишук преодолевал расстояние между пристанью и недвижимым на якоре кораблем, в ялике только и слышно было:

— Загребай, правая!

— Есть загребай правая!

— Загребай, левая!

— Есть загребай левая!

— Отгребай обе! — заключал Мишук, подогнавшись почти вплотную к кораблю и давая теперь своему ялику задний ход.

А с борта корабля свешивался Елисей Белянкин и еще матросы, и все они, хохоча, наблюдали за Мишуком. А тот, крикнув «шабаш!» и ухватившись за спущенный ему с корабля конец, бросал весла в ялик.

— Тять! — кричал он отцу, встав со скамьи и балансируя в ялике, раскачивавшемся на резвой волне. — Расскажи, как ты сражался!

— Что же тебе рассказать, сынок? Сражался, как полагается. При орудии находился, дело известное.

— А турецкого адмирала кто в плен взял?

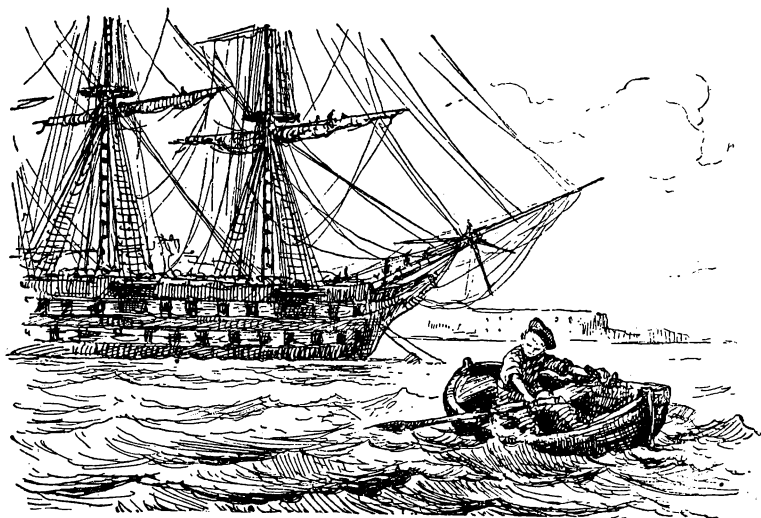
— Взял его в плен лейтенант Лукашевич.

— А страшный?

— Кто? Лукашевич?

— Да нет же, адмирал турецкий.

— Совсем не страшный. Так, старичишка неказистый.



— Ой, тять! — лукаво и недоверчиво качал Мишук головой.

Так продолжалось четыре дня. На пятый день карантинные флаги на кораблях были спущены, команды сошли на берег, а суда стали на ремонт.

Сошел на берег и Елисей Белянкин и побрел с поджидавшей его на пристани Марьей и с Мишукон на родное место, в Корабельную слободку. По дороге Мишук, встретив какого-нибудь парнишку, отставал, чтобы поведать ему, как тятя палил в турок и что турецкий адмирал совсем не страшный, так — сморчок какой-то, по-русски не говорит, а скажешь ему что, так ни бельмеса не смылит. Потом Мишук догонял отца с матерью и, ухватив отца за рукав, шел с ним рядом, в ногу, стараясь шагать так же широко, как отец.

Три товарища

С той поры в хатенке, что в Корабельной слободке, пошла жизнь изо дня в день ровная, тихая, приглушенная. Это только на камышовой крыше хатенки да в пустом и голом огороде поднимал временами кутерьму северо-восточный ветер. Но ветер, зимний, леденящий, приходил, разводил волну в бухте, куролесил день-другой, а то и неделю и убирался прочь, на запад, дальше, в море. И все же, откуда бы ни залетал ветер и какой бы ни был он силы, все равно, в ясную ли погоду или в ненастье, Мишук с утра, прихватив краюшку хлеба и наливное осеннее яблоко, убегал в училище, а Елисей Белянкин шел в морской госпиталь на перевязку. Там Елисею разбинтовывали оставшуюся от руки короткую култышку, обмывали ее, смазывали какой-то желтой жидкой мазью и снова брали в бинты.

Елисей всю зиму думал, как бы ему определиться к какому-нибудь делу. Он и по вечерам выходил из хатенки, останавливался посреди двора, глядел на улицу за плетнем, глядел на небо над головой и все раздумывал. Улица лежала под тонким пластом выпавшего снега. А небо было холодное и синее, точно каменный булат. И высоко над старым тополем стоял в небе полный месяц, весь в мреющих кольцах.

Холод начинал пробираться Елисея, топтавшегося на дворе в одной бумазейной рубахе, без теплой куртки. Но Елисей не возвращался в дом, а все задавал себе вопросы — то одно, то другое. В яличники, что ли, идти Елисею — на перевоз с Графской пристани на Северную сторону?.. Какой же из однорукого яличник! Что-нибудь тачать, строгать, клепать?.. Тоже далеко не уедешь с одной рукой. Вот Павел Степанович приказал не тужить: образует, мол... Разве только что Павел Степанович!..

Марья в последние месяцы потемнела с лица, была молчалива и с утра, едва управившись по дому, садилась за работу. Не выпуская из рук иголки, она шила весь день с коротким перерывом, когда из училища возвращался в старой отцовской куртке Мишук. К этому времени на подоконнике уже лежало несколько новых кружевных сорочек. Мишук должен был отнести их после обеда на Екатерининскую улицу, в магазин «Моды Парижа», который содержала севастопольская жительница Софья Селимовна Дуван.

Мишук старательно подворачивает слишком длинные рукава отцовской куртки и отправляется на Городскую сторону, но не один, а в сопровождении закадычных друзей своих Николки Пищенки и Жоры Спидиоти. По дороге им попадается пехотный батальон, возвращающийся с Павловской батареи с саперным

инструментом. У солдат истомленные лица и черные, в земле, руки.

В Южной бухте пенит воду пароход «Херсонес», а у самого берега стоят боевые корабли. Они уже вышли после ремонта из доков, ставни амбразур у них раскрыты, и оттуда на запад настороженно глядят пушки. Пушки для ядер и картечи и пушки бомбоческие, корабли двухпалубные и трехпалубные — ребята знают их по именам.

— «Ягудиил», «Три святителя», «Константин»! — выкрикивают все трое, перебивая один другого. — «Мария», «Уриил», «Варна», «Трах-тарарах»!¹

На Екатерининской улице Николка и Жора останавливаются у магазина, а Мишук, толкнув дзерь, проходит внутрь. И здесь у Мишука сразу глаза разбегаются: столько в магазине у Софьи Селимовны удивительных и красивых вещей. Искусственные цветы из шелка и латуни; целая гора пестрых материй на прилавке; разноцветные блески на кисейных шарфах; кружева, белые, как морская пена; граненые флаконы с золотистыми духами; всевозможные коробочки, крохотные сафьяновые кисетики... И тут же, подле прилавка, где выложено столько всего, стоит какая-то молодая, высокая и красивая женщина. На ней бархатная накидка и крохотная шляпка. И с женщиной этой — муж, лейтенант Лукашевич, тот самый, что взял в плен Османа-пашу. Впрочем, на Лукашевиче уже эполеты капитан-лейтенанта, новенькие, горят, как жар. Лукашевич весел, он улыбается...

«Еще бы, — думает Мишук, — взять в плен адмирала! Не что-нибудь... А вот тятя теперь однорукий; заместо руки — одна короткая култышка...»

И сразу все блекнет в глазах у Мишука; тускнеет все, что минуту назад казалось таким нарядным и праздничным... Мальчик, передав Софье Селимовне узелок с бельем, понуро выходит на улицу.

Николка и Жора не ходят в училище и вовсе не умеют читать. А по пути, по всей Екатерининской, на стенах — большущие железные вывески с золотыми буквами и нарисованными картинками. Вот на одной вывеске нарисована турчанка. В синих шароварах и красных туфлях сидит она на перевязанном бечевками тюке. Ребята останавливаются, разглядывают турчанку, и Мишук читает вывеску по складам:

— «Та-бак, си-га-ры и па-пи-ро-сы раз-ных фаб-рик».

— Разных фабрик, — повторяет вслед за Мишуком Николка. — Важно!

Ребята идут дальше и на углу опять останавливаются, те-

¹ Корабль «Три иерарха».

перь уже под большим золотым кренделем. Он свисает над вывеской, на которой изображен витой золоченый рог. Из рога сыплются вниз конфеты, шоколадки, тянучки, леденцы, розанчики...

— «Бу-лоч-на-я и кон-ди-тер-ска-я Са-у-ли-ди», — прочитывает на вывеске Мишук.

И ребята прилипают к витрине кондитерской, разглядывая перевязанные разноцветными ленточками продолговатые и круглые коробки.

Так, от вывески к вывеске, от витрины к витрине, ребята очутились за Маленьким бульваром с памятником Казарскому, у великолепного здания морской библиотеки. Оно было все в статуях, а по обеим сторонам наружной лестницы лежали на высоких постаментах два мраморных сфинкса. Они загадочно улыбались, устремив свои каменные глаза к морю, в голубой туман.

Ребята стояли подле огромных чудищ совсем маленькие.

— Это... это что же? — спросил Жора Спилюти в смятении, словно увидел сфинксов в первый раз.

— Вот! — погрозил Николка Пищенко одному из них кулаком.

— Пошли, — сказал нетерпеливо Мишук.

С площадки, на которой высилось здание морской библиотеки, виден был весь Севастополь. Большая Севастопольская бухта вытянулась на целых шесть верст, окаймленная скалистыми берегами, которые, чем ближе к морю, становились все ниже. Здесь, на этом берегу бухты, была Южная сторона; за рейдом, на противоположном берегу, белели на Северной стороне каменные береговые батареи, а несколько казенных зданий, выкрашенных в желтый цвет, сливались с голыми буграми, уходившими к горизонту.

Перебираясь с места на место, ребята с площадки морской библиотеки различили все бухты и бухточки, которые голубыми полосами глубоко врезались в севастопольский берег. По южному берегу Большой бухты шли одна за другой Артиллерийская бухта, Южная бухта, Килен-бухта. И двухверстная Южная бухта как раз и делила собственно Севастополь на две части: это Городская сторона, на запад от бухты, с лучшими улицами и магазинами, с морской библиотекой и театром... А на восточном берегу раскинулась Корабельная сторона, где виднелись доки, морские казармы, госпиталь и Корабельная слободка и Малахов курган.

От Графской пристани, что на Городской стороне, сейчас только отвалил трофейный пароход «Турок». Набитый людьми, он взял с места в карьер и ринулся полным ходом на Северную сторону, напустив дыму на весь рейд.

— Ишь, чумазый! — сказал Николка. — А вон, гляди, с Северной «Громоносец» бежит. Тоже дымищу от него... Самовар!

Вместе с отцами своими ребята не признавали пароходов и стояли горой за старый, парусный, флот.

Наглядевшись вдоволь на все, что расстилалось перед ними либо попадалось навстречу, ребята двинули обратно на Корабельную.

На Новом базаре на Корабельной стороне им довелось еще остановиться у лавчонки, где над входом висела небольшая проржавевшая по краям вывеска, зеленая с желтыми буквами. На вывеске было нарисовано блюдо, а на блюде — кудрявый и лупоглазый откормленный барашек.

— «Ре-сто-ра-ция», — прочитал Мишук и тут же решил попробовать прочесть вывеску в обратном направлении, справа налево. — Яиц-а-рот-сер.

Николка с Жорой удивленно посмотрели на Мишука, но тот и сам изумился полученному результату.

— Как ты сказал? — спросил Николка. — Яиц, а рот сер?.. Яиц — это, должно быть, потому, что ресторация. Тут всякой еды много: и рыбы, и баранины, и яиц... А почему рот — сер? Во рту-то ведь красно! Открой рот, Жорка.

Жора широко раскрыл рот.

— Ну да, красно; я ведь говорил... А ты, Мишук, у тебя во рту?

И у Мишука во рту было красно. Красно было во рту и у самого Николки. Это удостоверили Мишук и Жора, сами тоже заглянувшие Николке в рот. Почему же все-таки так получается? Читаешь слева направо — все понятно: ресторация. Читаешь справа налево — и вот сначала как будто подходяще: яиц; зато потом — и вовсе не понять: а рот сер.

— Ха-ха-ха! — рассмеялись все трое и стали кричать в раскрытые двери харчевни, откуда на улицу шел густой запах скумбрии и прогорклого масла. — Яиц, а рот сер! Яиц, а рот сер! Дядя, посмотри, что у тебя на вывеске напечатано!

Из-за стойки вышел ресторатор, толстогубый маслянистый человек, лупоглазый и волосы кольчиками, и до чего же похожий на того барашка, который с вывески глядел на озорных мальчишек!

— Что у тебя напечатано на вывеске? — кричали они, перебывая друг друга. — Ха-ха-ха!

Ресторатор даже как-то мекнул по-бараньему:

— М-мэ!

Потом, закатив глаза, поглядел на свою вывеску и прочитал вслух:

— Ресторация.

— Нет, ты не так читай! — кричал ему Мишук. — Ты не так читаешь. Ты начни вот отсюда, а читай вон туда.

Ресторатор посмотрел на Мишука, похлопал глазами и, снова мекнув, опять уставился на свою вывеску.

— Яиц, а рот сер, — прочитал он совсем неожиданно для себя; и повторил задумчиво: — а рот сер.

— Ага, — закричал Николка, — видишь? А рот сер.

— А рот сер, а рот сер! — стали кричать ребята и бросились прочь бегом, оставив ресторатора в полном недоумении.

У хлебных рундучков они увидели большую толпу, напряженно внимавшую кому-то, кто басовито и сипловато о чем-то нараспев вещал сгрудившемуся здесь народу. Мишук, Николка и Жора поднимались на цыпочки, подпрыгивали вверх, но ничего разглядеть не могли.

— Это, верно, дяденька Тү-пу-ту? — сказал Мишук. — Будто его голос... А ну, Николка, нагнись.

Николка нагнулся, упершись руками в колени. Мишук вскочил к нему на спину и, поддерживаемый за руку Жорой, увидел старика в заплатанной матросской куртке. Старик зажат был в живое кольцо человеческих тел.

— Ту-пу-ту, Ту-пу-ту! Он, — подтвердил Мишук и спрыгнул с Николкиной спины.

XII

Чудесный ящик

Это был и впрямь он, отставной матрос из ярославцев Егор Калинин, по прозвищу Ту-пу-ту, одорукий и одноногий. После морского боя под Наварином в 1827 году Егор Калинин очнулся в корабельном лазарете и, заметив у себя на теле как бы нехватку, объявил сидевшему у него в ногах загадочно-другу, земляку-волгарю Елесе Белянкину:

— Елисей, разумею: куда как лучше туловищу без ноги, нежели ноге без туловища. Имею туловище — значит, жив. И хоть одна теперь у меня рука, да коли придется, так и той можно поднести чарку к губам. А вместо ноги будет у меня теперь деревяшка — тү-пу-ту.

И стал с этого дня веселый матрос Егор Калинин Егором Ту-пу-ту.

«Ту-пу-ту, ту-пу-ту», — стучит деревяшка Егора по каменным тропкам Корабельной слободки, где в хатенках своих матросские жены поджидают мужей из дальнего плавания. У Егора на спине ящик, а в ящике — чудеса.

«Ту-пу-ту, ту-пу-ту», — шагает Егор по аллеям Мичманского бульвара, где по утрам сидят на зеленых скамейках отставные

адмиралы. Адмиралы читают на бульваре газеты «Русский инвалид» и «Северную пчелу». Давно оглохшие от пушечной пальбы и просто от старости, адмиралы разговаривают, крича во весь голос, точно командуют на корабле во время жестокого шторма. Егор со своим ящиком подтягивается, выпрямляется, обнажает голову и — ту-пу-ту, ту-пу-ту — лихо проходит мимо адмиралов, утрамбовывая деревяшкой морскую гальку, рассыпанную по аллее.

На базаре, на Корабельной стороне, в толчее матросов с военных кораблей, греков-рыбаков, татар-садоводов и босоногих мальчишек, Егор дает свои представления.

В ящике у Егора дыра, в дыру вставлено увеличительное стекло. Установив свой ящик на раскидную подставку, Егор объявляет:

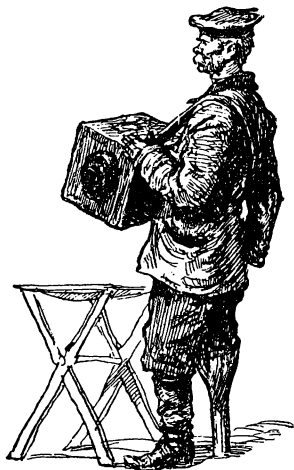
— Гей, молодки, павы-лебедки, ребята-ежики, матросские ножики! Покажу я вам Париж, город — прямо угоришь. И жарко и парко, любо-дорого-мило. Подходи, по копейке с рыла.

Поглядеть на Париж всего за медную копейку охотников на базаре много. Тем более, что в чудесном ящике Егора Ту-пу-ту можно заодно увидеть и «русскую знать, что любит денежки мотать: едет в Париж с золота мешком, а возвращается с палочкой пешком».

Но в последние годы зрителей у Егора Ту-пу-ту сильно побавилось. Во всем Севастополе не осталось почитай ни одного человека, кто бы не видел Парижа и русскую знать у Егора Ту-пу-ту в его ящике с увеличительным стеклом. Разве только какой-нибудь татарин из глухого аула остановит где-нибудь поблизости свою скрипучую маджару, запряженную парой верблюдов. Он будет долго рыться в бездонных карманах своих широчайших шаровар, чтобы выудить оттуда копейку и положить ее на ящик с городом Парижем. И будет поджарый татарин, высушенный крымским солнцем, глядеть на Париж с утра и до полудня, покачивая головой, и причмокивая, и приговаривая:

— Ц-ц-ц... Скажи пожалуйста! Ай-ай...

И Мишук, и Николка Пищенко, и Жора Спилиоти — все они тоже по десятку раз видели город Париж и проходили по базару мимо дяденьки Ту-пу-ту не останавливаясь. Егор сидел подле своего ящика и пил кипяток из солдатской манерки.



Но вот теперь вдруг столько народу, к дяденьке Ту-пу-ту и не протолкнешься, только голос его надтреснуто гремит из толпы, разносясь по базару из края в край:

— Ребята-ежики, матросские ножики, красотки-молодки, павы-лебедки! Что было, как было, знай-плати по копейке с рыла. А было в Азии, не в Европе, при городе было при Синопе, что стоит на Черном море, где хватили турки лютого горя; досель не очухались басурмане, всё ходят будто в тумане. Дело было далеко за ночь, как вздумал Нахимов Павел Степаныч по морю поплавать, паруса у корабликов поправить: посмотреть адмиралу не мешает, всё ли на море в порядке пребывает, не мутят ли его воды вражьи корабли и пароходы.

Егор прокашлялся, крикнул, сплюнул... То и дело переваливаясь с единственной ноги своей на деревяшку и с деревяшки обратно на ногу, он продолжал попрежнему зычно, на весь базар:

— Стоит на мостике Нахимов, бежит волна морская мимо. Да тут в трубу адмирал примечает: не только-де ветер в море гуляет — видно вдали, за волною, в тумане, гуляют в просторе морском мусульмане; в облаках играют их ветрила¹, и ветрил тех — несметная сила. Иной от чужого флагу дал поскорее бы тягу, прямо сказать — наострил бы лыжи, а Павел Степаныч им — подходи поближе! Добро, мол, пожаловать, непрошенные гости. Не иначе, как быть вам сегодня на погосте. Впредь вы у меня без спросу не покажете в море носу.

Толпа стояла молча, напряженно слушая, все больше очаровываясь складной речью дяди Егора.

Слушатели только дивились, откуда это у человека берутся такие слова и как ловко тут прилажено одно слово к другому.

— Кричит им с мостика Нахимов: не пройдет вы сегодня мимо. Мы силе вашей дивуемся, дай-ко вблизи на вас полюбуемся; уж назад не отступим, пока вас не отлупим; пушу, мол, на дно твою шаланду... И дает своим кораблям команду: стой, ребятушки, ровняйся, на якоре укрепляйся. Что ты думаешь? Турецкие канониры стали палить в пушки и мортиры; только из-за дыма всё палили мимо; море волнуется, а турки беснуются. Наши всё крепились и молчали, да вдруг разом отвечали; ударили с корабля с «Константина», и погибла турок половина; стали турки словно шальные, как грохнули на корабле на «Марии»; не галушки им посылал, не баранки лихой комендор Елисей Белянкин, посылал он каленые ядры — были турки божьему свету не рады.

¹ Ветрила — паруса.

Был в сражении при Синопе

Мишук, когда услышал такое про тятю своего, то сначала от неожиданности завертелся на месте, потом, ринувшись очертя голову вперед, стал что было силы протискиваться сквозь толпу. Ему надавали пинков, шикали на него, отталкивали обратно, а он пролез-таки вперед и, весь измятый и исцарапанный, стал перед самым ящиком дяди Егора. Но в дыру он заглянуть не мог: к ней склонились сразу два матроса и глядели не отрываясь. На что? Может быть, думал Мишук, на тятю, на Елисея Белянкина, который с «Императрицы Марии» посылал туркам одно за другим каленые ядра.

— И-эх, ребята-матросики, кучерявы волосики! — продолжал выкрикивать Егор. — Набрались турки ужасного страху, со страху даже взмолились аллаху; иной кричит: алла, Магомет! — и сам идет к Магомету на тот свет. Важно гостей угощали, много кораблей у них взорвали; от всего турецкого флота остались сита да решёта. От такой напасти чуть дыша, сдался в плен Осман-паша. Здорово турок отхлопали и пошли домой к Севастополю. Были тут песни, балалайки, как встречали мужей хозяйки; были гулянки и подарки, испивали не по одной тут чарке; пили вино и пиво за здоровье и во спасибо.

Егор кончил, матросы оторвались от ящика, и к нему сразу рванулся Мишук. Он бросил дяде Егору на ящик копейку и прильнул к стеклу. Однорукий Егор попросил стоявшего рядом матроса высечь ему кремнем огня и, попыхивая трубкой, стал вертеть ручку ящика. Перед глазами Мишука проходила панорама Синопского боя: огненные хвосты ядер и бомб чертили небо, горели турецкие корабли, изрыгали пламя береговые батареи. Турки металась по палубам либо взлетали на воздух вместе с ящиками, бочонками, обломками мачт и обрывками парусов и канатов. На русских кораблях у орудий стояли матросы и резво, ладно, споро делали свое дело. Даже Павла Степановича узнал Мишук: вот он, Павел Степанович; стоит, как живой, на палубе, в фуражке, сдвинутой на затылок, с коротенькой саблей на боку, с подзорной трубой подмышкой. Но где же тятя, где комендор Елисей Белянкин? У дяди Егора в ящике все матросы были на одну статью, и ни один из них не был Елисеем Белянкиным. Уж ему ли, Мишуку, не признать своего тятю! Мишук глядел, глядел, пока его не оттащил от ящика какой-то носатый грек. У грека этого что-то перекатывалось в горле, когда он, доставая из кошны копейку для дяди Егора, молвил:

— Гагой удивитыльный мальчик! Муного целовека, увсэм смотреть нада.

— А где же тятя? — крикнул дяде Егору Мишук. — Это ты про тятю моего, Елисея Белянкина...

— Тятя дома чай пьет, — ответил невозмутимо Егор, пытаясь раскурить погасшую трубку.

— За копейку ему еще и тятю покажи! — заметил какой-то пехотный писарек, устроившийся подле грека, чтобы, в свой черед, поглядеть на морской бой при Синопе.

— Тятюку ему покажешь, — хихикнул кто-то в толпе, — а он тогда и мамку захочет повидать! Умора!

— Пшёл домой, пострел! — прикрикнул на Мишука мясник Потапов, краснорожий, толстый, в красной рубаше и залитом бычьей кровью фартуке.

Мальчик выбрался из толпы, но и тут была неудача: Жора с Николкой ждали-ждали, да и ушли с базара, не дождавшись Мишука.

Мишук поглядел на бухту, яркозеленую под синим мартовским небом. Ветер был с моря, и по воде бежала мелкая муаровая рябь. И узенькие полоски снега уже истлели за Черной речкой, по ребристым кряжам Инкермана. Там, в балках, хлопочут теперь ручьи, пробиваясь к морю, и цветут в дубняке подснежники. Все это не развлекло Мишука, и, глотая обиду, он побрел домой. Но не успел он пройти по рядам базарных палаток и рундуков, как на повороте, где торговали бузой и хлебным квасом, увидел человека.

— Ой! — вскрикнул от неожиданности Мишук.

Человек был одет в синий халат и сидел на голой земле, поджав под себя ноги. Лицо у него заросло черной курчавой бородой. Он вскинул голову и тоненьким голосом протянул:

— А браточки мои, сестрички, не вижу ж я очами белого свету!

И замолк, чутко вслушиваясь в невнятное бормотанье моря и отдаленный гул толпы у хлебных рундуков.

— Ой, ой-ой!.. — стал словно захлебываться Мишук, цепенея от ужаса. — Антон... это ж Антон... Майстренков Антон...

Сквозь горячие слезы, которые в один миг залили ему лицо, разглядел Мишук на земле подле Антона матросскую бескозырку, в которой лежал медяк.

— Ой, ой-ой!.. — все еще душило Мишука.



И он стал лихорадочно шарить у себя за пазухой и по карманам, ища там копейку, которую третьего дня дала ему на орехи мать.

Но с Мишуком, в карманах у него и за пазухой, было все, чем владел он: два цветных камешка, из тех, что морская волна выбрасывает на крымский берег, и волосяная лёска, и стеклянная пуговка, и ниток моток... А вот копейки — как не бывало. И оторопь охватила Мишука, когда он вспомнил, что единственную свою копейку он полчаса назад отдал дяденьке Ту-пу-ту за то, чтобы посмотреть в ящик. И чем же теперь Мишук поможет слепенькому Антону?..

Майстренков сидел попрежнему со вскинутой кверху головой и, словно недоумевая, уставился пустыми глазницами в клонившееся к закату солнце. А Мишук вдруг схватил все, что у него было — лёску, нитки, камешки, пуговку, — и сразу опустил Антону в шапку. И бросился без оглядки прочь.

Зато дома ждала Мишука радость. Отец сидел за столом веселый; и тут же был и Николкин отец Тимофей Пищенко, матрос с фрегата «Кагул», и стоял на столе стеклянный кувшин с красным вином. На груди у Елисея Белянкина блестела новенькая медаль на георгиевской ленте: вперемежку полоска черненькая, полоска желтенькая... Елисей вертел в руках лист с картинкой, очень похожей на одну из тех, что полчаса назад видел Мишук в ящике у дяденьки Ту-пу-ту: корабли на рейде, пушечная пальба с берега, минарет мечети и пламя пожара.

— «Ат-те-ста-ция, — прочитал Мишук вслух заголовок листа, напечатанный крупными золотыми буквами поверх картинки. — Был в сра-же-нии при Си-но-пе». При Синопе, — повторил Мишук и вдруг засмеялся от радости. — Синоп...

И Мишук узнал, что сегодня в госпиталь приезжал Павел Степанович Нахимов и что это сам Павел Степанович нацепил на куртку тятю медаль. И еще спрашивал Павел Степанович, залечилась ли у Елисея рана; и сказал, что когда совсем залечится, то пойдет Елисей на работу. И что всем безруким, с кем уж такое несчастье приключилось, руки пришлют деревянные: заказ такой сделан на деревянные руки. И будут эти руки с пружинами. Сможет тогда Елисей поднимать хотя бы и пуд весу, а посредством пружины — даже пальцами действовать. Только подождать надо; теперь еще нельзя этого сделать, а потом — когда кончится война.

А про войну сказал Павел Степанович, что война разгорается. Что еще корабли — английские, французские и турецкие — вошли с Босфора в Черное море. Да вот Синоп им помеха: опасаются, что много в Синопе их силы мы извели, а русская сила повыросла. И русская слава, сказал Павел Степанович, по свету гремит.

Тимофей Пищенко глянул в окошко и всполошился. Солнце садилось в море, и Тимофею пора было на корабль. Все вышли к воротам попрощаться.

А там на закате зажглись облака и пылали багровым огнем. Как факелы, поднимались мачты по всей бухте, и пушки, пушки Синопа, попрежнему, не отрываясь, глядели на запад. Спокойно и безлюдно было море.

XIV

Дорожные думы лекаря Успенского

Прошло несколько дней, и совсем наступила весна.

Судовой лекарь Порфирий Андреевич Успенский прогуливался под вечер по аллеям Мичманского бульвара. У афишного столба под масляным фонарем Порфирий Андреевич остановился и принялся разглядывать пеструю афишу, отпечатанную аршинными буквами.

«Шпиц-жонглер, — прочитал он на афише, — такса-канатоходец, пудель-математик».

Это содержатель зверинца Карл Швейцер, прибывший из Гамбурга, показывал в балагане на Театральной площади целую труппу дрессированных собачек. И сегодня «четвероногие артисты» — вся собачья труппа в полном составе должна была исполнить в первый раз («в первый раз в здешнем городе») польку-мазурку.

— Какая чепуха! — прошептал Успенский, направляясь к выходу. — Грустно. Последний день в Севастополе и так грустно.

Город был окутан весенними ароматами и словно утопал в предвечерней дымке, в розоватом тумане. На улицах былолюдно, а в кондитерской Саулиди не протолкаться. За кондитерской, в ограде дома номер четырнадцать, Успенский открыл калитку и пошел палисадником по дорожке в кустах сирени и с распустившимися тюльпанами. Павел Степанович сидел дома и рад был гостью.

— Едете, Порфирий Андреевич? — спросил Нахимов.

— Еду, Павел Степанович. Завтра в шесть пополудни.

— Поезжайте и возвращайтесь. А перед тем как ехать, Порфирий Андреевич, помяните-ка с вами Синоп.

В небольшой квадратной комнате, с портретом адмирала Лазарева между печкой и дверью, стояла на столе бутылка марсалы и две рюмки с золотыми розами на гранях.

— Помянем Синоп, — повторил Нахимов, наливая Успенскому. — Впрочем, Порфирий Андреевич, подобное и без вина не забывается, нет-с.

— Не забыть, Павел Степанович, — сказал Успенский, принимая от Нахимова полную рюмку. — Нет, не забыть.

Нахимов не был женат, и родных у него в Севастополе почти никого не было. К адмиралу выпить стаканчик марсалы да выкурить трубку табаку заходил иногда в его маленький домик на Городской стороне молодой лекарь с «Императрицы Марии». От Успенского Нахимов знал, что состояние здоровья Османа-паши отлично; а капудан Адиль-бей находится и вовсе в превосходном состоянии, только все молчит и попрежнему глаза тарашит.

Оба турка проживали в окрестностях Севастополя, на Менкензиевой горе, в прекрасной даче, к которой приставлен был совсем не стеснительный для пленников караул. Недавно к ним был допущен столичный художник Айвазовский, автор известных картин моря в штиль и в бурю. На этот раз Айвазовский выступил в качестве портретиста и зарисовал Адиль-бея и Османа-пашу. Очень похожие портреты. Осман-паша полулежит; и взгляд его задумчив; а лицо Адиль-бея бессмысленно, не поймешь, на что глазеет этот человек.

Айвазовский, зарисовывая Османа-пашу, выслушал его рассказ о том, как его ограбили турецкие матросы — и Мустафа-Халиль-оглу, и Джамиль-Джурга, и Абу-Тураб... Осман-паша, объяснявшийся с Айвазовским по-французски, даже сказал при этом по-русски одно слово:

— Вай-вай, некарошо!

Но пленный адмирал сразу умолк, когда услышал, что не одна Турция воюет теперь с Россией: уже и Англия и Франция объявили России войну. Айвазовский заметил, как злорадно сверкнули при этом глаза у старого турка... Но тот не пожелал больше разговаривать с русским художником.

— Эс-саламун-aleyкум¹, — пробормотал Осман-паша и отвернулся к стене.

Да, это было так: три державы воевали теперь с одной Россией. Об этом говорили, покуривая свои трубки, скромный судовой лекарь и прославленный по всему свету русский вице-адмирал. Оба знали, в чем состоит давнишняя цель врагов русского царства. Императору французов Наполеону III, и британской королеве Виктории, и турецкому султану Абдул-Меджиду, — всем им надо было уничтожить черноморский флот, ослабить Россию, вытеснить ее из районов Черного моря, отторгнуть от нее Крым и Кавказ. И страшная опасность нависла над нашей родиной. Успенский заметил, как потемнели глаза у Нахимова и как сердито стал он грызть чубук своей трубки. Но после двух-трех глотков марсалы Павел Степанович успокоился и начал развивать перед Успенским свои заветные мысли.

¹ Поклон вам (до свиданья).

— С нашим лихим народом, — сказал он, — можно такие дела делать, что просто чудо. Главный двигатель на военном корабле — это народ, матросы. Матрос управляет парусами; он наводит орудия на неприятеля... Все делает матрос. Вот был у нас на «Императрице Марии» комендор при втором орудии... Да, точно-с, верхняя палуба, третья батарея, второе орудие... Елисей Белянкин... Да не один он! Матрос ему имя. Русский матрос.

Павел Степанович примял большим пальцем табак в трубке и, раскурив ее от зажженной свечки, продолжал:

— А есть у нас офицеры из чванных дворянчиков, они, видите ли, презирают матроса, считают его мужиком. Мужиком... У мужика подчас больше ума и души и сердца, нежели у любого из этих шаркунов. Не выношу я их! Я на флоте у нас помещиков не выношу. Эти замашки разных там Собакевичей и Ноздревых пора выбросить за борт. Не принижать надобно матроса, а возвышать, учить его надобно, возбуждать в нем смелость, геройство... Вот это-то воспитание матроса и составляет мою задачу; вот чему я посвятил себя и для чего неусыпно тружусь. За это матросы меня и любят.

Успенский тоже души не чаял в Нахимове. Порфирию Андреевичу грустно было расставаться с Павлом Степановичем надолго. На целых пять месяцев уезжал Успенский в Петербург, в Медико-хирургическую академию. Но что же делать! Давно мечтал судовой лекарь Успенский встретиться со знаменитым хирургом Пироговым. И вот наконец завтра — прощай, Севастополь!

— Прощайте, Павел Степанович, — твердил Успенский, пожимая Нахимову руку. — Верьте, всю жизнь буду помнить...

Как-то набухли и стали красными у лекаря глаза. И черные усы еще больше обвисли.

Нахимов заметил это.

— Прощайте? — сказал он, подняв брови. — Почему — прощайте, Порфирий Андреевич? Не прощайте, а до свиданья. До приятной встречи-с, Порфирий Андреевич... Впрочем, — добавил он, и голос у него дрогнул, — в нынешних обстоятельствах пять месяцев — большой срок.

На другой день татарин-извозчик доставил лекаря Успенского с Корабельной стороны, где он квартировал у вдовы флотского комиссара, на почтовый двор. Весь багаж лекаря уместился в одном довольно-таки невзрачном чемодане.

Почтовый двор был громаден, и потому казался совсем безлюдным. Он был громаден со своими конюшнями и навесами, с почтовой конторой, с другим домом, в котором жил почтмейстер Плехунов, и со всякой дорожной снастью, вышедшей из употребления и сваленной в кучи. Старые колеса с проржавев-

шими ободами и рваные хомуты, уже ни в какое дело не годные, лежали здесь вперемешку со сломанными дышлами, истлевшими обрывками кожи и битым стеклом. Всего этого был здесь такой преизбыток, что в одном месте оно готово было перекинуться даже через ограду палисадничка под окнами почтмейстерской квартиры. А окна у почтмейстера были раскрыты настежь, и оттуда в пустоту необозримого двора вырывались звуки гитары, однообразные, вот уже второй день повторявшие из нотной тетради только две строчки.

Отсюда, с почтового двора, два раза в неделю отходили из Севастополя почтовые кареты. Они были неудобны, они были уродливы, расшатаны и тряски и скрипели каждой гайкой и каждым винтом. Недаром их называли «идолами».

От Севастополя до Москвы считалось тысяча четыреста тридцать верст. До Курска немощный почтовый тракт был расхлябан; от Курска на Москву шоссейная дорога была разбита. Меняя на каждой почтовой станции лошадей, «идолы» в неделю добирались до Москвы. Правда, и от Москвы до Петербурга — путь не близкий: целых шестьсот верст. Но от Москвы начиналась открытая за два года до того Николаевская железная дорога. В Москве — прощай «идол»! Там лекарь Успенский сядет наконец в железнодорожный вагон. И уже на другой день будет шагать по Литейному проспекту в Петербурге, держа путь на Выборгскую сторону, к светлозеленому зданию Медико-хирургической академии.

Соображая это, Успенский глядел, как смазывают колеса у «идола», в котором ему предстояло совершить огромный путь от Севастополя до Москвы. Ничего хорошего «идол» не мог обещать молодому лекарю. Впрочем, «идол» этот был несколько не хуже всех прочих «идолов», в которых лекарю Успенскому доводилось иногда колесить по России. У «идола», которого на глазах у Порфирия Андреевича снаряжали в дорогу, так же облупилась на кузове желтая краска, едва держались на колесах железные обода, плохо закрывались двери, из дыр на рваных сиденьях лезли солома и пакля.

«России нужны железные дороги», — решил Успенский.

А там, за палисадником у почтмейстера, за пониженными гиацинтами на пересохшей за день клумбе, — там звенели и звенели струны: сегодня, как и вчера, один и тот же частый перебор.

Крепостные мужики в лаптях и дерюжных лохмотьях, пригнанные откуда-то из дальней губернии, рыли около каретного сарая канаву. Лица у мужиков были серы, как щебень, бороды желты, как глина. Мужики работали вяло и ничего не ответили Успенскому, когда он, подойдя, поздоровался с ними. Успенский постоял, поглядел, как долбят они сбитыми заступами каменистый грунт; и вернул к своему «идолу».

«России не нужно крепостного права, — подумал Успенский. — России нужен свободный труд. России нужна свобода».

Тем временем почтовый двор стал наполняться людьми. Здесь были и отъезжающие и провожающие. Из здания почтовой конторы не вышел, а вылетел, как пробка из бутылки, почтмейстер Николай Григорьевич Плехунов, суетливый человек с круглым брюшком. Николай Григорьевич не ходил, а бегал вприпрыжку; разговаривая с людьми большого чина, он поминутно прикладывал руки к сердцу, поднимался на цыпочки и закатывал глаза. Теперь Плехунов прежде всего проверил у всех отъезжающих документы. Каждый пассажир должен был предъявить почтмейстеру свой паспорт и, кроме того, еще и свидетельство от полиции. Свидетельств этих перебивали в руках у Николая Григорьевича тысячи. На каждом таком свидетельстве знакомой Николаю Григорьевичу рукой полицейского пристава Дворецкого было крупно написано: «К выезду препятствий не имеется».

«Какие могут быть препятствия, если человеку нужно ехать? — подумал Успенский, когда предъявлял почтмейстеру свое свидетельство от полиции вместе с увольнительным в отпуск билетом. — И если, — думал дальше Успенский, — человеку нужно ехать, то зачем полиции чинить ему препятствия? Не препятствия нужны, а свобода...»

Но в это время почтмейстер сделал прыжок в сторону и бросился к воротам. Успенский обернулся. В ворота входил Нахимов.

Хоть попрощались они накануне, но Нахимов приехал проводить своего молодого друга. Уже входя в ворота, он увидел Успенского подле желтого «идола», в который впрягали лошадей. Нахимов направился было прямо к Успенскому, но под ногами у него вьюном завился почтмейстер Плехунов.

— Ваше превосходительство! — вскрикивал он поминутно. — Ваше превосходительство... Чем обязан, ваше превосходительство, посещению вашему? Ваше превосходительство...

Нахимов сделал шаг в сторону, чтобы обойти Плехунова и как-нибудь добраться до Успенского. Но почтмейстер снова рванулся к Нахимову, обежал вокруг него и опять загородил ему дорогу:

— Ваше превосходительство!..

Тут почтмейстер привычным движением вскинул руки к сердцу, поднялся на цыпочки и закатил глаза.

«Эдакий подхалим! — подумал Нахимов. — И всегда так: пристанет, как банный лист, шут балаганный».

На лице у Нахимова явственно отобразилась досада. Но почтмейстер словно не заметил этого.

— Ваше превосходительство! — продолжал он, ринувшись

снова под ноги Павлу Степановичу. — Если имеете претензию, верьте, жизни не пожалею для улагодворения вашего превосходительства.

Нахимову даже почудились слезы в голосе почтмейстера. Во всяком случае, тот выдернул шелковый платок из-за обшлага вицмундира, мгновенно высморкался и тем же платком буд-то слезу с глаз смахнул.

— Ваше превосходительство! — захлебывался он от волнения и усердия. — Если что, так не обессудьте. Это верно-с, получаемая корреспонденция залеживается в конторе по неделям, адресаты жалуются... Как быть, ума не приложу. Один почтарь помер, другой от старости едва ноги волочит. Ваше превосходительство!..

— Это потом, впоследствии, как-нибудь, — сказал Нахимов.

Он заметил узкий проход между двумя тарантасами и решительно шагнул туда. За тарантасами его уже поджидал Успенский.

Времени оставалось мало. В упряжке была вся четверка лошадей, которым предстояло тащить «идола» до первой почтовой станции на тракте. Разнородная кладь и почтовые чемоданы с корреспонденцией были уложены на крыше кареты и перевязаны веревкой. Пассажиры занимали свои места. Наступил торжественный час отправления.

Нахимов успел пожать Успенскому руку и обнять его на прощанье.

— Не засиживайтесь в столице, Порфирий Андреевич, — сказал Нахимов, провожая Успенского до кареты. — Люди нужны будут в Севастополе, много людей, уйма людей...

Гитара за палисадником смолкла. Успенский втиснулся в карету и забился там в угол между окошком и толстым купцом в суконной поддевке. В окошко Успенскому хорошо был виден весь почтовый двор с мужиками у канавы, с ящиками у конюшен и с напминавшей пион женой почтмейстера Киной Павловной у раскрытого окна почтмейстерской квартиры. Сам почтмейстер стоял на крыльце, держа в руке медный рожок. Успенский успел заметить, как с уст у почтмейстера вдруг сбегала умильная улыбка, лицо у него налилось кровью...

— Тро-гай! — закричал он благим матом и рванул рожок вверх.

С натуги глаза у почтмейстера едва не вываливались из орбит. А он все выводил и выводил на своем рожке кудрявые рулады сигнала к отправлению.

Кучер щелкнул бичом и, заложив два пальца в рот, свистнул так страшно, как в былине Соловей-разбойник. Вся четверка рванулась. Забрякал, заскрипел, заскрежетал «идол» и покатился прочь со двора в густом облаке пыли. Она заслони-

ла от Успенского все — и мужиков, и почтмейстера, и Нахимова, который отошел в сторону и, сняв фуражку, вытирал белоснежным платком коричневый от загара лоб.

Почтмейстер до того изнемог от своих рулад на рожке и от всей церемонии отправления «идола», что оставил Павла Степановича в покое. Но Нахимов теперь сам направился к нему.

— Вот вы сказали-с, — обратился к нему Павел Степанович, — корреспонденция залеживается, в людях у вас убыль. Не угодно ли, могу рекомендовать: грамотен, не пьяница, отличный почтарь будет. Однорукий, зато ногами крепок. Почтарю не столь руки, сколько ноги требуются.

— Явите милость, ваше превосходительство, — прохрипел почтмейстер, весь мокрый от пота. — Премного заботой вашей тронут.

— Пошлите за ним хоть сейчас. Елисей Белянкин в Корабельной слободке. Отставной комендор. Герой Синопа.

— Синопа, господи! — смог только вымолвить почтмейстер и затем совершенно потерял дар речи. — Ча... ча... — лепетал он, сложив руки, как на молитве. — Ча... ча...

— Час? — спросил Нахимов и достал из кармана свои золотые часы. — Уже половина седьмого, Николай Григорьевич.

Почтмейстер отрицательно качнул головой.

— Ча... ча... — стал он снова лепетать и наконец выговорил: — чайку чашечку, окажите честь, ваше превосходительство... Киранька!

В окне снова появилась Кира Павловна. Она успела переодеться, была вся в красном и стала уже совсем как большой распутившийся пион.

— Благодарствуйте, Николай Григорьевич, — молвил Нахимов, щелкнув каблуком о каблук. — Уже откушал. Дела-с. Ничего невозможно. В другой раз как-нибудь.

Он поднял голову, козырнул Кире Павловне и пошел за ворота, где его поджидала пролетка с матросом на козлах.

Между тем «идол» катился по малолюдным улицам города, обсаженным белыми акациями. Купец, сидевший рядом с Успенским, крестился на каждую церковь. Сняв картуз, он даже перекрестился на семафор оптического телеграфа, который распластался на вышке морской библиотеки.

Успенскому в окошко видны были вся бухта с мачтами кораблей и белые береговые батареи. В синем небе плыла с Корабельной слободки на Городскую сторону целая флотилия мелких облачков.

Дорога зарослями кизила пошла вниз, к Черной речке. Там была плотина, и отсюда, с плотины этой, начинался почтовый тракт на Симферополь. На плотине кучер остановил лошадей, слез с козел и отвязал язычок у колокольчика на дышле. И ко-

гда снова покатился на огромных колесах своих «идол», то пошло теперь тускло дилинковать по бесконечному почтовому тракту день и ночь, день и ночь: «Динь-динь, дини-дини... Динь-динь, дини-дини...»

До Дуванки, где меняли лошадей, было еще далеко. Лекарь Успенский еще наслушается звяканья колокольчика, и дребезжания «идола», и хлопанья бича, и храпа своего соседа, который спал, откинув голову и раскрыв рот.

За Черной речкой пошли по обеим сторонам дороги заросли дрока и сады. Успенский смотрел в окошко на фруктовые деревья, перехлестнувшие свой белый цвет через низенькую нескончаемую каменную ограду. Когда подъезжали к Дуванке, кучер зажег на крыше «идола» большой дымный факел, и лошади перешли с рыси на тяжелый шаг.

Но Успенский не заметил этого. Он успел устать от толчков на ухабах, от визга и скрежета «идола», от мерного храпа своего соседа. Успенский и сам закрыл глаза, но его стала донимать мошкара, пробравшаяся в карету и сквозь закрытое окошко. Лекарь не спал; в голове у него вертелось одно и то же, одно и то же:

«России нужны железные дороги. России не нужно крепостного права. России нужен свободный труд. России нужна свобода».

XV

Письмо из Одессы

Через неделю на улицах Севастополя появился новый почтарь.

Елисей Белянкин был обряжен в суконный сюртук с погонами на плечах и с бляхой на груди. На боку у Елисея висела сабля; на голове была кожаная каска с накладным двуглавым орлом; а через плечо была надета порыжелая сума, тоже кожаная. Матросу, привыкшему к вольным движениям на корабельной палубе в открытом море, было на первых порах не совсем ловко в этом несколько странном облачении. Но скоро все обошлось; Елисей вошел во вкус новой должности, а севастопольцы полюбили своего бравого, хотя и одорукого, почтаря.

Перед Елисеем Белянкиным стал теперь открываться новый мир. Мало что ведомо было раньше комендору на корабле «Императрица Мария». Он хорошо знал все, что относилось до «Никитишны»: все эти банники, пыжовники, рычаги... Но все это были неодушевленные предметы. Впрочем, неодушевленным предметом была и сама «Никитишна», хотя она носила человеческое имя и Елисей разговаривал с нею, как с живою. Но

если правду сказать, то ведь разговаривал один Елисей. Он задавал вопросы «Никитишне» и сам же за нее отвечал. Он иногда покрикивал на «Никитишну», но та даже не огрызалась. «Здорова?» — спрашивал Елисей «Никитишну». «Никитишна», конечно, ни гу-гу, и Елисею приходилось самому за нее откликаться: «Здорова». Вот и весь разговор.

И были на всем белом свете только две позиции, с которых Елисей мог смотреть на широкий мир. Жизнь Елисея Белянкина была словно наглухо привинчена к его батарее на верхней палубе и к его хатенке в Корабельной слободке. Но с верхней палубы на «Императрице Марии» видны были только волны да дым; а из окошка хатенки в Корабельной слободке — лишь пыльная улица и на улице коза Гашка. И точно так же неширок был кругозор у приятелей Елисея: у Тимофея Пищенки, у покойного Федора Карнаухова, у ослепшего Антона Майстренкова, у Тимохи Дубового, хотя Тимоха плавал и по Каспийскому морю и видел, может быть, такое, чего Елисею видеть не довелось.

А теперь все вдруг изменилось, как по шучьему велению. Не было в Севастополе такого дома, в который не заходил бы Елисей. Квартира адмирала Корнилова на Городской стороне поражала Елисея нарядностью и богатством. Но не меньше дивился Елисей, попадая к Нахимову, в его домик на Екатерининской улице, скупое, даже бедновато обставленный только самым необходимым, что нужно одинокому человеку.

У генеральши Неплюевой в Тюремном переулке Елисею открывал калитку замызганный слуга в рваных опорках почти без подошв; а сама генеральша лежала на террасе, окруженная десятком мордастых мопсов, жирных и злющих, в серебряных ошейниках. Крепостные девки, нечесанные и в затрапезных сарафанах, были приставлены ко всей этой собачне кормить мопсов гурьевской кашей серебряными ложками из серебряных лоханок.

А вот в Корабельной слободке, у старика Позднякова — две внучки-сиротки, и хатенка у него прохудилась, стала совсем как решето. И пособить некому и нечем. А у Лизаветы Фроловой и двух копеек не нашлось, чтобы уплатить за доставку письма по почте, которое пришло от свекра, откуда-то из затерянной деревни Вологодской губернии.

К дедушке Перепетую Елисей заходил каждый день: то с письмом из Одессы от одного либо от другого сына, то с газетой «Русский инвалид». Дедушка предлагал почтарю отдохнуть у него под шелковицей и потчевал Елисея нюхательным табаком. Но, как обычно матросы, Елисей был курильщик и табаку не нюхал.

— Всюду ты теперь гость желанный, — говорил Елисею де-

душка, — а должность твоя, что ни говори, каторжанская. Легкое ли дело — с утра до ночи на ногах! Налью-ка я тебе бузы в кружку. Дашенька, нацеди нам бузы холоденькой.

Даша спускалась в погреб, где в бочке томилась и бродила пшенная буза. В погребе было темно и прохладно. Даша не боялась темноты. Но в темном погребе ей вспоминался отец. Матросы с фрегата «Кагул» рассказали Даше, как в Синопском бою зашибло Дашиного бату мачтой насмерть и он упал, чтобы уже больше не встать никогда. Зашили тогда батеньку в парусину и, привязав к ногам чугунное ядро, спустили с «Кагула» в море. И осталась Даша круглой сиротой.

Из отверстия в бочке буза бежала в ковшик. Даша, наклонившись, следила, как наполняется он светлокорицневой пеной. И случалось, что крупная слеза, покотившись из Дашиных глаз, попадала в ковшик вместе с бузой.

От бузы Елисей не отказывался. И пока он, сидя на лавочке под шелковицей, освежался игристым напитком, дедушка, вздев на нос очки, пробегал страницу газеты либо полученное письмо.

Последнее письмо, доставленное дедушке Елисеем Белянкиным, было запечатано в серый конверт с красным почтовым штемпелем. Елисей уже знал, что если на конверте красный штемпель, то, значит, весит письмо целых три лота¹. Значит, много чего написано в таком письме, будет что почитать.

Дедушка Перепетуй, хотя сразу узнал почерк старшего сына Михаила, сначала тоже удивился красному штемпелю на конверте и почти восьми мелко исписанным страницам плотной бумаги. За очками далеко ходить не надо было: они были тут, на столе. И дедушка Перепетуй принялся читать.

«Драгоценный родитель мой, Петр Иринеевич, — писал дедушке Перепетую почтительный и любящий сын. — В первых строках моего письма уведомляю вас, что все мы пребываем в добром здоровье и благополучии, чего и вам на долгие годы желаем. Все мы тут натерпелись страху, а всё от этих англичан, а как все произошло, опишу вам подробно.

Дело это началось еще 27 марта сего 1854 года. Прежде чем идти мне на пароход, где чистим котлы и ремонтируем машину, сидел я на терраске у себя; и все мы кушали чай, всем семейством: я и невестка ваша Настюша и внучек Павлушенька. И Павлушенька испугался и даже чай пролил, потому что, как гром среди ясного неба, ударила пушка; раз ударила и в другой. Я — сразу на улицу да на набережный бульвар, а там уже полно народу. Говорят — пальба с нашей стороны, стреля-

¹ Лот — старая русская мера веса; равнялась 12,8 грамма.

ют из Карантинной гавани холостыми. А почему вдруг пушечная пальба, вот послушайте.

Того же утра, когда мы всем семейством кушали на терраске чай, явился у нас на рейде военный пароход, названием «Фюриус». Пароход — большой, машина в пятьсот лошадиных сил, и шел он, как разбойник, без всякого флага. Ну, по Карантинной гавани команда — палить холостыми. Знай, дескать, гость незваный, порядок, коли запаматовал; знай, что честное судно, входя в гавань, поднимает флаг своей нации. Вот и проучили невежу. Стали палить из Карантинной гавани — он и поднял свой флаг. Глядим, ан флаг на нем английский. Что будет, дуем!

С парохода, глядим, спускают шлюпку, и шлюпка под белым парламентарским флагом идет прямо к берегу. Подошла к берегу, встал в шлюпке офицер, спрашивает про английского консула Эмса. Ну, а Эмс уже с неделю как выехал, война потому что между державами. А с Эмсом и французский выехал консул де Вуазен. И хорошо, что выехали, скатертью дорожка.

Офицер в шлюпке выслушал это, что было сказано ему, и, значит, по-английски гребцам: поворачивай, мол, братцы, оглобли, загребай правая, греби левая. Пошли они обратно к пароходу своему, к «Фюриусу», а пароход, чем дожидаться шлюпки, двинулся к молу. Не иначе, думаем, как промеры дна произвести, на береговые батареи взглянуть или для другого какого лазутчества. Так оно и вышло.

Подвигается пароход, а на носу матрос раз от разу лот¹ забрасывает. Ах, думаем, злодей! Среди бела дня, при всем честном народе! Так получай же! И командир порта дает команду.

Навели это на пароход пушечку да как вlepили затрещину, так что кожух, в котором колесо, сразу в щепы. Смотрим, поворачивает «Фюриус», шлюпку подобрал и без оглядки прочь. Только дыму напустил на набережный бульвар, мы потом чихали. Но это, батюшка Петр Иринеевич, только присказка, а самая-то суть впереди.

Проходит две недели. Девятое апреля. Все хорошо, чинно и благородно, погода — лучше не надо. Кушаем мы утренний чай на терраске. А я возьми да и скажи Павлушеньке:

«Помнишь, — говорю, — Павлушенька, чай ты пролил, как ударили с Карантинной, когда этот «Фюриус» приходил?»

«Помню, — говорит, — папаша. Очень я испугался, что англичане всех нас застрелят».

«Ну, вот видишь, — говорю, — дело-то обошлось: пришли и ушли, и поминай, как звали».

А Настюша мне:

¹ Лот — здесь: прибор для определения глубины моря.

«Не зарекайся, Михаил; война ведь».

Только молвила она это, скачет по улице мимо палисадника нашего казак, кричит: флот-де объявился неприятельский, прямо на Одессу курс держит.

Ах, будь ты неладен! Я, как был, выскочил без фуражки, на бульвар бегу. А тут уже народ на крыши взгромоздился, иной на пожарную каланчу пялится, другой на колокольню лезет. У кого — зрительная трубка в руках, у кого — бинокль. И видим — на горизонте корабли всплывают, пароходы дымят. Идут все к рейду. И стали считать мы... Считали-считали, насчитали двадцать восемь вымпелов. Верстах в трех от берега на якорях стали.

Ну, думаю, что будет теперь? Ждем, а мне уже к себе на пароход надо, потому что ремонт машины у нас. Да куда там! Побежал в гавань, а там говорят: ступай домой, какой, мол, тут ремонт. Бегу домой, а на улице — народу! Все с узлами, все с корзинами, и пешком, и в телегах, и на конях, и на волах... Нет, думаю, шалишь; меня так просто с места не сшибешь. А дома Настюша пристаёт: то ли укладываться, то ли раскладываться. Так время до обеда пробежало.

Сели мы на терраске обедать тем, что со вчерашнего осталось: печки-то ведь не топили, да и на базаре тоже ничего — лавки заперты, возы все разъехались... Сидим мы, вчерашний борщ едим с хлебцем черственьким. И приходит тут братец Николай, рассказывает, что доподлинно уже известно: на неприятельской эскадре пришли к Одессе два адмирала — командующий английским флотом адмирал Дондас и командующий французским флотом адмирал Гамелен. Оба они прислали парламентаря с письмом; а в письме этом написано такое, чего и не было вовсе. Просто враки. Что когда две недели назад приходил в Одессу пароход их «Фюриус», то будто бы шел он под белым парламентарским флагом. И что будто мы такие варвары, что стреляли по пароходу, на коем развеялся белый флаг. И вовсе это не так было: парламентарский флаг был только на шлюпке. И ни слова не пишут, бессовестные, про то, что пароход стал промеры делать и что не парламентар это был, а разведчик — приходил для лазутчества. Так чтобы в возмещение за то, что кожих этот поганый у лазутчика растрепали, а кожиху этому три копейки цена... так чтобы в возмещение мы немедленно передали им все купеческие корабли, находящиеся в гавани у нас!

Что вы скажете, батюшка Петр Иринеевич? Такое всех жителей зло взяло! Неужели, думаем, начальство пойдет на это? Так если пойдет, то народ не допустит, чтобы такой измене быть.

Поговорили мы так с Николаем; он и отобедал с нами...

А после обеда попрощался, домой пошел: время было такое, всего жди.

А между прочим, Одесса наша уже готовилась. Всюду проходили войска. На Соборной площади стояла артиллерия. Кто жил близ гавани, те потянулись со скарбом подальше, на Молдаванку либо в Новую слободку. Мы с братцем Николаем решились пока что не ломаться. Неужели, думали мы, культурная нация — англичане, скажем, либо французы — станет палить по открытому городу, где только коммерческий порт, а ни войска порядочно нет, ни кораблей военных? Нет, думали мы, постоят для форсу и уйдут восвояси. Не тут-то было!

Опять настало утро. Десятого это было апреля. И мы снова всем семейством на терраске чай кушали. И вдруг в половине седьмого прогудело: чжжж!.. И началось! За первым выстрелом — другой, там — третий, четвертый; уже залпами бьют... Я сказал Настюше укладываться, а сам побежал к гавани.

На моих глазах от вражеской эскадры отошли все девять пароходов и полным ходом на всех парах побежали к Пересыпи, к нашей батарее номер шесть. И стали пароходы ходить по кругу против батареи. И когда проходили против батареи, то каждый давал залп со всего борта. В Скаржинском переулке — место высокое; я — туда и всю эту карусель отлично из переулка видел: как бегали пароходы по кругу и всё стреляли по батарее. А батарея отвечала сначала двумя пушками, а потом — так только одной: И позади батареи уже загорелся склад корабельных канатов, так что батарея была между двух огней — и с фронта и с тыла.

Каково-то им было, голубчикам, на этой батарее с одной пушчонкой?.. А все этот молодец Щеголев, всего — прапорщик, а какой герой! Это он командовал огнем на батарее и одной пушечкой отбивался от девяти пароходов.

И взрыв такой ужасный вдруг раздался, подобного которому никогда я не слыхал. Это с парохода угодили в пороховой погреб на батарее. Все укрылось от моего взора в черном дыму, в тучах пыли, сверху на меня посыпался раздробленный камень, так что порядочно наступало.

А уже и пушечка на батарее умолкла. Ан нет! Умолкла, да вдруг видим, когда дым отнесло, мелькнул на батарее огонек, и Щеголев давай себе постреливать как ни в чем не бывало.

Мы сначала, кто были в Скаржинском переулке, так даже ахнули, а потом все «ура» этому Щеголеву прокричали. Вокруг него уже все горит, а он не слается, готов и с одной пушчонкой идти против целой эскадры. И только тогда сошел с батареи Щеголев, когда и эту последнюю пушчонку у него подбили.

А Щеголев этот совсем молоденький, только недавно ученье кончил. Я его видел потом — из себя совсем невзрачный офице-

рик, а так себя показал. На весь свет русское имя прославил, так что иностранные консулы, какие есть в Одессе, даже просили, чтобы им показали Щеголева. И все тут от него без ума».

Дедушка Перепетуй ничего не видел, не слышал... Он весь ушел в чтение письма о бомбардировке Одессы 10 апреля 1854 года. И того не заметил дедушка, как Елисей Белянкин допил бузу и вышел из сада, притворив за собой калитку.

Было тихо, только осы гудели над ветками шелковицы. А дедушка все читал и читал, и только листки бумаги, шершавые и плотные, шелестели у него в руках.

«Между тем, — читал дальше дедушка, — неприятель с пароходов своих заметил нас, как мы стояли в Скаржинском переулке. Все — совсем безоружные жители; больше всего в гражданском платье, в сюртуках, а простой народ — в поддевах или в чем. И отлично это неприятелю видно в зрительную трубку. А он, не имея ни стыда, ни чести, взялся палить по безоружным жителям. Так что над головами у нас стали лопаться бомбы.

Мы все пошли из Скаржинского переулка. И когда спускались с горки, то под нами внизу грохнулась такая бомба — маханица! В ней, будь она неладна, верных три пуда весу. Грохнулась и подскочила рикошетом, да прямо нам под ноги; стала и не шевелится. Мы тоже стоим, не шевелимся, ждем, не лопнет ли; а другие наземь попадали, тоже ждут жизни или смерти. Но тут один из нас, в поддевочке и в шляпе поярковой, наклонился над бомбой этой, погладил ее руками.

«Еще, — говорит, — горяченькая, не остыла».

А была в бомбу ввинчена трубка. Трубку вывинтили и всю начинку из бомбы высыпали. Так и лежит теперь бомба в канаве, и все приходят поглядеть на нее.

Пока мы возились с этой бомбой, с парохода стали бросать зажигательные ракеты и поджигать дома на Пересыпи, а потом и вовсе стали палить по городу, куда только.

Тогда в народе пошел такой разговор, что вот-де какая сильная пальба поднялась от англичан, а нашей пальбы мало. И такой слух пошел, что измена у нас. Что начальники изменничают, немцы они — Остен-Сакен и Крузенштерн. И что по-ихнему хоть трава тут у нас не расти и, коли что, то пускай-пропадай совсем Россия. И не с кого спрашивать, потому что начальство с набережного бульвара съехало; не знай, где искать его; попрятались по дворцам — ищи их.

А мясник Чикида, молодой такой, здоровый, как заорет:

«Бей, ребята! Измена! Пойдем кабаки бить!»

И стали они разбивать кабаки, что в Гаванной улице.

Откуда ни возьмись, полицмейстер с шестью казаками.

«Чего вы орете тут, разбойники?»

А Чикида ему:

«Вишь, чего орем: что больно неладно поступаете, вот что».

«Кто неладно поступает? — спрашивает полицмейстер. — Чем неладно?»

«Вестимо, чем, — отвечает Чикида. — Англичане бьют наших, смотри-ка, изо всех из пушек, а наши-то молчат».

«Как это — молчат, разбойник? — кричит Чикиде полицмейстер. — Уши тебе заложило?»

И тут вся толпа закричала:

«Вестимо, молчат наши! А начальство попряталось; генерал-от, знать, изменничает».

«Измена-а!» — заорал Чикида что стало в нем мочи.

Полицмейстер поднял коня на дыбы, бледный весь, кричит:

«Аркан! Казак, аркан! Повесить каналью на фонаре!»

Казак враз махнул арканом, и захлестнулась на шее у Чикиды петля.

Чикида упал, с лица сразу стал синий, хрипит... А казак нагайкой по лошади и поволок несчастного Чикиду к фонарю.

Мы все бросились кто куда. Я шмыгнул во двор, где котлы в Гаванной лудят. Гляжу в щель: с Чикиды аркан сняли, в полицию повели. Так по сей день в полиции сидит. Говорили, что старик, отец Чикидин, с полицией не сторговался. А то бы молодой Чикида давно на свободе ходил.

И пока тут в Гаванной улице шел у кабака этот разговор с полицмейстером, а потом Чикиду в полицию повели, смотрю — уже шестой час времени, а пальба и вовсе прекратилась. Да, батюшки, думаю, что дома у меня? Прибегаю домой, а там Настюша в слезах на узле сидит, меня поджидает. Посудили мы, порядили: пальбы больше не слышно; давай, думаем, чем ломаться, еще подождем — что будет. И хорошо, что съезжать никуда не стали. Больше не палил, так стоял; что думал, не знаем; а четырнадцатого числа так и вовсе убрался.

В первый день, как была бомбардировка, поранило восемь человек мирных жителей, а троих — так и прямо насмерть. На базарной площади отставному солдату Стройке голову снесло, у Сабанеева моста солдатку Федосееву убило; да еще у аптекарского служителя Филиппова — вы, батюшка, помните его, он земляк нам, тоже из Севастополя, из Корабельной слободки, — так Филиппова сынишке на бульваре ноги отрезало; тут же, на бульваре, и помер».

Дедушка Перепетуй жадно прочитывал страницу за страницей. В душе у него клекотала злоба против англичан и французов с их адмиралами Дондасом и Гамеленом. Но в то же вре-

мя дедушка и счастлив был тем, что Михаил и Николай и Настюша с Павлушенькой — все они остались живы и все здоровы, только, конечно, страху смертного набрались. И еще был рад дедушка, что вот объявился такой герой, прапорщик Щеголев: с одной пушчонкой против восьми пароходов воевал.

Но письмо было прочитано не все.

— Почитаем дальше, — сказал дедушка.

И стал читать дальше.

«Я ходил смотреть на дворец князя Воронцова, — писал дальше судовой механик Михаил Петрович Ананьев отцу своему в Севастополь, в Корабельную слободку. — Под ним, под дворцом этим, в низку, как раз батарея номер шесть, где Щеголев был. Так дворец этот десять лет русские люди строили, а французы с англичанами в час времени растрепали в прах и в щепы. И еще разбито домов не менее полусотни, да еще сгорело сколько!

А батарея номер шесть теперь Щеголевской называется. Да только вот осталось от батареи одно звание. Что было дерева на батарее, так дотла сгорело. И от лафетов пушечных тоже ничего не осталось: сгорели. Всюду кучи земли нарыты, а по кучам этим, прямо на земле, валяются чугунные пушки. Диву даешься, как это Щеголев в этом аду по неприятелю палил и уцелел и из ада этого жив и невредим выбрался. Что из того, что молод? А какой душевной силы человек оказался!

На том, батюшка Петр Иринеевич, дозволейте кончить; эвон, глядите, сколько бумаги исписал!

Как будет случай, поедут из Одессы в Севастополь, так перешлем вам новую табакерку; а на табакерке, на крышке, — портрет прапорщика Щеголева.

И все мы вам кланяемся и обнимаем и крепко целуем.

Любящий и преданный сын ваш Михаил».

Вот как узнал дедушка обо всем, что произошло в Одессе. А в газете «Русский инвалид» еще ничего не было. В газете уже напечатали потом.

XVI

Снова с почтарской сумой

Дедушка Перепетуй, соснув после обеда часок, сидел на постели у себя в парусиновых шароварах и чувяках на босу ногу. С улицы стукнула калитка, и дедушка в открытое окошко увидел Елисея Белянкина, шагавшего по двору прямо к саду.

— А-а! — крикнул ему дедушка. — Елисей Кузьмич! Взойди в квартиру, почта!

Елисей поднялся на крыльцо и прошел в чистенькую горницу с накрытым скатертью столом и соломенными стульями. Из соседнего покойчика вышел дедушка Перепетуй.

— Ну, садись, друг любезный, — сказал он, пожав Елисею руку. — Выкладывай, где был, что видел, что слышал.

— Да ты спроси-ко лучше, Петр Иринеич, куда мои ноги не ходили! Нынче даже на похоронах побывал.

— Как — на похоронах? — удивился дедушка. — Кто помер? Царствие небесное, вечный покой!

И дедушка стал быстро креститься.

Елисей рассмеялся.

— Погоди ты, Петр Иринеич, панихиду служить, не бери греха на душу. У генеральши Неплюевой пес подох, здоровенная такая псина. Мопс — что бык.

Дедушка вытаращил глаза и раскрыл рот от изумления.

— Утром, — стал рассказывать Елисей, — как почта с Дуванки прибежала, нагрузил я полную суму, два пуда верных, и первым делом с Почтовой улицы завернул в Тюремный переулок. Открывает мне Яшка — при воротах у генеральши находится — и говорит мне: «Не знаю, как быть с тобою, Елисей Кузьмич: у нас сегодня траур». — «Почему так, Яша? — спрашиваю. — По какой, — спрашиваю, — Яша, причине?» — «По причине того, — говорит, — что пес у нас издох, Мене Лай ему кличка. Недоглядели, как хватил этот Мене Лайка со стола курячью косточку. Приходил лекарь из гошпиталя, сказывал, что от курячьей косточки и стряслось: дескать, кость курячья — острая, ну-де вот она Мене Лаю этому черева изодрала. А далось бы так, чтобы все эти мопсы передохли в одночасье, так все же нашему брату, подневольному человеку, полегче бы стало. Впрочем, — говорит, — проходи, Елисей Кузьмич. Тебе всегда честь и место».

Дедушка Перепетуй, хотя и закрыл уже рот и даже на стул присел, но слушал Елисея внимательно, не перебивая его ни вопросами, ни восклицаниями.

— И что же ты думаешь, Петр Иринеич! — продолжал Елисей. — Проводил это меня Яшка в сад, а там в саду, вижу, под кипарисом яма вырыта — могила, значит, — и стоит на земле гроб, парчой обитый, и лежит в гробу агромаднейший мопс, Мене Лай этот, лежит на атласных подушках в серебряном ошейнике. И девок тут дворовых полно; у каждой девки на сворке по мопсу; и мопсы те воют, со свор рвутся; а сама Неплюиха черное платье надела, сидит у гроба, в три ручья разливается. Ну, думаю, такого, верно, хоть где, а не увидишь. И мне бы, думаю, тоже лучше на такую пакость не глядеть,

прямо с души рвет. «Принимай, говорю, Яша, почту, и с тем — до свиданья».

У дедушки Перепетуя лицо побарговело, в глазах налились красные жилки... Он откинулся на спинку стула и принялся барабанить пальцами по столу.

— Вот что делается! — сказал он только.

Слов ли он не находил, чтобы выразить свое негодование по такому мерзкому случаю, или же вовсе не хотел говорить о такой гнусности, но, бросив барабанить, он заговорил совсем о другом.

— Вот, — сказал он, — пришли гости в Одессу, неожиданны-непрошенны, и разгрохал их в черепки и щебень кто? Прапорщик Щеголев. Прапорщик Щеголев, безусый юнец, герой. Вот...

Дедушка достал из шкафчика с посудой картонную коробку из-под яблочной пастилы. На коробке был изображен совсем еще молодой офицер в сюртуке с эполетами и в каске. Под картинкой была нарисована георгиевская ленточка с надписью:

Прапорщик Щеголев. Слава герою!

И на пакетике с нюхательным табаком, на этажерке, тоже был портрет Щеголева и на обертке земляничного мыла...

— Ну хорошо, — продолжал дедушка, — набил им Щеголев морду, и ушли супостаты несолоно хлебавши. Сунулись они, слышно было, под Феодосию, под Керчь, понюхали — может, что и разнюхали, да только и тут прочь пошли. Почему пошли прочь? А? Примечай-ка. Почему не вернулись в Одессу? А потому, что не в Одессе была тут сила. Где черноморскому флоту гавань? В Севастополе. Кто черноморскому флоту оплот и пристань? Севастополь. Другого не скажешь. Вот в Севастополь-то и ждать надо теперь все их нечестивое воинство.

— Выходит, что так, Петр Иринеич, — согласился Елисей.

Дедушка повел Елисея в сад, и они сели под шелковицей. Реполов, до того насвистывавший в густой листве, как на флейте, сразу оборвал свои трели. И тут Елисей как будто смутил дедушку вопросом, поставленным прямо в лоб:

— Да разве, Петр Иринеич, мы их не побьем и в Севастополе? Ты как скажешь?

Дедушка вместо ответа потянулся к своей лакированной табакерке; ее прислал недавно дедушке в подарок внук Павлушенька. Елисей и на крышке новенькой табакерки разглядел портрет прапорщика Щеголева. А дедушка тем временем втянул в нос щепотку табаку, прочихался, вытер нос красным клетчатый платком, смахнул этим же платком табак, попавший на грудь холщовой, вышитой крестиками сорочки, и только тогда ответил Елисею на его вопрос:

— Спрашиваешь, побьем ли? То-есть это когда придут супостаты в Севастополь?

И дедушка, помолчав минуту, сказал твердо:

— Трудно, а побьем. — Он щелкнул пальцами по листу шелковицы, по которому ползла гусеница, и продолжал: — Почему трудно? Примечай-ка, братец. Солдат русский — храбрый солдат; коли встанет за родину, так на штык троих возьмет по-суворовски, одним махом. «Штык, штык невелик, а возьмешь троих на штык» — вот как певали у Суворова, когда на штурм Измаила шли в 1790 году, турок эвон из какой твердыни вышибали. Да с той поры в Черное море много воды натекло, а из Черного в Средиземное не меньше того вытекло. Механика, братец ты мой, теперь очень одолевает. У англичанина, слышь ты, машина ко всякой работе приставлена, штуцер механический с нарезным стволом каждому солдату в руки даден, бьет метко на тысячу двести шагов, а то и боле. Как к нему с одним штыком, с ружьишком-то кремневым гладкоствольным дрянненьким подступишься, когда ружьишко это бьет на триста шагов, и то не в цель? И солдат наш — некормленный, голодный и холодный... Очень у нас обиженный солдат. А все же, братец ты мой, побьем мы их, как не раз уже бивали: французов этих под Москвой в двенадцатом году, шведов под Полтавой в семьсот девятом, прочих иных в иные годы по иным местам. И будет им Севастополь тоже могилой.

— Да, это — да, — согласился и тут Елисей.

— Однако вот, — продолжал дедушка, — беда, вот в чем она: голыми руками нам рыть могилу им придется. У них, у чертей караковых, у англичан этих и у французов, ко всякому делу теперь сила пара и электричества приноровлена. Эвон глянька...

И дедушка протянул руку по направлению к морской библиотеке.

Она была выстроена на горе, великолепное здание это было в Севастополе видно отовсюду. Кроме того, на кровле библиотеки, на вышке, поднимался еще выше коленчатый семафор оптического телеграфа. Дедушка и сам когда-то работал на вышке библиотеки, на телеграфе. Там теперь день-деньской шла небывалая, неустанная работа. Елисей, присевший у дедушки Перепетуя передохнуть под шелковицей, видел со своего места, как непрерывно менялись в пазах семафора на вышке разноцветные планки — то вертикальные, то горизонтальные, то изломанные под разными углами. Каждая такая планка обозначала какую-нибудь букву алфавита. Из букв составлялись слова, из слов — сообщения, приказы, призывы о помощи.

От одной телеграфной вышки до другой не больше десяти, на крайний конец — пятнадцати верст. И тянутся эти вышки —

Елисей знал это — через всю Российскую империю, от Севастополя до Петербурга. На всех вышках дежурят сигналисты с подзорными трубами и что заметят в подзорную трубу на семафоре ближайшей башни, то сейчас же воспроизведут и на своем семафоре набором таких же планок. Так за день будет передана депеша от башни к башне через все две тысячи сто десять с четвертью верст, что намерены от Севастополя до Петербурга. И в столице узнают, что в Севастополе мало войска, нужны еще солдаты; что в Севастополе мало орудийных снарядов, мало обмундирования и провианта, не хватает кирок и лопат саперам; и что Севастополь почти совсем не укреплен с суши.

— Эх-ма! — вздохнул тут дедушка. — Оптические телеграфы эти еще царем Горохом заведены, когда комары с грибами воевали. Мудреное ли дело — планки в семафоры вколачивать! Пока управисьшь с этими планками, целый флот может на дно морское пойти. Слыхал ты, братец, про телеграф электрический?

— Электрический? — удивился Елисей.

— Вот-вот, — повторил дедушка, — электрический. У них, у чертей, повсюду такие телеграфы живут. Сидит, понимаешь ты, телеграфист у такого прибора, сидит себе и постукивает, а депеша молнией несется по проводам. Р-раз — и все известно, что надо, всё по депеше вычитают и сделают, что требуется.

Елисею непонятно было, как это депеша, обыкновенный листок бумаги, может бежать по проводам. Но если дедушка говорит, значит так бывает. А дедушка совсем разошелся. Елисею пора дальше идти, а то ведь стоит работа. Он уже поднялся было с лавочки под шелковицей, но и дедушка встал и держит Елисея за ремень от сумы, не выпускает со двора.

— А теперь примечай-ка, — не унимался дедушка. — У нас весь флот на парусах держится — парусный флот, пароходов у нас в Севастополе по пальцам считать — одной руки хватит.

Но Елисей, весь век проплававший на парусном флоте, стоял за паруса.

— Что проку в них, в парюходах — в самоварах этих? — возразил он дедушке. — Одна копоть.

Дедушка был и без того расстроен рассказом Елисея о похоронах мопса, а теперь и вовсе рассердился, даже ногою топнул, стал задыхаться.

— Да как ты, да что ты... — лепетал он только. — Понимаешь ли ты, деревенщина, что есть сила пара? — закричал он визгливо, и Елисей очень пожалел, что огорчил такого душевного старика.

— Где нам все это уразуметь, мужикам деревенским! — сказал виновато Елисей. — Необразованность наша...

Но до дедушки слова Елисея уже не доходили.

— Молчать! — крикнул он, снова топнув ногою. — Мол-чать!

Елисей надел на голову каску, поправил на себе суму:

— Прощения просим, Петр Иринеич; коли что обидное, так извиняйте.

— Молчать! — крикнул еще раз дедушка и бросился прочь в кусты тамарисков, разросшихся у него под плетнем.

Там он постоял, понюхал табачку, чихнул и успокоился. Услыхав, как стукнула калитка, он вдруг вообразил, что это не его обидели, а он, Петр Иринеич Ананьев, только что обидел однорукого комендора и почтаря Елисея Белянкина.

— Ах, грех-то, грех-то какой! — засуетился дедушка и даже табакерку свою из рук выронил. Но он не стал искать ее в тамарисках, а бросился к калитке на улицу.

На улице не было ни души; Елисея давно след простыл. Одна коза Гашка на веревке бродила там вокруг да около кола, пощипывая выгоревшую траву, да какие-то шустрые птички возились в кустах, совсем оцепеневших от полуденного зноя.

Дедушка вернулся к себе под шелковицу расстроенный.

Казалось, все было, как обычно. Почтовый тракт тянулся через Корабельную слободку мимо домика дедушки Перепетуя... Внизу, за морскими казармами, волна, набегавшая с моря, терлась о берег бухты... И осы пели над шелковицей, и беркут плыл в голубом небе...

Но дедушка чувствовал: что-то готовилось в этом краю.

XVII

Дальше с почтарской сумой

Елисей уже за двумя поворотами шел дальше в своей почтарской каске и с выгоревшей на солнце старой почтарской сумой.

Он с утра и до вечера ходил теперь по улицам и слободкам Севастополя. И все больше убеждался, что Севастополь отлично защищен с моря береговыми батареями и военным флотом, всегда готовым дать неприятелю отпор. Но с суши подступы к городу были открыты, и, следовательно, с суши Севастополю и угрожала страшная опасность. Потому-то, на глазах у проходившего со своей сумой Елисея, саперы все лето строили на Северной стороне укрепление; то тут, то там стучали тяжелые молотки каменотесов; каменщики шебаршили своими лопатками, складывая на Малаховом кургане башню. Всего этого было мало, но командующий Крымской армией Меншиков был, видимо, и этим доволен. Елисей застал его подле самой башни, которая с каждым днем поднималась все выше. Письмо, которое подал ему Елисей, было адресовано «светлейшему князю Мен-

шикову в собственные руки». Князь, не распечатывая письма, помахал им в воздухе и сунул за обшлаг шинели.

— Хи-хи! — засмеялся он, вспомнив что-то, что рассмешило его, может быть, лет пятьдесят назад.

Потом перебрал мелко ногами и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Еще поднять башню... На полсажени выше... Тогда мы сможем сказать неприятелю: милости просим пожаловать.

Он вдруг глянул с изумлением на Елисея, на его каску и суму, топнул ногой и крикнул:

— Какого полка?

Елисей мгновенно вытянулся и взял руку под козырек:

— Сорок первого флотского экипажа отставной комендор Елисей Белянкин, ваша светлость.

Меншиков шагнул к однорукому Елисею и взял его за левый, пустой, рукав. Он подержал рукав, помял его и, резко отбросив прочь, стал спускаться с кургана, путаясь ногами в своей длинной шинели.

Не зная, что и подумать, Елисей стоял «смирно», провожая Меншикова глазами. А тот все уходил, словно качаясь на ветру, и вдруг сразу пропал в балочке у подножия кургана. Тогда Елисей повернулся налево кругом и зашагал в другую сторону.

Стоял полдень. Только редкие прохожие попадались Елисею навстречу. Под заборами лежали на солнцепеке собаки, вывалив языки. Елисей шел, и в душе у него нарастала смутная обида. И он вспомнил тут слова бабушки, Петра Иринича:

«Очень у нас обиженный солдат».

Так, ворочая в голове какую-то новую, непривычную думу, Елисей стучался в окна и двери; сума у него становилась все легче; и уже с наполовину опустевшей сумой добрался он наконец до Графской пристани. Там он застал толпу народа и сквозь толпу эту разглядел Нахимова. Народ шумел; плакали какие-то старухи; Нахимов махал руками:

— Пойдите-с, пойдите-с, не все разом. Всем разом только «ура» кричать можно, а не просьбы высказывать. Этак я ничего не пойму... Старик, надень шапку и говори, что тебе надо.

— Ваше превосходительство, батюшка! — взмолился дряхлый старик, очутившийся ближе всех к Нахимову.

В руках у старика была жестянка из-под ваксы, служившая ему табакеркой. Он взглянул на крышку, на которой был нарисован негр, перевел глаза на двух босоногих девочек, стоявших подле, и сказал:

— Внучатки мои, гляди-ко, Павел Степанович, какие махонькие:

— Вижу, что маленькие, — ответил Нахимов, — а выра-

стут — большие будут, красавицы, тебе на радость. Говори, старик, дело. Из флотских ты? Лицо мне твое знакомо.

— Да как же, ваше превосходительство! На корвете «Наварин» плавал под твоим командерством. Давно это было, только годок и поплавал с тобою; а потом — на «Трех иерархах» год, а после того как охромел, так в чистую отставку меня. Теперь вот и вовсе ветхий стал. Хатенка, вишь, моя продырявилась, дождь захлестывает и снег зимой зашибается, а починить некому: руки мои уж и вовсе топора не держат.

— Остренов, — обратился Нахимов к стоявшему подле адъютанту, — двух плотников устройте немедля-с. Скажите: просил Нахимов послать к старику Пюзнякову в Корабельную слободку хату ему починить.

У старика затряслись руки, и слезы брызнули из глаз.

— Признал, признал меня, батюшка! — завопил он, пытаюсь поцеловать у Нахимова руку. — Сколько лет прошло, а и фамилию вспомнил!

Нахимов отдернул руку и нахмурился:

— Поздняков, смирно! Я не поп, руку целовать мне не положено. А что помню я тебя, так это верно. На «Наварине» ты мне каяту красил?

— А то кто же? — прошамкал старик. — Из маляров на корвете я, чать, лучшим почитался.

— Вот потому, помню тебя, что был ты замечательный маляр. И плясун, помню, тоже был отличный.

У старичонки вдруг мелькнул огонь в поблекших глазах, он сунул жестянку с табаком за пазуху, выпятил грудь, топнул ногой...

— Бывалось, — крикнул он, — плясали! Эх, — взмахнул он руками и снова ногой топнул, — что нам, малярам! Одно слово, ходи лавка, ходи печь...

— Хозяину негде лечь... — отозвалась в толпе чья-то звонкая глотка. — Дуй, Силантьич, чтоб земля горела!

Раззадоренный старик, прихрамывая, пошел было по кругу, но с первого же поворота зашатался и опрокинулся бы навзничь, если бы его не подхватил стоявший позади матрос. Он поставил старика на ноги, и тот, сконфуженно хмыкнув, нырнул в толпу. Нахимов расхохотался, но перед ним уже стояла высокая женщина, босая, закутанная в большой заношенный, весь в заплатках и дырках, платок. С нею был худенький мальчик, большеголовый и большеглазый, без порточков, в одной ситцевой рубашонке.

— Ну вот, — обратился к женщине Нахимов. — Тебе, горе-мычная, что?

— Хлебушка нету, — заплакала та, — помираю с сиротами голодной смертью!

— Как — с сиротами? — спросил Нахимов. — Почему с сиротами? Разве ты вдова?

— Вот уж пятый месяц, как схоронила моего. Иван Фролов — муж мой.

— Это Фролов из рабочего экипажа? — спросил Нахимов.

— Из рабочего экипажа, — подтвердила женщина.

— Так разве он помер? Такой здоровяк и мастер хороший.

— В одночасье помер. Упало на него бревно. Бревном убило его. Помер — словечка не молвил. Горе мне теперь мыкать с сиротами малыми.

Она что-то еще рассказывала, но слов ее уже не разобрать было за душившими ее слезами. Затрясшись вся, она умолкла и стала вытирать лицо краем платка.

У Павла Степановича по лицу пробежала судорога.

— Остренов, — крикнул он, поведя плечом, — дать вдове Ивана Фролова пять рублей!

— Денег нет, Павел Степанович, — развел руками адъютант.

— Как — нет? Отчего нет?

— Да какие были деньги, так все уже розданы.

— Ну, дайте пока из своих.

— А и мои уже, Павел Степанович, потрачены.

— Ах ты, беда какая! — совсем растерялся Нахимов. — Что же мне с тобой, Фролова, делать?.. Господа, — обратился он к офицерам, стоявшим немного поодаль, — дайте мне кто-нибудь взаймы пять рублей.

У молодых мичманов денег почти не водилось, да и пять рублей были в ту пору немалые деньги. Но среди мичманов был Никольский с «Императрицы Марии», теперь уже лейтенант. Он вынул из кошелька золотую пятирублевую монету и передал ее Нахимову.

— Остренов, запишите, — сказал Павел Степанович: — взято у лейтенанта Никольского взаймы пять рублей. Двадцатого числа возратить должок... Спасибо, лейтенант Никольский... Фролова, получай!

Фролова, получив золотой пятирублевик, успела-таки чмокнуть Павла Степановича в руку и пошла вдоль берега бухты, плача и уводя с собой своего большеголового сынишку.

«Вот Фролов из рабочего экипажа, — подумал Елисей: — краснощекий, кудрявый, в плечах косяя сажень... А зашибло бревном того ли, другого, лег в могилу, будь то матрос или солдат, а сироты голодной смертью помирают».

И опять Елисею пришли на ум слова дедушки Перепетуя: «Очень у нас обиженный солдат».

Но в это время Нахимов заметил в толпе каску, похожую на арбуз, обрезанный снизу и выкрашенный в черный цвет. Каска

была украшена двуглавым орлом из красной меди и медными же изображениями двух почтовых рожков.

— Белянкин! — крикнул Нахимов, подняв голову и привстав на носки. — Что там у тебя в суме для меня? Выкладывай.

Толпа стала расходиться. Остренов подошел к стоявшим в сторонке офицерам. А Нахимов, присев на ступеньку, принялся распечатывать и пробегать глазами письма, которые одно за другим доставал для него из сумы Елисей. Покончив с последним письмом, которое заставило его почему-то рассмеяться, Нахимов вскинул голову.

— Всё? — весело спросил он Елисея.

— Сегодня всё, Павел Степанович.

— Хорошо, Белянкин, спасибо; можешь идти.

Но Елисей не трогался с места. Он стоял перед Нахимовым, как на корабле в былое время, вытянувшись, и Нахимов заметил какую-то растерянность у него на лице.

— Чего тебе, Белянкин? — спросил Нахимов. — Дело у тебя ко мне, так говори.

— Не то чтобы дело, Павел Степанович... — мямлил Елисей. — А только что спрошу я у вас...

— Спрашивай, Белянкин, — кивнул ему головой Нахимов.

Все еще сидя на каменной ступеньке пристани, Нахимов вытащил из заднего кармана сюртука трубку и стал прочищать ее перочинным ножом.

— Только прошу я вас, — сказал Елисей тихо: — не сердайте вы на комендора своего.

— Что ты, Белянкин! — удивился Нахимов. — Зачем же мне на тебя сердать?

— Так спрошу я вас, Павел Степанович, — стал уже совсем шептать Елисей: — что, побьем мы этих всех, агромаду эту?

— Армаду¹, Белянкин, — поправил Нахимов.

Он встал, подошел к Елисею вплотную и положил ему руку на плечо. И, взглянув ему в глаза своими серыми лучистыми глазами, ответил на вопрос слово в слово, как час назад дедушка Перепетуй:

— Трудно, а побьем.

¹ Армада — огромный военный флот в море.

Дача Кортаци

Письмо от сына Михаила дедушка Перепетуй читал и перечитывал, и от дедушки вся Корабельная слободка узнала во всех подробностях о том, что произошло в Одессе в памятные дни апреля 1854 года. К дедушке заходили послушать о необычайных событиях все, кто был чем-нибудь связан с Одессой.

Стояло высоко солнце, и на кораблях в бухте дружно били полдень, когда у дедушкина домика остановились извозчичы дрожки. Выше ворот поднялось облако пыли на немощеной улице, и дедушка в саду у себя засуетился, заторопился... Но в калитку уже входила молодая дама, прятая лицо от солнца под красным шелковым зонтиком, а за нею шел капитан-лейтенант Николай Лукашевич.

Нина Федоровна Лукашевич всего полгода как вышла замуж и еще полгода назад называлась Ниночкой Рославец. В Одессе у нее было множество подруг и целый десяток дядюшек и тетюшек. До нее тоже дошли слухи про удивительное письмо из Одессы, только на днях полученное в Корабельной каким-то отставным кондуктором телеграфической роты. И Нина Федоровна потребовала от мужа тотчас взять ее к этому кондуктору — не то Петру Ананьеву, не то Ананию Петрову.

Анания Петрова никогда в Корабельной слободке не бывало. Но Петра Ананьева там знали все. И вот молодая чета сидит у Петра Ананьева под шелковицей в чистеньком садике, и Нина Федоровна смотрит на мохнатого старикана с коричневой от загара лысиной, и на зеленую садовую лейку у клумбы, и на кусты тamarисков выше плетня.

— Как здесь хорошо! — говорит она. — Коленька, как хорошо!

Дедушке нравится эта молодая, красивая женщина, нравится все в ней — и ямочки на щеках, и жемчужинки в ушах, и голос ее, и простые слова, которыми она похвалила тamarиски, и шелковицу, и лейку — все, что было вокруг. И дедушка вздевает очки и страницу за страницей читает своим новым знакомым заветное письмо.

По столу проползла букашка, красненькая с серебряными крапинками, проползла от края до края и свалилась под стол. Потом на столе заметался большой рыжий муравей и тоже пропал — где-то в щели между досками. Нина Федоровна не заметила ничего. Она наморщила лоб, затененный зонтиком, и, не отрываясь, смотрела на дедушку. Лукашевич тоже слушал внимательно, насупившись и разглядывая свои шегольские сапоги. А дедушка все читал и читал, пока не дочитал до конца.

— Ах, Коленька, — воскликнула Нина Федоровна, когда дедушка положил на стол последний листок, — как это странно, как удивительно все и как страшно! Большой город, и столько людей... и сразу — такое...

Лукашевич встал, прошелся по дорожке от шелковицы до плетня и вернулся обратно.

— Стало быть, не на шутку каша заваривается, — заметил дедушка, снимая очки. — Это все равно как машина, ежели получит ход и набирает скорость. Застопорить теперь невозможно. А все же, сударыня, обломает мы машине этой шестерни.

Но Нина Федоровна была, видимо, занята своими мыслями и ничего не ответила дедушке. Она положила раскрытый зонтик себе на колени и, побледневшая, опечаленная, стала еще краше. Сжимая в руке кружевной платочек, она повторяла:

— Как страшно!.. Как страшно!..

Но стукнула калитка, и в сад прошел со своей сумой Елисей Белянкин. Увидя Лукашевича, он остановился и взял под козырек.

— А-а, Белянкин! — крикнул Лукашевич. — Ко мне заходил?

— Побывал уже у вас, Николай Михайлович. Только — газеты.

— А письма? Когда же ты, Белянкин, письма принесешь?

— Да ведь... — растерянно развел рукою Елисей. — Нету писем. Не пишут, значит, Николай Михайлович.

— Нехорошо, Кузьмич, — покачал головой Лукашевич. — Вместе служили, вместе Синоп брали, а ты так, знаешь...

И Елисей почувствовал, будто он в самом деле в чем-то виноват перед Лукашевичем: что ни говори, а не смог угодить такому герою. Наклонившись над своей сумой, Елисей вытащил из нее две газеты и письмо и положил все дедушке на стол.

— Да ведь... — бормотал он, снова разводя рукою. — Уж я бы, Николай Михайлович, для вас... Вот и Нина Федоровна...

— Знаю, знаю, — погрозил ему пальцем Лукашевич, — рассказывай!

Окончательно смутившись, Елисей снова взял под козырек и повернул к воротам. А дедушка протирал тем временем очки и когда управился с ними и вздел их себе на переносицу, тогда только заметил краешек конверта, выглядывавший из-под газеты.

— Ба-ба! — воскликнул дедушка. — Вот штука! Опять мне письмо!

— Несправедливо, Петр Иринеич, — заметил капитан-лейтенант, опускаясь на скамью. — На что ж это похоже? Вам — что ни день письма, а я по месяцу жди. Вы, должно быть, в сговоре с Белянкиным?

Но тут уже и дедушка смутился.

— Так ведь... — разводил он, в свой черед, руками. — Да нет же... Совсем это не так, Николай Михайлович... и вы напрасно... Вот пусть Нина Федоровна скажет...

Нина Федоровна рассмеялась:

— Что вы, Петр Иринеич! Успокойтесь. Николай Михайлович пошутил. Это он со всеми...

А дедушка, сняв очки и приоткрыв рот, глядел на Нину Федоровну так, словно только что, сию секунду, ее впервые увидел.

«Какая же она все-таки прелесть! — думал он, глядя ей прямо в лицо. — Вот прелесть! Бывают же такие красавицы!»

— Не будем мешать вам, Петр Иринеич, — заторопилась вдруг Нина Федоровна. — Утомили мы вас. Коленька, пора нам.

— Нет, нет! — замахал руками дедушка. — Что вы, золотая моя! Как можно? Сидите, не уходите. Письмо это — тоже ведь из Одессы, от Михаила письмо. Я-то сразу вижу — его рука писала! Вот мы с вами сейчас читаем вместе. Только вот... Дашенька, бузы нам! Дашенька!

И дедушка, надорвав конверт, извлек из него письмо.

— «Драгоценный родитель мой, Петр Иринеевич, — писал в новом письме из Одессы судовой механик Михаил Ананьев. — Все мы здоровы и вам желаем благополучия и здоровья на многие годы. А как просили вы отписывать вам про Одессу, о всех происшествиях, так вот прочитайте».

Дедушка положил письмо на стол, взглянул на Нину Федоровну и рассмеялся.

— Почитаем, — сказал он, потирая руки от удовольствия.

И опять стал читать.

— «Погода у нас в Одессе все время стояла просто бесподобная: солнышко, цветут акации... А тут вдруг 30 апреля такой туман с моря, что и на улице временем не разобрать стало, что и где. И опять новость, да еще какая!»

Казак-вестовой с поста прискакал, с пикетов, что по морскому берегу дозор держат. И привез казак донесение. Всего в шести верстах от Одессы, против дачи Кортаци, неприятельский военный пароход на мели оказался. И так это он сел на мель, что ни взад, ни вперед. Ну, понятно, у кого время, так тот сразу — на дачу Кортаци. А я не могу, у меня ремонт машины и котлы чистим. Как тут отлучиться? Вдруг, слышу, кричат мне в машинное отделение:

«Ананьев! Где тут у вас Ананьев?»

«Есть Ананьев! — кричу я ответно. — При машине нахожусь, ремонт у меня».

«Бросай, — слышу, — все, к начальнику порта тебя».

Зачем это, думаю, меня к начальнику порта? Однако бегу. Так, мол, и так, ваше превосходительство, явился по вашему приказанию.

И говорит мне адмирал:

«Ананьев, — говорит, — возьми людей, сколько надобно, и соколом лети на дачу Кортаца. Там английский пароход «Тигр» на мели тоскует. Будем его брать, так, верно, по механике что потребуется».

Я обрадовался — и адмиралу по всей форме:

«Есть, — говорю, — ваше превосходительство, соколом! Лечу».

Прибежал на пароход, велел моим молодцам собираться с инструментом.

«На подводах, — кричу, — катите! Подвод тут порожних в порту полно — лес привезли».

А сам извозчика подрядил, чтобы домчал одним духом.

Еду. Слышу — палят, и только одно томит меня: как бы пароход с мели не снялся, не ушел. Щеголева, думаю, туда б; он бы там навел порядок. А там, когда подъехал, то хоть и не было Щеголева, а пушки уже постреляли-таки.

Дача Кортаца на горе стоит; под горой море плещет. Туман расплзся, и видно — ну, совсем под горой, близ самого берега — стоит пароход.

Я уже опоздал к началу, а то ведь была у них артиллерийская перестрелка. Поручик Абакумов с горы стрелял, лепил по пароходу в лучшем виде. А «Тигру» стрелять пришлось в гору, и все ядра шли у него вперелет, через головы наших артиллеристов. И Абакумов возьми тут да угадай по самому капитану — в ноги ему Абакумов угадал. Ну, видят на пароходе, наша, значит, взяла, коли уж и капитан у них из строя вышел. Тотчас спустили они у себя флаг, сожгли все судовые бумаги и стали шлюпки спускать, в плен чтобы идти.

Причалили, на берег выходят. Матросы в синих куртках; офицеры тоже в полной форме. Потянулись тропинкой в гору. А народ наш — жалостливый; видит — хоть и неприятель, а в беде люди. И стали тут наши матросов английских кренделями оделять. Ешь, мол, не обижайся.

Раненых — так, конечно, на носилках. Пятеро их было, раненых матросов. На одного уж очень страшно смотреть было. Молодой, борода небольшая рыжая... Живот ему разворотило ядром. Что-то он все сказать хотел; может быть, пить просил? А дача — пустая, пресной воды, как на грех, нигде ни капли. Только у лафета подле пушки одной стояло ведро — банник

смачивать. Вода мутная, да что поделаешь! Солдатик наш — сразу к ведерку, зачерпнул водицы в ладонь и этому, с рыжей бородкой, к губам поднес. Тот проглотил каплю несколько и тут же помер. Горько. Славен город Одесса, а все же ему — чужая сторона.

Фамилия капитана Джифорд. И его тоже на носилках принесли. Четверо матросов, а доктор позади идет. У капитана Джифорда ядром ниже колена правую ногу оторвало и ступню раздробило на левой ноге. Капитан — красавец; видать, что высокого роста; синий сюртук на нем с серебряным позументом. В дом его внесли. А шпага у капитана и у офицеров не взяли. Сначала всех их — в карантин, а потом уже начальство будет в шпагах разбираться. И всех их взято в плен, кроме капитана, двадцать четыре офицера и двести один человек гардемарин и матросов.

Вскоре к «Тигру» подошли два других английских парохода. И началось опять. Пароходы через головы наши палят, Абакумов снова по «Тигру» лепит. И вот задымился «Тигр»; по палубе огоньки, как мыши, побежали: огонек — тут, огонек — там... И, глядь, уже не огонек, а пламя тешится... Мы стрелять перестали, и неприятельские пароходы притихли. Конец «Тигру». И глядим: поднимают на корме на неприятельских пароходах черные траурные флаги. И дали они каждый по три пушечных выстрела в море, как бы погребальный салют погибшему товарищу. И прочь пошли и с глаз скрылись. А мы стоим и ждем. На «Тигре» от пламени пушки сами собой стреляют, а иные уже и в воду повалились.

И тут случай такой, что чуть сами собственного солдата не загубили. Как сошла с «Тигра» вся команда и капитана и раненых на берег перенесли со шлюпок, так послали к «Тигру» карантинного солдата. Чтобы на палубу взошел и там остался на часах. Чтобы, пока распоряжение будет, ни на пароход, ни с парохода никого. Карантинный солдат взобрался на палубу, мундир на нем с красными рукавами, как у всех карантинщиков... Ну, карантинного часового поставили; а как началась снова пальба, когда два других парохода подошли, так про своего часового и вовсе забыли. Поручик Абакумов знай лепит себе залпами в «Тигра». Невдомек Абакумову, что его же ядро может на «Тигре» русского человека на куски разнести.

И уже когда перестали стрелять и неприятельские пароходы под черными флагами прочь отошли, вдруг замечаем: на «Тигре» на палубе в дыму и огне человек мечется — черный мундир, а рукава красные. Спихнулись тогда, вспомнили про этого несчастного карантинщика, мигом шлюпку снарядили, пошли вызволять беднягу. Сняли его с бровями, с волосами обгорелыми, но живого и живым манером доставили на берег.

«Жив, Крупенников?» — кричит ему офицер карантинный.

«Жив, — говорит, — ваше благородие; только маленько буд-то в левом ухе звенит».

«К чему ж бы это, Крупенников?»

«А это уж, — говорит, — всегда так, перед тем как пропустить чарочку за ваше здоровье».

«Ах ты, — говорит офицер, — шут Крупенников, пропащая душа! Хотя и полагается тебе после такой бани, да где же мне тут для тебя чарочкой раздобыться? До первого кабака шесть верст ведь скакать».

И случись тут один господин хороший, человек, видно, запасливый: баклажка у него через плечо, а в баклажке водка анисовая, крепчущая. Налил он Крупенникову здоровенную чарку.

«Пей, — говорит, — Крупенников. Кому не поднес бы, а тебе за геройство поднесу. Да еще скажу тебе: по всему выходит — не судьба тебе в огне гореть».

А Крупенников выпил, крякнул, губы красным рукавом своим вытер и говорит:

«Спасибо, — говорит, — сударь, на добром слове и на полной чарке. Это верно: в огне мне не гореть и в смоле не кипеть. Жить буду долго, до самой смерти проживу».

Вот, батюшка Петр Иринеевич, какие люди бывают!

А тут уже смерклось, и в небе звезды зашевелились. Тем временем огонь на «Тигре» до пороховой камеры добрался. И ударило так страшно, и так сотряслось под нами, словно как бы земля с оси своей сверзилась. Были такие, что наземь попадали. А жена поручика Абакумова на дачу Кортаци приехала мужа проведать — так хоть и жена артиллериста, а в обморок упала. И пленный доктор с «Тигра» ее в чувство приводил: виски чем-то натирал да из синего пузырька давал нюхать.

Настала ночь. Работать все равно ничего без факелов не видно, а факелов не припасли. Я моим молодцам: дескать, ребята, марш к себе в гавань, а завтра чуть свет быть всем здесь со всем снаряжением. И сам тоже домой поехал. А утром, чуть зорька, снова на дачу Кортаци качу.

Приехал. Солнце над морем лучи раскинуло. Воздух прозрачный — глядишь как сквозь вымытое стекло. И что осталось от сгоревшего «Тигра», так это все у нас как на ладони. Дерево, какое было на «Тигре», так почитай все погорело, мало что осталось; а подводная часть и машина — все обнаружилось в целости. И подошли мы к пароходу на шлюпке, стали машину разбирать; и водолазы тут работали, пушки со дна морского подымали.

И еще что увидел я — это просто ужасно. В трюме увидел я туловище человека, а голова отрезана, всё в крови плавает.

По обличию и по платью видно, что грек. Говорят, англичане взяли в Синопе на борт лоцмана-грека; и когда «Тигр» по случаю тумана в мель врезался, так они, значит, всё — на грека этого несчастного, будто он нарочно пароход на мель да на камни навел. И сказнили грека какой лютой казнью! Обезглавили. Вот какие они!

В магазинах тут теперь продаются шкатулочки; сработаны из дерева, что с «Тигра» было снято. Так мы тут одну такую купили — вам подарочек.

А с тем крепко вас все целуем и от щирого¹ сердца всего наилучшего вам желаем.

Любящий сын ваш Михаил Ананьев».

Дедушка кончил читать, гости поблагодарили его и стали прощаться. Все пошли за ворота, где извозчик в рваном бешмете, заждавшись своих седоков, дремал на козлах. И покатались дрожки вдоль по Широкой улице, увозя капитан-лейтенанта Лукашевича и его жену Нину Федоровну.

А дедушка почувствовал усталость. Он уселся тут же, в тени, на лавочке под тополем, и долго глядел, как сквозь облака пыли просвечивает красный шелковый зонтик. Потом все пропало, осталась одна пыль столбом.

XIX

Вторжение

Лето, жаркое севастопольское лето, было на исходе. По хуторам на виноградниках было людно. Из гущины виноградных лоз доносилась звонкая украинская песня. Девушки собирали созревший виноград: розовую шаслу, золотистый чауш, черную и ароматную изабеллу. И вот, как в прошлые годы, снова тянулись маджары с виноградом в Севастополь, на базар.

Елисей Белянкин стал в последнее время замечать, что сума у него с каждым приходом симферопольской почты становится все тяжелее. Уже вся Россия была охвачена тревогой за Севастополь, и сюда шли письма, много писем, из всех уголков огромной страны. Елисею по штемпелям на конвертах довелось теперь узнать о таких городах, о которых он раньше и не слышал. Мало того: в России, оказывается, были города, которые носили и вовсе одинаковые названия. Так, были два Ростова: Ростов Великий, в Ярославской губернии, и другой Ростов — Ростов-на-Дону. И Могилева было два: один, губернский, на

¹ Щ и р ы й — искренний.

Днепре, и другой, уездный, Могилев-Подольский, на Днестре. Было также два Петропавловска: Петропавловск-на-Камчатке и Петропавловск-на-Ишиме, притоке Иртыша. А вот Новгород — так их было целых три: Новгород Великий на Волхове, Новгород Северский на Десне и Новгород Нижний на родной Елисею Волге. Оттуда, из-под Нижнего Новгорода, из крохотной деревушки на берегу великой русской реки, был сдан когда-то в солдаты молодой крестьянский парень Елеся Белянкин. И с Егором Калининским и с другими парнями-волгарями назначен был Елеся в город Севастополь, в черноморский флот, на вековую службу. Давно это было. И стал за это время Севастополь для Белянкина второй родиной. А что милее и дороже родной стороны!

И вот теперь из всех трех Новгородов, из обоих Могилевов, из Ростова Великого и Ростова-на-Дону шли в Севастополь письма с разноцветными почтовыми штемпелями. Письма шли также из Уфы, из Кронштадта, из Риги, из Елабуги... Письма весом в один лот — с черным штемпелем, в два лота — с синим, и в три лота — с красным. Писали помещицы в дворянских усадьбах; писали церковные дьячки за неграмотных деревенских мужиков; писали матери сыновьям и сестры братьям. И все спрашивали, не опасно ли оставаться семейным людям в Севастополе, не показался ли неприятель.

Он показался в солнечное, но прохладное утро 1 сентября 1854 года. Адмиралы Нахимов и Корнилов и вызванный сюда лейтенант Стеценко заметили с вышки морской библиотеки густое облако дыма на горизонте. Один Меншиков ничего не видел. Он повернулся спиной к морю и, прислонившись к балюстраде вышки, едко улыбался. Наконец и он не утерпел. Как обычно покачиваясь, он подошел к телескопу и заглянул в окуляр. Теперь и Меншиков увидел... Неприятельский флот шел тремя колоннами, огромный, неисчислимый.

— Мм, — промычал Меншиков и поморщился.

Он достал из кармана плоскую шкатулку, которую вечно таскал с собой. В шкатулке у него были ножи и ножницы, вилки и ложки, иголки и нитки, карандаши и перья, бумага и конверты, чернила черные и чернила красные, набор гербовых печатей, обложки разноцветного сургуча, трут и огниво, спермацетовая свечка и, наконец, серебряная чарочка.

Владелец всего этого добра довольно быстро разыскал в шкатулке все, что ему понадобилось: плотный листок синей бумаги, крохотную бронзовую чернильницу, свежечиненное перо, сердоликовую печатку. Разложив это на столике под холщовым навесом, Меншиков стал скрипеть пером по бумаге, то морщась, то улыбаясь неизвестно чему.

В это время по наружной мраморной лестнице библиотеки

поднимался Елисей Белянкин. На середине лестницы он вдруг остановился. Станным показался ему черный дым, которым стала застилаться морская даль. Но в ту же минуту к библиотеке прискакал казак. Он спрыгнул с лошади и сорвал с головы шапку. В шапке у него был запечатанный пакет.

— Эй, Гаврилыч! — окликнул Елисей казака, взбежавшего по лестнице вверх.

У всех донских казаков была одна кличка: Гаврилыч.

— С какими вестями, Гаврилыч? — спросил казака Елисей.

— Слыхала вести кура на насести, — отшутился было казак и сверкнул двумя рядами белых зубов.

— Говори, Гаврилыч, дело. Не время зубы скалить.

У казака сбежала с лица озорная улыбка.

— Правду говоришь, земляк. Не время, не пора. С Константиновского мыса я, с батареи. Сам видел: идет супостат великою силою, кораблей видимо-невидимо, так что и сосчитать нельзя. Будто даже и не флот идет, а целый город движется, трубы дымят... И разговор такой, что пехота у него на кораблях, кавалерия, пушки... Слышно так, что хочет на берег скинуться всею своею силою. А силы этой у него, слышь ты, шестьдесят три тысячи человек, даже поболее того.

— Велика сила, — подтвердил Елисей. — А побьем мы ее, силу эту.

— Это уж как положено, — согласился казак. — Как можно не побить?.. И он вдруг встrepенулся: — Не взыщи, землячок, с пакетом я. Вот...

На одной стороне пакета Елисею бросились в глаза пять красных сургучных печатей. На другой было крупным почерком военного писаря выведено:

*Его Превосходительству
Начальнику Штаба Черноморского Флота
Вице-Адмиралу
Владимиру Алексеевичу
Корнилову*

Казак, взмахнув пакетом, снова припустил вверх по лестнице.

Елисей вошел внутрь и, подойдя к большому окну, стал рыться в своей суме. Мимо него прошел адмирал Корнилов с лейтенантом Стеценкой.

— Приказ светлейшего князя Меншикова касательно вас вам известен, — сказал Корнилов Стеценке. — Неприятельский флот показался у наших берегов. Имею донесения, что на флоте у него — войска, все виды оружия. Нужно думать, что он высадит десант. Возьмите с собой столько казаков, сколько вам нужно, и поезжайте по берегу по направлению к Евпатории, ту-

да, куда прибудет неприятельский флот. Если нужно будет, по-видайтесь с комендантом Евпатории Браницким. Извещайте светлейшего обо всем, что заметите.

Стеценко щелкнул каблуками и, выскочив на крыльцо, ринулся вниз по лестнице. Через минуту Елисей увидел в окно лейтенанта Стеценку верхом на косматой казачьей лошадке. Лейтенант ударил ее ногами в ребра, и степной скакунок рванулся вниз с горы.



Меняя в дороге лошадей, лейтенант Стеценко с шестью казаками скакал почти без передышки весь день. До Евпатории оставалось версты четыре. Далеко в море пылала в облаках вечерняя заря.

«Ветреный день будет завтра... может быть, даже ненастье», — подумал Стеценко.

Заря погасала торжественно и печально. Поднявшийся ветер, низко стелясь, сделал перебежку и пропал в потускневших кустах.

— Урядник! — крикнул Стеценко бородатому казаку на караковой лошади. — Быть завтра ненастью?

— Надо быть так, ваше благородие, — откликнулся казак. — Солнышко в облака садится — значит, быть ветру. Ветер нагонит тучу, туча прольется дождиком... Может и на неделю зарядить: время — сентябрь месяц. Вишь, и море будто сердится: эвон разогнало барашков сколько по волне!

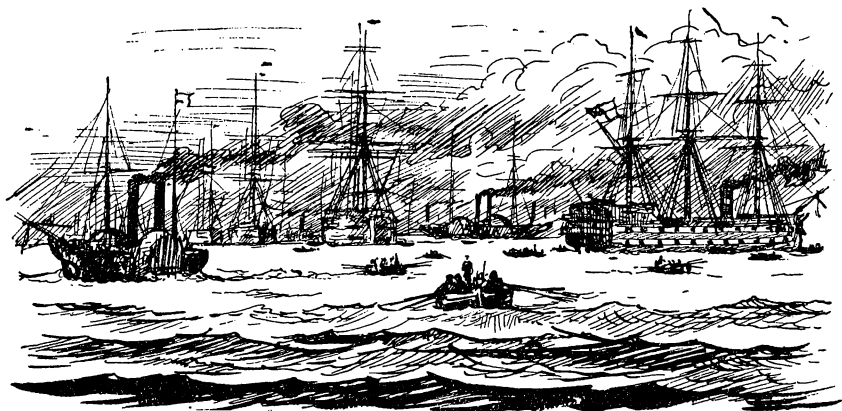
Стеценко взгляделся в море. По огромному простору ходили в белых гребнях исчерпа-серые волны. Тронутые зловецим отсветом заката, они ворчливо набегали на низкий берег. А дальше в море...

И Стеценко вдруг увидел то, что было от берега дальше.

Огромная масса кораблей множеством черных силуэтов сразу обозначилась на горизонте, на фоне неба, словно вырезанно-го из красной фольги.

— Вот оно! — сказал Стеценко, остановив лошадь. — Урядник, считай.

Урядник принялся считать корабли. Считали и другие казаки. Считал и сам Стеценко. Каждый насчитал до сотни кораблей. Но это были корабли, шедшие на некотором расстоянии друг от друга; их нетрудно было сосчитать. А ведь, кроме этих, было множество других; они шли густыми массами или были



уж очень далеко; сосчитать их нельзя было. Они заслонили собою весь горизонт, от края до края; и с ветром, который дул с моря, они надвигались на берег и становились на якорь.

Заря погасла, словно залитая гулливой волной. Ехать в Евпаторию для встречи с евпаторийским комендантом майором Браницким было уже не к чему. Стеценко и без Браницкого знал теперь, где отдал якоря неприятельский флот. И если Стеценко останется на месте, то собственными глазами увидит, что предпримет неприятель дальше.

А майор Браницкий в это время заливал и пересыпал известью казенные запасы зерна и муки в Евпатории, чтобы они не достались врагу. Все войско Браницкого — двести солдат слабой команды. Ободряемые своим комендантом, они свирепо работали лопатами.

— Так, ребяташки, — вскрикивал поминутно Браницкий, потирая руки. — Сыпь, ребяташки! Во-во, дуй! Хлебом и солью их по русскому обычаю... Турку с трубкой, англичанку-поганку... Беда только: хлеб чем встретить есть, а сольки вот нехватка. Так мы известочкой, известочкой... А ну, ребяташки! Что? Готово? Всё? Ну, коли всё, так стройся. Строй-ся-а! Смир-но-о! Песельники — вперед! Шагом... марш!

Солдатушки,
Бравы ребяташки, —

затянули песельники, взбивая вдоль по улице белую пыль:

Кто же ваши отцы?

И все двести человек евпаторийской команды грянули ответно:

Наши отцы — русски полководцы,
Вот кто наши отцы!

Против города уже стояли на якоре три неприятельских парохода. Один из них, тридцатипушечный пароходофрегат «Трибун», повернулся к Евпатории бортом, готовый в любой момент дать по незащищенному городу залп из восемнадцати бортовых орудий.

Из трубы пароходофрегата вдруг повалил дым. Крупные вихри дыма стал подхватывать ветер и бросать на город. Майор Браницкий, шедший впереди своих солдат, заметил это и не вытерпел.

Солдатушки,
Бравы ребяташки, —

выкрикнул он вместе с песельниками:

Кто же ваши деды?

И снова двести глоток все вместе ответили и песельникам и своему начальнику-коменданту:

Наши деды — славные победы,
Вот кто наши деды!

Так провел евпаторийский комендант майор Браницкий всю свою команду через весь город и вывел ее за город.

Песельники пели, и звякали бубенчики на бубнах. Двести пар худых солдатских сапог мерно отбивали шаг по дороге на Симферополь, главный город Крыма. Надвигалась ночь.

Знакомая лихая солдатская песня доносилась издалека до лейтенанта Стеценки и его казаков. Стеценке хотелось узнать, что там за передвижение происходит на симферопольской дороге. Но казаков у него было мало, они нужны были ему для другого; более важная задача была теперь у молодого лейтенанта.

На берегу моря ему попался пустой сарай. Они забрались туда, Стеценко с бородатым казачьим урядником, и плотно прикрыли двери. Здесь, в темном углу, урядник высек кремнем огня и зажег лучинку. А Стеценко на каком-то обручке написал карандашом две записки в Севастополь: одну — князю Меншикову, другую — адмиралу Корнилову. И казак из отряда Стеценки, с двумя записками в шапке, бросился через ручьи и балки в Севастополь.

Ночь была темна и беззвездна. Крепчал ветер, плотный и гулкий. Стеценко ничего не ел с утра, но ему было не до еды. Он все время сновал по берегу моря, наблюдая, как корабли за кораблями становятся вблизи берега на якорь. Громыхали якорные цепи; стучали топоры; раздавались слова команды на французском, английском и турецком языках... Все это явственно слышал Стеценко, невидимый под покровом ночи.

К утру ветер утих, и море под утренним солнцем переливалось, как золото, расплавленное в огромной чаше. Лейтенанту Стеценке и оставшимся у него пяти казакам пришлось отдалиться немного от берега, а то ведь их могли заметить с кораблей и пустить по ним из пушек.

Стеценке не страшна была смерть.

«Умереть немудрено, — думал он, поживаясь в своей легкой флотской шинели: — да, умереть немудрено; мудрено выполнить задачу».

Молодой лейтенант сознавал, что он и его казаки — это единственные русские люди, которые в этот грозный час 2 сентября 1854 года видят собственными глазами вторжение врага.

А вторжение уже действительно началось. На неприятельских кораблях играла музыка. Стеценко разбирал знакомый мотив.

«Это на французских кораблях», — решил Стеценко.

Вскоре к флейтам и валторнам французов стали примешиваться звуки английского гимна «Боже, спаси королеву». И с кораблей французских и английских начали отваливать шлюпки с солдатами и амуницией.

Стеценко стиснул пальцами подзорную трубу. В кольце объектива у него колыхался баркас, который быстро шел к берегу. На носу баркаса стоял бородач, черный, как жук, в красной феске, сдвинутой на затылок. И весь баркас был полон бородачей, тоже в фесках, и в шароварах, и в коротких плащах.

— Зуавы¹ — всегда первые, — бросил им с борта корабля «Город Париж» главнокомандующий французской армии маршал Сент-Арно. — А ну, шакалы пустыни, моя лучшая сволочь!

И зуавы, прокричав «ура» и «vive l'empereur»², налегли на весла.

Когда близ берега под килем баркаса зашуршал песок, жук-бородач, стоявший на носу, присел на корточки, потом рванулся, как отпущенная пружина. Он мелькнул в воздухе, но за шаг от берега шлепнулся в воду.

— Ах! — вырвалось у зуавов в баркасе.



¹ Зуавы — во французской армии особая разновидность войск, предназначенная для колониальных захватов.

² Да здравствует император.

- Плохая примета.
- Это очень нехорошо, друзья.
- Вот так же было на Дунае.
- Не вернуться ли нам обратно на корабль и начать все сначала?

Но Мишель Першерон, капрал, поднялся в баркасе во весь свой огромный рост и стал на носу. Руки у капрала были в багровых шрамах и серебряных браслетах, на которых навешаны были амулеты. Мишель Першерон сделал прыжок и уже на берегу хватил выползшего из воды жука кулаком по феске. Жук кубарем завертелся по берегу и рыча отполз в кусты. Так первые вражеские солдаты ступили на русскую землю. Стеценко поторопился новой запиской уведомить об этом Меншикова. И еще один казак отделился от отряда Стеценки и поскакал в Севастополь.

В это время зуавы, высадившиеся из баркаса, заметили в отдалении группу всадников, то приближавшихся к берегу, то отдалявшихся от него. По Стеценке и его казакам был дан залп из штуцеров. Пули взвизгнули где-то близко, никого не задев.

— Казак не без счастья, — сказал урядник, поворотив коня. — А все ж, не ровен час, может и укусить. Пошли, ваше благородие, за горку! Вернее будет.

Погода стала портиться. С севера шла черная туча. Порывами налетал холодный ветер. Он пробивался сквозь шинель к Стеценке и пронизывал до костей. Стеценко тридцать часов почти не слезал с лошади и валился с седла от усталости. А ночью разразилась буря, море ревело, и всю ночь напролет шел дождь. Стеценко выполнил свою задачу. Но на рассвете, прежде чем тронуться в обратный путь, в Севастополь, он еще раз подобрался поближе к неприятелю.

Он с болью увидел на прибрежном холме французский трехцветный флаг. Мокрый от дождя, он тяжело бился под порывистым ветром. Подле флага съезжился в красном кепи и синей шинели французский солдат. Стеценко повернул коня и выехал на севастопольскую дорогу.

Лошадь, тоже изнемогшая за целую ночь непрерывного снования на ветру под дождем, по песку и буграм, шла вялой рысью. Стеценко спал в седле, и ему даже снился сон. Будто он сидит в кают-компани у себя на корабле «Константин» и в каюту входит адмирал Корнилов. Стеценко хочет встать, чтобы, как полагается, приветствовать адмирала. Но кто-то словно приклеил лейтенанта Стеценку к месту и налил в сапоги свинца, так что Стеценке и ногами не пошевелиться.

— Лейтенант Стеценко! — кричит ему Корнилов над самым ухом.

Стеценко пытается все объяснить адмиралу, извиниться перед ним... Но у Стеценки даже губы не шевелятся.

— Стеценко! — явственно раздается опять в ушах у лейтенанта, и кто-то трогает его за ногу. — Вася!.. Василий Александрович!..

Стеценко открывает глаза и с изумлением видит себя верхом на лошади, на берегу мутной речки, у солдатского костра. И дальше по всему холмистому берегу — костры, в котлах бурлит каша, попрыхивая пузырями... Стеценко слышит русскую речь и узнает телеграфную вышку на горе.

«Это Альма, речка Альма», — мелькает в голове у него.

И, закрыв глаза, он валится с лошади на широкую грудь гусарского ротмистра Подкопаева, с которым познакомился в прошлом году в Симферополе, в гостинице «Золотой якорь».

— Вот те и на! — только и молвил ротмистр Подкопаев, принимая в свои объятия лейтенанта Стеценку.

Но тут и казаки из отряда Стеценки спешили. Бережно подняли они своего начальника на казачьей бурке и отнесли под плачущую иву, росшую неподалеку. Ротмистр Подкопаев опустился на колени и влил Стеценке в рот глоток рому из дорожного стаканчика. Стеценко проглотил, кашлянул, открыл глаза и вскочил на ноги.

XX

Матросик

Случалось, перепадали дожди, но никаких признаков осени в Крыму еще не было. Так же, как и в разгаре лета, нежилась под горячим солнцем морская волна, и так же пахло на дорогах сухим деревом и нагретой пылью.

Дедушка Перепетуй, отдохнув после обеда, сидел у себя в саду под шелковицей, и на столе перед ним лежала новая тетрадь. В отличие от прежней, синей с белыми крапинками, безвозвратно пропавшей, новая тетрадь была переплетена в картон зеленого цвета.

Даша уже управилась по дому и зашла к дедушке в сад поощряться.

— Дедушка, — сказала она, почему-то краснея и глядя в сторону, — нужна мне сходить в Балаклаву к тетке.

— В Балаклаву? — удивился дедушка. — К тетке? Какая же у тебя в Балаклаве тетка?

Даша покраснела еще пуще и дедушке на вопрос не ответила, а только сказала, потупясь:

— Не жди меня, дедушка, завтра... и послезавтра тоже не жди.

Даша низко поклонилась дедушке и, неслышно ступая босыми ногами, вышла на улицу. Дедушка пожимал и пожимал плечами, открывал и закрывал табакерку, а потом и сам поплелся к калитке. Но Даша за это время ушла далеко, дедушка едва различал ее. Она мелькнула раз-другой в конце улицы и совсем пропала, спустившись к себе в Кривую балку.

Лачужка Дашина, доставшаяся ей после отца, стояла неогороженной. Крученный барвинок, взобравшись на завалинку, полз к окошку. К задней стене лачужки притулился сарайчик. В сарайчике что-то скреблось, ерзало, топало.

Девушка юркнула в дверь своей лачужки и очутилась в темной кухне. Через пять минут из лачужки вышел совсем юный матросик, в куртке, в парусиновых штанах и в башмаках из парусины и в старой помятой бескозырке. Матросик был похож на Дашу, как одна капля воды похожа на другую. Да это и была сама Даша! В руках у нее был небольшой узел.

Даша заперла дверь на замочек, а ключ положила под порог. С узлом своим она отправилась в сарай и тотчас снова оказалась на улице, верхом на неоседланной татарской лошаденке, которая видом и ростом скорее напоминала овцу, чем лошадь. И верхом на этой «овце», придержививая рукой узел, Даша стала подниматься по дороге из Кривой балки. Но вместо того чтобы повернуть налево, на Балаклаву, Даша свернула направо, и лошадка ее стала резво перебирать ногами по плотине, по которой проходила дорога на север.

На плотине Даше попалась Кудряшова, дедушкина соседка, которая на веревке тащила домой свою козу. Кудряшова чуть веревки из рук не выпустила: до того похож показался ей повстречавшийся матросик на Дашу Александрову. Но Даша, глазом не моргнув, проехала мимо.



За плотиной дорога оказалась забитой людьми и повозками. Это двигались войска на север, навстречу неприятелю. Высадившись в четырех верстах от Евпатории, он уже попирал ногами русскую землю. И его нужно было сбросить обратно в море. От дедушки Перепетуга Даша знала, что бой, верно, будет жестокий и кровопролитный.

За речкой Бельбеком Да-

ша нагнала пехотный полк, который шел с музыкой и уложенным в чехол знаменем. Объехав поле, Даша пристала к длинному обозу с зелеными зарядными ящиками.

— Эй, матрос, чего сухопутьем прешь? — крикнул Даше ездовой солдат из обоза. — Али корабль на мель стал?

— Может, и так, — ответила неопределенно Даша. — И, во все забыв, что Балаклава совсем в другой стороне, брякнула: — В Балаклаву мне, к тетке... Вот и еду...

— Что ты, хлопец, врешь? — оборвал Дашу ездовой. — Балаклава эвон где! — И он показал кнутом в обратную сторону.

Даша поняла, что попала впросак. Она поглядела на ездowego... Он сидел, распустясь в седле, верхом на одной из лошадей, запряженных в повозку.

— Нешто не знаю я, где Балаклава! — стала Даша изворачиваться, но еще больше запуталась. — Тетка, вишь, в Балаклаве живет, а поехала к дочке в Евпаторию; вот и еду... в Евпаторию к тетке еду.

— Как же ты в Евпаторию едешь, ежели в Евпатории неприятель? — Сказав это, ездовой нагнулся в седле и схватил Дашину лошадку за узду. — Врешь ты! Все ты, хлопец, врешь! — И, подтянув к себе лошадку, молвил: — И на хлопца ты что-то не похож. Девка ты, что ли, перереженная?.. — Он схватил Дашу за локоть. — Тебя как звать-то? — сказал он, внимательно всматриваясь ей в лицо.

— Дёмкой зовут! — крикнула Даша. — Демидом... Пусты ты меня!

— Ой, врешь! — твердил свое ездовой, все большее стискивая в своей железной ладони худенький Дашин локоток.

— Пусты! — барахталась Даша, не выпуская из рук узла и стараясь не свалиться с лошади.

И вдруг позади Даши раздался свист, и гиканье, и крики:

— С дороги, с дороги! Гей, сворачивай! Оглох ты, обозное дышло?

И огромный казак, в плечах косяя сажень, вытянул нагайкой лошадей в повозке, а заодно и ездowego.

Лошади рванули, и ездовой дернулся в седле. Он выпустил Дашин локоть и стал сворачивать с дороги. Из головы у него сразу вылетел похожий на девушку матрос вместе с теткой из Балаклавы...

— Но! Но-о! — кричал он, немилосердно стегая лошадей своих.

Он с ужасом увидел, как вслед за казаком появились еще казаки, и все огромные, и у всех нагайки. И все они кричали:

— Дорогу, дорогу! Тебе говорят, обозный куль? Сворачивай с дороги!

Мигом перемахнул ездовой со своей повозкой через придо-

рожную канаву. И когда опомнился, то разглядел на дороге коляску, обитую красным бархатом, и в коляске — старого-престарого генерала. А далеко впереди скакал степью на своей неседланной лошаденке матросик с узлом, похожий на девку. Ездовой погрозил ему вслед кнутовищем, сплюнул и стал опять выбирать на дорогу.

— Дёмка... — ворчал он, поправляя на лошадях спутавшиеся постромки. — Посмотрел бы я, какой ты Дёмка! Попадись ты мне!

Но Даша постаралась больше не попадаться чересчур любопытному ездовому из обоза. Она ускочила далеко вперед, обогнала весь обоз и остановилась на минуту у ручья передохнуть. И мимо нее промчалась открытая коляска с генералом, из-за которого загорелся на дороге весь этот сыр-бор. Даша узнала в старом генерале — светлейшего князя Меншикова, командующего Крымской армией. Он сидел теперь в коляске прямо, точно аршин проглотил. И губы его и усы были брезгливо опущены книзу.

Даша подождала, пока проедет командующий с его конвоем из казаков и гусар. И когда по ту сторону ручья замерли наконец грохот, гиканье и свист, Даша снова выехала на дорогу.

Наступила ночь... Даша очень устала, и лошадка ее, притомившись, еле-еле брела. Девушка поглаживала ее по шерсти, ободряла ласковыми словечками, называла то соловушкой, то котеночком... Но лошадка наконец и вовсе стала и дальше — ни с места.

Дорога проходила теперь долиной с зарослями боярышника и дубовыми рощицами, с садами и виноградниками. Немного в стороне от дороги высился за каменной оградой двухэтажный дом, в темноте смутно белели выкрашенные известкой службы... И тихо было за оградой: ни человеческих голосов, ни собачьего лая...

«Попроситься разве? — подумала Даша. — Ночью-то, может, не разберут, хлопеч я или дивчина. Выплюсь где-нибудь под крышей, хоть в шалаше у сторожа».

Решив так, она слезла с лошади и повела ее за повод к воротам.

Ворота были на запоре, но калитка — настезь. Даша провела свою лошадку на пустой двор к конюшне.

Там пахло свежим конским навозом в стойлах, сеном, которого полно было за деревянными решетками, и овсом, доверху засыпанным в корыта. Но лошади не было ни одной. Даша привязала «соловушку» своего к решетке, и тот стал весело дергать головою и топтать копытом, поминутно погружая морду в рассыпчатый крупнозернистый овес. Оставив в конюшне свой узел, Даша пошла к дому.

Она поднялась на крыльцо, вошла в сени, и никто ее не остановил. Потом она потянула к себе дверь, за которой шли комнаты, и дверь бесшумно отворилась. Узкий серп месяца и большие звезды заглядывали в окна, и в комнатах темно не было. Даша прошла одну комнату и другую и вдруг обмерла от ужаса. Из-под кровати высунулась мохнатая морда с оскаленными зубами. Круглые, как пуговицы, глаза огромного зверя глядели прямо на Дашу.

— Ой-ой, — беззвучно шептала Даша, — куда ж это я попала? Вот бросится... загрызет...

Но зверь не трогался с места. Не слышно было даже, чтобы он как-нибудь щелкал зубами, урчал, мурлыкал, фыркал... Даша ждала в полном безмолвии, прижавшись к стенке. А зверь попрежнему оставался на месте, высунувшись до половины из-под кровати. Наконец Даша набралась смелости и, оторвавшись от стенки, шагнула вперед.

Зверь и тут не шелохнулся. У него, видимо, не было никакой охоты бросаться на Дашу. И Даша, опустившись на колени, сама тихонько поползла к нему.

У него оказалась удивительно густая и мягкая шерсть. Даша погладила его по шерсти раз и другой. И вдруг поняла, что это совсем не зверь, а только шкура звериная, большая шкура темнобурого медведя. Такого медведя в прошлом году водили по Корабельной слободке цыгане-медвежатники. Даша сама рассмеялась над охватившим ее страхом и присела тут же, на полу, на медвежьей шкуре. Она так устала за этот день, что ничему не дивилась больше в этом доме, где не было ни души, и больше ничего не боялась. Глаза у нее стали слипаться, и, растянувшись на медвежьей шкуре, она заснула крепким сном.

Она проснулась от шума в соседней комнате. В раскрытые двери ей бросилась в глаза растрепанная старуха с тусклым фонарем в руке. Вокруг старухи бегали какие-то люди, одинаково причудливо одетые, и размахивали обнаженными саблями.

— Ой, батюшки! — вскрикивала поминутно старуха. — Ой, родненькие! Не слышу, не слышу... Ась? Совсем глуха стала... Барыня? Уехала барыня, и барчуки уехали, все уехали и скотину всю угнали... Еще утречком уехали, одна я осталась, старуха глупая... Ась? Ой, батюшки, не слышу, ничегошеньки не разбираю...

А люди подле старухи, все как один козлобородые, стучали обнаженными саблями по столам, по стенам, по полу и грозились и кричали что-то на чужом языке. Только один стоял у дверей в сени, сабля была у него в ножнах, и он все повторял:

— Allons!.. en bien, allons donc! ¹

¹ Идем!.. ну, идем же!

И совсем задерганная старуха в ответ ему твердила свое:

— Не Алёна я, не Алёна я, родименький... Неонилой кличут, Неонилой Евстигнеевной... Ой, батюшки! Все уехали. И Алёна уехала. С барыней уехала Алёна.

Но тут один из этих козлобородых завертел обнаженной саблей над головой у старухи и закричал так, что старуха упала на колени и фонарь из рук выронила.

— Дэнъга, дэнъга! — кричал он, вертя саблей. — Лошьяка серебряны!

Фонарь, выпав у старухи из рук, не погас, и его подхватил с пола другой козлобородый. Все они, бросив возиться со старухой, стали саблями своими взламывать ящики в столах и дверцы в шкафу... На пол полетели какие-то письма в конвертах, бумаги, лоскутки, ленточки... С грохотом попадали и разбилась на мелкие куски столовая и чайная посуда...

— Ио-о! — завыл вдруг один из козлобородых и стал выбрасывать из распоротого дивана целые связки серебряных ложек, вилок и ножей.

И вся орава бросилась распахивать все это по карманам, за



пазуху, за голенища; а старуха, оставаясь на коленях, всплескивала руками и попрежнему все вскрикивала:

— Ой, батюшки! Да что же это? Ой, роденькие!

Даша поняла наконец, что это вражеский разъезд. Сбился, наверно, с линии и набрел на покинутую хозяевами усадьбу. Поняла Даша, лежа под кроватью в соседней комнате, и то, что надо уносить ноги. Если ее обнаружат, то, может быть, и уцелеет ее голова, но дело, задуманное ею, наверняка провалится. И Даша выбралась из-под кровати и поползла в темноте дальше, прочь от козлобородых, которые продолжали с криком и воем набивать себе карманы.

Комнаты шли за комнатами длинным рядом, одна за другой. Смутно мерцали золоченые рамы по стенам, и полированная мебель вдоль стен, и бронза на люстрах. Даша ползла по гладкому, как зеркало, полу и по коврам, глубоким и мягким, как пуховики.

В одной комнате Даша заметила выход на террасу. Даша подползла и через террасу выбралась прямо на двор.

Посреди двора к столбикам беседки были теперь привязаны оседланные лошади: все — рослые, все в одну масть, вороные с белыми звездочками на лбу. Даша издали пересчитала их: всего было пять лошадей. А на двор доносились из дома крики и грохот падающих предметов, и огонек в фонаре время от времени перебежал от одного окна к другому, от другого к третьему...

«Ну, теперь хватит окаянным работы», — подумала Даша.

И перебежками, по местам, куда падала тень от старых кипарисов, Даша пробралась в конюшню.

Лошадка ее наелась овса до отвала и теперь стоя спала. Она все же почуяла Дашу, открыла один глаз и топнула ногой. Даша отвязала ее и, прихватив свой узел, вывела из конюшни.

А в доме все еще шла кутерьма; фонарь стоял на подоконнике на втором этаже; месяц передвинулся вправо, и беседка посреди двора была вся в тени, падавшей от дома. Даша бесшумно подобралась к беседке и привязала к ней свою лошадь. Та — рядом с видными конями козлобородых — стала еще больше напоминать овцу.

— Прощай, соловушка, — сказала чуть слышно Даша и почесала за ухом у своей лошадки, за которую третьего дня отдала барышнику шесть рублей.

Лошадка понюхала Дашино плечо и перебрала ногами. А Даша отвязала стоявшего рядом крупного вороного коня с лоснившейся шерстью, с круглым, как серебряный рубль, белым пятном на лбу. Даша потянула повод, и конь послушно пошел за нею к широко распахнутым воротам. Здесь Даша вскочила в седло, удобно устроила перед собой свой узел, силь-

но дернула поводья ихватила вороного в бока каблуками. Конь сразу взял с места и понесся так, что у Даши в ушах засвистело.

Даша рада была, что добрый конь быстро уносит ее все дальше от опасного места; но у нее теперь появилась другая забота: как бы при такой скачке не вывалиться из седла и не свернуть себе шею. Но скоро Даша приноровилась к прилаженному ловко седлу и подвешенным на сырмятных ремнях стременам. Она уже мерно и легко скакала по дороге, оставив шайку мародеров в покинутой усадьбе, далеко позади себя.

А там, в усадьбе, в это время происходило вот что.

Козлобородые, набросившись на серебро, совсем забыли о старухе. У той хватило ума незаметно пробраться в подполье и залезть там в пустой чан. Обыскав все комнаты, французы набили награбленным добром целые узлы и решили наконец, что пора убираться подобру-поздорову. Они спустились во двор, и тут у солдата, больше всех пристававшего к глухой старухе, вдруг вырвался страшный вопль. Солдат чуть в обморок не упал, когда обнаружил у беседки на дворе какую-то конеподобную овцу, вместо своего сторублевого коня. Сообразив, что с ним сыграли штуку, он бросился старуху искать... Он обéгал весь дом, шарил под кроватями, тыкал обнаженной саблей куда попало, не обращая внимания на то, что со двора ему нетерпеливо кричали:

— Allons, que diable t'emporte! Sinon, nous partirons sans-toi. Allons donc! ¹

А старуха в подполье, забившись в чан, молилась и крестилась и повторяла:

— Ой, батюшки! Никак, опять Алёну кличут. Уехала Алёна, утром с барыней уехала... Ой, родненькие!

Не найдя нигде старухи, солдат вышиб стекло из фонаря и поднес к нему валявшуюся на полу газету. Та сразу вспыхнула и перекинула огонь на сухую траву в распоротом тюфяке. А солдат выбежал на двор и первым делом дал несколько раз носком сапога Дашиной лошадке под брюхо. «Соловушка» рванул, оборвал повод и так мазнул задними ногами своего мучителя, что тот отлетел на пять шагов и стал кататься по траве, ухватившись за живот. А «соловушка» тем временем ринулся к воротам и выбежал в поле. И вслед за ним, не мешкая, бросились за ворота верхом на своих конях другие солдаты, совсем оглушив и без того глухую старуху дружным криком: «Allons!»

— Все Алёну, все Алёну... — бормотала старуха у себя в чане. — И то сказать: Алёна — девка хоть куда: и постирать и сготовить — золотые руки... Да где ее теперь возьмешь? С барыней уехала. Ой, батюшки, напасть какая!

¹ Идем, чорт тебя подери! А то без тебя уедем. Идем же!



Но тут она почувствовала запах паленого. Глянув в широкий продох, она увидела вынесшихся за ворота всадников. Вслед за ними бежал один пеший, держась руками за живот. На траве по всему двору играл зловещий отблеск пламени. И старуха недолго думая живо выбралась из подполья наружу.

На дворе было снова пусто. Цокот копыт гулко отдавался с дороги. И человек бежал степью, пеший конник. Он вдруг остановился, сорвал с себя карабин и принялся стрелять по своим товарищам, чьи силуэты едва различал в темноте.

Даша уже была далеко, когда до нее донеслись слабые отзвуки ружейных выстрелов с той стороны, где была покинутая усадьба.

«Верно, хватились», — подумала Даша и, не замедляя хода коня, обернулась в седле.

Далеко позади себя она увидела зарево. Горела усадьба, ограбленная французским кавалерийским разъездом. А справа, на побледневшем краю неба, чуть занималась утренняя заря.

Матросик верхом на вороном коне прошелся каблуками по ребрам своего скакуна и понесся вперед еще шибче.

XXI

День на Альме

От дедушки Перепетуя Даша знала, что Меншиков решил вывести из Севастополя все войска на речку Альму. Оставались в Севастополе одни моряки. Впрочем, и без дедушки это было известно в Севастополе решительно всем, даже ребятам.



В Корабельной слободке ребята каждый день играли теперь в войну. Недавно целая рота их забралась к Даше в Кривую балку. Они размахивали палками, воображая, что это ружья. Командирами были самые шустрые: Николка Пищенко, Мишук Белянкин и Жора Спидиоти. Николка был Корниловым, Мишук — Нахимовым, а Жора назывался светлейшим князем Меншиковым. Подражая Меншикову, Жора расхаживал перед выстроившейся ротой мальчишек, заплетаясь и перебирая ногами. Он брезгливо морщился и картавил:

— Не гассуждать! Позиция на Альме выбгана мною лично. Да... пгевосходно... Вывести весь гагнизон на позиции. Пгошу не гассуждать!

Николка—Корнилов и Мишук — Нахимов стояли перед Жорой навтыжку, с двумя пальцами правой руки, поднесенными к затрепанным бескозыркам. Подобно Меншикову, Жора разговаривал со своими подчиненными, глядя мутным взором куда-то вдаль. Из презрения к ним Жора даже перещеголял настоящего Меншикова и стал бесстыдно ковырять пальцем в носу. Мишуку это не понравилось. Дедушка Перепетуй всегда всем мальчишкам в Корабельной слободке наказывал, чтобы они пальцем в носу не копали. Мальчишкам, которые запускали палец в нос, дедушка не давал слушать, как тикают его часы.

Мишук заметил Жоре, что так не годится. И если уж играть, так играть по-настоящему, а не в носу копать. Жора вытер мокрый нос кулаком и невозмутимо процедил сквозь зубы:

— Вице-адмигала Нахимова пгошу не гассуждать. Под домаший агест... извольте... на... на девять суток...

— Вице-адмирала Нахимова нельзя под арест! — крикнул Мишук, покраснев от негодования. — Дурак ты, Жорка, ничего не понимаешь, а туда же: светлейший князь Меншиков...

В Кривой балке запахло военным бунтом. Жора Спидиоти оправдывался как мог. Но ребята все как один стали на сторону Мишука и не дали в обиду Нахимова. Жора был тут же разжалован в матросы, а светлейшим князем Меншиковым назначен Васька Горох, долговязый парнишка, весь в веснушках. Новый князь Меншиков повторил приказ старого: вывести гарнизон на Альму и стянуть к Альме все резервы.

Все это Даша видела еще два дня назад из окошка своей лачужки в Кривой балке. А теперь Даша покачивалась в седле на хорошо обученной кавалерийской лошади и всматривалась в каждый ручей на дороге.

Дорогу пересекали и ручьи и речки; уже не только речка Бельбек, но и речка Кача осталась позади; пора бы быть и Альме с палатками и кострами, со всем скопищем большой армии, выведенной Меншиковым из Севастополя... Уж не заблудилась ли Даша? Едет на Альму к своим, а, того гляди, попадет к чертям караковым, как называл дедушка-Перепетуй англичан и французов.

От долгой скачки, без привычки к верховой езде, у Даши ломило ноги и ныло все тело. Ей приходилось время от времени останавливаться и отводить коня в сторону. Чтобы перевести дух, Даша растягивалась в густых зарослях дубняка, прямо на земле. И одна мысль томила ее: почему не видно никого на дороге? Почему не идут по ней обозы, не подходят резервы, не скачет кавалерия? Дорога, вчера столбовая, широкая, теперь сузилась настолько, что двум маджарам не разъехаться. И когда солнце взошло над степью, Даша увидела, что колеи на дороге заросли травой и вьется дорога чуть заметно; гляди, и вовсе пропадет в ближайшей балке, запутавшись в дубняке.

Но тут Даша услышала отдаленный пушечный выстрел и бой барабанов. Она вскочила на ноги и стала прислушиваться. Играл горнист... Старое, знакомое:

Бери ложку, бери бак;
Нету ложки, кушай так...

Даша рассмеялась и схватила коня за повод. Едва она вдела ногу в стремя, как заметила внизу, по ту сторону балки, золотистую пыль, курившуюся поверх дубняка. И оттуда, из-за балки, вдруг вырвалась песня:

Что жалеть солдату жизни!
Всем лежать в земле сырой.
А кто отдал жизнь отчизне,
Тот бессмертен, как герой.

Песня летела вверх, к ходившему уже высоко солнцу. Было ясно, что поет ее не десяток людей, а целый полк. И Даша, спускаясь по заглохшей дороге в балку, звонко подхватила:

Ура-а, на трех ударим разом,
Недаром же трехгранен штык!
Ура-а отгрянем над Кавказом,
В Европу грянет тот же клик.

Выбравшись из балки, Даша сразу разглядела башню телеграфа на горе у берега моря и густые колонны войск. Они перемещались в разных направлениях по обоим берегам мутной и

мелководной Альмы. Здесь, на гористом берегу, были наши солдаты. Противоположный берег был низок и переходил в равнину. И внезапно из-за купы деревьев, росших по ту сторону реки недалеко от берега, вырвалась группа всадников. Даше послышался их крик, такой же, как прошлой ночью в покинутой усадьбе:

— Алёна! Алёна!

Всадники эти были тоже козлобороды, и под каждым был вороной конь с белой звездочкой на лбу. Они размахивали обнаженными саблями и, подскакав к берегу, снова прокричали «Алёну». Откуда-то раздался одиночный выстрел, и все козлобородые, круто повернув, поскакали прочь.

Даша решила, что время ее близко, но еще не пришло. Она вернулась обратно в балку, расседлала там коня, спутала ему ремнем ноги и пустила пастись, а потом достала из узла своего краюшку хлеба и сваренное вкрутую яйцо. И стала ждать, чуть прислушиваясь к нараставшему шуму.

Точно буря разыгрывалась там, наверху... Точно море ревели... И сквозь этот рев прорывались иногда бодрящие звуки полковой музыки. Но пушки молчали, и ружейной перестрелки тоже не было слышно ниоткуда.

Началось, когда солнце уже было в зените. К этому времени против нашего левого фланга близ устья Альмы замелькали на противоположном берегу речки красные мундиры английских солдат. Англичане быстро придвинулись к речке, но сразу отхлынули, когда по ним хлестнула картечь.

Штуцеров в наших войсках было очень мало, но те, которые были, не пропадали зря. А красные мундиры неприятеля представляли собой великолепную мишень: русские штуцерники били без промаха.

Но англичане, как и французы, были сплошь вооружены дальнобойными штуцерами. И людей у неприятеля было вдвое больше. На правом берегу Альмы снова замелькали красные мундиры и медвежьи шапки, а за ними — клетчатые юбочки шотландских стрелков. Англичане ринулись через мост, а шотландцы, задрав юбки, лезли в воду и переходили речку вброд. По клетчатым юбкам тоже метко били штуцерные пули. Они сбивали с моста в воду и англичан. И мутно-стальная вода в Альме порозовела от вражеской крови. Река уносила ее в море, прочь от русских берегов. Но неприятелю удалось перейти Альму вброд и по мосту и ворваться в наше укрепление на левом берегу реки.

Пока длилась эта жестокая схватка с англичанами, французы обошли наш левый фланг и тоже очутились на левом берегу Альмы. На утесах при устье реки они поставили свои бомбические пушки. И долина Альмы обогрилась русской кровью.

Раненые ползли прочь, куда только можно. Двое заползли в балку, где пряталась Даша со своим конем. Одному из них распорол живот осколком бомбы. У другого от сабельного удара вся голова была в крови и нестерпимо ныло плечо, по которому проехала артиллерийская повозка.

Даша услышала шорох в колючем кустарнике, и стон, и голоса:

— Ох, браточек, печет у меня в нутре, моченьки моей нет... Ох!.. ох!..

— Вот те ремешок. Держись, земляк, за конец, а я другой конец тянуть стану. Главное дело, не выпускай ремня из рук, а то собьешься и вовсе пропадешь. Беда... кровь мне очи заливает, и плечо ломит, и в голове, как на колокольне, гудит... Где ж он, этот лазарет? Говорили — ползи на балку. На какую балку? Много тут балок. Там увидишь, говорят. Да вот напасть: ничего я тут не вижу.



Даша решила, что ее время пришло. Она вскочила на ноги и бросилась в кусты на голоса и стоны.

— Браточки мои! — закричала она, когда разглядела двух окровавленных солдат, барахтавшихся в кустарнике. — Стойте... сейчас... тут я... Ой, браточки!

Даша заплакала. Колючие ветки били ее по лицу, а она лезла вперед, не обращая внимания ни на что. Солдаты, услышав ее голос, остановились.

— Кто ты есть? — строго спросил ее солдат с окровавленной головой.

— Это я! — крикнула Даша, не зная, как ответить ему на его вопрос. — Сейчас... За меня, браточки, держитесь. Так... Поползли. Друг за дружку держись... Правей возьми...

И Даша поползла с обоими солдатами к роднику на дне балки, где кончался кустарник и немного поодаль рос большой дуб. Здесь, под дубом этим, лежал ее заветный узел, а дальше ходил в кустах спутанным ее трофейный конь.

Девушка уложила обоих солдат под дубом. Солдат с развороченным животом еле дышал. Он совсем ослабел, лицо у него стало восковым, а глаза — большими и мутными. Он не стонал больше, а молча глядел на Дашу, которая бросилась к своему узлу.

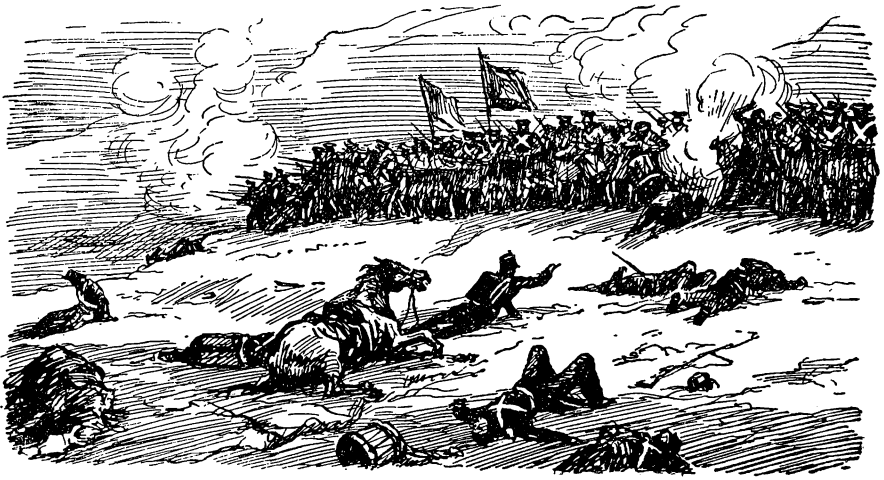
Даша мигом развязала его. В узле были чистые холстинки, мелко нащипанное полотняное тряпье, железные ножницы, деревянный ковш. Даша зачерпнула ковшом воды из родника, расстегнула у раненого в живот солдата его черный, залитый кровью мундир и ножницами разрешила рубаху. Она отшатнулась было, когда увидела у солдата на месте живота что-то яркокрасное, спутанное, кровоточащее. Но, подавив в себе страх, сразу же принялась за дело.

Осторожно, чуть касаясь, обмыла она солдату родниковой водой его страшную рану. Потом сложила, как умела, разорванные куски мускулов и кожи, наложила на живот холстинку, а на холстинку — мягкого нащипленного тряпья и туго обвязала бинтами, заготовленными еще дома, в Корабельной слободке.

Солдат, видимо, уже не чувствовал боли. Он не говорил, не стонал, не благодарил... Даша намочила в холодной воде тряпку и положила ему на лоб. И после этого принялась за его товарища.

Вся охваченная своим делом, ради которого она примчалась сюда из Севастополя, Даша не заметила, как в балку к ней стали тянуться еще раненые. Одни шли сами, других несли товарищи. А там, за балкой, клокотала в это время битва. Сам главнокомандующий французского экспедиционного корпуса, козлобородый маршал Франции Жак Леруа де Сент-Арно пожелал непосредственно руководить сражением. И его, хилого, смертельно больного, посадили на лошадь. Два адъютанта тянулись с ним рядом, поддерживая с обеих сторон своего дышавшего на ладан маршала.

Точно балерина, была стройна маленькая арабская лошадь главнокомандующего, белая, как кипень. И свои точеные ноги в красных кожаных манжетах она выбрасывала вперед, словно



в цирке. Сент-Арно объезжал поле сражения, поднося дрожащей рукой к глазу выложенную перламутром подзорную трубу. Он видел, как по ту сторону реки взмахнул руками и откинулся в седле русский офицер в каске и густых полковничьих эполетах, командир Владимирского полка. Пронзенный пулей, полковник тут же свалился с лошади. Но маршал Сент-Арно увидел также, как Владимирский полк пошел в атаку один, без командира.

— Воп¹, — сказал Сент-Арно и тряхнул плюмажем² на своей шляпе. — Воп, — повторил он и добавил: — Недаром русские солдаты считаются лучшими в мире. Это недаром...

Но то, что он увидел дальше, заставило его быстро протереть стекла своей щегольской подзорной трубы. Сент-Арно смотрел и глазам своим не верил. Русские солдаты — весь Владимирский полк — шли в атаку, не стреляя. Под пулями и картечью врага владимирцы шли со штыками наперевес, шли мерно, не замедляя и не ускоряя шага, шли без музыки и без единого крика...

И на минуту замолкли французские и английские пушки... Французские и английские стрелки опустили штуцера свои вниз, дулом к земле... И только грохот полковых барабанов сотрясал все вокруг: барабаны владимирцев били так нестерпимо гулко, что у маршала Сент-Арно даже нижняя челюсть опала и шляпа с белым плюмажем сползла набок. Судорожно стиснув

¹ Хорошо.

² П л ю м а ж — украшение из перьев.

в руках и маршальский жезл свой и подзорную трубу, Сент-Арно помертвелыми губами шептал беззвучно:

— Bon, bon! Bon, bon!

Это продолжалось всего только минуту, которая, казалось, длилась бесконечно. Первым опомнился английский главнокомандующий однорукий лорд Раглан. Он помчался вдоль правого берега Альмы.

— Да остановите же вы эту лавину! — крикнул он, бросив повод и взмахнув стеком. — Вперед, солдаты! Вперед за королеву!

И английские батареи в две минуты перетянулись вброд на русский берег Альмы и окатили владимирцев новыми струями огня.

Тогда, словно по команде, смолкли барабаны; только тут у владимирцев вырвалось оглушительное «ура», и они рванулись в штыки. Англичане бежали, и владимирцы разили их в спину из своих гладкоствольных ружей. А маршал Сент-Арно, едва держась в седле, все повторял:

— Bien! C'est très bien!¹ Если бы к нашим штуцерам и полевым пушкам да таких солдат, как эти русские дьяволы, мы бы завершили кампанию в одну неделю.

Но владимирцы дрались в одиночестве: никто не поддержал их героической атаки, и они тщетно ждали подкрепления. Они стали десятками валиться под разрывными пулями из английских штуцеров и ползли прочь, попадая в балку, где управлялась одна Даша.

Даша в балке у себя уже обмыла лицо и другому солдату, раненному в голову сабельным ударом. Лицо этого солдата показалось Даше знакомым. А солдат только ахнул, когда Даша промыла ему глаза, залитые соленой, едкой, липкой кровью.

— Дёмка!.. Ах, ты!.. Ну, ты!.. — вскрикивал солдат, разводя руками и хлопая себя по штанам, выпачканным землей и дегтем. — Да что же это, Дёмушка!.. Да как же это я, дурак!..

И Даша узнала наконец в солдате вчерашнего ездового из обоза с зарядными ящиками. Она улыбнулась, но к ней уже тащился новый раненый. Опираясь о ружье, он на одной ноге подскакивал к Даше сверчком. Другая нога только волочилась за ним, как прицепленная. Она была обута у него в рваный сапог, словно налитый кровью, которая струилась поверх рыжего голенища.

— Полно, полно! — сказала Даша ездовому. — Поди-ка лучше набери мне водицы в ковшик.

¹ Хорошо! Это очень хорошо!

Солдат встал и с забинтованной головой поплелся к ручью. — Ай да Дёмка! — твердил он, поднося Даше воду. — Ну и Дёмка! Дурак я, дурак!

И он стал снова с ковшиком к ручью и обратно и, несмотря на боль в плече, подносить к Даше тяжелораненых и помогать ей раздевать их, обмывать и бинтовать. И каждому рассказывал, что вот-де какой случай, расчудесный матросик объявился, Дёмкой зовут; и как вот он сам, старый солдат, ездовой из артиллерийского обоза, принял вчера Дёмку за переодетую девку.

— Дурак я, дурак! — продолжал он корить самого себя. — Фершала за девку принял. А есть это замечательный фершал морской, матрос Дёмка, Демид то-есть. А еще Демиду кнутом грозился...

Из уважения к Даше он называл ее уже не Дёмкой, а Демидом. И около Демиды этого стоял теперь на земле не один ковшик с водой, а целый десяток солдатских манерок полон был свежей воды. И солдат не знал, чем бы еще помочь, чем еще угодить Демиду. Своего товарища, раненного в живот, он осторожно поднял на руки и отнес подальше, в спокойное место, где слышно было, как бормочет говорливый ручеек, вытекающий из родника. Ездовой положил распростертому на земле солдату свеженамоченную тряпку на лоб и принялся и ему рассказывать, как это он, ездовой из обоза, вчера так опростоволосился при встрече с матросиком этим, с Дёмкой.

— Кликни мне его, Дёмку, — сказал смертельно бледный солдат еле слышно, пытаясь потрогать рукою свой туго забинтованный живот. — Кончаюсь я, браточек... Смертушка моя близко... Фершала Дёмку мне... В последний раз, браточек...

Ездовой бросился за Дашей. Даша оставила у него на руках донского казака с челюстью, перешибленной английской пикой, и побежала к роднику. Она наклонилась над умирающим солдатом, сняла наползшую ему на глаза мокрую тряпку и потрогала холодеющий лоб.

— Дёмушка! — сказал солдат заплетающимся языком. — Там... у меня... под коленом кошель привязан. Отвяжи, Дёмушка... возьми... Два рублишка серебряных в кошеле... вся казна моя.

Солдат передохнул; говорить ему, видимо, становилось все труднее.

— Дёмушка... Дёмушка... — хрипел он, то и дело останавливаясь. — Один рублик — тебе за твою ласку... Возьми, Дёмушка... не обидь. А другой пошли... написано там... записка в кошеле... матери... старуха она... написано... Устинья... Колядников Устинья... Дёмушка... Вятской губернии... деревня... деревня... Дёмуш...

И солдат не договорил.

Молча, глотая слезы, закрыла Даша глаза умершему. Потом, исполняя его последнюю волю, нащупала у него на правой ноге привязанный под коленом кошель. Она надрезала складным ножом штанину под коленом у лежавшего недвижимо солдата, отвязала кошель и сунула к себе за пазуху. А мокрую тряпку, которую еще раньше сняла у солдата с головы, она сплоснула в ручейке, выжала, развернула и закрыла покойнику лицо.

Сделав все это, она побежала обратно к себе, туда, где под дубом ее ожидала целая вереница исколотых, изрубленных, простреленных людей.

Даша совсем замаялась. Лицо у нее было мокро от пота и слез. Она резко провела по лицу рукавом своей матросской куртки и, задев бескозырку, смахнула ее с головы. И косы, тяжелые русые девичьи косы, спрятанные раньше под бескозыркой, вмиг очутились у Даши за спиной.

— Дёмка-а! — взревел ездоной, увидя это.

От изумления и неожиданности он вдруг почувствовал такую боль в забинтованной голове, точно кто-то стукнул его дышлом по макушке. Он глядел во все глаза на Дашины косы, даже попробовал их рукой потрогать...

— Дёмка... — лепетал он, — то-есть Демид, фершал морской...

— Хватит! — прикрикнула на него Даша. — Не Дёмка я совсем. Чего глаза вылупил? Даша я. Ну? И всё.

— Даша? — никак не мог прийти в себя ездоной. — Даша... То-есть Демид... Не Демид, не Демид... то-есть Дарья...

И он пришел наконец к бесповоротному решению, что перед ним действительно девка, но только переодетая матросом. И что это совсем замечательная девка. И что бывают такие девки, которым целый десяток хлопцев и на портянки не годится.

— Дарья, — сказал он как можно мягче, как можно учтивее, — а как вас, Дарья, спросить бы, по отчеству?

— Александровна! — отрезала Даша и принялась бинтовать казака, раненного пикой в челюсть. — Чем ляды точить, за водой бы сходил.

— Пи-ить... — услышала она как раз в эту минуту чью-то протяжную мольбу.

Вода в ковшике и в солдатских манерках, стоявших подле Даши, была на исходе.

— Ну! — крикнула Даша ездоному. — Не видишь ты? Вода — вся. Пошел к ручью! Бегом марш!

Ездоной, услышав привычную команду, вмиг подобрался, вытянулся перед Дашей «смирно» и по привычке гаркнул:

— Слушаюсь, ваше... то-есть Да... Дарья Александровна!

И что было духу бросился с манерками к роднику.

Наполняя их свежей водой и поднося Даше, он все время разговаривал сам с собою:

— Ну и девица! Поглядеть, так в чем душа держится, а что затеяла! Слыхано ли: девка за фершала! Богатырь-девка! Дарья Александровна...

И уже всем раненым, набравшимся в балку, было известно, что матросик этот удивительный — совсем даже не матросик, а девица, и зовут эту девицу Дарьей Александровной. Со всех сторон только и слышно было:

— Дарья Александровна, пить... Дарья Александровна, горит у меня в груди... Дарья Александровна, терпеть мочи нет...

И Дарья Александровна разрывалась на части, поднося одному к запекшимся губам ковшик с водой, другому поправляя на груди сползшую повязку, третьему шепча слова любви и ободрения.

— Потерпи, браточек. Боль не на век, а на час. Поболит и перестанет... Говорил мне дедушка один в Севастополе, Петр Иринеич: чего, говорил дедушка, на веку не случается! Потерпеть только, а там — после ненастья снова солнышко-ведрышко, после горяшка, гляди, опять радость.

Ездовой тем временем снял со своей рассеченной саблюю головы мокрые от крови тряпки, сам их выстирал в ручье и сам же перебинтовал себе голову. Потом раздобыл где-то заступ и стал рыть могилу солдату, лежавшему в кустах, с лицом, покрытым мокрой холстинкой. И скоро в балке близ речки Альмы вырос свежий могильный холмик с маленьким деревянным крестом. Никто не знал имени и фамилии умершего солдата. Только Даша вдруг вспомнила: Устинья Колядникова у него мать... Вятской губернии деревня... Даша вытащила из-за пазухи кошель Колядникова и нашла там два рубля серебряных и записку. Да, верно: Устинья Колядникова, Вятской губернии, деревня Новоселки.

И какой-то полковой грамотей нацарапал на кресте огрызочком карандаша:

*Колядников
Вятской губернии*

После этого тихо стало в балке. Никто не стонал, не кричал. Даша, стиснув зубы, делала свое дело. И ездовой бегал с манерками к роднику молча и не задавал Даше вопросов. Зато слышнее стал рев канонады и заметнее, как ядра и бомбы чертят небо над самой балкой. Случилось даже, что одна бомба хлопнулась в балке в дубняк, в самую гушину. Она прыгала там, как мяч, шипела и вертелась, ломая кустарник, и вдруг затихла, не причинив никому вреда.

Ездовой снова наполнил Даше все манерки и сел передохнуть, потому что в голове у него звенело и перед глазами все кружилось: и Даша словно кружилась, и казак со свороченной челюстью кружил, и дуб ветвистый вращался, и земля кругами пошла, и небо над головой вертелось. Когда головокружение у ездового прошло, он и сам хлебнул воды, подставив под струю родника свои большие, в мозолях и ссадинах ладони. И, не сказавшись никому, полез из балки, туда, откуда огонь и дым то поднимались к небу, то тяжело стлались по долине Альмы.

В той стороне не замолкали пальба и лязг железа, и топот ног, и конское ржанье. Но битва подходила к концу. Выбравшись из балки, ездовой увидел, как отступали наши поредевшие полки.

Они покидали поле сражения без офицеров, вырванных из боя штуцерными пулями. Солдаты шли в полном порядке со своими знаменами и полковыми оркестрами. Они знали, что за Альмой, за Качей и Бельбеком раскинулся по берегам бухты русский город Севастополь. И что в Севастополе они рассчитаются с врагом и за этот день.

А день, 8 сентября 1854 года, начинал меркнуть. Взобравшись на утес, ездовой заметил, что тусклый багрянец заката уже заливает изрытую ядрами землю. Неприятель подошел к берегу Альмы со свежими силами. Это была шотландская дивизия, еще не тронутая битвой. Ездовой никогда подобного не видел — настолько все здесь было в движении. Солдаты мерно выбрасывали ноги и размахивали на ходу руками, и штуцера на ремнях колыхались, клетчатые юбочки были в непрерывном шевелении, трепетали хвостики на горских сумках, и развевались на шапках перья. Впереди шли волынщики, и музыка их была полна неизъяснимой тревоги. Словно ветер завывал в ущельях их родины и камни катились в долину с гор.

Ездовой обвел глазами все поле. Слева дымились деревня Бурлюк, и все кругом было усеяно трупами, обломками зарядных ящиков, брошенными повозками... Под самым утесом, на который взобрался ездовой, стояли три такие повозки, и распряженные лошади дремали подле, привязанные к облучкам.

Преодолевая боль в голове и тошноту, подступавшую к горлу, ездовой спустился с утеса и стал запрягать. Плечо у него горело, но работа эта была для него привычной. Он только и делал всю жизнь, что запрягал и распрягал, грузил повозки всякой кладью и погонял лошадей. И теперь, несмотря на боль и тошноту, он быстро управился со своим делом и погнал все три повозки к балке, где все еще хлопотала Даша.

От новых раненых, которыми непрерывно наполнялась балка, девушка уже знала об отступлении нашей армии. Даша все еще обмывала, перевязывала, утешала, как могла, но терялась

при мысли о том, что же делать дальше. И, раздумывая об этом, она смутно улавливала солдатские речи позади себя и в стороне, в кустах.

— Вон оно, голуби, как обернулось, — рассказывал там кто-то, поминутно вздыхая. — Охо-хо! Ге-не-ралы... Генералы-то, горяшко мое, всё и напутали. А генерал Кирьяков, так тот и вовсе пьян был. Не по мере хватил рому и с лошади чуть не валился. Ко-ман-дир... Командир дивизии... Это Кирьяков-то. Охо-хо! Меншиков шлет к нему ординарца. Стецко ординарцу фамилия. Нет, погоди... не Стецко... не Стецко... Вспомнил! Фамилия ординарцу Стеценко. Из флотских он, лейтенант. Вот, значит, подлетает к Кирьякову этот самый Стеценко... Ну, видит, не в себе генерал; как говорится, еле лыко вяжет. Повернул Стеценко коня — и обратно. Глядим, ан сам Меншиков к генералу к Кирьякову скачет. Уж Меншиков его и так, Меншиков его и сяк, бледный весь, кулаками грозитя... А Кирьяков — что ты с ним поделаешь! Глаза выкатил, усищи выершил да знай одно лопочет: «Ваша светлость! ваша светлость! ваша светлость!» Охо-хо! Не глядел бы я, голуби, на это...

Солдаты говорили, маялись и стонали раненые, на Альме еще били пушки, но сражение заметно затихало.

«Армия отступает», — сообщила Даша. Скоро здесь могут появиться те самые «черти караковые», на которых она насмотрелась прошлой ночью. И что же тогда будет?

И вдруг, подпрыгивая на пеньках, к дубу, под которым, уже изнемогая, работала Даша, с грохотом подкатили три повозки. На облучке передней повозки размахивал вожжами ездовой с забинтованной головою. Он слез с повозки, подошел к Даше и стал шептать ей над самым ухом:

— Дарья Александровна, кончать надо... скорей кончать. Которые тяжелораненые, тех — на повозки. Полегче которые — пешком пойдут.

— Хорошо, — сказала Даша, сдвинув брови: — тяжелых в повозки. Тебя как звать, кавалер?

— Ермошкой кличут. Ермолай то-есть.

— Ермолай... а по отчеству? — спросила Даша.

— А по отчеству никто никогда не называл, — ослабилась ездовой. — Все Ермошка да Ермошка.

— Ну, а я буду называть, — сказала упрямо Даша.

— Я — Ермолай, а батюшку моего звали Макаром.

— Значит, Ермолай Макарович?

— Выходит, что так, — подтвердил смущенно ездовой.

— Так вот, Ермолай Макарович: рассади ты, кого нужно, по повозкам. А я — сейчас...

— Так точно, Дарья Александровна! — громко отозвался ездовой. — Исполним все как следует... Браточки! — гаркнул

он на всю балку. — У коих сила, давай переноси тяжелых. Побойся, браточки!

И он стал поправлять на лошадях — у которой хомут, у которой подпругу.

— Ну-ну... слышали? — сказал он, обращаясь к паре разномастных меринков в дышле первой повозки. — Как, спрашивает, тебя по отчеству? А то ведь целую жизнь все было Ермошка да Ермошка... То тебе Ермошка запрягай, то тебе Ермошка распрягай... Ермошка — кнут! да Ермошка — хомут! И на горку — Ермошка, и под горку — Ермошка. И в рыло Ермошку, и по задривку Ермошку... И так сорок пять годов всё Ермошка, да Ермошку, да Ермошке... Крешеным-то именем разве что поп коли назовет: дескать, в чем грешен ты, раб божий Ермолай? А тут — во: Ермолай Макарович! Важно. Гмм... да-а... Очень Дарья Александровна аккуратная девица.

Между тем Даша, умывшись из родника, пошла за своим конем. Она сразу нашла его: конь стоял у могилы Колядников и, опустив голову, нюхал землю. Даша распутала его и повела.

Подле дуба все уже было на ногах; тяжелораненых переносили на повозки; все собирались в дорогу. Даша оседлала вороного и хватилась своей бескозырки. Но та завалилась куда-то, и разыскивать ее было поздно. Даша махнула рукой и села в седло.

Скоро из балки выехал на проселок небольшой обоз. Три повозки с тяжелоранеными шли одна за другой. За повозками ковылял пешком весь остальной, так или иначе попорченный, покалеченный в сражении люд. А впереди ехал на статном вороном коне паренек в матросской куртке.

Обоз выбрался на большую дорогу и стал обгонять целые толпы солдат, угрюмых и измученных. Те оживлялись на минуту и ахали от изумления, в сгустившихся сумерках разглядев за спиной у молодого матроса толстые русые девичьи косы.

Кончился день. Лиловый туман полз по широкой степи. Армия отступала на Качу, на Бельбек, к Севастополю.

XXII

Худые вести

С отъездом Даши дедушке Перепетую не сиделось ни в комнатах, ни в саду под шелковицей. Впрочем, в те тревожные дни мало кто в Севастополе оставался дома. В четырех стенах у себя что услышишь, что узнаешь?

Восьмого сентября, в день битвы на Альме, дедушка пошел

на Городскую сторону, к Маленькому бульвару, где морская библиотека. На вышке библиотеки оптический телеграф был в непрерывном действии. Через промежуточную станцию шли в Севастополь депеши с Альмы. Сигналистам в Севастополе была с вышки ясно видна в подзорную трубу телеграфная башня на Бельбеке. И они приняли у себя полученную на Бельбеке с Альмы депешу. Она состояла всего из четырех слов:

WTVWV V TUVKTV V T <VV

Эти четыре слова были сразу же расшифрованы и полетели с вышки морской библиотеки вниз — на бульвар и на площадь. Эти четыре слова

— *АРМИЯ ВСТУПИЛА В БОЙ* —

разлетелись во все концы Севастополя, и в городе, по всем его концам, стало вдруг томительно тихо. На Маленьком бульваре нарядные барыни в соломенных шляпках и с кружевными зонтиками, все время щебетавшие по-французски, вдруг смолкли. Рабочие тяжелыми кувалдами вколачивали где-то по соседству сваи для нового укрепления и пели «Дубинушку», и старший артельный выкрикивал слова команды:

— Э-эх, дубинушка, ухнем!.. Разом! Взяли! Бей!

Но четыре слова: «Армия вступила в бой» — докатились и до рабочих. Они сразу остановились и опустили кувалды, и «Дубинушка» оборвалась на полуслове.

А дедушка Перепетуй снял с головы картуз, вытер вспотевшую лысину...

— Армия вступила в бой, — произнес он вслух.

И посмотрел на часы: было ровно два часа. Росший подле наружной лестницы библиотеки пирамидальный тополь бросил на белый мрамор ступеней голубую тень.

Дедушка присел у лестницы на каменную скамью и стал нетерпеливо поглядывать на часы. Было уже половина третьего на дедушкиных часах, и без четверти три, и ровно три, а с Альмы больше депеш не поступало. Гори-



зонт за Бельбеком подернулся дымом. Оттуда в Севастополь доносился только глухой гул канонады. В четыре часа дедушка встал и побрел домой.

В эти дни по всем окраинам Севастополя кипела небывалая работа: город опоясывался цепью укреплений. Дедушка, много повидавший на своем веку, никогда еще не видел такого аврала¹. В нем участвовал весь город. Звенели топоры; пилы, вгрызаясь в дерево, тянули монотонную песню; ломы взламывали камень; и мотыга тяпала, и молот бил. Матросы, и солдаты, и рабочие, и женщины, и дети — все что-то делали, что-то перетаскивали, что-то куда-то сваливали. На целых семь верст должны были охватить новые земляные укрепления город — с востока и с юга и к западу. Бастионы поднимутся по краю Корабельной слободки один за другим; четвертый бастион почти примкнет к Театральной площади; и еще бастионы и батареи с блиндажами выдвинутся из города в поле и упрутся в Карантинную бухту.

Дважды повстречались в этот день дедушке Перепетую адмиралы Корнилов и Нахимов. Оба были верхом. Корнилов сидел на лошади, как настоящий кавалерист; ему, моряку, и верховая езда была, видимо, делом не новым. Но Павел Степанович знал море, только море. Странно было видеть, как суетлился он в седле и как фуражка совсем съезжает ему на затылок; а брюки морского фасона, навывпуск и без штрипок, норовят задраться выше голенищ. Но ни Корнилову, ни Нахимову, конечно, и в ум не шло думать теперь о красоте посадки. Оба они с утра и до ночи гоняли по вновь возводимым бастионам, из одного конца города в другой. И вслед за ними скакал полковник Тотлебен, военный инженер, строитель крепостей.

В Корабельной слободке дедушка наткнулся на укрепление, где работали одни ребята. Здесь была вся тройка слободских коноводов: Николка Пищенко — Корнилов, Мишук Белянкин — Нахимов и Жора Спидиоти, который уже не был светлейшим князем Меншиковым, а работал простым матросом. Простым матросом работал и долговязый Васька Горох. Ведь ребята знали, что светлейший князь Меншиков находится теперь при армии на Альме и что меньше всего обязан ему Севастополь новыми укреплениями.

Дедушка давно привык ко всем этим босоногим «Нахимовым», «Корниловым» и «светлейшим князьям Меншиковым». Но теперь ребята, забавляясь игрой, делали настоящее дело. И удивительнее всего, что в этой игре участвовали теперь, наряду с мальчиками, и девочки. Они тоже получали приказания от «Корнилова» и «Нахимова» и таскали землю на носил-

¹ Аврал — общая работа на корабле.

ках, в мешках, в рогожках, в корзинках, даже в подолах своих ситцевых платиц. И вот вблизи Корабельной слободки, перед вновь возводимым третьим бастионом, выросстал постепенно земляной завал. Его насыпали дети, и бойцы третьего бастиона, матросы и солдаты, назвали его Ребьячим завалом.

Дома дедушке стало нестерпимо грустно. Один он теперь, одинешенек, да еще пушки эти ухают с Альмы не переставая, словно шквалистый ветер все время хлопает незапертыми воротами. И еще вот — только один день не приходила Даша, а дома на всем лежал какой-то налет запущенности: в комнатах не метено; на столе по скатерти рассыпан нюхательный табак; в кухне на подоконнике — грязная посуда. И некому рассказать о том, что видел, что слышал дедушка на Городской стороне, у морской библиотеки. И некого пожурить, и некого поучить. Дедушка снял сюртук и сам подмел в комнатах. Когда он нес по двору на совке мусор, из-за плетня выглянула Кудряшова.

— Что же ты, Петр Иринеич, дедушка, сам с веником управляешься? — спросила Кудряшова. — Твое ли это дело?

Дедушка потоптался, смущенный этим вопросом.

— Да что делать будешь! — ответил он Кудряшовой. — Даша отпросилась к тетке сходить. В Балаклаве, вишь, тетка у нее. Вот один за всё и управляюсь. Придется — так и уполковник в руки возьму и платочком голову повяжу — стряпать стану.

— Даша... в Балакла-аву?.. — протянула недоуменно Кудряшова и вдруг вспомнила свою вчерашнюю встречу с молодым матросом на плотине.

Захлебываясь, она стала рассказывать дедушке, как вчера снова запропастилась у нее коза Гашка и что совсем не стало житья с этой шkodливой козой. Залезла на плотине в лозняк, а Кудряшова, ищучи ее, чуть не до Бельбека добежала. И все звала: «Гашка, Гашенька, Гашка!» — и хоть бы тебе что. И Кудряшова совсем было решила, что зарезал Гашеньку волк, и даже всплакнула, но тут же вспомнила, что ни на Бельбеке, ни на Каче, ни на Альме волки не живут. Это на родине у Кудряшовой, под Медынью, волков — сила! И все такие здоровенные бирюки — верблюда, коли что, зарежут, не то что козу. И пошла Кудряшова обратно от Бельбека в Корабельную слободку и, идучи, все кричала: «Гашка, Гашка, Гашенька!»

— И что ты думаешь, Петр Иринеич! — продолжала Кудряшова. — Бреду это я плотиною в обрат, от усталости ног под собой не чувю... Дай-ка, думаю, пошарю в лозняке...

Дедушка Перепетуй стоял в чувыках своих и с совком около мусорного ящика и глядел на Кудряшову, не понимая, к чему она клонит и при чем тут коза Гашка. Но Кудряшова, когда

заводила про Гашку, то уже остановиться не могла. Она высунулась над плетнем до половины и продолжала разливаться:

— И что же ты, Петр Иринеич, думаешь...

Дедушка заикнулся было, что он ничего не думает и читал на Гашку и на всех коз на свете. Но Кудряшова уже размахивала руками и слушала себя, а не дедушку.

— И что же ты, Петр Иринеич, думаешь, — повторила она.

Но вдруг у нее из головы все вылетело, и она сама забыла, о чем она только что рассказывала.

Да... О чем же она, в самом деле, говорила, Кудряшова? Да, вспомнила! Она рассказывала про козу Гашку. А что рассказывала? И при чем тут Гашка? Этого Кудряшова уже вспомнить не могла. И про волков она говорила, что под Медынью водятся. И это верно, что под Медынью очень много волков живет. Но к чему тут волки, Кудряшова тоже уже не понимала. Она окончательно потеряла всякую связь между тем, о чем говорила и что хотела сказать, сама запуталась и дедушку запутала.

Дедушка стоял с совком подле мусорного ящика и бессмысленно глядел на Кудряшову. В глазах у дедушки налились красные жилки. И вдруг сообразив, какая бессмыслица получилась, дедушка рассердился, опростал совок с мусором и, не сказав ни слова, повернулся и пошел к дому.

Кудряшова глядела дедушке вслед — на его яйцеобразную, коричневую от загара лысину глядела, и на то, как волочил он по земле свои чувяки, и как повис у него совок в правой руке. Кудряшова еще подумала: вот-де какой старикан исправный, сам с веником управляется; Даша, вишь, пошла в Балаклаву... И Кудряшова сразу вспомнила что к чему и при чем тут Гашка и волки, все вспомнила...

— Дедушка-а! — закричала она на всю слободку. — Петр Иринеич! Ты послушай-ка, что я скажу тебе... Не уходи, не уходи, Петр Иринеич, это даже очень интересно!..

Остановился дедушка, стал посреди двора, а Кудряшова ну кричать ему через плетень, что повстречался ей вчера на плотине матросик, скачет верхом на лошадке — прямо ни дать ни взять Даша Александрова. Только что кос не видно и матросские штаны на ляжки натянуты, а так — чистая девка.

Дедушка слушал, оставаясь на месте, и только ладонь поднес к уху, чтобы лучше слышать. Но когда разобрал, что речь идет о Даше и дело это такое необыкновенное, то повернул опять к плетню и заставил Кудряшову повторить все сначала.

Очень удивился дедушка всему, что услышал от Кудряшовой, и подумал:

«Что за диво такое? Даша — сирота, ни отца, ни матери, некому сироту уму-разуму поучить. Как бы чего сглупа не на-

творила девка! Время нынче такое... всего жди. Схожу сам, погляжу да добрых людей расспрошу».

И дедушка вошел в дом и прилег отдохнуть. А вставши, надел сюртук и взял в руки картуз и свою кизилковую трость.

Он пошел по Широкой улице в сторону Кривой балки. Смеркалось... Уже летучие мыши ринулись с чердаков и колоколен на ночную охоту... Но пока только одна-единственная звездочка выбралась откуда-то на воздушный простор и тихо теплилась в светлозеленом небе.

Жители Корабельной слободки возвращались с работ на укреплениях. У каждого в руках был какой-нибудь инструмент: у кого — кирка, у кого — лопата. По улице проскакал во весь опор казак с зажженным факелом у седла.

В Кривой балке было и вовсе темно: дедушка даже споткнулся о какую-то промятую жестянку на дороге. Но в Дашиной лачужке горел огонек.

Дедушка обрадовался:

«Вот и вернулась из Балаклавы Дашенька! Ну и шустрая девка! Прямо — стрела. Вчерашний день в Балаклаву отмахала пятнадцать верст, а сегодня из Балаклавы — те же пятнадцать».

Дедушка опять зацепился за что-то на дороге — что там такое, рогожка или тряпка, в темноте нельзя было разобрать. Отшвырнув это ногой, дедушка остановился табачку понюхать. И пока доставал из кармана табакерку, то видел, как снуют лоскуты огня по плотине на Черной речке. Людей не видно было, одни только факелы у седел разрывали темноту и бросались с плотины вниз на дорогу.

«Всё курьеры, — подумал дедушка. — С Альмы курьеры... Каждые полчаса курьер».

И дедушка вдруг заметил, что не слышно стало уханья пушек. Всю вторую половину дня ухало; дедушка к вечеру как-то успел даже к этому немного привыкнуть... И вдруг — не ухаёт больше. Значит, кончилось на Альме сражение. А чем кончилось? Чья взяла сила?

«Охо-хо! — вздохнул дедушка. — Надо бы на Широкой улице перехватить какого-нибудь курьера; вынести казаку на дорогу бузы ковшик, чтобы освежился, а там и расспросить».

Решив так, дедушка стал подбираться к Дашиной лачужке.

В тусклом оконце дедушка увидел плошку на печурке, а в плошке зажженный фитиль. На столе, спиной к окошку, скрючившись и поджав под себя ноги, сидела... нет, не сидела, а сидел... Во всяком случае, то, что сидело на столе, поджав ноги, не было Дашей.

— Хорошо, — молвил про себя дедушка, — допустим. Допустим, что это не Даша, а тетка Дашина. Зачем же понадооби-

лось тетке этой забираться на стол и сидеть там по турецкому обычаю, поджавши ноги? Балаклава — русский город, и живут там русские люди и греки-рыбаки. Русские, как известно, не сидят, поджав под себя ноги, да и греки тоже. Греки — так те и вовсе терпеть не могут турок... Но постой, постой, Петр Иринеич, — обратился дедушка к самому себе. — Эва, ты, старый, проглядел! Вон она, тетка наша из Балаклавы. Гляди-ка, сидит на табуретке и зыбку качает. И песню поет: а, а-а; а, а-а... Странная песня, очень жалостная... цыганская или молдавнская?.. И странно как-то у старухи платок повязан; платок забран поперх ушей, а в ушах — крупные цыганские серьги. Но Даши не видно. Да тут ли она?

Дедушка взгляделся и заметил, что множество ребятишек, мал мала меньше, разложено на тряпье по всей лачужке. Петр Иринеич насчитал их восемь штук.

— Диво! — молвил дедушка и сам не заметил, как снова полез в карман за табакеркой и табачку понюхал. — Диво! — повторил дедушка.

Но тут у дедушки в носу защекотало, и он, по обыкновению своему, зажмурил глаза и два раза подряд чихнул. И когда открыл глаза, то даже отшатнулся. Из-за мутного стекла, чуть освещенный огоньком плошки, на дедушку глядел... козел. И не просто козел, а козел в очках. Козел был стар и космат, и на нем была жилетка. А позади козла в жилетке стояла та самая старуха в цыганских серьгах, и на столе был разостлан старый жандармский мундир, голубой с серебряными пуговицами. И дальше, на скамье у печки, стоял пустой штоф.

Дедушка перепугался не на шутку.

— Куда это вы занесли меня, мои старые ноги? — прошептал он, взглянув на свои серые от пыли сапоги. — Ладился к Даше в Кривую балку, а попал, видно, в Цыганскую слободку?.. Там этих колдунов — гибель. Давай отчаливай, Петр Иринеич! С цыганами свяжешься — свету не рад будешь. Да еще в ночную пору! Ну их совсем! Давай-давай отселева!.. Снимайся с якоря!

И дедушка шагнул влево.

Но тут луч от плошки, пробившись сквозь оконце, упал на валявшуюся на земле железную вывеску. На вывеске были нарисованы зеленый мундир с красным воротником и широко растопыренными рукавами и большие портновские ножницы. И, кроме того, на вывеске было крупными буквами что-то написано. Дедушка нагнулся и прочитал:

*Военный портной
Ерофей Коротенький
а также ремонт*

— Хе-хе, — усмехнулся дедушка. — Портного за козла принял. Военный портной Ерофей Коротенький...

Дедушка, с тех пор как уволился с телеграфа, уже больше у военных портных не шил. Много лет потом дедушка заказывал себе платье у единственного в Корабельной слободке портного мастера Кудряшова, мужа той самой Кудряшовой, у которой коза. А с тех пор как умер Иван Егорович Кудряшов, дедушка и вовсе ничего себе не шил. Так, старое донашивал. А портной Ерофей Коротенький шил на нищих пехотных офицеров, да на полицейского пристава Дворецкого, да на жандармского полковника Зубова. И жил Ерофей Коротенький по ту сторону Севастополя, где-то в Артиллерийской слободке.

— Постой, постой, Петр Иринеич, — снова обратился к самому себе дедушка. — Как же это можно тебе в десять минут времени из Корабельной в Артиллерийскую перекинуться?

Тут дедушка и вовсе рассердился, только неизвестно на кого. Впрочем, он сейчас же решил, что во всем виноваты англичане и еще французишки эти: лезут, черти караковые, куда не просят; такая кутерьма кругом — дедушку совсем с толку сбили. И чтобы с этим покончить одним разом, дедушка шагнул направо, дернул за вбитый в дверь колок и вошел в освещенную площадку лачужку.

Военный портной Ерофей Коротенький уже успел опять взгромоздиться на стол и разложить на коленях у себя потертый жандармский мундир. Дедушка заметил, что по всей жилетке у портного натканы иголки, а на среднем пальце у него железный наперсток. Но очки были теперь подняты на лоб, и военный портной, помаргивая воспаленными веками, недоуменно глядел на появившегося в дверях посетителя, одетого не в мундир и не в китель, а в заурядное гражданское платье.

— Добрый вечер, — сказал дедушка, снимая картуз.

— Здравствуйте пожалуйста, — ответил портной.

Он как-то боком свалился со стола и шлепнулся босыми ногами об пол. Дедушка тут же решил, что по человеку и фамилия: у Ерофея Коротенького было обыкновенных размеров туловище на кривых, непомерно коротеньких ножках. И от этого портной казался квадратным. Он сшиб с табуретки кучу распоротого тряпья, и дедушка уселся, опершись обеими руками на палку.

Дедушка не знал, с чего начать, как подойти к такому деликатному делу. Тут и Даша, и тетка Дашина... А кроме того, дедушка не был уверен, что он находится теперь в Корабельной слободке. Может быть, он каким-то чудом все-таки забрел в Артиллерийскую, где испокон веку и проживал военный портной Ерофей Коротенький. Дедушка был самолюбив и очень боялся, как бы все это не открылось и его не засмеяли бы со-

седи. Пойдет звон по всей Корабельной слободке, что старик Ананьев совсем спятил, уже не отличает четверга от субботы. И дедушка решил подойти к делу не сразу, а исподволь, и не прямо, а стороной.

— Вот, господин мастер, — сказал он, — привозу совсем не стало, суконца хорошего не видно, в лавках одна заваль... А всё эти англичане с французами.

— Холера бы взяла их! — вскрикнул портной, хватаясь за голову. — Нет сукна — нет работы; а нет работы — нету хлеба. — Он поднял вверх руку с наперстком на пальце и сказал: — Без хлеба что? Могила? Гроб? Да.

Вцепившись всей пятерней себе в волосы и взъерошив их, он обежал вокруг стола.

— Я не зверский человек, — сказал он всхлипнув. — Как мундир штопать, так, значит, «шей, Ерофей!» — И он схватил со стола жандармский мундир с полковничьими эполетами и тряхнул им в воздухе, как бубном. — Да, — кричал он, потряхивая скомканным мундиром, — как шить, так «Ерофей, шей!», а как за деньгами придешь, так Ерофея — взашей. И не обижайся, Ерофей, не обижайся. Обидишься — плохо тебе будет.

«Эк, накипело у человека! — подумал дедушка, глядя на мельтешившего у него в глазах портного. — Да и хлебнул, видно, с горя: вон у него штоф пустой стоит. Видно, один весь штоф и высадил. Стало быть, такая уж причина подошла. День-деньской в работе колотится; ну вот — к вечеру, значит, и ублажился, сердечный».

А портной швырнул одежду на стол, развел руками:

— Денег нет, хлеба нет, хибара сгорела...

— Как сгорела? — ухватился моментально дедушка. — А эта?..

И дедушка обвел рукой лачужку с ребятами, набросанными по всем углам.

— Только вчера переехал, — ответил портной. — Девицу одну на базаре встретил, продавала то да се... «Не купишь ли, говорит, мастер, у меня хатенку в Корабельной, в Кривой балке?» Хорошая девица, уступила бедному человеку. Такой дворец — и всего за десять рублей. Прямо — царский дворец... Его величество государь император, — усмехнулся он едко.

У дедушки от всего, что он сегодня видел и слышал, мутилось в голове.

«Постой, — твердил он мысленно себе самому. — Девица, продавшая портному свою лачужку, — это, конечно, Даша, Даша Александрова. Постой!..»

Но тут дедушка вздрогнул и сразу поднялся с табурета. В дверь лачужки раздался с улицы сильный удар.

Портной бросился к окошку. На улице было светло, и по земле прыгали длинные тени. И снова удар в дверь, и удары эти посыпались один за другим...

— Гей, — кричал кто-то с улицы, — чи есть тут живой человек?

Портной затрясся и забежал по комнате.

— Казаки, — шептал он в ужасе, рассовывая по всем укромным углам лоскуты, обрезки, поношенные армейские мундиры, споротые галуны. — Беда! Последнего лишишься!

Дедушка вышел на улицу. Молодой казак, с желтыми, как солома, усами, сидел на взмыленной лошади и рукояткой нагайки поправлял светильню в горящем факеле. Увидя дедушку, он наклонился в седле и сказал:

— Господин хороший, с дороги я, видно, сбился; повернул, да не туда. Скажи на милость, как мне на Павловскую батарею выехать; да водички мне испить не пожалуешь ли? Пыль в горле комом сидит.

Портной вынес казаку ушат с водой и ковш. Казак стал пить прямо из ушата, а конь его все поворачивал голову и фыр-кал — тоже, видно, воды просил.

— Дайте, люди добрые, и коня напоить. Бессловесное животное, а, гляди, как человек разговаривает.

Портной пошел к колодцу, зачерпнул там воды и поднес коню. Конь жадно пил, но временами отрывался от ушата и внимательно оглядывал Ерофея Коротенького с головы до ног. Тогда спешившийся казак посвистывал своему маштачку¹, и тот снова тыкался мордой в ушат.

Дедушка подошел к казаку вплотную.

— Откуда едешь, станичник? — спросил он. — И с чем?

— Еду я, господин хороший, с Альмы-речки, — ответил казак. — Худые вести. Отступление. И народу что перемято!

Дедушка почувствовал, что сердце у него остановилось и в груди стало непривычно просторно. А казак, напоив коня, уже снова был в седле.

— Так как же, господин хороший, мне на Павловскую выбиться? — снова спросил он дедушку.

— Бери направо, — ответил дедушка. — Из балки как поднимаешься, ладься опять направо. Близо это.



¹ М а ш т а к — крепкая приземистая лошадка.

— Ну, спасибо, люди добрые, — и казак кивнул дедушке и косматому коротенькому человечку с пустым ушатом. — Худые вести, — добавил казак и дал своему коню понюхать нагайку.

«Худые вести, худые вести», — замолотило у дедушки в голове.

Он совсем забыл, где он и что с ним. Не попрощавшись с новым владельцем лачужки в Кривой балке, дедушка, спотыкаясь на каждом шагу, побрел в ту сторону, куда горящий факел, становясь все меньше, убежал вприпрыжку.

XXIII

Трудная задача

На другой день дедушка проснулся от шума на улице. Вчерашняя стрельба на Альме не возобновлялась. Но с улицы доносились крики, топот ног, скрип колес... Дедушка накинул на себя старенькое пальтецо, служившее ему вместо халата, и вышел за ворота.

Вся Широкая улица полна была людей. Они гомонили, собирались в толпы, показывали на что-то пальцами... Дедушка взгляделся и увидел, что по дороге со стороны Черной речки движется какой-то обоз. Впереди шла ватага мальчишек с Мишуком Белянкиным во главе.

— Что тут это? — обратился дедушка к Кудряшовой, которая стояла подле хатенки своей у раскрытой калитки.

— Ой, Петр Иринеич! — всполошилась Кудряшова. Из глаз у нее хлынули слезы. — Голубчики, переколотые, перекалеченные... Ой, беда какая! Эвонде везут их, а другие пеши маются.

— Раненых, значит, везут со сражения, — заметил дедушка.

— Со сражения, Петр Иринеич, — подтвердила Кудряшова, вытирая краем передника мокрое от слез лицо. — Раненых это везут.

На улице становилось все шумнее; люди стали бросаться навстречу обозу; а дедушка увидел поверх всей толпы на дороге парнишку в матросской куртке верхом на рослом вороном коне. Но тут Кудряшова закричала, будто змея ее ужалила:

— Она, она! Ой, что же это? И косы, гляди, Петр Иринеич... Что, говорила я тебе! Она это!

— Э-э... — хотел что-то сказать дедушка, но растерялся и умолк.

Он вспомнил, что со вчерашнего дня с ним что-то все происходит такое, чего раньше не бывало. Все будто мерещится что-то. Вот и сейчас мелькнуло, и так — будто это верхом на

вороном коне сидит Даша. А Кудряшова дергала дедушку за рукав и все кричала:

— Она, она это!.. Даша это!.. Ну, как же не Даша? Гляди! Петр Иринеич!

И кругом тоже все стали кричать:

— Даша, Дашенька!

Дедушка наконец понял. Все это — не сон и не бред. На вороном коне едет верхом Даша Александрова и ведет за собой три повозки раненых. А за повозками плетутся гурьбою другие — видимо, те, которых держат еще ноги.

Против дедушкина домика Даша остановила коня. И позади нее тоже остановились повозки и люди.

«Двух дней не прошло, как уехала я, — подумала Даша, — а вот с чем приехала».

Дедушка стоял попрежнему у ворот, кутаясь в свое пальтецо. Кудряшова куда-то исчезла. Дедушку оглушали эти крики на улице.

— Худые вести, Петр Иринеич, — обратился он опять, как вчера, к самому себе. — Правду молвил казак: худые вести.

Даша соскочила с коня и дала Мишуку Белянкину подержать его за повод. Она подбежала к дедушке и обхватила его шею руками.

— Дедушка! — сказала она нежно и вся затрепетала. — Прости, дедушка, что бросила тебя одного. Вот видишь, какое дело...

И она показала рукой на свои повозки.

А там, около повозок, уже толпились женщины с ушатами воды, с ковшами бузы, с кринками молока, с краюхами белого хлеба. И потчевали всем этим раненых. А солдат с обмотанной головой у передней повозки всем рассказывал про Дарью Александровну, и про балочку близ Альмы, и как Дарья Александровна управлялась там целый день — и обмывала, и перевязывала, и ласковым словом дарила. И Кудряшова тут выбежала из ворот с целым ведром яблок и стала трещать:

— А что, не говорила я, не говорила? Еще вчерашний день, вижу, дедушка Перепетуй к помойке идет...

Но на Кудряшову закричали, чтобы перестала болтать пустое; пусть лучше солдат рассказывает.

А Даша все еще ластилась к дедушке, у которого из глаз бежали по морщинистым щекам слезы.

— Как же ты... как же ты... Дашенька... на такое решилась? — пробормотал он наконец, и губы у него задрожали, а глаза стали совсем красными. — И кто тебе это насоветовал? И как же ты теперь жить будешь?

— Не было, дедушка, у меня никого советчиков, — сказала Даша. — У тебя спроситься боялась: рассердишься и не пу-

стишь. Да ты, дедушка, не беспокойся: я забегать к тебе стану и приберу и, что надо, сделаю. А теперь прощай, дедушка. Надо мне свезти в госпиталь этих... браточков моих... Браточки! — крикнула она обернувшись. — Собирайся! Ермолай Макарович!

И все очень удивились, когда солдат с обвязанной головой крикнул по-военному на всю Широкую улицу:

— Слушаюсь, Дарья Александровна!

— Она стала теперь матросская сирота Даша из Кривой балки в Корабельной слободке — Дарьей Александровной. Она взяла из рук Мишука повод, вскочила на лошадь, как заправский гусар, и повела свой обоз дальше по Широкой улице, к морскому госпиталю.

Пока в Корабельной слободке утром 9 сентября происходили эти события, к зданию морского штаба на Городской стороне подъезжали в извозчицких пролетках командиры кораблей черноморского флота. В парадных мундирах и с треугольными шляпами в руках поднимались они на второй этаж по лестнице, устланной ковровой дорожкой, и через комнату адъютанта проходили в кабинет начальника штаба черноморского флота вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова.

Огромный кабинет Корнилова был весь в коврах на полу и в географических картах по стенам. У большого окна, которое глядело на Севастопольскую бухту, был укреплен на тумбе медный глобус. Около глобуса стоял Нахимов и задумчиво поворачивал его и водил пальцем по морским путям земного шара.

— Павел Степанович, прошу, — услышал он голос Корнилова. — Прощу, господа, садиться.

Все уселись за круглый стол, на стулья с плетеными сиденьями и высокими спинками. Остался стоять один Корнилов.

Позади него с полу до потолка поднимался в золоченой раме портрет Николая Первого во весь рост. Царь красовался, как обычно, в белых лосинных рейтузах, с неестественно выпяченной грудью, с лицом грозным и взглядом, который должен был повергать всякого в трепет. Но боевые командиры не смотрели на портрет царя. Ведь царь был за две тысячи с лишним верст, в Петербурге. А спасти Севастополь и Россию будут здесь русские люди, видимо, одни, без царя.

Корнилов кашлянул, обвел глазами весь круг присутствующих и начал так:

— Господа! Вам известно, что армия наша отступает к Севастополю. Положение таково, что неприятель может распространиться к Инкерману и начать обстрел наших кораблей с высот инкерманских. Если подобное произойдет, то геройское сопротивление наше не спасет нас. Страшная опасность нависла над нами. Черноморскому флоту грозит гибель, позорный плен. Не допустим этого; не дадим такого торжества врагу.

Я предлагаю выйти черноморскому флоту в море и атаковать неприятельский флот, столпившийся против устья Альмы. Враг силен, но военное счастье переменчиво; и на войне счастье идет в руки тому, кто смел и сражается за правое дело. Если нам удастся уничтожить корабли неприятеля, то мы этим лишим его возможности получать с турецких берегов, через Босфор и Варну, продовольствие и подкрепления. Ну, а если нас постигнет неудача... — Корнилов замолчал на мгновение и нервно потер пальцами свой широкий матово-бледный лоб. — Если нас постигнет неудача... в этом... в этом неравном бою... Тогда пойдем к неприятелю вплотную, сцепимся с ним, взорвем и себя, но одновременно и вражеские корабли. Ибо лучше славная смерть за родину, нежели плен и стыд.

Корнилов повернул голову и посмотрел в окно. Там на рейде поднимался к небу целый лес мачт: корабли, фрегаты и корветы и бриги... И среди них — стодвадцатичетырехпушечный корабль «Константин», на котором плескался в голубом эфире белый с синими полосами флаг — его, вице-адмирала Корнилова, флаг.

— Честь русского флага требует от нас подвига, — продолжал Корнилов. — Но не только честь флага. Подвига требует от нас и Севастополь. Если в морском бою победа будет за неприятелем, то это будет Пиррова победа¹. И неприятель уже не решится выступить с остатками своего флота против наших могучих береговых батарей. С другой стороны, и сухопутная армия противника уже не будет иметь полной поддержки от своего расстроенного и потрепанного в морском бою флота. Значит, и сухопутная армия англо-французов не решится пока напасть на войска светлейшего князя Меншикова. И мы выиграем во времени: дождемся подкреплений и врага уничтожим.

Корнилов снова взглянул налево, в окно. Белый флаг на «Константине» все так же свивал и развивал свои синие полосы и полоскался в чистом пространстве между бирюзовым небом и лазурным морем. Владимир Алексеевич вобрал в себя полной грудью соленый воздух, натекавший к нему в кабинет через раскрытое настежь окно, и твердо произнес:

— Повторяю, таково мое предложение — выйти в море и атаковать неприятельский флот, невзирая на его численность. Смелость города берет! — сказал он, тряхнув головой, и улыбнулся.

Он кончил и опустил в кресло. И медленно стала сходить с лица у него улыбка, потускневшая от странной тишины, которая наступила, когда он кончил свою речь. Никто не под-

¹ Пирр, царь эпирский, хотя и одержал победу над римлянами, однако понес при этом огромные потери.

хватил его предложения, но никто и не возражал начальнику морского штаба.

Корнилов придвинул к себе графин с водой. Все еще было тихо. Слышно было только, как булькает вода, изливаясь в стакан. Корнилов отпил глоток и поставил стакан на поднос.

— Если позволите, ваше превосходительство...

Все повернули головы. Со стула поднялся пожилой офицер с одутловатым лицом и отеками под глазами, капитан первого ранга Зорин.

— Если позволите, Владимир Алексеевич, — повторил он, — сказать мне то, что я думаю, по чистой совести моей...

Корнилов чуть наклонил голову. Зорин глубоко вздохнул. Все заметили, как дергался у него правый ус.

— Хотя я не прочь, — начал Зорин, — вместе с другими выйти в море... да, выйти в море... вступить в неравную битву с врагом, искать счастья в бою или славной смерти, но я осмелюсь предложить другой способ защиты.

Зорин тоже потянулся к графину, придвинул его, но так и остался с графином, зажатым в руке.

— Наша морская сила и морские силы врага несоизмеримы, — продолжал Зорин. — Мы сильны отвагой нашей, нашей любовью к родине, готовностью умереть за нее. Но неприятель превосходит нас числом: нас мало, их — тьма. Однако не только это. У врага — буксиры и винтовые пароходы; у нас — парус. Паровой вражеский флот поворотлив и может не считаться с направлением и силою ветра; мы же всегда рискуем попасть в мертвый штиль. Мы будем как скованные, в то время как враг будет двигаться, и поворачиваться, и заходить с какой ему угодно стороны. Засим и для неприятеля не секрет, что выход с Севастопольского рейда узок... да, узок. Это не позволит флоту нашему выйти в море соединенно. А потому...

Зорин поднял графин с водой. Почувствовав в руке тяжесть, Зорин наконец вспомнил, что хотел налить себе воды. Сидевший рядом контр-адмирал Истомин придвинул ему стакан. Руки у Зорина дрожали. Горлышко графина дробно ударялось о край стакана. Зорин налил себе воды, но пить не стал.

— Да, — сказал он, опустив графин на стол, — мы не можем выйти в море соединенно, а потому подвергаемся опасности быть разбитыми по частям. Мы сами на это идем... Да, славное самоубийство, честь будет спасена... Но надо еще спасти Россию. Не умирать нам нужно, а защищаться с оружием в руках, защищать родное пепелище... да, до последней капли крови. А потому... осмелюсь... да, осмелюсь... предложить другой способ защиты. Осмелюсь... предлагаю — заградить неприятелю вход на Севастопольский рейд. Как заградить? Заградить потоплением нескольких наших кораблей. Своими руками

губить... — у Зорина задрожала нижняя челюсть, — губить, что всего дороже сердцу... корабли наши... Трудно, тяжело... Да ничего не поделаешь... приходится... по-то-пить. А самим, всем нам, сойти на берег и защищать Севастополь, пепелище наше... да, до последней капли крови.

Зорин говорил, а Корнилов рассеянно блуждал глазами по всему кругу командиров, собравшихся у него для рокового решения. Но рассеянность Корнилова была только кажущейся: начальник морского штаба все видел. Он видел, как сочувственно слушают участники военного совета все то, что с такой решимостью выкладывает перед ними Зорин, по внешности не больно казистый офицер, с простым, точно у парусного мастера, лицом.

Но вот Зорин кончил, он сделал наконец несколько глотков из стакана... И Корнилов услышал, как гул пошел по кругу и отдельные голоса стали покрывать этот гул. Корнилов с болью прислушивался к этим голосам.

— Мы не сомневаемся в храбрости офицеров и матросов. Синоп тому порука, — доносился до Корнилова чей-то низкий грудной голос. — У нас хватит умения погибнуть в открытом бою, если это необходимо для пользы и чести отечества. Но наша гибель — это еще не выход из положения.

— Да, это так, — услышал Корнилов другой голос. — Если мы выведем флот в море, то оставим Севастополь без всякой защиты. Мы сами погибнем и Севастополь погубим. И если уж умирать, то лучше сложить головы на севастопольских бастионах. Не камнем пойти на дно моря, а грудью стать у стен Севастополя, преградить неприятельскому флоту доступ на рейд, задержать врага, дожидаться помощи...

Корнилов сидел бледный. Лицо его нахмурилось. Он и вовсе не смотрел теперь на тех, кто говорил. Он не мог согласиться с тем, что слышал. Владимир Алексеевич взглянул только на Нахимова, ища у него поддержки. Но Нахимов молчал, занятый своей трубкой. Перочинным ножиком он обскреб у нее обуглившиеся края и теперь тщательно полировал ее носовым платком. Казалось, ничто в мире не интересовало Нахимова, кроме этого обкуренного кусочка дерева. Но Павла Степановича выдавали тиснутые губы, вытопорченные усы, насуспенный лоб, по которому вдруг прошли глубокие борозды прежде едва заметных морщин. Похоже было, что возня с трубкой — только видимость и что совсем другому отданы в этот грозный час все помыслы синопского героя.

— Павел Степанович! — услышал он обращенный к нему голос Корнилова. — Вы что скажете? Вы согласны со мной? Мы вместе выйдем в море, всем флотом. Мы — черноморский флот...

Нахимов поднял голову и взглянул на Корнилова. Потом положил на стол перед собою трубку и носовой платок. И встал.

— Задача, Владимир Алексеевич... — сказал он, отодвигая от себя трубку вместе с платком. — Да-с, в чем задача? Задача в том, чтобы не пустить вражескую армаду сюда на рейд. Однако нам вытянуться в море на виду у неприятеля с его паровыми кораблями... Рискованно это; да, весьма. Здесь верно говорили: сможем попасть в неудобное положение, если будем застигнуты штилем. Надо трезво оценить положение. Оно не безвыходно. Нет. Вот так.

Нахимов протянул руку за платком и трубкой, сунул их в карман и, не взглянув на Корнилова, сел.

Корнилов в кресле у себя весь выгнулся вперед. Он побледнел еще больше, и под горящими глазами у него резко обозначились черные круги. Возгласы одобрения тому, что сказал Нахимов, разрывали Владимиру Алексеевичу сердце, а он словно не мог отвести глаз от графина с водой, в котором играл солнечный луч.

Но в это время в кабинет вошел лейтенант Стеценко и, вытянувшись, остановился в дверях. Корнилов заметил его и поманил пальцем. Стеценко быстро подошел и, наклонившись, шопотом доложил:

— Светлейший прибыл с Альмы в Севастополь и находится на четвертой батарее.

— Сейчас, — шепнул ему Корнилов. — Господа! — сказал он решительно, поднявшись с места. — Ясно все. Готовьтесь к выходу в море, как было изложено мною. Будет дан сигнал, что кому делать.

И он большими шагами вышел из кабинета.

Четвертая севастопольская береговая батарея находилась на Северной стороне. Тяжелые орудия стояли здесь в закрытых каменных казематах. В одном из этих казематов незадачливый командующий войсками, в Крыму расположенными, светлейший князь Меншиков поджидал начальника морского штаба вице-адмирала Корнилова.

— С военного совета? — спросил иронически Меншиков.

— Так точно, ваша светлость, — ответил Корнилов.

— Гм... — и Меншиков брезгливо поморщился. — О чем же это вы там... на... на военном совете?

— Я предложил выйти с флотом в море для встречи с неприятелем в открытом бою. Другие предлагали потопить корабли у входа на рейд. Я думаю...

— Лучше! — оборвал Корнилова Меншиков.

— Что лучше, ваша светлость?

— Лучше потопить.

Меншиков откинулся в жестком кресле, в котором сидел,

и вытянул свои длинные ноги в забрызганных грязью ботфортах.

— Лучше... — Да, извольте потопить, — повторил он, поморщившись, и закрыл глаза.

— Ваша светлость! — вскричал Корнилов. — Как можно своими руками?.. Я отказываюсь, ваша светлость, я...

Меншиков поднял припухшие веки. Ненависть вспыхнула в его обычно тусклых глазах.

— Ну так поезжайте служить в Николаев! — выкрикнул он визгливо и затрясся и сразу потух. — Извольте... да... — лепетал он, — в Николаев. Лейтенант Стеценко! — И Меншиков заерзал в кресле. — Э-э... кто там? Пгиказ... извольте заготовить пгиказ... потопить... да...

— Ваша светлость! — всплеснул руками Корнилов. — Я готов повиноваться вам. Невозможно мне оставить Севастополь теперь, перед лицом врага. Севастополь!

И он схватился за голову.

Солнечные лучи пробивались в каземат сквозь амбразуры и дугообразными пятнами располагались по выбеленной стене. Меншиков сидел в тени, лицо его было землисто, глаза снова закрыты, ноги вытянуты.

— Да... — бормотал он, очевидно засыпая: — не надо... оставайтесь... извольте потопить.

И он стал всхрапывать, уронив с колен на пол свою форменную фуражку с задранной кверху тульёй¹.

Корнилов повернулся и зашагал с батареи на пристань, где рядный вельбог поджидал своего адмирала.

XXIV

Корабли идут на дно

К вечеру, после целого дня хождения по городу, вернулся к себе домой в Корабельную слободку бывший комендор с «Императрицы Марии» Елисей Белянкин. Елисей был хмур и раздражен чем-то и даже накричал на Мишука, который никогда теперь дома не сидел. Утром Мишук уходил в училище, а потом до вечера пропадал где-то на укреплениях. Что там Мишук и другие ребята делают на укреплениях, Елисей не представлял себе в точности.

— Баклуши бьют, — сказал Елисей, будто ни к кому не обращаясь. — Озорничают там да балуются; путаются у всех под ногами, работе мешают...

¹ Тульёя — верхняя часть шляпы, фуражки.

— Мы, тятенька, не озорничаем, — пробовал возражать Мишук. — Мы работаем, мы все тоже...

— Работнички! — перебил его Елисей. — Ты да Николка твоя.

— Не кори ты его, — вмешалась Марья. — Время-то и так горюевое.

— Получше твоего знаю, какое время! — оборвал ее Елисей.

«Что это с ним? — подумала Марья. — Сердитый... На Мишука зря накричал...»

Отужинали молча. Елисей раскурил трубку угольком из печки и пошел на улицу. Там, на улице, у ворот почти каждого дома собирались кучками люди. И от почтаря Елисея Белянкина узнала в этот вечер Корабельная слободка о последнем приказе командующего:

«Вход в бухту загородить, корабли просверлить и изготовить их к затоплению; морские орудия снять, а моряков отправить на защиту Севастополя».

Узнала об этом и Марья Белянкина и поняла, почему таким сердитым вернулся сегодня после работы Елисей.

— Корабли просверлить... — повторяла Марья. — Статочное ли дело — просверлить!..

И у самой Марьи в голове сверлило.

«Вишь ты, — думала она: — изготовить к затоплению... просверлить... Ой, что и будет теперь!»

У нее падало сердце при мысли, что же будет с Мишуком и с Елисеем, и с нею самою, и с хатенкой их в Корабельной слободке. Что будет, когда грохнут пушки и посыплются ядра и станут рваться бомбы, как это было вчера на Альме?

На другой день Мишук едва ушел в училище, как уже вернулся домой. Занятия были отменены в этот день. Всякий, кто мог, шел на Графскую пристань, на небывалое зрелище: смотреть на потопление кораблей.

Но в течение всего дня происходили только подготовительные работы. Обреченные корабли были поставлены на рейде на указанные заранее места. Это были корабли: «Варна», «Силистрия», «Уриил», «Салафиил» и герой Синопа — корабль «Три святителя». Кроме кораблей, были еще два фрегата: «Флора» и «Сизополь».

Елисей Белянкин, покончив с разноской почты, оставил суму свою на почтовом дворе и тоже завернул на пристань. Был уже вечер, но Елисей не пошел домой. Он снял с головы тяжелую каску и прикорнул на каменной ступеньке пристани, в углу.

Люди, толпившиеся весь день на пристани, стали к вечеру расходиться. Только одинокие фигуры блуждали еще по набережной, пересчитывая корабли, поставленные поперек рейда.

В восемь часов вечера на всех этих кораблях горнисты сыграли в последний раз зорю. Началась церемония спуска флага; он больше не поднимется на этих кораблях никогда.

Команды стали съезжать с кораблей на берег. Потом стало тихо. Но вскоре раздался глухой треск. Вода в бухте клокотала, как на мельнице. Елисей вскочил и подбежал к краю балястрады.

Корабли быстро погружались в воду. Вот уже и верхние палубы под водой, одни палубные надстройки виднеются. Вот и они ушли под воду, и мачты всё укорачиваются, укорачиваются... Вода не бурлит больше; над ее поверхностью тычками торчат верхушки мачт, и что-то плавает вокруг них — какие-то обрывки, обломки, — ночь, темно, не разобрать.

Но что это? Елисей всматривается и видит, что между этими тычками и обломками остался на поверхности воды один корабль. Он стоит крепко, как в бою при Синопе. Он хочет жить и бороться. Он не хочет идти на дно. И Елисей узнает старого знакомого. Это корабль «Три святителя». В бою при Синопе он стоял позади «Императрицы Марии», слева. Когда Елисея подняли после ранения, то первое, что бросилось ему в глаза, — это корабль «Три святителя». Да, и Елисей и корабль этот — оба они были в сражении при Синопе.

Ночь была прохладная. Елисей продрог. Ему хотелось есть. Он подобрал свою каску и поплелся было домой.

Путь лежал через Цыганскую слободку. Обитатели слободки еще не ложились. Кое-где дымили костры, и старые цыганки мешали деревянными ложками в закоптелых котлах, подвешенных над огнем. И светло было в окнах цыганского кабака. Из раскрытой двери вырывался на улицу звон гитары и топот ног.

«Эх-ма! — подумал Елисей. — Горе, что ли, размыкать? Вот были мы в сражении при Синопе, а теперь, значит, нас на дно. Зайдем в кабачок, пропьем пятачок».

Елисея обдало в дверях запахом виноградного вина и жареной рыбы. За грязными столами, ничем не покрытыми, сидели провиантские комиссары с кораблей, штабные писаря и какие-то господские лакеи в рваных ливреях. В углу клевал носом Яшка, привратник генеральши Неплюевой. Яшкина кружка уже была пуста.

Елисей подсел к Яшке и спросил себе вина и рыбы. Попивая вино и закусывая, Елисей глядел, как матрос Петр Кошка с фрегата «Кагул» отплясывает между столами с известной в Севастополе красавицей-цыганкой Марфой. Вокруг пляшущих ходил с гитарой Марфин муж, рослый цыган Гаврила, в стоптанных лакированных сапогах и синей поддевке. Черная окладистая борода у Гаврилы была заплетена в тонкие косички, а в косички вплетены были серебряные колечки.

— Ай-нэ! ¹ — вскрикивал Гаврила и начинал молотить по нижней доске гитары, обращая гитару на минуту в бубен.

И тогда, сбив набекрень бескозырку, еще яростней топал по земляному полу Петр Кошка; и Марфа плыла перед ним лебедем, перекладывая из руки в руку шелковый платочек.

— Пошел наш Кошка чуды чудить, — молвил Елисей Яшке.

Яшка встрепенулся, заглянул в свою пустую кружку, поглядел и на Елисея и снова уронил голову на грудь.

— Ну, Кошка, — крикнул матросу Елисей, — пляши! Все равно не миновать тебе на корабле плетки. Забубенная голова твоя...

— Никого не боюсь! — гаркнул Кошка на весь кабачок. — Француза побью, англичанина разобью... Буду рубать их в пень... Со мною не шути!

И Кошка продолжал выбрасывать ноги и размахивать руками, и пот катил с него в три ручья.

— По всем статьям морского устава! — кричал он, пускаясь вприсядку. — Дуй, Марфа, и боле никаких!

То выпрямляясь, то снова приседая, он стал выкрикивать одно за другим:

Наш Нахимов богатырь,
Нам на славу богатырь,
Всюду был ты за морями,
За кавказскими горами...

Но тут Кошка наткнулся на пустой бочонок и свалился подле него, мокрый и обессиленный. Марфу с Гаврилой словно ветром сдуло: сверкнув глазами, они мигом вынеслись в открытую дверь.

Сразу стало тихо в кабачке. Только светильни потрескивали в площадках на стойке, да бормотал что-то Яшка спросонок, да Елисей все пытался поведать ему свою тоску-печаль.

— Стоит корабль и не шелохнется, — рассказывал Елисей Яшке о том, что произошло в эту ночь на рейде. — Ни в какую не идет. Сверли не сверли, а такой не поддастся. Синопец-корабль! Да, брат, был в сражении при Синопе.

Но Яшка не понимал, о чем идет речь. Он сидел и дремал и, бормоча что-то, время от времени почесывался... И не с кем было Елисею поделиться печалью своей. Когда рассвело, Елисей расплатился и снова пошел на пристань.

Корабль «Три святителя» все еще стоял посередине рейда, один, недвижимо, точно в почетном карауле у потопленных уже кораблей. Но к нему на всех парах, распустив из трубы длинный хвост дыма, торопливо шел военный пароход «Громоносец».

¹ По-цыгански: «А ну!»

Несмотря на ранний час, на пристани снова полно было народу.

— Уж буравили мы его, братцы, буравили! — рассказывал пожилой матрос с корабля «Три святителя». — Четырнадцать дыр пробуравили! Что ты скажешь — не тонет, и все!

— Герой-корабль, — откликнулся другой матрос. — Его, братцы, так не возьмешь.

В это время пароход развернулся и стал против не желавшего тонуть корабля. Елисей видел, как вспыхнул на палубе парохода пальник подле орудия; потом раздался выстрел из бомбической пушки — один, и другой, и третий... Пушка била по кораблю «Три святителя», а он стоял на месте и только вздрагивал с каждым ударом.

— Вот зрелище! — услышал Елисей позади себя чей-то знакомый голос. — Слез достойно. Точно под расстрел поставили корабль, на казнь.

Елисей обернулся и в скучившейся на берегу толпе увидел капитан-лейтенанта Лукашевича с «Императрицы Марии». Рядом с Лукашевичем, опершись ему на руку, стояла Нина Федоровна в своей бархатной накидке и крохотной шляпке.

— Печальная необходимость, Коленька, — сказала Нина Федоровна вздохнув. — Ах, боже мой!..

— Да, необходимость, а все-таки жаль до слез. Своими руками создавали и своими же руками губить приходится.

— Люди гибнут... — снова откликнулась Нина Федоровна. — Корабли на дно идут... Ужасы войны... ужасы...

Она что-то еще сказала, но слова ее заглушил новый удар пушки, не похожий на предыдущие. Чутким ухом старого комендора уловил Елисей этот звук шлепка снаряда в подводную часть корабля. И Елисей понял, что это решительный удар.



Сразу после этого удара корабль качнулся и, шатаясь из стороны в сторону, начал медленно погружаться. Не прошло и минуты, как подле него забила, заклокотала, закружилась вода, и он ключом пошел на дно. Елисей постоял, поглядел на волны, которые стали набегать на нижние ступени пристани, потом повернулся и пошел прочь.

На базарной площади на Корабельной стороне он услышал звук барабана. Вокруг барабанщика и писаря из морского штаба собралась толпа. Барабанщик умолк, и писарь вынул из сумки бумагу — приказ начальника морского штаба черноморского флота вице-адмирала Корнилова.

— «Товарищи! — стал читать писарь бумагу, взобравшись на рундук. — Войска наши после кровавой битвы с превосходящим неприятелем отошли к Севастополю, чтобы грудью защищать его. Вы знаете неприятельские пароходы и видели корабли его, не нуждающиеся в парусах. Он привел множество таких, чтобы наступать на нас с моря. Нам надо отказаться от любимой мысли — разразить врага на воде. К тому же мы чужны для защиты города, где наши дома и у многих семейства. Командующий решил затопить пять старых кораблей: они преградят вход на рейд, и вместе с тем свободные команды усилят войска. Грустно уничтожать свой труд... Но надо покориться необходимости. Москва горела, а Русь от этого не погибла. Не допустим врага сильного покорить нас! Он целый год набирал союзников и теперь окружил царство русское со всех сторон. Но если мы не дрогнем, то скоро дерзость будет наказана и враг будет в тисках».

Писарь кончил и соскочил с рундука. Они пошли с барабанщиком к Театральной площади, и вот уже со стороны театра и костела послышался отдаленный треск барабанной дробы.

Солнце было еще низко, и длинные тени тянулись через весь базар. На работу было рано, а Елисей почти валился с ног. Домой он все же не пошел, решив до прихода симферопольской почты вздремнуть где-нибудь на сеновале в углу почтового двора. И, лежа на ворохе душистого сена, Елисей думал:

«Москва горела... Когда горела? При французе горела, в двенадцатом году, когда в Москву Наполеон приходил. Помнится, Павел Степанович на «Императрице Марии» рассказывал матросам, как пришел француз и привел с собой двадцать народов — «двунадесять язык»; и Москва тогда сгорела, а русское царство устояло; и пуще прежнего пошла слава и сила русская».

Елисей уже почти засыпал, когда услышал за стеной, выходившей на Почтовую улицу, мерные удары о землю доброй

тысячи солдатских ног. Голос запевалы был тонок и пронзителен, как звук корабельного горна:

От прадедовской науки,
От прапрадедов своих
Не отстали наши внуки —
То же сердце бьется в них.

И весь хор песельников залился вместе с запевалой:

И двадцать шло на нас народов,
Но Русь управилась с гостями;
Их кровь замыла след походов,
Поля белелись их костями.

Елисей почувствовал, что после всей этой сумбурной ночи в голове у него снова порядок.

— А был бы здоров наш батька Нахимов! — сказал Елисей, зарываясь в сено.

Угретый под раскаленными черепицами, Елисей заснул крепким сном без страхов и сновидений.

XXV

На походе

В ночь на 12 сентября в Корабельной слободке никто не ложился. Люди стояли у ворот и молча смотрели на войска, которые снова покидали Севастополь.

Солдаты шагали в темноте к Инкерманскому мосту, и никто из них не знал, куда их ведут и зачем они уходят из Севастополя. С часу на час можно было ждать нападения англо-французов на Северную сторону. Но Меншиков увел прочь свою армию, которая едва передохнула после отступления с Альмы.

Ночь была беззвездна и темна. Дедушка Перепетуи сидел на лавочке у ворот своего дома и кутался в пальтецо. На голове у дедушки был его стеганый картуз, а уши, чтобы не простудиться ночью, старик заткнул двумя комочками корабельной пакли.

Пылила дорога, проходившая мимо дедушкиного домика. Солдаты не держали шага, а шли как придется. Полк тянулся за полком: Тарутинский полк, и Московский, и Бородинский, и остатки славного Владимирского полка. Мелкой рысью прошли полки гусарские и полки казацкие. И раскатилась артиллерия, и потащились обозы... Армия шла без музыки, без барабанов, без лихих песен солдатских с бубнами и плясунами. Армия покидала Севастополь словно крадучись. Солдатам запрещено было курить, запрещено было даже разговаривать.

Когда мимо дедушки, который продолжал сидеть у себя на лавочке, проходила кавалерия, от гусарского эскадрона вдруг отделился всадник в солдатской шинели. Он соскользнул с седла, которое совсем сползло у лошади набок. Потом подвел коня к воротам, подле которых сидел в своем пальтеце дедушка, и принялся поправлять на лошади седло. Гусару, видимо, хотелось перекинуться с кем-нибудь словом, и он, наклонившись, молвил шопотом:

— Ну, теперь, дед, пиши пропало. Завтрашний день крышка Севастополю.

— Что ты! — замахал руками дедушка. — Как можно такое? Поимей совесть.

— Эх, старик, — вздохнул гусар, — у солдата только и есть, что совесть. А кроме совести — ничего: ни портянки на обувь, ни табаку на понюшку. А ты мне — «поимей совесть»! Ты у кого повыше совесть спрашивай.

Дедушка, услышав, что у гусара даже табаку на понюшку не стало, засуетился, пошел хлопать себя по карманам, искать там свою табакерку...

«Пусть, — решил дедушка, — служивый понюхает табачку, да и на дорогу еще прихватит».

Но тут гусар возьми да и брякни:

— Продали Севастополь, и больше никаких.

Дедушка так и присел:

— Как — продали? Кто продал?

— Изменщиков продал, вот кто! — ответил гусар. — Светлейший этот. Его теперь так и кличут: Изменщиков. Вот видишь как...

— А... а... — лепетал дедушка, — а зачем же ему продавать? У него денег и без того полны закрома.

— Гм... чудной ты, дед. Дала английская королева сорок бочек золота, вот и продал. Ненасытные они. И всё им мало, и всё им мало, этим светлейшим! Ты рассуди, старик: зачем же он снял всю армию с места? Куда нас гонят, и где нам будет бивак? Но только вот что скажу я тебе: неприятель тут, рядом, только руку протяни. Идет, как и мы, крадучись, огней не зажигает... Мы по одной дороге — на север; а он по другой, рядышком, да только на юг. Мы из Севастополя, а он в Севастополь. На, бери его, Севастополь-город! Сделай милость, жаладуйста, можешь взять теперь голыми руками. А ты говоришь — у него, мол, закрома, у светлейшего. Мало ли что!

— А мо... а моряки? — пробовал было возразить дедушка. — Флотские экипажи все в Севастополе остались. Костями лягут, а не допустят. Не допустят! — повысил он голос. И вдруг так вспылал, что стал кричать на гусара: — Это вас, крупу солдатскую, отсюда выметают! Катитесь к чорту под копыто!

А моряки... а моряки... — он стал задыхаться: — черноморский флот... Да знаешь ли ты, прелея портянка, что такое черноморский флот?

— Глупый ты старик, — сказал гусар, пробуя, крепко ли теперь прилажено седло. — Говорят тебе, продали. Голыми руками возьмут.

Дедушка затрясся весь, но гусар вскочил в седло и скрылся в темноте.

Все же прав был дедушка Петр Иринеич. Меншиков, конечно, никому Севастополя не продавал. Но светлейший князь ни с кем не делился своими планами; он был надменен с простыми людьми; он даже не здоровался с солдатами. И народ недаром не любил его.

Командующий Крымской армией не верил в то, что простые люди — русские солдаты и матросы — способны жизнь отдать за Севастополь. И боялся, что англо-французы отрежут его в Севастополе от остальной России. Потому-то он решился вывести свою армию из Севастополя и повел ее в Бахчисарай.

Ночью в голой степи светлейшему доложили, что казачьим разъездом только что захвачена толпа татар. Татары гнали степью стадо баранов. Шли татары без дороги. Похоже, что богатый мурзак¹ снялся всей усадьбой, чтобы этой же ночью передаться неприятелю.

— Как прикажете, ваша светлость, поступить? — наклонился с седла к коляске Меншикова лейтенант Стеценко.

— Есть среди татар владеющие русским языком? — спросил Меншиков.

После отступления с Альмы Меншиков почти перестал картавить. Даже походка у него стала иной, да и шинель он сменил: вместо прежней долгополой гвардейской он носил теперь коротковатое черное пальто морского образца.

Меншиков повторил свой вопрос:

— Кто-нибудь из них говорит или хотя бы понимает по-русски?

— Понимают многие, ваша светлость, — ответил Стеценко: — в Севастополе бывали, а один даже хвастал, что ходил в Москву, табуны туда гонял.

— Передать им, чтобы плова не варили, огонь не зажигали; пусть подкрепятся чем есть. Передать еще, что повесят их утром.

— Осмелюсь доложить, ваша светлость: среди татар есть дряхлые старики, женщины есть, дети... — Голос у Стеценки дрогнул: — Ваша светлость...

¹ Мурзак — крымско-татарский помещик.

— Передайте, лейтенант, что утром будут повешены все, в том числе женщины, дети и старики. Лично передайте.

— Есть, ваша светлость!

Приложив два пальца к козырьку фуражки, Стеценко отъехал в сторону.

— И возвращайтесь немедленно сюда, лейтенант, — бросил ему вдогонку Меншиков.

— Есть, ваша светлость! — ответил Стеценко уже невидимо откуда.

— Неужто поверил, что стану я их вешать? — пробормотал Меншиков, уткнув нос в поднятый воротник пальто. — Эка недогадлив мой ординарец!

И приказал свернуть с дороги, стать в степи.

Светлейшего сильно тряхнуло в канаве. В степи подле кизилового куста коляска остановилась. Конвой спешил. Вскоре около коляски снова мелькнул силуэт Стеценки.

— Ваше распоряжение выполнено, ваша светлость, — доложил Стеценко.

— Отлично, лейтенант. А теперь не угодно ли вам размять ноги.

Меншиков вышел из коляски. Поверх короткого пальто на командующем был грубый плащ из простой парусины.

— Свежо, лейтенант, — сказал он своему ординарцу. — Вы рискуете схватить насморк и будете потом чихать в самых неподобающих случаях. Нет ли у вас такого же плаща?

— Не извольте беспокоиться, ваша светлость, — ответил Стеценко. — Я не подвержен простуде.

— Нет, лейтенант, я не могу... — настаивал Меншиков. — Подумайте, что скажет ваша матушка, ваша невеста... У вас есть невеста, лейтенант?

Стеценко молчал. Уж не издевается ли над ним этот злой старик, только что приговоривший к смерти целую кучу ни в чем неповинных ребят?

— Вы молчите, лейтенант... Хе-хе... Конечно же, чорт возьми, у вас есть невеста. И если вы схватите сегодня насморк, то ваша невеста будет бранить меня. Она станет называть меня кашеём и тому подобными милыми именами. И она будет права, эта... ваша... не-вес-та.

Стеценко чувствовал, что в груди у него закипает ярость. Чтобы положить всему этому конец, он буркнул себе в усы:

— У меня нет невесты, ваша светлость.

— Нет невесты? — изумился Меншиков. — Скажите пожалуйста! Лейтенант — и вдруг нет невесты! Гм... И все же, лейтенант, я прошу... я, наконец, приказываю: накиньте плащ.

Было темно, и лейтенант Стеценко мог позволить себе в

недоумении пожать плечами. Он достал из седельной сумы парусиновый плащ и накинул его на себя.

— Смотрите, лейтенант, — не унимался Меншиков: — все небо в облаках. Я думаю, начинает уже накрапывать.

Стеценко поднял лицо кверху, но ни малейших признаков дождя не заметил.

— Так вот, лейтенант, — закончил Меншиков: — поднимем капюшоны. И не возражайте... Дождь, видите?

Лейтенант Стеценко ничего не видел, кроме конусообразной фигуры командующего в парусиновом плаще с капюшоном, поднятым поверх адмиральской фуражки. Но Стеценко больше плечами не пожимал. Он поднял капюшон и решил ждать, что будет дальше.

Меншиков принялся мерить степь своими длинными ногами. За ним поспевал Стеценко. Оба шли почти рядом.

— Где, лейтенант, татары эти? Я хочу на них взглянуть, пока не поздно. Ведь утром они уже будут мертвецами. Хе-хе... И женщины и дети...

Стеценке было жарко, но он поеживался под своим пальто, поверх которого был еще и плащ. Не сказав ни слова, он круто повернулся и зашагал по вспаханному полю. Теперь уже командующему пришлось поспевать за своим ординарцем.

— Вот что, лейтенант, — сказал Меншиков, когда перед ними стала вырисовываться какая-то руина, хутор, от которого остались одни трубы да обгорелые деревья: — пора кончать этот маскарад. Человек вы все же не глупый и сразу поймете. От вас требуется только одно: поддакивайте мне. Забудьте «нет», только «да».

Стеценко решительно ничего не понимал. Они уже подошли к хутору, где расположился татарский табор. Лошади были выпряжены и привязаны к грядкам маджар. В маджарах и под ними сидели старухи с грудными детьми и с ребятами постарше. Все они жевали какую-то снедь. О том, как распорядился о них главный генерал, они, видимо, еще не знали.

Но в стороне от женщин и детей собрались мужчины — взрослые и старики. Они расположились на земле, в кружок. Старик в чалме, с седой клинообразной бородой что-то говорил вполголоса, все повторяя:

— Аллах акбар!..¹ Аллах акбар!..

Остальные внимательно слушали. Они были печальны и не притрагивались к еде: к просяным лепешкам на деревянном блюде и холодной баранине, нарезанной большими кусками. Мужчинам, конечно, уже известно было все, и они считали, что участь, ожидающая их на рассвете, неотвратима.

¹ Велик аллах!

Больше всего удивили Стеценку казаки. Они окружили весь хутор, а двое или трое из них стояли, опершись на пики, и внимательно слушали старика. Стеценко понял: казаки ни слова по-татарски не знают, но они жадно внимали голосу человека, которого завтра уже не будет в живых.

— Который из них с табунами в Москве... табуны гонял в Москву? — спросил чуть слышно Меншиков.

Стеценко повел его в конец обгоревшего сада, где на деревьях еще висели спекшиеся яблоки. Там под каменной оградой лежали овцы — целая отара — и равнодушно пережевывали жвачку. Подле овец сидел на пеньке высокий татарин, худой и гибкий, как еловый хлыст. Он сидел и раскачивался то взад-вперед, то из стороны в сторону. Из-за ограды вздымались казачьи пики со вздетыми на них лоскутами кумача.

— Присядем здесь, — сказал Меншиков и показал Стеценке на грудку обвалившегося с полуразрушенной ограды кирпича. — Можно не стесняться: чабан ни слова по-русски не понимает.

Татарин мгновенно перестал раскачиваться.

— Ваша све... — встрепенулся Стеценко.

Но Меншиков не дал ему дальше молвить слова. Он наступил ему на ногу и крикнул чабану:

— Эй, джигит! По-русски понимаешь?

Татарин скрипнул зубами и качнул отрицательно головой. Потом стал быстро-быстро что-то говорить по-татарски.

— Ну, джигит, разговор у нас не получится, — сказал Меншиков. — Видите? Значит, можно не стесняться. Так вот... Взять Севастополь? Нет, шалишь! Французы, англичане, турки — все они высадились в Крыму, не зная, что такое Севастополь. На наше счастье, они уже накапливаются... да, накапливаются... только близ Северной стороны. А ведь именно Северная сторона укреплена у нас отлично. И об эту Северную сторону они как раз и обломают себе когти.

Лейтенант Стеценко ушам своим не верил. Кому же в Севастополе неизвестно, что как раз Северная сторона не имеет правильной оборонительной линии! Но Меншиков продолжал говорить, и все у него выходило навыворот.

— Да, обломают себе когти, — повторил Меншиков, — и будут сброшены в море. И вместе с ними побежит это предательское племя — татары... мда, джигиты эти...

Татарин не шелохнулся на своем пеньке. Он сидел с закрытыми глазами неподвижно, точно каменный.

— Другое дело, — продолжал Меншиков, — Южная сторона в Севастополе. Там нет ничего, ни одной батареи, никакой обороны...

Стеценко заерзал на месте.

«Боже мой, к чему это? — стал он спрашивать самого себя. — К чему он наворачивает такое? Да еще при этом татарине! Ведь я же предупреждал, что чабан отлично понимает по-русски и что он даже в Москву ходил с табунами. Впрочем, от этого татарина какой может быть вред, если жить ему осталось каких-нибудь два часа! Скоро светать начнет».

А Меншиков тем временем продолжал наворачивать; и лейтенанту Стеценке начало казаться, что все это происходит не наяву, что дурной сон ему снится в темную ночь, в глухой степи, откуда наплывает все время пряный запах дикого укропа.

— С юга взять Севастополь — просто пустяки, ничего не стоит, — продолжал Меншиков скрипеть так громко, что татарин не мог его не слышать. — Там бы управились даже одни турки. И прощай тогда наш Севастополь! И полетели бы у нас тогда головы с плеч!

«Но ведь с юга, — недоумевал Стеценко, — именно по всей Южной стороне кипела в последние дни огромная, могучая работа. Разве князь не побывал на Южной стороне? Разве он не видел всего, что делалось там? Не видел Нахимова, гонявшего верхом на лошади по Корабельной слободке? Не встречал его ни разу на бастионах, покрытого пылью, облепленного грязью, вместе с Корниловым, вместе с Истоминным?»

Похоже было, что князь действительно ничего этого не видел; а если и видел, то это просто-напросто вылетело у него из его старой головы.

Но Меншиков поднялся с места. Вслед за ним тотчас встал и Стеценко.

— Пойти соснуть? — сказал Меншиков, зевая в кулак. — Нас разбудят, когда этих джигитов вешать станут.

И, спотыкаясь на грядах, уже зараставших бурьяном, он пошел по саду.

Стеценко успел бросить взгляд на чабана. Тот сидел по-прежнему на пеньке и не двигался. Когда Стеценко проходил мимо него, ни один мускул на лице у чабана не дрогнул.

В углу сада Меншиков схватил своего ординарца за плащ и потянул к себе.

— Теперь поняли? — зашипел он над ухом у Стеценки. — А если не поняли, то сейчас поймете. Кто тут у них старший, у казаков? Позовите урядника.

Посреди двора, у колодца, спал на разостланной бурке бодротатый казак. Это был тот самый казачий урядник, с которым Стеценко ездил две недели назад под Евпаторию.

— Ильюшин! — окликнул его Стеценко.

— Я! — вскинулся с бурки урядник.

— Надень фуражку и ступай за мной. И молчи.

— Слушаюсь, ваше благородие.

— Молчать, Ильюшин! Пошли.

В углу сада, где остро пахло прелым листом и сырой землей, их поджидал Меншиков. Несмотря на плащ и капюшон, урядник сразу узнал командующего.

— Какого полка? — справился Меншиков.

— Пятьдесят седьмого Донского, ваша светлость! — гаркнул урядник.

— Не кричи, — поморщился Меншиков. — Тихо. Какой станицы?

— Станица наша Знаменская, ваша светлость! — обрадованно ответил урядник, должно быть вспомнив и Дон и домишко свой беленький, очеретом крытый...

Но Меншиков сразу оборвал его воспоминания.

— Фамилия? — сказал он резко.

— Ильюшин, ваша светлость.

— Ильюшин, — обратился к нему Меншиков, — сейчас соберешь своих казаков. Все на-конь! Все до единого. Через десять минут услышишь пистолетный выстрел. Тогда крикнешь: «Французы!» — и бросишься с казаками на дорогу. Скачи на Бахчисарай. Во весь опор. О татарах не думай, бросай все. Но за жизнь каждого татарина будешь в ответе ты. И за имущество их тоже. Не грабить! Слышишь, Ильюшин? И если хоть один волос упадет с головы последнего татарчонка, пеняй, Ильюшин, на себя. Повешу! Смотри же, всё в точности... Ступай.

У Ильюшина, конечно, и Дон и беленький домик — все сразу улетучилось из памяти, будто развеялось дымом.

— Исполним всё в точности, ваша светлость... в точности... — прохрипел Ильюшин, точно горло ему уже стягивала пеньковая петля.

Он бросился через двор за ворота. Поверх ограда зашевелились казацкие пики. А Меншиков, скинув с головы капюшон, прошел через пролом в ограде и зашагал к темневшей в отдалении кúпе кизила.

Стеценко понял теперь все. Он знал теперь, что не пройдет и часа, как старый мурзак будет со всеми своими чабанами и джигитами на французском либо на английском биваке. И неприятель узнает от чабана, похожего на еловый хлыст, что с Северной стороны Севастополь якобы неуязвим и город надо брать с юга. И поведут они свои полчища на юг под бастионы Южной стороны, под батареи от Килен-бухты и до бухты Карантинной. И пусть они тогда узнают, что такое Севастополь и русская доблесть!

Румяная полоска рассвета прорвалась на горизонте сквозь неподвижно стоявшие в небе кучевидные облака. Меншиков

скинул плащ и сел в коляску. Он посмотрел на часы. Был пятый час.

— Теперь стреляйте, лейтенант, — сказал Меншиков, откидываясь на подушки. — И будем продолжать наш марш.

Стеценко готов был в эту минуту простить командующему его заносчивость, его неверие в человека, все его издевательские шуточки... Рука у Стеценки рванулась к кобуре, и пистолет взлетел кверху. Выстрел, огонь из дула, свист со стороны хутора и бешеная скачка двух десятков казачьих лошадей — все это слилось вместе и гулом отдалось по широкой степи.

Меншиков и его ординарец были уже на бахчисарайской дороге, когда они снова слышали гул, и крики, и скрип колес. В розоватом рассвете неслись степью татарские маджары, и скот бежал — коровы и овцы, — и кричали люди... Стеценке показалось, что он разобрал их крик.

— Аллах акбар! — кричал в передней маджаре седобородый татарин в чалме, воздевая к небу руки.

И вся толпа вопила ответно:

— Аллах акбар!

Меншиков уже задремал в коляске на подушках. А Стеценко вдыхал полной грудью запах степной полыни и дикого укропа и улыбался.

XXVI

Сабля капитана Стаматина

К вечеру неприятельская армия начала обходить Северную сторону, оставляя ее вправо от себя. На другой день с укреплений Южной стороны можно было увидеть в подзорную трубу французские разъезды. В это же время английские стрелки начали марш на Балаклаву. Когда с развалин старинной крепости в Балаклаве часовой заметил на дороге красные мундиры англичан, он ударил в колокол. Городок сразу словно вымер: жители бросили всё и бежали в окрестные сады.

Дать отпор англичанам должен был балаклавский гарнизон. Он состоял из одной роты русских солдат и греческих добровольцев. Командовал ротой капитан Стаматин, бойкий старичок с бронзовым крестом двенадцатого года на груди.

Капитан Стаматин выстроил свою роту на берегу Балаклавской бухты. Он прошел вдоль фронта роты, высоко выбрасывая правую ногу и откидывая левую руку далеко в сторону. Пулю Стаматину всадил в правую ногу французский гвардеец еще в 1812 году, в Бородинском сражении. Когда португальский прапорщик Стаматин, не выпуская из рук сабли, упал на пра-



вое колено, француз с трехцветной кокардой на шапке перешиб Стаматину прикладом левую ключицу. С тех пор Стаматин выбрасывал ногу и откидывал руку. Особенно хватко это получалось у него, когда он выводил свою роту на плац для ученья или в дни парадов.

— Пошла вертеть мельница, — говорили балаклавцы, глядя, как старый ветеран ведет свою роту на плац.

Капитан Стаматин, получив новый сигнал о приближении неприятеля к городскому шлагбауму, тотчас скомандовал:

— Повзводно... то самое... стройсь!

И повел свое войско с набережной, за шлагбаум, по севастопольской дороге.

Капитан Стаматин уже хотел скомандовать, как обычно, «То самое... стой!», но за поворотом грохнули барабаны английских гренадер первой дивизии герцога Кембриджского. Тогда Стаматин мгновенно сообразил, что неприятель в двух шагах, и крикнул:

— Беглым шагом... то самое... рассыпья... марш!

И побежал вперед, выбрасывая ногу и размахивая рукой.

Англичане остановились, увидя русского офицера с обнаженной саблей, подвигавшегося к ним навстречу столь необыкновенным способом. А капитан Стаматин, не добежав до англичан, шагов за сто до них, сразу рванул в сторону. За ним бросилась вся рота и в полминуты рассыпалась за камнями на скалах.

Больше часа удерживали двести человек балаклавской роты экспедиционную армию королевы Виктории. Капитан Стаматин скакал, как кузнецик, от камня к камню и вел прицельный огонь по наступавшему противнику.

— Залпом... то самое... пли!

И круглые пульки камешками падали на дорогу и подшибали копыта кавалерийским лошадям из бригады лорда Кардигана.

Спустя час капитан Стаматин убедился, что неприятель намного превосходит его численностью и вооружением. Штуцерные пули английских стрелков так и роились над каждой ямкой, где бы ни укрывался храбрый балаклавский солдат.

«У меня под командой рота... — разгадывал Стаматин. — Орлы... В каких боях не бывали! Есть такие, что еще Суворова помнят».

Действительно, дряхлых стариков в роте Стаматина было больше чем нужно. Капитан Стаматин любовно поглядел из

укрытия на своих боевых товарищей, устроившихся по ямкам и за камнями. Потом перевел взор вниз на дорогу. По ней на версты и версты змеей вились полки в невиданном дотоле обмундировании: красные куртки, мохнатые шапки, петушинные перья... И конница гарцевала: уланы с цветными значками на пиках, гусары с нашитыми на мундирах шнурками и драгуны — легкая кавалерия на стройных, тонконогих конях. Девять артиллерийских батарей неприятеля насчитал на дороге капитан Стаматин и в каждой батарее по шесть полевых орудий. И капитан Стаматин пришел к окончательному выводу, что орлам-балаклавцам не одолеть врага.

«Сила ломит... то самое... солому ломит», — решил капитан Стаматин и выбросил из своего укрытия левую руку.

Свистнула штуцерная пуля и, отскочив от камня рикошетом, хлопнула Стаматина в ладонь.

— Горнист! — вскрикнул Стаматин. — Труби, горнист! Орлы! Отступление с боем.

И орлы балаклавской роты начали правильное отступление, отстреливаясь на ходу от наступавшего неприятеля круглыми пульками из гладкоствольных ружей.

Стаматин благополучно провел свою роту через город и зашел с нею на горе, в развалинах старой крепости. Вооружение крепости составляли четыре полупудовые мортирки.

С обвалившейся крепостной башни капитан Стаматин взглянул на море. Оно было густосиним, как всегда в сентябре. И солнечные блики вспыхивали на его поверхности, и оно переливалось большими серебряными блестками. Но в глазах у капитана Стаматина зарябило не от блесток на воде, а от кораблей английской эскадры, подошедшей к Балаклаве с моря. Армия и флот ее величества королевы Британии должны были соединенными силами дать бой орлам капитана Стаматина. Потому что капитан Стаматин был не из тех, кто сдается без боя.

И четыре полупудовые мортирки балаклавской крепости, злые, как овчарки, стали твякать, изрыгая из жерл крохотные ядрышки. Ядрышки шлепались в воду близ самого берега. А большой корабль британского флота повернулся к городу левым бортом и дал залп по крепости из всех повернутых к ней бортовых орудий.

Огромные старинные кирпичи посыпались с башни, и одна такая кирпичина угодила капитану Стаматину в голову, в самую маковку. Стаматину показалось, что море, грохоча, обрушилось на него — тяжелые густосиние волны в сверкающих блестках.

Повалившись на кучу битого кирпича, окутанный тучей известковой пыли, капитан Стаматин слышал новые залпы и с

моря и с суши — со стороны шлагбаума. Но в крепости пальба прекратилась: мортирки не таякали, ружья не стреляли.

«Почему, — подумал Стаматин, — то самое... не стреляют почему?»

— Огоны! — закричал он, пытаясь подняться. — Целься!.. Пли!

Но огня не последовало. Стрелять было нечем: ядрышки и пульки были все.

А по дороге и всем тропинкам, которые вели в крепость, уже двигались красные мундиры. Англичане шли с барабанным боем и с ружьями наперевес. Потом капитан Стаматин услышал «ура»; красные мундиры бросились на штурм; вот они уже ворвались в башню... И безоружные инвалиды балаклавской роты предпочли отступление постыдному плену. Капитан Стаматин видел с башни, как полетели его орлы прочь, перемахивая через крепостные стены и через крепостной вал и через крепостной ров... И капитан Стаматин снова подумал, что «сила ломит... то самое... солому ломит». И он решил, что и ему пора отступить, а то как бы ненароком не попасть в плен к англичанам.

Но тут старик, к ужасу своему, заметил, что без посторонней помощи не способен подняться на ноги. А по лестнице в башне уже топали ноги, звякали шпоры, стучали ружейные приклады... Капитан Стаматин моргнуть не успел, как увидел себя окруженным рыжеватыми молодчиками в красных мундирах, и один из них уже отстегивал у капитана Стаматина саблю.

Стаматин расшвырнул.

— Прочь! — крикнул он и, сидя, привычным движением выбросил вперед правую ногу.

Солдат, посягавший на саблю капитана Стаматина, отскочил в сторону. Но тут выступила вперед какая-то личность с красным носом и в штатском сюртучке.

— Ви ест пленный, — молвила личность. — Ви... э-э-э...

Но капитан Стаматин выбросил ногу, откинул руку и крикнул:

— Я русский офицер! Я саблю мою передам только офицеру... только штаб-офицеру!

Он поднялся наконец с битого кирпича, на котором сидел, и, шатаясь, снова закричал:

— Начальник гарнизона я! Главнокомандующему... только главнокомандующему я передам мою саблю! И никаких!

— Нашалник гарнизона, — встрепенулась красноносая личность. — О-о!

А Стаматин, задыхаясь от негодования, хотел что-то еще сказать, но сказал только:

— То самое... да.

И снова опустился на битый кирпич.

Красноносая личность, видимо служившая в британской армии переводчиком, наморщила лоб и обратилась к капитану Стаматину с вопросом:

— Господин офицер, что ест «то самое»?

Но старый воин поглядел на сизый сюртучок переводчика, на его красный нос и просто не удостоил незнакомца ответом.

«Рвань, — подумал капитан Стаматин о человеке с красным носом: — шушера».

И, размахнувшись одновременно рукой и ногой, поднялся с места.

Когда капитана Стаматина вели по улицам Балаклавы, он не узнавал родного города, в котором прожил с 1814 года ровно сорок лет. Точно полая вода, растеклись по улицам, по дорогам и садам чужие люди, множество людей, странно одетых и перекликавшихся друг с другом на чужестранном языке. Они обламывали деревья за садовыми оградами, обрывали фрукты, тащили из покинутых жителями домов подушки, перины, одежду, посуду, кухонную утварь... Капитан Стаматин видел это, хотя и делал вид, что не видит ничего. Окруженный полувзводом английских стрелков, он шагал посередине улицы, размахисто выбрасывая правую ногу вперед и откидывая левую руку далеко в сторону. И капитана Стаматина все время не покидало гордое сознание, что его сабля еще при нем, его старая сабля, и на ней — большой серебряный офицерский темляк.

По дороге капитан Стаматин заметил на воротах лучших домов в городе новенькие дощечки, а на дощечках — крупные надписи латинскими буквами. Стаматин пытался разобрать, что написано на этих дощечках. И переводчик в сизом сюртучке, все время тершийся около капитана Стаматина, стал ему переводить. Узнал тогда капитан Стаматин, что на дощечке, прибитой к дому городничего Лихошерстова, написано: «Штаб полка шотландских стрелков». И верно: у подъезда, где всегда дремал полицейский десятский Гапоненко, стояли теперь два дюжих молодца в клетчатых юбочках, с голыми коленками, со штуцерами к ноге.

У ворот хорошенького домика вдовы штаб-лекаря Надежды Васильевны Полис ожидали маджары с дровами и сеном. На воротах была дощечка с надписью: «Комиссар 1-й бригады генерала Кемпбела».

Все изменилось за каких-нибудь два часа. Еще утром капитан Стаматин, проходя мимо этого увитого плющом домика, разглядел в открытое окно вдову штаб-лекаря в кисейном платье за всегдашними пальцами. Теперь вдовы и след простыл. У того же окна сидел какой-то белобрысый бакенбардист в

красной расстегнутой куртке. Бакенбардист дымил сигаркой и считал на счетах.

Но больше всего был поражен Стаматин, когда его через плацпарадное место подвели к собственному дому. С кровли дома, который капитан Стаматин выстроил себе двадцать четыре года тому назад, свесилось полосатое, как матрац, полотнище флага. Это был флаг враждебной державы, английский флаг.

И не только флаг заметил капитан Стаматин. Вся площадка перед домом была забита повозками, каретами, открытыми колясками, верховыми лошадьми. А сквозь решетку ограды видны были толпы солдат, по-разному одетых, но одинаково белобрдых, с бульдожьими мордами и лошадиными зубами. По всему двору стояли в козлах ружья и громоздились кучей ранцы. Под ветвистым каштаном, где капитан Стаматин обедал и пил чай, были брошены два латунных барабана с пестрыми перевязями из плетеного гаруса. Какая-то рыжая баба, тоже с лошадиными зубами и с подоткнутым подолом, кричала что-то из дверей кухни, а из кухонной трубы валил синий дым.

Капитан Стаматин подошел к подъезду. Двери были широко раскрыты. По обеим сторонам застыли штуцерники в красных куртках. Английские офицеры, гремя палашами и звякая шпорами, то входили в дом, то выскакивали оттуда как ошпаренные. Они хватали лошадей с устроенной в стороне от дома коновязи и бешено мчались куда-то, будя эхо в обступивших Балаклаву горах.

К дому капитана Стаматина была прислонена лестница, и, взобравшись на нее, два солдата приколачивали к каменной стене большую доску. И на этой доске тоже была надпись. И ее тоже перевел капитану Стаматину услужливый переводчик. «Главная квартира главнокомандующего» — было написано на этой доске.

Капитан Стаматин выбросил ногу и шагнул через парадные двери в прихожую собственного дома. В прихожей, как и утром, как и месяц назад, висела на оленьем роге старенькая офицерская шинель капитана Стаматина, а в углу стояла его трость с резным набалдашником в виде волчьей головы. Но в зале за прихожей все было перевернуто вверх дном: сдвинуты столы, опрокинуты стулья, нагромождены какие-то ящики, исчез диван и унесена с этажерки флейта. Только три предмета остались на месте: стенное зеркало и по обеим сторонам — два портрета. На одном портрете был изображен Суворов в пудреном парике; на другом — Кутузов в фуражке ополченца 1812 года.

Оглядев все это, капитан Стаматин остался стоять посреди зала. Голова у него тряслась, и он чувствовал, что стоячий во-

рот мундира стал ему тесен. Мимо Стаматина с громом и звоном пробежали английские офицеры. Бросив любопытный взгляд на пленного командира балаклавской роты, они исчезли в дверях, которые вели в коридор. Один из них что-то шепнул переводчику, и тот, тщательно подбирая слова, торжественно возгласил:

— Его милост... э-э-э... главнокомандующий лорд Джеймс-Генри Раглан!

И указал на среднюю дверь между окном и печкой.

Капитан Стаматин выбросил ногу и, сделав несколько шагов, очутился в собственном кабинете.

В кабинете все было на месте. На письменном столе, как всегда, стояла начищенная кирпичом медная чернильница в виде пушчонки на лафетике. Весь подоконник был попрежнему занят цветочными горшками с балзаминами и душистым горошком. И по стенам на коврах висели те же кинжалы, пистолеты, собачьи арапники и трубки с длинными чубуками. Но в кресле... Но в кресле перед письменным столом... В кресле капитана Стаматина за его письменным столом сидел не капитан Стаматин. Капитан Стаматин остановился в дверях, и по бокам у него стояли конвойные солдаты с красносым переводчиком. А в кресле за письменным столом сидел пожилой толстяк, бритый, рыхлый, с пустым рукавом, заправленным в карман просторного сюртука.

Толстяк, отдуваясь, откинулся на спинку кресла. Он заговорил вяло, лениво обмахиваясь крохотным костяным веером. Капитан Стаматин из его речи не понял ни слова.

Но тут на помощь явился красноносый переводчик. Он кашлянул, потер себе кулаком вспотевший лоб и сказал:

— Господин главнокомандующий... лорд Джеймс-Генри Раглан говорит: ви... э-э-э... ви безумец. — Переводчик вздохнул и повторил: — Да... ви безумец. И неужели ви думаль с маленький... с маленький горсточка ваших зольдат остановить... э-э-э... остановить цели армия? О! — заключил переводчик. Он грозно взглянул на капитана Стаматина и добавил: — Вас спрашивают господин главнокомандующий. Ответь.

— Я русский офицер, — сказал капитан Стаматин и потрогал левой рукой темляк на своей сабле. — Я русский офицер... слуга отечества. Что сделано, так это, значит, по долгу присяги, по совести. Чтобы совесть была спокойна. А ты спроси главнокомандующего: у него... то самое... совесть есть? В моем доме, в моем кресле, незванный-непрощеный...

Красноносый долго переводил. Лорд Раглан все обмахивался и обмахивался веером и наконец процедил сквозь зубы только два слова.

— Господин главнокомандующий, — начал после этого снова свою канитель переводчик, — господин главнокомандующий лорд Джеймс-Генри Раглан говорит: этот... э-э-э... этот ест право войны.

— Это не война! — вскричал Стаматин. — Это... грабеж это. По рукам дадим, чтобы... то самое... неповадно было.

Красноносый снова перевел. Лорд Раглан перестал обмахиваться и внимательно поглядел на Стаматина. И Стаматин поглядел лорду прямо в его водянистые, почти совершенно белые глаза. Минуту длилось молчание, пока лорд, бросив переводчику несколько слов, снова принялся за свой веер.

— Господин главнокомандующий... — И переводчик, обратившись к Стаматину, топнул ногой. — Ви есть пленный! — крикнул он, нахмутив брови. — Ви положийт оружие; ваша шпага положийт, о! И ви идет отсюда и, пожалуйста, не говорийт... э-э-э... не говорийт дерзост и разны то самое.

Капитан Стаматин отстегнул саблю и медленно поднял ее к лицу обеими руками. Он только теперь заметил, как потускнел на ней от времени темляк и порыжелы ножны. И сердце у него сжалось при мысли, что это уже непоправимо. И больно ему стало от того, что надменный враг, торжествующий иноплеменник, посмеется над бедной саблей русского офицера.

«И пусть его!» — все же решил Стаматин.

Он поднес свою саблю к губам и поцеловал. И торжественно, как величайшую драгоценность, положил на стол. Потом повернулся, сделал шаг левой ногой, выбросил правую и зашагал из кабинета, через зал, через прихожую, сопровождаемый караулом в красных куртках.

Впереди шел караульный начальник, волоча за собой свой огромный палаш. Лорд Раглан стоял, обливаясь потом, у раскрытого окошка и наблюдал за прохождением капитана Стаматина по плацу. У ворот арестного дома с решетками в окнах капитан Стаматин остановился. Через минуту-другую ворота распахнулись, и командир балаклавской роты капитан Стаматин, шагнув, выбросил правую ногу и исчез за воротами.

XXVII

Большая бомбардировка

Христофор Спилиоти, балаклавский грек, ловил рыбу в море, когда услышал из крепости сигнал ударом в колокол. Схватившись за весла, Христофор погнал свою шлюпку к берегу. Потом забежал домой, сорвал со стены ружье и бросился на набережную бухты. Здесь он присоединился к роте капитана Стаматина.

Он был уже не молод, Христофор Спилиоти. У него даже внук был в Севастополе, в Корабельной слободке. Но Христофор, как и все греки, ненавидел турок. Он знал, что, вместе с англичанами, с французами, и турки высадились в Крыму. И теперь ему надо стрелять в пришельцев, все равно — турок ли это, англичанин или француз.

Христофор Спилиоти усердно занимался этим под руководством капитана Стаматина в течение двух часов. Вместе с капитаном отступил он в крепость. Когда же она была окружена гвардейцами герцога Кембриджского, Христофор пустил последнюю пулю в юбку шотландскому стрелку и ушел из Балаклавы.

В прибрежных скалах море давало знать о себе глухими вздохами, когда оно через равные промежутки то вздымалось, то опадало. Сперва по скалистым обрывам, потом садами и балками и окольными тропинками, а где и просто так, напрямик, добрался наконец Христофор к ночи до Севастополя. Он потерял в сражении свою феску с длинной кистью и шел с непокрытой головой. Он знал, что все добро его теперь пропало: и шляпка, и сети, и, может быть, даже дом на скале над тихой бухтой...

Но не это томило Христофора, когда он шагал через Театральную площадь, пробираясь к сыну в Корабельную слободку. Сын Кирилл, и сноха Зоя, и Жора-внук — все они будут ему, конечно, рады. Христофор хорошо отдохнет у них от всех тревог, выпавших ему на долю в этот долгий день. Но в Балаклаве, в доме на скале над бухтой, осталась Елена, его жена Елена, его старушка Елена, с которой они поженились как раз в том году, когда капитан Стаматин приехал в Балаклаву. Когда же это было? Это было, вспоминает Христофор, в 1814 году. А какой нынче год? Теперь — 1854-й. Значит, сорок лет они прожили с Еленой душа в душу и сына вырастили и женили, и внук у них есть. И все бы это хорошо, если бы не война. А к тому же и ноги в последнее время у Елены стали пухнуть. И осталась Елена теперь одна в доме над бухтой, ждет Христофора и не знает, что Христофор уже в Севастополе. А между Севастополем и Балаклавой нарыты бастионы — русские бастионы; а против них — окпы, завалы, заставы, посты, пикеты. Это неприятель. И теперь — пиши пропало: пробрался Христофор из Балаклавы в Севастополь, чудом пробрался; а если захочет домой в Балаклаву, то чуда может и не быть. Напорется Христофор на турецкий патруль, и турки без разговоров снесут ему голову и будут играть его головой, как мячом. А потом сунут в мешок и отвезут к своему генералу, к турецкому паше.

Так размышляя, пересек Христофор Театральную площадь,

тускло освещенную масляными фонарями. Несмотря на поздний час, через площадь все время двигались войска — саперные части с кирками и лопатами и рабочий батальон с пилами и топорами. Матросы, сцепившись человек по сорок в какой-нибудь лафет, катили через площадь одну за другой трехсотпудовые пушки, снятые с кораблей. И, глядя на это множество матросов и на пушки их, Христофор понял, что все сошло с кораблей на берег и что война будет сухопутная.

Дедушка Перепетуи, прежде чем лечь, вышел за ворота посидеть на лавочке и посмотреть на звезды. Он в темноте сначала не узнал в проходившем мимо усатом длинноволосом человеке Христофора из Балаклавы. Зато Христофор глянул острым взглядом рыбака на темневшую на лавочке фигуру и сразу узнал дедушку.

— Петр Ананьев, здравствуй! — окликнул он дедушку. — Почему не спишь, Петр Ананьев?

— О! — удивился дедушка. — Христофор, ты? Откуда?

— Из Балаклавы, Петр Ананьев, — ответил Христофор.

— Как же это?.. Ведь дорога, слышно, перерезана. Как же можно?

— Птице можно, — сказал Христофор, — и кошке можно. А человеку уже нельзя. Больше уже нельзя, Петр Ананьев. Ну, пойду. Прощай.

— Нет, нет, — остановил Христофора дедушка, — стой. А как там, в Балаклаве? Англичане... Не видно англичан в море?

— Видно, Петр Ананьев. И в море они, и в бухте они, и всюду они. На башне флаг английский...

— У-у-у... — хотел что-то сказать дедушка, но ничего не сказал, а только поднялся с лавочки, зачем-то расстегнул пальтецо на себе и сразу опять застегнул.

— Плохо, Петр Ананьев, — продолжал Христофор. — Старуха в Балаклаве осталась. А я последней пулькой стрельнул и сюда прибежал.

Тут только дедушка заметил, что в руках у Христофора ружье. Вглядевшись, дедушка увидел также, что шаровары у Христофора изодраны, куртка в грязи, а голова ничем не покрыта.

Дедушка снова сел. Его охватил озноб; губы у него дрожали.

— Значит... значит... — лепетал он. — Было сражение, значит? А Стаматин Елизар Николаич, где же он?

— Не скажу тебе, Петр Ананьев, где капитан, — ответил Христофор. — Если не убили, то, может быть, путается где-нибудь за Балаклавой. На Байдары, может, подался или в Севастополь идет. Но только не пройдет капитан, нет. Нога у не-

го, рука, знаешь... Крутит, вертит, широко идет. Нет, пропал капитан.

Капитана Стаматина дедушка знал давно. И дружба была у них, и водили они между собой хлеб-соль. Как Елизар Николаич в Севастополь — так к дедушке; а навещается дедушка когда в Балаклаву, то уж непременно закусит и чаю напьется у Елизара Николаича под каштаном.

Дедушка почувствовал, что вовсе озяб, хотя ночь была теплая. Он съезжился в своем пальтеце и стал совсем маленький.

— А в штаб... ты заходил? — спросил дедушка, и челюсть у него дрожала, и зуб на зуб не попадал. — В штаб... к Корнилову. Тебе надо показание дать, Христофор. Надо в штаб...

— Да, надо, — спохватился Христофор, — совсем забыл. Все шел и шел и про старуху мою думал... Сейчас зайду к сыну, и вместе пойдем, с Кириллом. А то — ночь, дозоры... Прощай, Петр Ананьев.

Но дедушка только головой кивнул.

Ему было холодно и одиноко, и все же он оставался на лавочке. Где-то далеко перелаивались собаки; и ночные сторожа перекликались: «Слу-ша-ай!»; и красноватые звезды горели у дедушки над головой. Вскоре мимо него, направляясь в штаб, прошли с зажженным фонарем Христофор и Кирилл Спилюти. Они шли быстро и заняты были своим. И не заметили дедушку, как сидел он, словно воробышек, съезжившись и скрючившись в своем стареньком пальтеце.

Госпиталь, в котором работала теперь Даша Александрова, был недалеко, на Павловском мысу, сразу за Корабельной слободкой. И Даша нет-нет, да и забежит к дедушке. Приберет, что-нибудь наскоро приготовит — и опять в госпиталь. Но когда на другой день, часов в одиннадцать утра, она, проходя мимо, заглянула к дедушке, то, к удивлению своему, застала его еще в постели. Дедушка был вялый, сонный и выпил только одну чашечку чаю без ничего. Пришлось Даше побыть с дедушкой до вечера, поить его кипятком с сухой малиной и развлекать рассказами о том, как ездила она на Альму и как по дороге подкузьмила французского кавалериста. Дедушка очень смеялся, но вдруг словно что-то вспомнил и опять стал печален. Когда стемнело, Даша уложила дедушку и побежала к себе на Павловский мыс.

Так прошло несколько дней.



А 19 сентября утром снова пришла Даша и рассказала дедушке, что Меншиков вернулся в Севастополь и армию с собой привел.

— Что на Северной стороне войска, так это просто страсть! — захлебываясь, рассказывала Даша. — Ты посмотрел бы, дедушка, что делается! Палатки, палатки... Будешь день считать — не сочтешь. И в два дня не сосчитать. Костры горят, в котлах булькает... А казаки сядут в кружок вокруг котла и, как опростают котел, начинают песни играть. Особые у них песни, у казаков, хорошие такие песни...

— Погоди, Дашенька! Ты это... — И видно было, как дедушка оживился. — Песни... это... что песни? Это потом. Так много, говоришь, войска привел? Должно быть, получил подкрепление. Потому и песни играют. И дорога нам теперь не заставлена на Бахчисарай, на Симферополь, на всю большую Россию. Ты знаешь, какая она большая, Россия?

— Наверно, большая, — сказала задумчиво Даша. — Я думаю, с Черное море, не меньше будет.

— Что ты, Даша! — замахал руками дедушка. — «С Черное море»... Тоже сказала. Да она больше Черного моря раз в пятьдесят! Такая это держава. Ты едешь, едешь... Месяц едешь, два едешь, уже и третий месяц на исходе, а ей все еще конца-краю не видно. Хоть на лучшей тройке поезжай, все равно. И песни всюду поют на разные лады — и веселые и протяжные. По пословице: что город, то норы; что деревня, то песня. Ах, большая... большая... ну, просто... — И дедушка не находил слова, чтобы объяснить Даше. — Ну, просто... необозримая, — нашел он наконец нужное слово. — А ты, Дашенька, говоришь — с Черное море.

— Прости, дедушка, — сказала Даша, словно оправдываясь. — Откуда же мне знать такое? Я дальше Евпатории к русской стороне никогда не езживала.

— А теперь поедешь дальше. Далеко поедешь... Надо думать, после войны сразу и поедешь. Уже о тебе в Петербург написано.

— Зачем же это? — спросила, недоумевая, Даша.

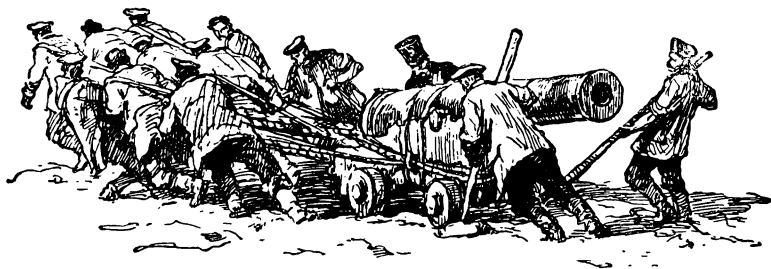
— Чтобы знали все народы, — объяснил дедушка.

Но Даша и этого не поняла.

Дедушке хотелось еще рассказать Даше о России, а как об этом расскажешь? О темных лесах, и о светлых реках, и о больших дорогах... Дедушка вспоминает: в деревнях по избам день-деньской жужжат мухи и пахнет ржаным хлебом... А сколько, спрашивает у самого себя дедушка, в России деревень? Сосчитано это? Деревня Мамаевка и село Стожары. И Чернуха деревня, и Чистополье село, и Пески, и Тюлени, и Майдан, и Церковище, и Великая Весь... Каких только нет!

Давно оторвался от родной деревни Петр Иринеич Ананьев, и Севастополь стал ему родиной, а вот к старости потянуло опять хоть разочек выйти за околицу и, как в детстве, снова увидеть туман над овсяным полем и проселок, пропадающий в траве.

Необыкновенный прилив сил почувствовал дедушка после того, как узнал от Даши, что армия вместе со своим командующим вернулась в Севастополь. Дедушка стал опять ходить в сад под шелковицу или же выходил за ворота, выглядывая Елисея Белянкина с письмом или газетой. И завел себе наведываться что ни день на третий бастион, расположенный



на Корабельной стороне. На глазах у дедушки и вырос он, с батареями, блиндажами, пороховым погребом и Ребьячим завалом.

Однажды в туманное октябрьское утро дедушка увидел, как матросы волокли по Широкой улице на третий бастион необыкновенных размеров пушку. И каково же было удивление дедушки, когда он заметил потускневшую каску Елисея Белянкина поверх большой толпы матросов, впрягшихся в станок. Елисей повесил свою суму пушке на ствол, перекинул через грудь себе веревочную ляжку и шел мерно, в шаг со всеми прочими матросами, и вместе с ними останавливался где-нибудь на горке передохнуть. Мало того: Елисей почему-то оказался даже атаманом всей ватаги, которая волокла пушку.

— Ну, братцы, — сказал он, отдышавшись на остановке, — берись дружно — не будет грузно. Тимоха, Петро, становись! Эх, «Никитишна», почитай год не видались, ан и довелось, голубка, сегодня встретиться. А будем на месте, так уж сядем рядком и поговорим ладком. — Елисей ласково погладил пушку по стволу. Повернувшись, он крикнул: — Ну, взяли, что ль? Рраз!

И матросские башмаки, взбивая пыль облаком, покатали пушку на бастион.

Только поставили пушку, только снял с нее Елисей свою

почтарскую суму, как громкое «ура» прокатилось по всему бастиону. Из блиндажей выбежали офицеры. Боцманские дудки залились, как соловьи.

— Пошли все наверх! — кричал боцман Лагутин, обегая батареи. — Стройся!

По узкой тропинке, которая вела на бастион, поднимались цепочкой, один за другим, всадники. Впереди ехал Корнилов, назначенный начальником штаба всех войск, расположенных в городе Севастополе. Лошадь под Корниловым плясала. И в наступившей тишине слышно было, как на груди у него позвякивают наконечники золотых аксельбантов.

Елисей увлекся общим делом и общей суматохой на бастионе. Она ничем не отличалась от того, что происходило и на корабле, когда к нему с берега летел адмиральский вельбот. И Елисей совсем забыл, что он уже не комендор и не матрос. Когда он услышал команду «Пошли все наверх», он сразу бросил суму и выбежал на бастионный плац вместе с Петром Граченковым и Тимохой Дубовым.

У Лагутина глаза полезли на лоб. В строй, где в ниточку вытянулись парусиновые башмаки, матросские куртки, бескозырки одна в одну, затесалось что-то непонятное, в кожаной каске, похожей на арбуз, и с саблей, напоминающей селедку. Боцман Лагутин от неожиданности не сразу узнал бывшего комендора Елисея Белянкина в этом сивоусом почтальоне с пустым рукавом, заткнутым за портупею¹. А когда разобрался, то даже зубами заскрежетал.

— Га-а! — рывкнул он на Елисея. — Ошалел ты? Прочь пошел!

Елисей посмотрел недоуменно на Лагутина и вдруг понял. И горько стало ему и неловко; и ему самому опять показался странным этот сюртук его с пустым рукавом, и сабля, и каска...

Он вернулся к «Никитишне» и скрючился подле станка. А Корнилов уже объезжал фронт, и опять «ура» мерными раскатами пошло от батарей к батарее.

Корнилов поднял руку в белой перчатке. «Ура» смолкло.

— Ребята! — сказал Корнилов. — Матросы-черноморцы! Отстоим Севастополь! Станем стеною! Будем драться до последнего! Да нам и некуда отступить. Тут у нас — море, там — неприятель. Князь Меншиков обманул неприятеля, обошел его. Если неприятель нас атакует, то наша армия ударит на него с тыла. Помни же, матрос: не верь отбою! Пусть музыканты забудут играть отбой. Изменник — кто протрубит отступление! И если я сам прикажу отступить, коли и меня! Я давно знаю вас за молодцов, а с молодцами говорить долго нечего.

¹ Портупея — перевязь, к которой подвешивается сабля.

— Ура-а! — кричали матросы. — Грудью станем... умрем... не отступим...

Музыка заиграла Черноморский марш. Корнилов поскакал вдоль фронта улыбаясь, с двумя пальцами правой руки, поднесенными к треугольной шляпе. Под непрекращавшееся «ура» начальник штаба всех войск, расположенных в Севастополе, начал спускаться с бастиона.

День был пасмурный. Утренний туман рассеялся, а солнце не показывалось. Сигнальщик на бастионе все утро смотрел в подзорную трубу, но ничего на супротивной стороне не видел, кроме смутно белевших палаток и мертвых траншей. Когда на бастион приехал Корнилов, сигнальщик вместе со всеми кричал «ура» и смотрел на Корнилова, повернувшись к неприятелю спиной. Но Корнилов уехал с бастиона, и все утихло. Тогда сигнальщик вдруг вспомнил про трубу, которая была у него в руках, и снова навел ее на английские траншеи. И увидел...

Он увидел это впервые, но сразу понял все. До того ему приходилось видеть в подзорную трубу, как люди в красных куртках насыпают валы, накладывают рядами мешки и корзины с землей... Теперь он разглядел обратное: красные куртки поспешно сбрасывали мешки с землей с вала, и в образовавшиеся отверстия выглянули пушки. Они были направлены на Севастополь, на третий бастион.

Сигнальщик взмахнул флажком, сделал полоборота направо, чтобы крикнуть вахтенному офицеру... Но в это время над головой у сигнальщика раздался протяжный визг: «жжми-и-и!» Первое ядро, пущенное по Севастополю 5 октября 1854 года, пролетело над головой у сигнальщика на третьем бастионе. Через миг ядро заметил у себя над головой вахтенный офицер капитан-лейтенант Лукашевич. Ядро пронеслось дальше и упало на луговине за бастионом.

— К орудиям! — крикнул Лукашевич. — Боцман!

Опять засвистела дудка, и боцман Лагутин бегал по траншеем и кричал всех наверх.

— Прикажете бить тревогу? — спросил, подбегая, барабанщик.

— Бей тревогу!

Барабанщик ударил, и сухая дробь тревоги звонко раскатилась по бастиону. Но снова «жжми-и-и!» — и оно перекрыло бой барабана, и боцманскую дудку, и возгласы команды.

Хриплый выкрик Лукашевича «К орудиям!» и барабанная дробь заставили Елисея Белянкина насторожиться. Как-то само собой вышло, что он шагнул и сразу очутился на своем старом месте, у «Никитишны». И, как будто так и надо было, заняли у пушки свои прежние, стародавние места Петро Граченков с банником и Игнат Терешко с рычагом.

— Вторая и четвертая, пальба орудиями! — услышали они все знакомый голос лейтенанта Никольского.

И Елисей тотчас откликнулся:

— Орудие к борту!

Но тут на него навалился боцман Лагутин. Елисей сделал страшное усилие и единственной своей рукой сорвал с себя боцмана. Лежа на земле, боцман увидел над собой бешеное лицо Елисея, его обезумевшие глаза.

— Если... ты только... еще раз... — задыхаясь, выдавил из себя Елисей.

Не договорив, он бросился обратно к своей пушке, уже высунувшей из амбразуры чугунное дуло.

Лагутин отполз в сторону, встал, встряхнулся, глянул сзади на Елисея, на его измятый сюртук и подвязанный рукав...

— Тьфу! Время много мне связываться с тобою! — скрипел Лагутин отплевываясь. — Бешеный!

Но Лагутин мгновенно забыл о своей схватке с бывшим комендором. Новое «жжми-и-и!» стало с огромной силой и невероятной быстротой накатываться на бастион из-за Ребячьего завала, и двухпудовое ядро упало позади Елисея и засыпало его землей. С помощью Игната Терешки встал Елисей на ноги, и в голове у него мелькнуло, что вот на корабле таких положений не бывает, чтобы землей засыпало. Там обломок мачты мог ноги перешибить или угодить в голову, но чтобы землей...

— Даже глаз не продрать, — молвил Елисей отдуваясь. — Фу ты!

Когда Елисей все же продрал глаза, то увидел у самых ног своих боцмана Лагутина. Изо рта у Лагутина была яркочерная пена, и вся куртка была в крови; безмолвно широко раскрытыми глазами смотрел он в лицо Елисею.

— Носилки! — крикнул Елисей.

И притихшего боцмана на носилках понесли с бастиона.

Теперь уже невозможно стало разбирать, ядро ли визжит, осколок ли звякает или это посвистывает бомба. Все слилось в тысячеголосом реве орудий с обеих сторон, и все потонуло в пороховом дыму. Дым вырос, как толстая стена из ваты. Он лез в глаза, которые у всех покраснели и слезились. Он набивался в глотку, и нестерпимая жажда стала мучить людей на бастионах. «Никитишна» разогрелась, и Елисей чуть окатил ее из ушата водой. Но сам не стал пить. Остаток воды он приберегал для той же «Никитишны». С «Никитишной» Елисей сегодня не разговаривал: в дыму и реве он собственный голос едва различал.

И тем не менее он как-то различил позади себя скрип ведра о коромысло. Елисей быстро обернулся. Прямо к нему про-

бирались сквозь дым три женские фигуры. Елисей сразу узнал в шедшей впереди жену свою Марью. За нею шла Кудряшова. Последней ковыляла мать Кудряшовой, Михеевна. У каждой из них было на плече по коромыслу. И на коромыслах покачивались железные ведра, полные воды. Женщины шли, останавливаясь, когда рядом падало ядро или лопалась бомба. Потом шли дальше, осторожно ступая, стараясь не расплескать ни капли.

Елисей припал к ведру на Марьином коромысле. Он пил долго и много. А Марья глядела на его закопченное лицо и подвязанный рукав и плакала. Елисей что-то сказал — что-то про Мишука, верно... «И-у» — услышала только Марья. Она не поняла, но чтобы сделать приятное Елисею, утвердительно закивала головой. Елисей тронул ее руку на коромысле и опять повернулся к «Никитишне».

Весь день ходили по бастиону эти три женщины. Они исчезали на короткое время, и звяканье пустых ведер прорывалось на мгновение с луговины позади бастиона к орудиям у амбразур. Но спустя полчаса в плотном пороховом дыму снова возникали одна за другой Марья Белянкина, и Кудряшова, и старая Михеевна, совсем согнувшаяся под своим коромыслом. Матросы и офицеры жадно припадали пересмякшими губами к студеной воде и, не сказав ни слова, опять бросались к орудиям.

Елисею Белянкину пора было на почтовый двор. Наверно, из Симферополя уже прибежала почта... Но если бы кто-нибудь заговорил теперь про почту, Елисей бы очень удивился. Какая почта? И Елисею и его товарищам казалось, что они, как в былое время, находятся и теперь на верхней палубе «Императрицы Марии» и что корабль укрепился на якоре, стоит твердо, так что очень даже способно комендорам вести прицельный огонь. И нет-нет, а оглянется Елисей, не видать ли где поблизости Нахимова с его подзорной трубой. Но Нахимов на третьем бастионе не показывался.

Павел Степанович распоряжался на пятом бастионе. Он останавливался у той либо у другой пушки, сам наводил ее и потом наблюдал в подзорную трубу, куда упадет снаряд.

— Эх, не туда! — вскрикивал он с досадой, разглядев, что ядро, пушенное из орудия, перелетело за неприятельскую батарею. — Ни перелет, ни недолет недопустимы. Не прицельно-с. Нет-с.

И он снова наводил.

— Угадал! — радовался он, наблюдая, как вскинулась хоботом лафета подбитая у неприятеля пушка и как развернуло там на батарее щеки амбразуры. — Это прицельно-с. Да.

— Вы ранены, Павел Степанович? — сказал, подбегая к нему, офицер.

— Вовсе нет, неправда-с, — ответил недовольно Нахимов. — Никакой раны нет-с.

Он провел рукой по саднившему лбу и почувствовал, что рука стала мокрой. И поглядел на руку: вся ладонь была в крови.

— Слишком мало-с, — сказал он поморщившись. — Слишком мало, чтобы об этом заботиться. Пустяки.

— Павел Степанович, — сказал офицер, — мы просим вас оставить бастион: здесь очень опасно.

— Кому опасно? — спросил Нахимов. — Вам?

— Прежде всего вам, Павел Степанович.

— А вам?

— Всем, конечно... опасно, — замялся офицер.

— Ну, тогда все и уйдем, — сказал Нахимов. — Либо всем уходить, либо всем оставаться.

— Помилуйте, Павел Степанович! Как же...

— Ну, вот так, — улыбнулся Нахимов и развел руками.

Он пошел к другому оружию и там тоже занялся наводкой. Может быть, с неприятельской батареей разглядели в сильный бинокль его новенькие адмиральские эполеты на черном сюртуке?.. Но только на батарею вдруг посыпался такой град бомб и картечи, что к Нахимову снова подбежал офицер.

— Павел Степанович! — сказал он, зажав в дрожащей руке фуражку. — Павел Степанович...

Но Нахимов обернулся только тогда, когда услышал голос Корнилова:

— Что, Павел Степанович, жарко?

— Очень сильно палят-с, Владимир Алексеевич, — ответил Нахимов и смущенно улыбнулся.

Огонь действительно становился все сильнее; казалось, сама земля, израненная, развороченная, редела от боли и ярости. Но вдруг язык пламени лизнул пушку, подле которой стояли Корнилов с Нахимовым. Пушка неожиданно сама выстрелила и при внезапном откате сбила подносчика пороха и задавила его, прищемив ему живот. Подносчик умирал под колесами лафета, и страшно было видеть его круглые глаза и то, как он руками греб землю. А пламя все пуще... Горели деревянные крепления амбразуры.

— Ах, нужно тушить! Руки нужны, — сказал Корнилов. — Это уже не впервые сегодня. На Малаховом сколько раз загоралось...

И он вскочил в седло и поскакал в город.

На Городской стороне собирались толпами люди и прислушивались к раскатам канонады. Ни ядра, ни бомбы не



залетали сюда, и на двух главных улицах, на Екатерининской и на Морской, даже магазины были открыты: и кондитерская Саулиди, и «Моды Парижа» Софьи Селимовны Дуван, и табачная лавочка с турчанкой на вывеске. По Екатерининской, привлекая общие взоры, проскакал Корнилов с адъютантом и двумя казаками. Он только на минуту заехал в Морской штаб, подписал какие-то бумаги и вернулся на Корабельную сторону.

Высокое выбеленное здание острога на Корабельной стороне выходило углом на большой плац. Но ни одним окошечком, ни одним выступом либо карнизом не нарушалось здесь томительное однообразие совершенно гладких каменных стен. Только огромные ворота были прорезаны в этой массивной глыбе. Но и ворота были сплошные, гладкие, и они были наглухо заперты.

Большой фонарь с выбитым стеклом висел подле ворот на полосатом столбе. Против столба была будка, тоже полосатая, и у будки стоял караульный солдат с примкнутым к ружью штыком.

Услышав цокот копыт позади себя, караульный глазом не моргнул. Кто-то там скачет по улице... «Ну, и пусть себе скачет», — решил караульный. Мало ли кто теперь не скачет! И казаки день-деньской скачут, и гусары скачут; полицейский пристав Дворецкий тоже каждый день трях-трях на рыжей кобыле мимо тюрьмы; а из флотских — так всё высшее начальство: и Нахимов и Корнилов...

— Эй, молодец! — услышал караульный чей-то оклик позади.

Караульный вяло обернулся и увидел в двух шагах от себя Корнилова. Перепугался караульный не на шутку. Ружьем брякнул, вытянулся, глаза выкатил, застыл.

— Молодец, — повторил Корнилов, — вызови мне караульного офицера.

Караульный повернулся к будке и дернул язык у колокола. И за воротами сразу пошли брякать замки и стучать засовы. Наконец ворота чуть приоткрылись, и на улицу вышел пехотный подпоручик в шинели и каске. Он тоже замер на месте, увидев Корнилова.

— Всех арестантов, не прикованных к тачкам, отведем на бастионы, — сказал Корнилов. — Я сам там буду и распоряжусь работами.

— Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, — возразил подпоручик, держа два пальца у каски: — караульный офицер не вправе отлучаться с поста.

Корнилов улыбнулся.

— Знаю, подпоручик, — сказал он. — Но обстоятельства...

Слышите это? — И он показал рукой в сторону Корабельной слободки.

Подпоручик, конечно, это слышал. Под этим надо было подразумевать неумолкавший рев канонады, от которого некуда было деться. И подпоручик не только слышал, но и видел. Он видел непроницаемую завесу дыма, которая застилала небо на семиверстном расстоянии — от Корабельной слободки до Карантинной. Да, обстоятельства были необычайные.

— Обстоятельства совсем меняют порядок, — продолжал Корнилов. — А в общем, на меня валите. Скажите — Корнилов приказал. Выведите сейчас арестантов сюда на плац без конвоя.

— Слушаюсь, ваше превосходительство!

И офицер исчез за воротами.

Корнилов остался ждать у ворот. Караульный солдат совсем окаменел подле будки. Но какая-то тень пробежала у него по лицу, и он судорожно стиснул в руках ружье. К реву канонады вдруг примешались крики, вой, удары молотков о железо... Все эти звуки шли с тюремного двора, пробиваясь на улицу через дубовые ворота.

Когда караульный офицер крикнул арестантам строиться, чтобы идти на бастионы, из всех камер хлынули возбужденные толпы людей, странно одетых, с наполовину обритыми головами.

— Тачечным остаться! — кричал офицер с обнаженной саблей в одной руке и с заряженным пистолетом в другой.

Но на двор выбегали не только закованные в кандалы, но и прикованные к тачкам. Эти с грохотом катили перед собой свои тачки и оглушительно звякали цепями и кричали:

— Аль мы не люди?.. Не хотим!.. Не останемся!.. Всех ведите на бастионы!.. Кровь прольем — не допустим неприятеля!.. Умрем, братцы!

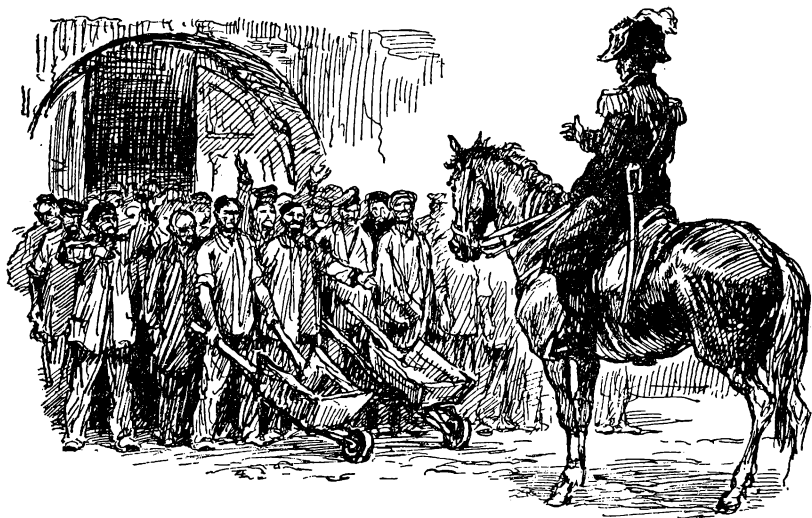
И они стали срывать железные колеса с тачек и колотить ими по кандалам. Не успел караульный офицер опомниться, как весь острог был раскован. Арестанты построились, и ворота раскрылись, и мимо Корнилова промаршировали узники, среди которых были и такие, которые уже по десятку лет ничего не видели, кроме глухого задворка на тюремном дворе. Все они выстроились на плацу перед острогом, и Корнилов повернул к ним коня.

— Ребята! — сказал Корнилов, подъезжая к фронту этого небывалого еще войска. — Что было, то было. Забудем всё. Будем только одно помнить: враг — у ворот Севастополя, на пороге России. Не дадим торжества лиходею! Умрем, ребята, а не допустим!

— Урра-а! — восторженно понеслось по рядам людей, которые уже давно таких слов не слышали.

Никто их в остроге не называл ребятами. В тюрьме их побили плетью, били чем попадая, поминутно совали под нос заряженные пистолеты... И вдруг — как в сказке: такой нарядный генерал, ордена на нем, золотые плетеные жгуты аксельбантов, и лошадь пляшет под генералом... А он такие слова говорит: забудем, мол, всё.

— Урра-а! — кричали арестанты. — Не допустим! Веди, ваше превосходительство! Прикажи только... Умрем...



И Корнилов повел за собой по улицам Корабельной стороны тысячную толпу.

Это было необыкновенное шествие, и люди выбегали из ворот, чтобы взглянуть на огромную массу осужденных, и вдруг без всякого конвоя! Без солдат с шашками наголо, без унтер-офицеров с заряженными пистолетами и без душераздирающего звяканья цепей, без кандалного звона.

Здесь были арестанты разных разрядов. Одни были в серых куртках с черными рукавами; на других были куртки — вся правая сторона серая, а левая — черная. На спине у одних был нашит черный круг из сукна; у других на спине был бубновый туз. У одних была выбрита половина головы спереди — от уха до уха; у других была выбрита вся левая половина — от затылка до лба. А впереди всей этой массы каторжников ехал в мундире с золотым шитьем и в шляпе с плюмажем адмирал

Корнилов, Владимир Алексеевич Корнилов... И пушки ревели, и тяжелый дым встал стеною, и на бастионах люди замертво падали. Таково было это пятое октября 1854 года.

Арестанты шли молча. Молодой, щупленький, шедший в первом ряду сразу за лошадью Корнилова, затянул было на подкандалный лад:

Степная глушь, Сибирь вторая,
Херсон, далекая страна...

Но никто певца не поддержал, и его тенорок заглох на второй строке.

Через полчаса у Малаховой башни и на соседнем третьем бастионе, с которого все еще не сходил Елисей, появились толпы арестантов. Они сразу поняли, что от них требуется, и где они всего нужнее, и на какое место стать. И они рассыпались по батареям и стали каждый на указанное место.

Доски в амбразурах не загорались больше, потому что им не давали этого арестанты. И матросы подле пушек не томились от жажды, потому что воды стало вдоволь. И раненые не ждали, пока освободятся носилки. Едва только хлестнуло картечью и упал где-нибудь навзничь человек, арестанты с носилками уже стоят подле на коленях и укладывают, и укрывают снятыми с себя куртками, и несут осторожно с бастиона прочь, и проходят с носилками через Корабельную слободку мимо белого домика с голубыми ставнями, где на лавочке у ворот сидит в своем пальтеце и ватном картузе дедушка Перепетуй.

Он сидит на лавочке с самого утра, с первого выстрела по третьему бастиону. Бузу, что была у дедушки в погребе, арестанты всю выкатили ему на улицу. И стоят подле лавочки под тополем два дубовых бочонка, кружка стоит на лавочке, и дедушка Перепетуй потчует бузой раненых и арестантов.

Часам к девяти утра бомбы стали падать и разрываться в Корабельной слободке. Потом англичане начали бросать на слободку зажигательные ракеты. Из Кривой балки повалил дым. Говорили, что занялось у Даши Александровой, в домике, где она жила раньше. А вслед за этим чугунное ядро грохнулось рядом с дедушкиным домом, во дворе у Кудряшовой.

Хорошо, что ни Кудряшовой, ни Михеевны не было дома: они носили воду на третий бастион.

Ядро вырыло у Кудряшовой посреди двора порядочную яму и лежало там, остывая. Дедушка ходил смотреть. А Мишук Белянкин подобрался к ядру, потрогал его — уже совсем холодное. Тогда Мишук попробовал выкатить ядро из ямы. Но в ядре было добрых три пуда. И другие мальчишки приходили, хотели вместе с Мишуком взяться. Но в это время домой вернулась Кудряшова. Она разогнала мальчишек и сказала, чтобы

ядра не трогали, а надо заявить в полицию. И только она сказала это, как вдруг — «жжми-и-и!» Все попадали наземь, и новое ядро ударило и угодило уже у дедушки, в каменную ограду возле мусорного ящика. Камни, известка, какие-то черепки, тряпки — ядро расшвыряло это во все стороны и забралось в мусорный ящик, из которого сразу потянуло едким дымом.

Первая опомнилась Кудряшова. Она мигом окунула ведро в бочку и через плетень плеснула в загоревшийся мусор. И все пошли смотреть на новое ядро, у дедушки в мусорном ящике.

Оно было поменьше того, что упало на дворе у Кудряшовой. Но Кудряшова сказала, что и об этом ядре надо заявить в полицию.

Дедушка посмотрел на Кудряшovu и головой покачал.

— Тут сегодня таких не одна тысяча упадет, — сказал он, ткнув в ядро своей кизиловой палкой. — И завтра — тоже, и послезавтра... Надолго это. И ты все будешь бегать в полицию?

— И буду, — сказала упрямо Кудряшова. — Если непорядок, так надо в полицию заявить.

— Теперь, тетка, на всем свете непорядок, — сказал дедушка и отошел взглянуть на развороченную стенку.

И все согласились с дедушкой, что заявлять в полицию не надо.

А дедушка ходил вдоль стѐнки, пробитой ядром насквозь, и тыкал палкой в камни, расшатавшиеся, а где и вовсе обвалившиеся. Ткнул в одно место, в другое... В одной расщелине спугнул зеленую ящерицу. Дальше, из пролома, видит дедушка, торчит что-то ребром. На каменный брусок совсем не похоже: тонко и цвет не тот. Дедушка наклонился, взял двумя пальцами и вытащил.

Соседи гуторили еще подле мусорного ящика, и Кудряшова еще не сдавалась, все на своем стояла: что, дескать, если ядро, так надо в полицию.

— Не горох ведь, — кричала она, — не яблоки печеные! Ядро ведь...

— Не кричи, женщина, — сказал ей Христофор Спилиоти, тоже прибежавший на дым во дворе у дедушки Перепетуя. — Тихо! Ядро... Всем видно, что ядро.

— Да ведь оно же чугунное! — не унималась Кудряшова и вдруг всплеснула руками: — Ой, грех какой! Всегда так: заговорюсь с людьми и забуду все на свете.

Она бросилась к ведрам и коромыслу и пошла со двора вместе с матерью. По дороге к ним присоединилась со своими ведрами Марья Белянкина.

Но дедушка ничего этого не слышал и ничего не замечал.

Полою пальтеца смахнул он известковую пыль с предмета, который он только что извлек из пролома в полуразрушенной стенке; и оказалось, что он держит в руках своих тетрадь. Переплет покоробился, бумага пожелтела, чернила поблекли, и якорек, если и был когда на переплете, то весь вышел. Но на первой странице была надпись, сделанная когда-то рукой самого дедушки. Он разобрал ее и без очков. Под визг и свист, которые всё чаще стали оглушать Корабельную слободку, дедушка, беззвучно шевеля губами, прочитал:

— «О славном городе Севастополе записки исторические и о войнах русско-турецких. Писаны Петром Иринеевым Ананьевым о разных случаях. Да не изгладится память великих дел».

Это была та самая тетрадь, которая пропала у дедушки Перепетуя больше года назад. Та самая тетрадь, которую утащила коза Гашка, когда дедушка уснул у себя в саду под шелковицей. Дедушка припомнил: тетрадь пропала у него когда же? Да, это было 17 сентября 1853 года, в день выхода эскадры Нахимова в море. И была после этого при Синопе великая победа. А теперь черноморский флот сошел на берег, и стали матросам бастионы, как корабельные палубы.

— Да не изгладится память великих дел, — повторил дедушка.

Он был стар и слаб и совсем обессилел от всех этих ядер, от бомб и ракет, которыми прямо-таки забрасывали Корабельную слободку англичане. И он побрел в дом, унося с собой свою драгоценную тетрадь.

Войдя в сенцы, дедушка подумал, что вот на улице у калитки остались два бочонка с бузой и кружка на лавочке.

«И что ж, — решил он. — Пей, кто хочет!»

Дверь из сенечек в горницу была полуоткрыта, и цыплята с уже обнаружившимися хохолками расхаживали под столом, а один рябой, с торчавшими во все стороны перьями, умудрился взобраться на этажерку и теребил там пакетики с цветочными семенами. Размахивая тетрадь, дедушка выгнал цыплят на двор и прилег на кровать.

Дедушка лежал, вытянувшись у себя на кровати, его серебряные часы висели у него над кроватью на гвоздике, а старая синяя тетрадь была у дедушки в руках. Он раскрыл ее... раскрыл на сорок восьмой странице.

Все буквы, росчерки и завитки были на месте. Из букв складывались слоги, из слогов — слова.

«Да выйдет правда из мрака подпольного на божий свет, — прочитал дедушка надпись на сорок восьмой странице. — Нет тайного, что не стало бы явным».

Но тут буквы, росчерки и завитки все как бы сдвинулись, поплыли, зазыбились и перетасовались. Дедушка закрыл гла-

за, и его сразу охватила полудремота: ни сон, ни явь; звуки доносились, как сквозь войлок, — частая пальба из мелкокалиберных орудий.

Дедушка так и задремал в горнице у себя, а в это время мимо его дома проезжал со своей свитой Меншиков, теперь уже главнокомандующий военными сухопутными и морскими силами в Крыму.

На земле у ворот сидели раненые и стояли носилки, а два арестанта поили раненых каким-то мутным питьем. Арестанты, увидя генерала, сняли фуражки с нашитыми на них бубновыми тузами. Меншиков фыркнул и отвернулся.

— Какого полка? — крикнул он в воздух, неизвестно к кому обращаясь.

И лежавший на носилках человек, покрытый старой рогожей, с лицом в крови и глине, дернулся и, тужась, произнес:

— Матрос... сорок первого флотского экипажа... Тимофей Дубовой, ваша светлость.

— Откуда?

— С третьего бастиона, ваша светлость, — прошептал раненый и закрыл глаза.

— Жарко там?

Но Тимоха только губами шевельнул. За него ответил стоявший подле носилок арестант:

— Шибко жарко, ваша светлость. Штурмовать, видно, собирается неприятель. Надо штурма ждать.

— Тебе откуда известно, чего ждать? — поморщился Меншиков. — Ты главнокомандующий... э-э... или начальник оборонительной дистанции?

— Никак нет, ваша светлость, — ответил арестант, смяв в руке свою обтрепанную фуражку.

— Нет? — притворно удивился Меншиков. — Значит, ты начальник штаба? И тебе известны все... э-э... предназначения... э-э... все виды?

— Не могу знать, ваша светлость, — снова ответил арестант, не понимая, чего хочет от него этот недобрый старик.

— Так откуда же тебе известно о штурме?

— По всему видать, ваша светлость. Во!.. Во!..

Лошадь Меншикова встала на дыбы, и главнокомандующий едва удержался в стременах. Два ядра одновременно упали посреди улицы и покатались под откос.

— Какого полка? — зло крикнул Меншиков арестанту.

— Мы из острога, ваша светлость. Арестанты.

— Зарезал?

Арестанту это наконец надоело.

«Была не была, — подумал он. — Терять нам нечего. Может, сегодня мне и живым не быть...»

И, глядя прямо в лицо Меншикову, он ответил:

— Никак нет, ваша светлость. Мы — тяткой. Помещица у нас была, Бурдюкова. Сколько ею народу умучено! Так мы ее тяткой порешили, как в отпуск ездили. Чтобы, значит, такой гадине живой не быть.

Меншиков даже не фыркнул. Он повернул коня и затрусил к Городской стороне. У дома, где жил Корнилов, он послал сказать, что ждет его на улице.

Корнилов заехал домой написать письмо жене в Николаев. Он только что кончил и, сняв с себя золотые часы, положил их в картонную коробочку. На коробочке он написал красными чернилами: «Моему старшему сыну».

Стекла дрожали в окнах, за которыми тусклое море уходило в пасмурную даль. Там стояли вражеские корабли и вели бой с береговыми батареями.

«Быть штурму, — решил Корнилов. — Все силы неприятелем пушены с суши и с моря. Надо ехать».

И он пошел к подоконнику за перчатками.

На противоположной стороне улицы он увидел Меншикова со своими адъютантами и вестовыми. Меншиков, видимо, поджидал его. Корнилов сбежал с лестницы и сел на коня.

— Главный удар на Корабельную сторону, ваша светлость, — доложил Корнилов. — И я боюсь, что никаких средств не достанет при такой канонаде. Третий бастион растрепан, рвы засыпало, щеки амбразур обгорели. На четвертом бастионе, не скажу, чтобы много лучше было. Но вся сила в людях. Люди! А снарядов нехватка. Скоро на два вражеских выстрела придется одним отвечать. Бывает еще, что бомба в мортиру не лезет; а взлетит — так орудие пальбы не выдерживает. Неприятелю все это, конечно, известно, и он может решиться на штурм.

Меншиков покосился на Корнилова. Слово «штурм» на этот раз произнес не темный арестант: это сказал человек с вензелями на эполетах и золотыми аксельбантами.

«И этот!» — подумал Меншиков.

Он решил тотчас переправиться к себе на Северную сторону. Корнилов проводил его до Графской пристани. Меншиков пересел с коня в шлюпку, и та понеслась на противоположный берег.

Владимир Алексеевич постоял минуту на набережной, глядя на удаляющуюся шлюпку и на белые гребни на том месте, где с месяц назад были затоплены корабли. И еще одну гряду видел он: вода вскипала поверх бревен и цепей, которыми вход в бухту был прегражден от берега до берега.

По третьему бастиону, куда с Графской пристани поскакал Корнилов, англичане били с Зеленой горы. Елисей Белякин

давно сорвал с себя сюртук с бляхой и, весь облепленный грязью, уже ничем не отличался от своих товарищей матросов. На бастион забежал было Мишук, но Елисей тряхнул его и прогнал прочь. Не было подле «Никитишны» Тимохи Дубового. Час назад арестанты унесли его с бастиона на носилках.

«Ура», которым был встречен на бастионе Корнилов, потонуло в пушечном реве. Корнилов прошел по бастиону и подумал, что, может быть, не так слаженно шла бы оборона, не выпусти он арестантов. А те, в крови и копоти, расшибленные, обожженные, с обгорелыми бородами и опаленными бровями, издали кричали ему:

— Здравия тебе желаем, ваше превосходительство! Урра-а!

С третьего бастиона Корнилов собрался на Малахов курган.

— Самое жаркое место, Владимир Алексеевич, — предупредил его командир третьего бастиона Попандопуло. — Не езжайте, по крайней мере, этой дорогой. Через слободку поезжайте.

— От ядра не уедешь, — сказал Корнилов и, козырнув защитникам бастиона, поскакал кратчайшей дорогой, через ложбину.

Малахов курган господствовал над всей оборонительной линией в Севастополе, а башня на кургане была самым высоким пунктом обороны. Англичане с утра били по башне, и вокруг нее все время ложились ядра и рвались бомбы.

— А наверху? — спросил Корнилов. — Что там? Небось, весь распорядок боя как на ладони? Подняться туда...

Но начальник оборонительной дистанции контр-адмирал Истомин вытянулся во весь рост у лестницы на верхнюю площадку башни...

— Ничего, решительно ничего, Владимир Алексеевич, там нет, — сказал он, упершись одной рукой в кирпичную стенку, а другую в деревянные перила. — Одни бомбы лопаются да картечные пули — частым дождичком... Что хорошего? И нигде тут хорошего нет, Владимир Алексеевич. Гарь и копоть, кровь и грязь... А дома — самовар на столе! — сказал он мечтательно, всей душой желая поскорее спровадить отсюда Корнилова. — Да, самовар... И херес в бутылке... На ней еще пыль, так ее — полотенчиком... Эх!

— Нет, — возразил Корнилов, — мы еще проедем вон к тем полкам. Там, кажется, у вас Бородинский и Бутырский? Молодцы! Ну как их не проведать! А уж потом домой, Владимир Иванович, потом домой...

Казак с лошастью Корнилова отошел к валу, чтобы укрыться там от огня.

— Казак! — крикнул флаг-офицер¹ Корнилова Жандр.

— Здесь! — послышалось у вала.

— Ну, теперь поедем, — сказал Корнилов и пошел к валу.

Удар неимоверной силы раздался в эту минуту, и Корнилов упал.

Он лежал на земле, и ему казалось, будто затихает этот целодневный рев; а люди, и пушки, и серое небо — все плывет мимо, мимо и в сторону... Но его уже подняли, истекающего кровью... Она была в том месте, где по самый живот была оторвана нога.

Корнилова положили на насыпь между орудиями.

— Господа... — произнес он тихо.

Истомин, бледный, с трясущимися руками, наклонился к нему.

И как-то по-новому прозвучал голос Корнилова, который стал ломким и звонким, как льдинка.

— Господа... — повторил Корнилов. — Отстаивайте Севастополь... не отдавайте...

И ему казалось, что еще быстрее плывет у него над головой небо, серое, как мрамор... И как будто все глуше звучит канонада...

Корнилов потерял сознание. Он умер в госпитале в тот же день.

Канонада действительно затихала. Она шла на убыль уже не только в потрясенном воображении умиравшего Корнилова. Сначала замолчали французские пушки против пятого и шестого бастионов; потом со стороны Корабельной слободки были сбиты английские батареи... И только одиночные выстрелы время от времени еще раздирали воздух. Неприятель на штурм так и не решился.

В госпитале на Павловском мысу Даша весь день провела на ногах. К вечеру, когда утихло, она побежала на Широкую улицу проведать дедушку.

У Павловского мыса стоял фрегат «Кагул» с флагом, припущенным в знак траура по погибшем адмирале. По улице, чуть не падая от усталости, прошел Елисей Белянкин, неся в правой руке свою каску, суму и сюртук. Даша вошла к дедушке в калитку и не заметила, как вслед за Елисеем прошла по улице целая процессия.

Это был военный портной Ерофей Коротенький со всем своим многочисленным семейством. В руках у Ерофея были портновские ножницы и утюг с обгоревшей ручкой. И всё. Лачужка Ерофея сгорела, как сноп соломы. И в поисках нового пристанища портной шел, сам не зная куда.

¹ Флаг-офицер — адъютант адмирала, командующего флотом.

Христофор Константинович

На другой день канонада возобновилась, но уже не с такой силой: умолк сплошной рев орудий. И все же над Корабельной слободкой теперь что ни день визжали ядра и лопались бомбы. С тихим стоном зарывались залетные штуцерные пули в какую-нибудь рыхлую каменную ограду или в ивовый плетень. И необыкновенных размеров ракеты пронеслись с таким страшным воем, что на первых порах он мог свести с ума. Среди всего этого воя, визга, свиста, стопа бродил, как потерянный, Христофор Спилиоти и думал о своей старушке Елене. Она осталась одна в Балаклаве, одна-одинешенька в доме над бухтой. И Христофор ломал голову, как бы ему выручить Елену.

Сын Христофора, Кирилл, работал пекарем на сухарном заводе. Однажды, спустя несколько дней после бомбардировки, он вернулся вечером домой и за ужином сообщил отцу, что будет завтра поход на Балаклаву. Артельщики Азовского полка приезжали на завод за сухарями, рассказывали: очень уж неприятель в Балаклаве расселся; надо его в море спихнуть, тогда и осаде Севастопольской конец.

Христофор положил на стол ложку и вытер свои пышные усы. Потом вышел на улицу, постоял посреди двора, посмотрел, как чертят небо огненные хвосты артиллерийских снарядов. Ядра, и бомбы, и ракеты налетали на Корабельную слободку со стороны Балаклавы. И в сторону Балаклавы направлял из Севастополя свои выстрелы то тот, то другой бастион. Огненные хвосты непрерывно перекрещивались в ночном небе. Случалось так, что снаряд попадал в снаряд, и тогда целый фонтан огненных струй разбрасывался в вышине, пронзая темноту ночи. Все это было похоже на фейерверк. Но это был смертоносный фейерверк: он нес разрушение и гибель и длился целыми ночами, от заката до утренней зари.

Христофор вернулся в дом, мурлыча какую-то песенку — что-то про партизана, у которого было за поясом четыре дорогих пистолета. И все они были заряжены. Из одного пистолета партизан застрелил часового у дома турецкого паши. Другой пистолет понадобился партизану для начальника караула. А выстрел из третьего пистолета разmozжил голову лютому паше. Но в ту же минуту к партизану бросилась стража — может быть, пятьдесят, а может быть, сто человек. Что станет делать один против сотни с единственным зарядом в последнем пистолете! Партизан выхватил его из-за пояса, свой лучший пистолет, сокровище свое в бирюзе и золоте, и выстрелил себе в голову.

— Что ты поешь, деда? — высунул нос из-под одеяла Жора Сплиоти. — Пистолет и паша? О чем это ты?

— Спи, Жора, — ответил Христофор. — Вырастешь — узнаешь.

— Я уже вырос, деда; я уже большой, — сказал Жора и прыгнул с кровати.

Он подбежал к деду, усевшемуся в углу на лавке, и обнял его.

— Деда, что я тебе скажу! — стал Жора шептать Христофору на ухо. — Знаешь, я пойду в Балаклаву и вернусь с бабушкой Еленой. Вот увидишь!

— А турок, Жора? — возразил Христофор. — Там теперь за каждым камнем турок стоит с ружьем и с ятаганом острым.

— Я убью турка! — крикнул Жора, и Христофор заметил, как сверкнули у внука глазенки.

— Нет, Жора, турок много, тебе одному всех не перебить.

— Я не один пойду, деда. У нас в Корабельной слободке много мальчиков. И Николка Пищенко и Мишук Белянкин — мы все пойдем.

— Ложись, Жора, ни о чем не думай! — И Христофор ласково погладил внука по голове. — Ночью — спать, утром — думать.

В это время над крышей домика, где обитала вся семья Сплиоти, раздался душераздирающий вой. Христофор оцепенел на месте и крепко сжал в своей широкой ладони Жорину голову.

— Деда, что ты? — крикнул Жора.

Он подбежал к окошку и глянул сквозь стекло на двор. В десяти шагах от дома вертелся на земле раскаленный докрасна цилиндр. Потом раздался треск, цилиндр перестал вертеться и сразу потускнел.

— Ракета, — сказал Жора и зевнул. — А ты думал что?

Глаза у Жоры стали слипаться, и он полез обратно под одеяло.

— Чего не выдумают люди! — сказал Христофор. — Огонь и железо... Сколько железа, сколько огня!..

Он снял со стены свое старое ружье и разобрал его. И стал чистить какой-то кашицей из толченого кирпичика и конопляного масла. Комом трепаной пеньки Христофор вытер ружье досуха и снова собрал его. Потом разбудил Кирилла, шепнул ему несколько слов и вышел на улицу.

В какую сторону идти, Христофор не мог сообразить. За Черной речкой в стороне Трактирного моста мигало множество огоньков. Христофор спустился к речке и пошел долиной на деревню Чоргун. Шел, шел Христофор и пришел наконец в раскинутый на берегу речки лагерь.

В лагере было тихо. Костры догорали. Весь лагерь спал. Разве только часовой где-нибудь брякнет в темноте ружьем о камень, либо откуда-то из-за палатки раздастся негромкое лошадиное ржанье.

— Стой! — услышал вдруг Христофор в двух шагах от себя.

Человека, остановившего его, Христофор в темноте не видел, но наточенный штык и дуло ружья отблескивали и в темноте.

— Куда идешь? Кто таков? — посыпались на Христофора вопросы. — Скажи отзыв.

Отзыва Христофор не знал. А как, не сказав отзыва, пройдешь по лагерю, да еще ночью?

Христофор тихонько отстранил от себя штык, уже коснувшийся его груди.

— Отзыва не знаю, дружок. Иду к генералу. Пропусти...

Христофор сделал было шаг вперед, но снова наткнулся на штык.

— Стой! — услышал опять Христофор. — Стой на месте.

— Так как же мне... — совсем растерялся Христофор. — Так я обратно в Корабельную, сын там у меня...

И Христофор повернулся, но почувствовал, что штык на-рапнул его по спине.

— Стой на месте, говорят тебе! — заорал часовой.

— Костюков, что там у тебя? — услышал Христофор чей-то сонный голос из палатки.

— Да вот, ваше благородие, шатается тут какой-то с ружьем, вроде старого кота, большущий, усатый... Отзыва не сказывает. К генералу, вишь, ему надобно.

— Я сейчас, — услышал Христофор тот же голос из-за опущенного полога палатки. — Придержи его.

— Да уж известно, — ответил Костюков. — Шагу не ступит. А попробует, так пулю коту по уставу караульной службы.

Христофору обидно было — часовой называет его котом, но что станешь делать! Заспанный офицер в рейтузах и накинутой на плечи гусарской куртке выбрался из-за полога и подошел к Христофору.

— Как забрел ты сюда, старик? — спросил офицер, всматриваясь в Христофора.

И, разглядев его шаровары и чуваки, молвил строго:

— Татарин?

— Никак нет, ваше благородие, — ответил Христофор. — Грек из Балаклавы.

— А-а... — протянул офицер. — Так что ж ты, заблудился? Или, говоришь, к генералу? К какому же тебе нужно генералу?

— К главному командиру... с кем на Балаклаву идти турок в море бросать.

— Ах, вот что! — догадался офицер. — Понимаю. У тебя, верно, с ними счеты, с турками?

— Так точно, ваше благородие! — ответил весело Христофор. — Сосчитаться надо и старуху выручить. В Балаклаве она осталась.

— Так-так, старик. А дорогу в Балаклаву, все эти тропочки и балки, ты знаешь?

— И по тропочкам и через балки с завязанными глазами пройду.

— Так-так... Ну, вот что, старик. Приляг вон у костра. Сосни. Утром разберемся.

— Слушаюсь, ваше благородие.

И Христофор зашагал к догоревшему костру.

Хотя ночь была теплая, Христофор погрел руки над тлеющим угольем, по которому пробегали синие огоньки. Потом растянулся у этой груды жара и положил подле себя ружье. И он пожелал себе сна теми же словами, как давеча Жоре.

— Ночью — спать, утром — думать, — молвил Христофор. И тотчас заснул.

Утром Христофор проснулся от боя барабанов и от звуков трубы. Христофор еще спронеся тянул рукой подле себя: ружье было на месте, у правого бока. Тогда Христофор присел, зевнул и огляделся. В лагере уже началась утренняя суматоха. Дымили костры, пробегали куда-то солдаты, нетерпеливо ржали лошади. Красивый офицер, должно быть тот, что ночью разговаривал с Христофором, стоял в наглухо застегнутой гусарской куртке у входа в палатку.

— Костюков! — крикнул он проходившему солдату.

И Христофор увидел часового, который вчера в темноте требовал у него отзыва.

Это был здоровый детина с необыкновенно белым безусым и безбородым лицом. И брови и ресницы были у Костюкова белые, и волосы на голове, как лен, белы. Он, видимо, уже смилился с караула, потому что был без ружья.

— Дай старику ложку, — сказал Костюкову офицер, — и отведи его к котлу.

Костюков вытащил из-за голенища деревянную ложку. Христофор встал и расправил усы.

Вокруг большого котла сидело пятеро солдат.

— Иголкин! — крикнул Костюков. — От ротмистра Подкопаева. Принимай шестого... Садись, отец.

Солдаты подвинулись, освободив Христофору место.

— Где каша, там и круг, — сказал худощавый шустрый солдатик, полная противоположность ражему и медлительному Костюкову. — Вступай в круг, отец. Только, чур, вперед не за-

бегай, от людей не отставай, круга не задерживай. А вообще уговор дороже денег. Будем знакомы. Иголкин моя фамилия. Ну, люди добрые, отцы честные, я первый! Вали за мной, с шагу не сбиваться!

— Веселый человек, — сказал Христофор, усевшись рядом с Иголкиным.

— А чего тужить? — тотчас откликнулся словоохотливый Иголкин. — У артельной каши и сирота не пропадет.

Но Иголкину пришлось умолкнуть. Каша была горяча, и на каждую ложку нужно было раз пять дунуть, прежде чем отправить ее в рот. И не успели солдаты управиться с кашей, как подъехал к ним моложавый генерал с черными усиками. Все вскочили, и Христофор тоже с места поднялся.

— Хлеб-соль, ребята! — приветствовал солдат генерал. — Ну, как нынче крупка? Разварилась?

— Так точно, ваше превосходительство! — ответил за всех Иголкин. — Ядреная крупка, разваристая.

— Сыты, ребята? — опять спросил генерал. — Накормлены? Как одёжа, обужа?..

— Всё в исправности, ваше превосходительство! — опять выкрикнул Иголкин.

— Так будем драться, как на Дунае дрались? — спросил генерал.

— Будем драться, ваше превосходительство, чтобы, значит, его извести! — весело ответил Иголкин. — Чтобы, значит, духу его здесь не было.

— Будем драться, — повторил генерал.

И, заметив, что каши у солдат еще с полкотла, сказал:

— Кончай, ребята, с кашей, навались! Скоро выступать.

Он взглянул на Христофора. Тот стоял с ружьем к ноге, но придерживал ружье по-своему, за ствол, у самого дула.

— И ты, старик, пойдешь с нами, — заметил генерал, вглядываясь в Христофора — в его лицо и седеющую гриву на непокрытой голове. — Мне уже говорили про тебя, старик. Не в одном месте, так в другом, а можешь пригодиться.

Он поехал дальше, сопровождаемый добрым десятком адъютантов, ординарцев и вестовых. А Иголкин и его товарищи снова принялись за кашу, чтобы во-время управиться с нею.

Все ели молча. Молчал и Христофор, то и дело опуская ложку в котел. Когда с кашей было покончено, Иголкин, облизнув свою ложку, сунул ее за голенище.

— Слышал, отец? — обратился он к Христофору. — Крупка, спрашивает, у вас развариста ли. Подумаешь — справедливый генерал Липранди Павел Петрович. А ты этому не верь. Не добёр, нет. Ну вот крупка, хорошо... А доведется, так и гнилы-

ми сухарями накормит; а то и вовсе с голоду подыхай. И сердце у него не занает, нет, это ты не сомневайся...

Иголкин, может быть, еще что-нибудь рассказал бы Христофору о генерале Липранди, но тут ударили сбор; и солдаты бросились к ружьям. Христофор, не зная, куда ему ткнуться, побежал вслед за Иголкиным, стараясь не терять его из виду. Иголкин — к козлам, в которых стояли ружья, и Христофор к козлам; Иголкин — в строй, и Христофор туда же. Наконец Христофор очутился на левом фланге второго батальона Азовского полка, рядом с Иголкиным, локоть в локоть, плечо к плечу.

Со стороны Севастополя доносились орудийные выстрелы, и дым, медленно отползая вправо, к морю, открывал вершины холмов на горизонте. Но утро было пасмурное, небо над холмами хмурилось.

Музыка молчала, не били больше барабаны, даже лошади не ржали. Приказано было не привлекать к себе до времени внимания неприятеля. Шарканье сапог о щебенку на дороге и топот копыт — все слилось в один неопределенный шум. Ниже, в долинах, могло казаться, что это лес шумит в горах Инкермана.

Христофор шел сначала рядом с Иголкиным. Но вскоре к ним подъехал верхом на сером коне пожилой полковник.

— Старик, ты дорогу знаешь, — сказал он Христофору. — Выходи вперед — вернее будет.

— В Балаклаву вести тебя, полковник? — спросил Христофор.

— Погоди, старик... в Балаклаву потом. Еще до Балаклавы хватит дела.

Полковник поднялся в стременах и взгляделся в холмы, которые вершинами уходили на юг.

— Монастырь как будто тут у нас обозначен, понимаешь? — сказал полковник. — Есть тут такой монастырь либо церковь...

— Будет, полковник, — ответил Христофор. — Да, будет, — добавил он, — если турки не сожгли.

— На монастырь ли, на пожарище, все равно, — сказал полковник. — Веди, старик, на место.

И Христофор пошел впереди полка, поглядывая кругом и прислушиваясь на ходу.

Дорога пролежала балкой по дну пересохшей речушки. Края балки наверху светлели, но понизу стлался сумрак и не уходила тень. Христофор вспомнил, что этой же балкой он пришел в Севастополь месяц назад. Да, завтра будет ровно месяц. Англичане захватили Балаклаву четырнадцатого сентября, а сегодня тринадцатое октября. И вдруг среди этих размышле-

ний взнеслись над балкой, словно вспорхнули на глазах у Христофора, голубые главы с крестами.

Христофор остановился и поднял вверх ружье.

— Вот, — показал он подъехавшему полковнику.

Но в это время шарахнулись откуда-то сверху вниз, в орешник, ружейные пули.

— Рассыпья! — крикнул полковник и выхватил из ножен саблю. — За мной!

И солдаты бросились вверх, к ограде, из-за которой свешивались крупные гроздья давно поспевшей рябины.

Там, за каменной оградой, уже хлопотали казаки. Толпами выбегали турки из ворот и в ужасе разбежались в разные стороны. Солдаты стреляли по ним, и Христофор нацелился было... Но вдруг вспомнил, что ружье у него еще после Балаклавы не заряжено и зарядить нечем. Тогда Христофор, размахивая ружьем над головой у себя, бросился догонять одного поджарого в феске. Но выбор Христофора был неудачен: у турка были исключительно длинные ноги, и он ускакал, как заяц от гончей.

Трубил горнист, и барабаны били. Батальон снова строился. И опять вышел вперед Христофор.

— Деревня Комора, старик, — сказал полковник. — Знаешь такую?

Христофор поднял руку.

— Там Комора, — показал он в сторону Балаклавы. — А за Коморой — Балаклава.

— Эх, тебе, старик, не терпится в Балаклаву! — улыбнулся полковник. — На базар боишься опоздать или невеста тебя дожидается?

Христофор не понял шутки.

— Невеста? — спросил он. — Зачем?

— Ну, как — зачем? Невеста всегда ждет жениха.

— А-а, — улыбнулся теперь и Христофор, поняв, что шутит благодушный полковник. — Нет-нет, полковник. Невеста не ждет... — И сразу словно облаком подернулось лицо у Христофора. — Жена ждет, старуха ждет, Елена, — сказал он, не глядя на полковника. — Одна, больная... А там — турки...

И Христофор, подняв высоко голову, повел батальон по дороге на деревню Комору.

Все четыре батальона Азовского полка прошли деревню, держа шаг, со штыками наперевес. Но на краю деревни полк остановился. Христофор увидел, как рассыпались полковые штуцерники, потом взнеслась на холм артиллерия и проплыли на гнedyх конях уланы с флажками на пиках. И когда все это разместилось на предназначенных местах, азовцы пошли на штурм турецкого редута.

Они шли попережнему, не сбиваясь с шага, сжимая в руках ружья с примкнутыми штыками. И только тогда, когда очутились они у самой горы, где был турецкий редут, раздалось протяжное «ура», и вылетел вперед полковник на серой лошади, и распустилось знамя над головами солдат — парчовое, простреленное, с длинными георгиевскими лентами.

Азовцы облепили редут со всех сторон. Стрелять уже было неоткуда и некогда. Турки выли и лезли на азовцев со своими саблями. Но штыки азовцев были подлиннее кривых турецких сабель. Азовцы взбирались на вал, сбивая оттуда турок штыками. И Христофор лез вместе с азовцами. Когда Христофор был уже на гребне вала, ему под ноги подвернулась корзина с землей. Христофор споткнулся и, выронив из рук ружье, покатился вниз. Здесь он налетел на огромного турка с выкрашенной в красный цвет бородицей и с длинной золотой кистью на малиновой феске.

«Уж не паша ли?» — мелькнуло у Христофора в голове.

И прямо с ходу оглушил турка кулаком, своротив ему скулу. Турок сразу покатился замертво.

А сверху уже напирали азовцы, прыгая через краснобородого турка, как через колоду. Они кричали «ура» и бежали дальше, и Христофору тоже нужно было бежать вперед вместе со всеми. Но в руках у Христофора ничего не было — ни штыка, ни ружья... Не раздумывая долго, он бросился к турку, валившемуся на земле впрямь как колода, и сорвал с него саблю в зеленых сафьяновых ножнах с серебряными накладками. Обнажив саблю, Христофор побежал по траншее.

Турки кричали «ала» и лезли азовцам на штыки. Но потом где-то близко ударили в бубен, и турки бросились бежать, теряя по дороге фески и туфли и какие-то пустые мешки, которые волокли с собой неизвестно для чего.

И другие редуты сразу опустели. С горы видно было, как турецкие солдаты неслись к Балаклаве. И только тогда оставались они перевести дух, когда в глазах у них зарябило от красных мундиров английской кавалерии и от клетчатых юбок на шотландских стрелках.

Когда с стороны пригородных деревень донеслась в Балаклаву трескотня перестрелки, там сразу все пришло в движение. Капитан Стаматин, ожидавший со дня на день отправления в Константинополь, взобрался на стол и глянул в окошко своей камеры. И он понял, что произошло что-то необычайное.

Барабаны долго и дробно выбивали тревогу. Кавалерия и пехота, английская и турецкая, вся, что была в городе, потянулась по дороге к Севастополю. В бухте пароходы разводили пары. И вот уже артиллерия вступила в бой, там, в стороне Коморы и Кадыкоя.

Капитан Стаматин слез со стола и в волнении зашагал по камере. Сделает шаг, выбросит ногу и руку отведет. А затем налево кругом и обратно тем же порядком. Тесно было в камере капитана Стаматина, что и говорить! Но капитан Стаматин не мог в эту минуту устоять на месте.

Тем временем генерал Липранди, командовавший русским отрядом, пустил в дело гусарскую бригаду, казачьи сотни и конную артиллерию. Тогда англичане ринулись в атаку и провалились далеко за линию расположения войск генерала Липранди. Спихнулись англичане, заметив, что попали в мышеловку, под перекрестный огонь наших пушек и штуцерников Азовского полка... Увидели английские уланы, что, куда ни ткнись — и с тыла и с флангов — всюду русские... Протрубили горнисты на английских рожках отбой, но было уже поздно.

Точно огромными маками, быстро покрывалось поле красными мундирами сраженных солдат. Чистокровные лошади под английскими седлами, но без всадников, носились в разные стороны, и за ними гонялись казаки, размахивая арканами. И уже была уничтожена кавалерийская бригада лорда Кардигана. И семнадцатого английского уланского полка не существовало больше. Все это видел рядовой Азовского полка Иголкин, стоя на бруствере турецкого редута и крича изо всей мочи:

— Где ты, отец?.. Беги сюда, глянь-ко... Вон она, твоя Балаклава! Погляди — может, старуху свою распознаешь. Эвонде мельтешит что-то.

Полковник на серой лошади проскакал мимо Иголкина. Серый едва не сбил одного из адъютантов генерала Липранди, когда тучный полковник подлетел к группе всадников, остановившихся на горушке с подзорными трубами и биноклями.

— Разрешите, ваше превосходительство, начать марш на Балаклаву, — еле прохрипел полковник, совсем задыхаясь. — Дорога открыта.

— Не совсем она открыта, полковник, — ответил Липранди, передавая полковнику свой бинокль.

Полковник глянул в бинокль, но сначала ничего в нем не увидел, кроме каких-то радужных полос, наплывавших одна на другую. Повертев колесико, полковник навел бинокль на резкость. И вдруг разглядел совсем близко — в бинокль казалось, что в двух шагах, — внизу, под ногами...

— Вы видите, что там делается? — сказал Липранди. — Все три армии уже там: англо-шотландские стрелки, французские зуавы, турецкие башибузуки... Артиллерия горная, артиллерия с кораблей... Нет, полковник, рано. Дождемся подкреплений. Соберите своих людей и удерживайте отбитые у неприятеля редуты.

Полковник повернул обратно. Он был разочарован и весь как-то обмяк в седле. Когда он трусил на своем сером вдоль подошвы горы, то услышал сверху крики и узнал голос неугомонного Иголкина.

— Отец, — надрывался тот, — эй, где ты? Ау! Подай голос, коли жив...

И в ответ на призывы Иголкина раздалось глухое урчанье, шедшее словно из недр горы.

— Жив, отец? — кричал Иголкин.

— Уррр, — доносилось к нему в ответ.

— Бегу, отец! Коли что, держись, не поддавайся! — крикнул Иголкин и спрыгнул с бруствера.

Иголкин нашел Христофора на самом дне траншеи. Они лежали рядом: мертвый турок с крашеной бородой и Христофор, которому отшибло на правой ноге коленную чашечку. И турок и Христофор были залиты кровью. Христофор, чтобы не стонать от нестерпимой боли в ноге, гулко урчал, как в лесу рассвирепевший медведь. В одной руке он стискивал окровавленную турецкую саблю, в другой — вертел свое собственное ружье с прикладом, расщепленным в лучину. Христофор, лежа, старался припомнить, как все это случилось. А случилось это так.

Вот споткнулся Христофор о корзину с землей и, обронив ружье, покатился под откос. Вот своротил он скулу турку с бородищей, сорвал с него, с полумертвого, саблю и побежал с нею по траншее. Но Христофор не видел, как очнулся затем турок, как потрянул он бородищей и заскрежетал зубами, хватившись своей сабли. Турок вскочил, ногами затопал и бросился бежать по траншее, подобрав в одном месте какое-то древнее ружье, начищенное до блеска. В несколько прыжков он нагнал Христофора и, увидя в руках у грека свою драгоценную саблю, взвыл так страшно, что Христофору показалось, уж не ракета ли вертится где-то близко позади, за спиной. Христофор обернулся, сразу узнал турка по крашеной бородище, и оба они одновременно ринулись один на другого. Все это произошло в одно мгновение. Христофор рубанул турка саблей по шее, а турок со страшной силой угодил Христофору прикладом ружья в колено. Когда Христофор пришел в себя, то увидел, что лежит рядом, бок о бок, с мертвым турком, и узнал в руках у турка свое собственное ружье.



Иголкин помог Христофору встать. Христофор ткнул саблю в земляную стенку траншеи, чтобы стереть с лезвия кровь. На лезвии выступила какая-то надпись арабскими буквами. Христофор вдел саблю в ножны, которые Иголкин поднял с земли, и заткнул свой трофей за пояс.

— Внуку, — сказал он, обнажив саблю до половины и снова сунув ее с силой в ножны. — Внуку отдам. Пусть помнит деда, как он зарубил турецкого пашу.

Иголкин повел Христофора по траншее. Христофор шел, сильно прихрамывая, наваливаясь на Иголкина, опираясь с другого бока на свое расщепленное ружье. А Иголкин, разобрав, в чем было дело, только диву давался.

— Вот так история, отец! — не умолкая, тараторил он всю дорогу. — Значит, так: зарубил ты турка его же саблей, а турок шибанул тебя твоим же ружьем. Вот это история! Выходит, моей же дубинкой да меня же по лбу! Да, особая это история.

Когда они выбрались наконец из траншеи, то увидели равнину в красных пятнах английских мундиров, голубое марево моря за Балаклавой и наши части, отходившие к Севастополю. Генерал Липранди не дождался подкреплений от Меншикова и не стал брать Балаклаву. И позиции, отбитые у турок, пришлось оставить. Слишком опасен был для нас этот длинный и узкий клин, который врезался сегодня во вражеское расположение.

Отбой шел по всей линии. Но у Христофора мутилось в глазах, и он ничего не видел и ни о чем даже не думал. Будто из-за горы доходили до него слова Иголкина, когда окликнул он какого-то ездового верхом на лошади, одной из четверки, запряженной в зеленую повозку.

— Э-гей, земляк, как тебя кличут?

— Ермолай Макарыч, — ответил ездовой.

— Важно! А меня так Иголкин. Будем знакомы.

— Иголкин, хмм, — хмыкнул ездовой. — Чать, не из пыли ты родился, Иголкин. Отец-мать у тебя... Батюшку твоего как величали?

— Это когда как и когда к чему, — ответил Иголкин. — На деревне звали его Ильей Николаичем; приказчик кликал Ильешкой; а помещик называл, как придется: когда — канальей, когда — подлецом. Вот и разберись!

— Разобрался! — обрадовался ездовой. — Выходит, ты — Иголкин Ильич. Будем знакомы, — предложил он в свой черед.

— Ильич так Ильич, — согласился Иголкин. — Сделай милость, пожалуйста. А по мне, так хоть горшком назови, только в печь не станови. Так вот, для первого знакомства, Ермолай... э-э...

— Макарыч, — подсказал ездовой.

— Да, Макарыч, — повторил Иголкин. — Так ты, Ермолай Макарыч, подвези старикана этого. Вишь, с ногой у него неспособно.

Ермолай Макарыч оглядел Христофора, черноглазого, уса-того, с турецкой саблей за поясом...

— А это... как же понимать надо этого человека? — спросил он, не видя на Христофоре ни погонов, ни шевронов¹ и ничего другого, что красит и различает на войне и в тылу.

— А это греческого народа человек, — объяснил Иголкин. — Старуха у него в Балаклаве, так он с нами ходил в сражение. А саблю у паши, говорит, отбил; теперь внуку отдаст, чтобы, значит, навечно все эти дела помнить.

Оба они — Ермолай Макарыч и Иголкин — осторожно уложили Христофора в повозку, и она покатила вниз, выбираясь на дорогу между вырытыми ямами и нарытой горами землей.

— Эх, время нету, я бы с тобой поговорил, земляк! — сказал на прощанье Иголкин. — Да ничего! Гора с горой не сойдутся, человек с человеком, смотришь, и встретились.

Ездовой, покачиваясь в седле, стал понукивать, и причмокивать, и покрикивать на своих лошадок, и помахивать у них над головами плеткой.

— Прощай, Ермолай Макарыч! — посылал ему Иголкин вдогонку.

И с восторгом различал Иголкин ответный крик, который доносился к нему уже издалека, из глухой балки:

— Прощай, Иголкин Ильич!

Повозка, спустившись в балку, бойко катилась по дороге в Севастополь. Ермолай Макарыч с удовольствием узнал, что человек греческого народа, которого он вез в Севастополь, звался Христофором, а по батюшке Константиновичем.

— И скажу я тебе, Христофор Константинович, — то и дело оборачивался с седла к Христофору Ермолай Макарыч, — что ехать тебе надо никуда иначе, как в Корабельную слободку, на Павловский мысок. Есть там в госпитале одна знаменитая девица. Ну просто, скажу я тебе, знаменитая! Дарья Александровна... Какая это, я тебе скажу, девица, так ты даже не знаешь! Чтобы это девка за фершала работала... А ведь работает, еще как работает, друг ты мой Христофор Константинович!

Наступал вечер. Повозка приближалась к Инкерманскому мосту. Ядра и бомбы с неприятельских батарей и севастопольских бастионов чертили небо.

¹ Ш е в р о н — нашивка на рукаве.

В Севастополь и из Севастополя

В ненастное утро 26 октября по дороге из Симферополя в Бахчисарай тащилась почтовая тройка. Из кибитки то и дело высовывалась голова в фуражке с большим лакированным козырьком. У проезжего были черные обвислые усы и золотые очки на носу, а темнозеленые погоны на походной шинели тускло поблескивали серебряным позументом. Это лекарь Успенский после пятимесячного отсутствия возвращался в Севастополь.

По обеим сторонам дороги, от Петербурга до самого Курска, шли, вперемежку с изумрудной озимью, мокрые пашни. Потом, за Курском, раскатилась степь — огромные пространства, то тут, то там пронзаемые осенним дождем. И всюду ветер. Он смаху набрасывался на низкие тучи и, растрепав их, гнал к пустому горизонту.

Чем ближе к цели, тем хуже становилась дорога. От постоянно проходивших обозов она вся была в крутых выбоинах. Гурты скота, непрерывно прогоняемые в Севастополь на довольствие армии, превратили дорогу в липкое тесто. А довершили всё дожди. По обеим сторонам дороги валялись трупы павших лошадей, волов и верблюдов. Воробы с карканьем перелетали с трупа на труп.

Перед самым Бахчисараем ямщик, как полагалось, подвез колокольчик, чтобы в городе зря не гремел. На почтовом дворе старик-почтмейстер объявил Успенскому, что лошадей раньше вечера не будет. Делать было нечего: пришлось Порфирию Андреевичу остановиться в Бахчисарае на вынужденную дневку.

— Не было бы счастья, так несчастье помогло, — сказал Успенский почтмейстеру. — Давно хотел я взглянуть на Бахчисарайский фонтан, Пушкиным воспетый.

— Что же-с, взгляните, — сказал почтмейстер. — Многие интересуются. Скоро там госпиталь откроется в ханском дворе, а нынче еще можно. Пока будете ходить да глядеть, может быть и лошадки вернутся. Заложим в кибитку, и покатите вы прямой дорожкой в пекло.

— Это вы про Севастополь? — спросил Успенский. — Так уж там?

— Сущий ад! Нда...

И старик задумался. Потом что-то вспомнил...

— Вчерашний день, — сказал он, — прикатила из Севастополя генеральша Неплюева. В Тульскую губернию едет и девять молсов с собой везет в кибитках особых. В карету ей

четверку лошадей впрягли, да под собак две тройки потребовала. Кричала, грозилась: «До государя, — говорит, — дойду, коли сию минуту лошадей моим мопсам не дашь. В Севастополе, — говорит, — мопсам от целодневной пальбы житья нет». И осталась, не едет: подавай, мол, сразу лошадей и в карету и в кибитки эти собачьи.

Старик стал закуривать крученую папиросу.

— Да, бывает же! — сказал он, пуская изо рта и из носа густые клубы табачного дыма. — Люди гибнут, отечество в опасности, а она — о мопсах. Ну, да шут с ней, с жиру бесится, пропала бы она! А что тяжело в Севастополе, и с каждым днем тяжеле, то это так. Третьего дня большое, сказывали, сражение происходило. Сшиблись наши с неприятелем на Инкерманских высотах. И кончилось будто ничем, а уж крови, крови пролилось!..

Успенский напился чаю в трактире, против почтового двора, и пошел разыскивать ханский дворец и знаменитый фонтан.

Порфирий Андреевич шлепал по грязной улице бывшей ханской столицы, и под ноги ему бросалось множество собак, а навстречу шли женщины, закутанные в чадры. В открытых настежь лавках работали ремесленники. Успенский останавливался у этих лавок и с любопытством наблюдал, как работают люди.

Пекарь, разложив кусочки теста на длинной-предлинной доске, замечательно ловко совал их в пылающую печь. Горшечник, взгромоздив кучу глины на вертящийся стол, лепил из нее огромный кувшин для вина. Серебряник дробно выстукивал молоточком по сплюсненному металлу, и то бляшка на ожерелье, то серьга выходили из-под его искусных рук. И портной шил, и башмачник тачал, и плотник распиливал... В одной лавке Успенский купил себе вышитую золотом тибетейку и, уже не останавливаясь, пошел к видневшемуся в конце улицы дворцу.

Минареты мечетей, дворцовые купола и пестро раскрашенные кровельки нарядных беседок — все это поднималось над каменной стеной, окружавшей дворцовый двор. Дождик унялся; хоть ненадолго, да выглянуло солнышко; мокрые купола и кровли казались покрытыми свежим лаком. Успенский вошел в ворота.

Бахчисарайский фонтан в просторных сенях ханского дворца был украшен вырезанными на мраморе цветами. С одной мраморной чашки в другую, с другой в третью капала вода. Капли были крупны и прозрачны, как слезы. Недаром фонтан этот слыл фонтаном слез. Успенский долго прислушивался к мелодическим звукам непрерывного падения капель, даже различая в них как будто какую-то простенькую музыкальную фразу: ми-ми, ре-ре, до... Потом Порфирий Андреевич стал бродить по дворцу, переходя из одной комнаты в другую.

Кругом никого не было, только где-то в одной из зал остался сидеть на своей табуретке сторож-инвалид с какой-то древней медалью на груди. И, медленно пробираясь по коридору, который вел в ханскую канцелярию, Успенский вспомнил из Пушкина и прочитал вслух:

Среди безмолвных переходов
Бродил я там, где, бич народов,
Татарин буйный пировал...

Успенский остановился, припоминая продолжение поэмы. Но в это время в соседней комнате кто-то подхватил широко известные стихи и продолжил их за Успенского:

...Татарин буйный пировал
И после ужасов набега
В роскошной лени утопал.

Успенский обернулся. По коридору шел офицер в накиннутой на плечи шинели, из-под которой виднелась расшитая шнурами гусарская куртка. Правая рука у офицера была в бинтах и висела на черной перевязи.

— Извините, что вторгся в ваши уединенные думы, — сказал офицер. — Ротмистр Подкопаев.

И он ловко щелкнул при этом шпорами.

— Успенский, — назвал себя Порфирий Андреевич и поклонился.

— Очень приятно! — снова щелкнул шпорами офицер. — В Севастополь или из Севастополя, позвольте спросить?

— В Севастополь, — ответил Успенский. — Из Петербурга. А вы, ротмистр?

— Вот... извольте видеть... — И ротмистр Подкопаев показал на свою забинтованную руку. — Позавчера. Штуцерная пуля. Еду в Симферополь и дожидаясь лошадей. Сколько ни езжу на перекладных, на какую станцию ни 'прикатишь, хоть в Пензу, хоть в Алатырь, — всюду речь одна: лошадей нет, все в разгоне. А теперь и здесь насидишься, в этой татарской дыре... — И он снова стал декламировать из «Бахчисарайского фонтана»:

Опустошив огнем войны
Кавказу близкие страны
И села мирные России,
В Тавриду возвратился хан
И в память горестной Марии
Воздвигнул мраморный фонтан...

Они пошли бродить вместе по дворцу — ротмистр Подкопаев и лекарь Успенский. В верхней зале они остановились у окошка, забранного деревянной решеткой.

— Хан, — сказал ротмистр Подкопаев, — опустошил огнем войны «села мирные России». Хан, конечно, был разбойник, и государство у него было разбойничье. И все же не худо, что разбойнику пришла в голову фантазия фонтан этот воздвигнуть. Пушкин, по крайней мере, блистательную поэму сочинил.

За окном по-осеннему шелестели тополя и слышны были удары в бубен. Толпа собралась вокруг человека с мартышкой в красной юбочке. Подкопаев с Успенским спустились вниз и, выйдя на улицу, пошли к почтовому двору. Лошадей все еще не было ни для ротмистра, ни для лекаря. Тогда оба решили отобедать в трактире и там дожждаться лошадей.

Борщ флотский был переперчен, а бараньи котлеты не дожарены. Но время было такое и до позиций чуть ли не рукой подать... Не до разносолов было. Успенский и Подкопаев просто не обращали внимания на толстые жилы, которые каждому приходилось поминутно извлекать из рубленых котлет. Тем более что крымское вино, которое они подливали друг другу в стаканы, сильно красило дело. Когда же с обедом было совсем покончено, Подкопаев потребовал огня, раскурил трубку и принялся рассказывать:

— Погода, надо вам сказать, была препаршивая. Это в ночь на двадцать четвертое. Всей этой инкерманской операцией командовал у нас генерал Данненберг Петр Андреевич. Ну, лил дождь, мокрень, брр! Неприятель, видимо, ничего не подозревает. На рассвете туман бродит по Инкерману... Англичане — ничего, спят под шерстяными одеялами. Как посыпались мы на них! Сначала они — только давай бог ноги! А потом опомнились, и пошла тут такая, скажу я вам, драка... Захватили мы у них батарею, пехота наша дальше дорогу себе штыками прокладывает. Слыхали об английских черных стрелках? Рыжебородые, в черных мундирах и медвежьих шапках. Спихнуть с места такого великана... для этого не штык — лом надобен. Двинул против них Данненберг Охотский полк. Уж что там делалось! Тут и штыки, и приклады, и камни — все пошло в ход. Получи мы во-время подкрепления... Эх, да что говорить! Ведь в Балаклаве у англичан и в Камыше у французов пароходы уже пары разводили, чтобы, значит, дёру дать. А подкреплений нам все нет, кто-то маршрут перепутал, и генерал Соймов у нас уже убит, а офицеров сколько вышло из строя!.. Путаются где-то по инкерманским ущельям полки генерала Павлова, а в это время англичанам на помощь летят свежие французские части с генералом Боске. Смотрим — тут и зуавы, ловкие, как пантеры, и алжирские стрелки, свирепости необычайной, и артиллерия... Французы-то и выручили англичан. А наши силы убывали, редели ряды наши...

Успенский слушал этот горестный рассказ, вертя в руке

свою трубку, поглядывая в окошко. Но ворота почтового двора были закрыты, ни одной тройки, въезжавшей либо отъезжавшей, не было видно.

— Да, редели наши ряды, — продолжал Подкопаев, — и генерал Павлов не помог: опоздал с полками Бородинским и Тарутинским. А промедление, сами знаете, смерти подобно. Потому и проиграла мы сражение. Героев много, но не одним солдатским героизмом сражения выигрываются. Когда мы уже отступали, вдруг откуда-то появился этот незадачливый Меншиков, светлейший князь. Его бы правильнее темнейшим именовать. Подъехал к Данненбергу: «Вы велели отступить?» — «Да, ваша светлость». — «Но нам невозможно отступить! — крикнул Меншиков. — Здесь надо остановиться!» — «Здесь нельзя остановить, — ответил Данненберг: — здесь можно только всех положить». Повернул коня этот темнейший и мрачнее тучи поскакал в Севастополь.

— А позвольте спросить, — сказал Успенский: — велики потери?

— Потери с обеих сторон огромны, — ответил Подкопаев. — Наши потери...

Он не договорил, как дверь, визжа на блоке, широко распахнулась и в трактир ворвался какой-то необычный шум. Успенский увидел, как с хомутами в руках выбежала из ворот почтового двора на улицу толпа ямщиков. Мимо трактира, разбрызгивая грязь, промчался отряд конных жандармов.

— Яшка-а! — надрывался на улице чей-то женский голос. — Беги сюда! Да скорее!

— А мне и тут хорошо, — послышался издали простуженный бас.

— Ой, ирод! — кричала женщина. — Говорят тебе, беги, ирод!

— Грязь. Не побегу, — откликнулся бас. — Боюсь, штиблеты замараю.

— Каки таки на тебе штиблеты, ирод? Чать, ты в лаптях. Беги скорее!

— А за каким делом?

— Ой, светы, что тут делается!.. Яшка-а!

— А что тако делается?

— Басурманов этих ведут! — кричала женщина. — Ой, да какие ж! Чисто черти, только рог не видать.

— Бегу, Анисья-а!

И мимо трактира через минуту промчался Яшка, дворовый человек генеральши Неплюевой, в лакейской ливрее и лыковых лаптях. Успенский и Подкопаев расплатились и вышли из трактира.

По улице двигался большой отряд пленных, окруженный

конными жандармами. Здесь были солдаты всех трех держав, поставивших себе целью во что бы то ни стало сокрушить Россию. Все перемешалось в этой толпе: турецкий пехотинец, оборванный и босоногий, шел рядом с шотландцем в прочных башмаках, но с голыми коленками. И тут же шагал зуав из французских колониальных войск, на котором были широкие шаровары с шерстяным поясом, короткий плащ с капюшоном и красная шапочка на затылке с голубой кистью до плеча. Вперед шли артиллеристы без пушек и кавалеристы без лошадей. И это двух алжирских стрелков, черных от африканского солнца и одетых в голубые куртки, сочла чертями баба Анисья, так настойчиво кликавшая неповоротливого Яшку. Анисья и Яшка и множество других людей толпились у забора и жадно разглядывали вражеских солдат. Так вот они какие, присланные сюда с осадными пушками и ракетными станками!



— Взгляните, доктор, — сказал Подкопаев. — Ну не странно разве? Два дня назад я с обнаженной саблей бросался вот против этих в атаку, а они целили мне в грудь.

И ротмистр указал Успенскому на группу английских солдат, которая держалась как-то особняком от остальной толпы пленных. Рослые великаны, рыжебородые, в огромных медвежьих шапках и черных мундирах... Это были знаменитые черные стрелки. Хотя у безоружных, у пленных, но огненные бороды были у них расчесаны, и вся амуниция приложена пряжка к пряжке, ремешок к ремешку. Тем более удивительно

было видеть в этой группе какую-то красноносую личность, совсем мелкотравчатую, в одном сюртучишке, несмотря на октябрь месяц.

У почтового двора отряд остановился. Караульный начальник побежал в почтовую контору с каким-то пакетом, запечатанным сургучной печатью. Толпа на улице сразу хлынула к пленным и вмиг окружила весь отряд. Подошли к пленным и Подкопаев с Успенским.

— Это что за птица? — спросил Успенский, кивнув на человечка с красным носом.

— Аллах его знает, — пожал плечами ротмистр. — С армиями у них в Балаклаву и в Камыш набралось всякой твари по паре: торговцы, ювелиры, актеры, газетчики, парикмахеры... Летала, видно, птичка на передней линии, вот и попалась в сети. Придется теперь заморскому чижику русской каши отведать.

Человечек с красным носом выступил вперед, обдернул на себе сюртучишко и выпятил грудь.

— Русски каша! — сказал он и поморщился. — Английски человек... э-э-э... английски человек не кушай русски каша. Бифстык кушай английски человек, ростбиф кушай английски человек...

В толпе, окружившей пленных, захохотали.

— А щи станешь трескать? — спросила Анисья, стоявшая подле, рядом с Яшкой. — Я бы те плеснула в чашку горяченьких.

— Шши трескать? — спросил красноносый и недоуменно пожал плечами. — А-а! — воскликнул он, догадавшись, о чем шла речь. — Зуп! Зуп-шши! — И он отрицательно покачал головой. — Зуп-шши не кушай. Плум-пудинг кушай.

— Ах, чтоб те разорвало! — молвила Анисья. — Студень, вишь, ему подавай. От щей-каши отказывается. Сразу видно — ирод.

— Как вы очутились на Инкермане? — спросил красноносого Подкопаев.

Увидя офицера, красноносый приподнял свою обшмыганную шляпу и с достоинством поклонился.

— Джеймс Айкин, — назвал он себя. — Переводчик войск ее величества. Газет «Кроникл» ...э-э-э... корреспондент писиписи.

— Хочет сказать, что корреспонденцию в газету писать собирался, — пояснил Подкопаев. — Наврал бы там с три короба, если б не попался казаку под аркан... Эй, молодец! — поманил Подкопаев стоявшего неподалеку полового из трактира. — Вынеси-ка этому стакан вина и закусить... Ну, что у вас там из готового?

Половой исчез и через минуту снова появился, неся на под-

носе вино и целое блюдо котлет. Когда переводчик понял, что угощение предназначается именно ему, он расцвел весь, снова поклонился и взял с подноса стакан.

Человечек в сюртучке силился припомнить какие-то слова, подобающие случаю, но ничего не припомнил и, подняв высоко стакан, произнес:

— Хип-хип, ура!

И закатил себе весь стакан в глотку махом.

— Ирод! — воскликнула Анисья. — Как жрет-то!

Но не успела она опомниться, как переводчик уже управился и с котлетами. Анисья была в полном восторге.

— Как жрет-то, как жрет-то, люди добрые, гляньте-ка! — восклицала она, обращаясь к тому либо к другому из множества людей, стоявших подле. — А еще привередничал: то не кушай, это не кушай, студень кушай... Ирод, ну чисто ирод!

Подкопаев с Успенским улыбались, наблюдая всю эту сцену.

— Нравится вам у нас? — спросил Подкопаев переводчика, облизовавшего губы и вытиравшего пальцы о сюртук.

— Некарашо, — поморщился переводчик.

Он стал громко икать и снова силился припомнить какие-то русские слова, но в это время вернулся караульный начальник, и отряд тронулся дальше, на Симферопольскую заставу. Толпа начала расходиться, один Яшка остался стоять на месте; и Анисья, как ни старалась, не могла его с этого места сдвинуть.

— Ирод! — кричала она. — Хватит те зенки пялить! Пошел, пошел, нечего!

— А куда идти-то? — спросил Яшка, почесав бороду.

— Как куда? — возмущалась Анисья. — Вестимо, куда. На господский двор.

— А чего я там не видал? — снова спросил Яшка, приведя этим Анисью в совершенное отчаяние.

— Всё всуперечь! ¹ — кричала она на всю улицу, уперев руки в бока. — Что ни скажи ему, а он, ирод, всё всуперечь...

Но Яшка и «всуперечь» уже ничего не говорил. Погруженный в глубокую думу, он чесал и чесал бороду, а затем, как гусь на зарево, уставился глазами в ближайшую лужу. Анисья и сама поглядела на лужу, полную жидкой грязи, потом ткнула Яшку кулаком в брюхо и произнесла только:

— У!

И пошла вдоль по улице, оставив Яшку одного у почтового двора.

Но Яшка оставался там недолго. Толпа еще не вся разо-

¹ Наперекор.

шла, и Подкопаев с Успенским стояли у трактира, делясь впечатлениями, а Яшка вдруг как сорвется с места...

Он побежал серединой улицы, в промокших лаптях, сочно хлюпавших по раскисшей дороге. Нагнав отряд, он подбежал к пленному переводчику и положил ему свою огромную ладонь на плечо. И сказал:

— А зачем ты, проклятый, пришел-то сюда, коли у нас нехорошо? Нешто те звали?

Переводчик дернул плечом и свирепо глянул на Яшку.

— Пфуй! — крикнул переводчик и, топнув ногой, обрызгал себя грязью от пол своего сюртучишка и до шейного платка.

Круто повернувшись, он зашагал вместе с другими пленными к полосатому шлагбауму, над которым тяжело нависли осенние тучи.

XXX

Прощай, не рыдай!

Сделав свое дело, Яшка, однако, и тут на господский двор не пошел.

Дожидааясь лошадей, генеральша Неплюева, со всем своим штатом мопсов, девок дворовых и крепостных работников, стояла на квартире в доме своей дальней родственницы Надежды Викентьевны Мышецкой, вдовы бахчисарайского городничего. Здесь, на новом месте, Неплюева немедля принялась за старое дело: поминутно навещала мопсов, была по щекам дворовых девок, а когда подворачивался Яшка, то норовила вцепиться ему в бороду. Яшка хотя испокон веку был собственностью Неплюевой, но в том, чтобы эта шалая баба что ни день таскала его за бороду, не видел ни проку, ни толку. И теперь, пройдя мимо дома вдовой городничихи, Яшка вернулся обратно к почтовому двору.

Там, на просторной лавке у ворот, сидели пожилой ямщик в сапогах, только что смазанных дегтем, и чей-то господский лакей в измаранной ливрейке с оборванной полшой.

Сапоги на ямщике от дегтя лоснились, блестели, как зеркало. Они-то и привлекли Яшкино внимание. Яшка и сам нашивал такие сапоги, но только во сне. У Неплюихи людям сапог не полагалось, и Яшка весь свой век протопал сначала босиком, а когда вошел в возраст, то в рваных опорках либо в лыковых лаптях.

Яшка, остановившись подле лавки, втянул в себя запах березового дегтя, поглядел на свои разбитые лаптя и почесал бороду. Потом, не зная куда девать себя, присел тут же, на лавке, рядом с ямщиком.

— Привез я нынче сюда лекаря из Симферополя, — сказал ямщик, обращаясь к лакею. — Лекаря, — повторил ямщик, продев пальцы в ушки сапога и растягивая у себя на ноге голенище. — Хороший барин, ничего; меня чаем на десятой версте поил. Трактир там на десятой, под вывеской «Здравствуй, до приятного свидания». Вот как завернул Кузьма Прокофьев, трактирщик то-есть, — «Здравствуй, до приятного свидания»! А так Кузьма Прокофьев хозяин ничего, исправный. Самовар нам подал, прибор весь, как положено, чаю осьмушку. Так мы с лекарем вдвоем весь самовар и высадили.

— А закуска? — спросил лакей, проведя языком по пересохшим губам.

— Закусили, — сказал ямщик, вытягивая голенище на другой ноге. — Солонинки приказал лекарь подать, ситников... Закусили ничего. Хороший барин, мужиком не побрезговал. Я ему: ваше благородие, премного, мол, вашей лаской уважены; дескать, чувствуем, хоть мужики мы серые. А он мне: «Я тебе не начальник, ты мне не сподчиненный, и я тебе не благородие; а зовут меня, — говорит, — Порфирий Андреевич». Во как! Хороший барин, ничего, дай бог...

— Бывает, — заметил лакей, ежась в своей облепленной грязью ливрейке. — Бывает, и хряк соловьем защелкает, а то вдруг барин человеческим голосом заговорит... Старики сказывали — бывает, только я того не видал.

— Старики, конечно... — промямлил неопределенно ямщик. — Они... ничего.

Он откинулся на лавке и с наслаждением протянул вперед ноги.

— Вот ты возьми, — продолжал лакей. — Мой-то, Хохряков ему фамилия, Викторин Павлыч, курские мы... Прожился, пропился мой Хохряков по ярмаркам да по трактирам... Однаво было — на блеярде¹ сразу двух своих мужиков проиграл. Такие мужики — золотые руки! Один — шорник, другой — плотник.

— Видно, пес ничего твой Хохряков, — заметил ямщик. — На блеярде мужиков проиграл!

— Проиграл же! Теперь сам жалеет. «Мне бы, — говорит, — лучше было б их в город пустить на работу. Они бы, мужики, в городе работу работали, а мне бы оброк платили. Вот бы мне на Жуков табак и хватало».

— Мужики бы работу работали, а он бы чубучок посасывал, — опять вмешался ямщик. — Жуков табак — восемь гривен четвертка... Ничего!

— А ему нипочем, — продолжал лакей. — Одна-единая де-

¹ Правильно: на бильярде.

ревнишка осталась под Курском, так он возьми, Хохряков, и кинься теперь в подряды: рожь поставляет черноморскому флоту. Ну, рожь... Сверху в мешке она, может, и рожь, а ты копни глубже, копни-ка — одна кострица да мусор. Большие тыщи ему теперь пошли, Хохрякову. Справил себе новую венгерку на шелку, сапоги завел лаковые, купил серебряный самовар... Пошла, значит, у него опять крутоверть с колокольчиком. А отчего, откуда? А все оттого, что в стачке он с бесом из провиантской конторы. Приедет это провиантский, рассядется, платок фуляровый как бы невзначай на стол положит, и станут они с Хохряковым оба два шато д'икем лакать. Тут-то ему Хохряков под платок и подсунет конверт. А в конверте, сам смекай, не три трешны зеленые, не четвертной билет — большие деньги в конверте. Бес сразу хватъ платок, загребет вместе с конвертом — и в карман. Ну, после такого дела будь надежен: провиантские копать в мешках не станут, хоть на что глаза закроют.

— Бог, значит, с рожью, а чорт с кострицей, — откликнулся ямщик. — На воров, брат, теперь урожай. Урожай ничего, хороший урожай. Теперь такими, как твой Хохряков, пруды прудить. На солдатской крови жируют, разбойники. Один рожь с кострицей поставляет; другой по мясному делу ходит — одна только падаль да черви; третий полушубки солдатам прелые шьет либо сапоги — гниль одна; четвертый еще там чего... Погоди, уж им голывы скрутим, ничего! Дай только с супостатом управиться.

— Нет, ты послушай, что удумал Хохряков Викторин Павлыч, — оживился лакей. — «Ты, — говорит, — Родион, есть мой раб навечный, и ты должен неусыпно блюсти. Неусыпно! Потому как, — говорит, — при мне теперь постоянно большие деньги, а жулья кругом — не приведи господи». И что же ты думаешь: уснуть не дает! Как заметит, что я на козлах начинаю носом карасей удить, так словечка не молвит, а боднет, собака, кулаком в спину, так что я с козел в грязь вверх тормашками лечу. Очнись, ан я уже в луже! Вымараюсь хуже свиньи.

Яшка слушал, глазами хлопал и бороду чесал. И наконец решил и о своем добрым людям поведать.

— А моя что удумала, генеральша Неплюева, слышали? Варвара Петровна. Десятеро у нее псов было. Один, Мене Лай ему кличка, слава те господи, летом околел, да девять осталось. Так она, Варвара Петровна, сделала себе потешку: приучила одного, Нерыдай кличка, за икры меня хватать. Мало того, что сама за бороду таскает, так Нерыдайка этот, чуть покажусь, на меня кидается; по колена ноги мне объел.

Яшка живо размотал онучу на правой ноге и задрал штанину. Вся голень была у него в болячках, в струпьях, в багровых следах собачьих укусов. Ямщик наклонился:

— Вот те и впрямь не рыдай, а вой волком. У одного барин

бодается, у другого барыня кусается. И ничего им. Я бы веревку намылил да Нерыдая этого повесил у барыни под окном! А сам бы — и-и-и! — прощай, не рыдай: на бастионы бы подался, чем такое терпеть.

Ямщик провел рукой по лицу, зевнул и поднялся с лавки.

— Слух есть, — сказал он, разглядывая свои сапоги: — всем, кто в Севастополе свою кровь прольет, будет навечная воля. Приказ будто есть, только министерия прячет. Да ничего, такого не утаишь.

Ямщик повернулся и вошел в ворота.

— Мой! — всплеснул руками лакей в ливрейке и шмыгнул в ворота вслед за ямщиком.

Из трактира напротив вышел приземистый плотный человек в расстегнутой венгерке. Он по-бычьи нагнул голову, помотал ею туда и сюда и пошел плутать промеж луж, выбираясь на противоположную сторону. Яшка на лавке у ворот почтового двора стал наблюдать за ним, как он размахивал руками и балансировал, переходя площадь.

«Хоть бы в лужу кувырнулся, бык! — подумал Яшка. — Чисто бык, Хохряков Викторин Павлыч... Рожь с кострицей... — вспомнил Яшка рассказ лакея. — С провиантским у него стачка; оба воры».

Но Викторин Павлыч благополучно обошел все лужи и, подойдя к Яшке, уставился на него совсем по-бычьи.

Оба молчали: Яшка — почесывая бороду, Хохряков — пошатываясь на широко расставленных ногах. Наконец Хохряков промычал что-то, дыхнув на Яшку винным перегаром.

«Бык, — решил окончательно Яшка: — бодается и мычит по-бычьи».

— Ты, ммм, что? — промычал уже довольно явственно Хохряков. — Эта, ммм, что?

— А ничего, — ответил Яшка, не глядя на Хохрякова.

— Ты, ммм, чей?

— Не твоей милости казначей. Ступай, барин, на подворье, пропись.

— Ты, ммм, что же эта, бунтовать?

— А хоть бы и бунтовать! Не твоей это головы печаль..

— Эта, ммм, видал?

И Хохряков, поплевав себе на ладонь, сжал ее в кулак.

— Надоел ты мне, барин, пуще дождика осеннего. Ну, чего пристал?

Но Хохряков уже замахнулся на Яшку, и если бы тот не схватил озорного барина за руку, хохряковский кулак, чего доброго, своротил бы Яшке челюсть на сторону.

— Ммм, бунтовать? — мычал Хохряков, сиюсь вырвать свой кулак из цепкой Яшкиной руки.

Но Яшка, не отпуская Хохрякова, молвил:

— Ты, барин, я знаю, горазд бодаться. Так и я ж охулки на руку не положу. — Тут только Яшка разжал ладонь и, поплевав на нее, размахнулся и крикнул: — Эх!

И хватил Хохрякова кулаком в живот.

Поставщик ржи с кострицей мигом очутился на середине площади, в самой большой луже, которая просыхала в Бахчисарае только в июльскую жару. Осенью же в ней могла утонуть и лошадь. Яшка, отбросив от себя Хохрякова, пошел и сам к луже взглянуть, что там Хохряков Викторин Павлыч поделывает. И увидел Хохрякова всего в грязи, от лаковых сапог и до крутых курчавых волос. Он вяло барахтался в луже, отплевываясь и мыча:

— Ммм, бунтовать? Эта, ммм, что же?

Но из трактира уже вышли какие-то молодчики, и тоже в венгерках; вышли и остановились на крыльце, о чем-то гуторя и показывая пальцами то ли на Яшку, то ли на лужу, в которой валялся Хохряков. Яшка поглядел на молодчиков, почесал бороду и счел, что теперь самое время на господский двор воротиться. Сказано — сделано. Яшка, от греха подальше, припустил через площадь рысью и свернул в первый же проулок. Там Яшка убавил прыти, он даже временами и вовсе останавливался и, сняв свою войлочную шляпу, вытирал ею лоб.

«Так как же это, — вопрошал самого себя Яшка, — а? У одного барин бодается, у другого барыня кусается... А? Это что же? Это порядок? То ли хлев, то ли собашник, прямо зверильница! Люди это? Рожь с кострицей войску поставляют, полушубки прелые — порядок это? Нерыдайка все ноги мне обьел, а?»

Так, проплутав по проулкам, Яшка снова вышел на главную улицу, на столбовую дорогу, где в доме Надежды Викентьевны Мышецкой пристала со своими мопсами Неплюиха.

День уже клонился к закату. На целых полнеба разлило серебряное облако металлический блеск свой. И муэдзины¹ уже стали вылезать на балкончики минаретов, чтобы призывами, похожими на протяжное блеянье, напомнить мусульманам о чаше вечернего намаза². Но Яшку от этого блеянья и совсем стала разбирать тоска. Не мил ему показался этот чужой обычай, и холодный блеск в высоком небе, и горы, обступившие Бахчи-

¹ Муэдзин — служитель при мечети.

² Намаз — молитва у мусульман.

сарай, и кизяк, вместо дров тлевший в печурках по дворам. Как потерянный, сам того не замечая, открыл Яшка калитку, прошел мимо сеней, где день-деньской урчали, визжали и лаяли мопсы, и спустился в подвал, где помещалась поварня.

— Ирод!—вскричала Анисья, чуть только увидела Яшку.— Где таскался? Где был, спрашиваю?

— Где был, стряпуха, там меня теперь нет, — молвил Яшка и стал снимать с себя лапти с онучами.

— Ужо тебе будет, ирод! Сверху энеральша сколько раз за тобой присылала и сама в поварню прибегивала. Пес этот, Нерыдай, без тебя скучает.

Яшка (Анисья заметила это) как-то почернел сразу, после того как Анисья сказала ему про Нерыдая. Анисья даже руками всплеснула. «Ах, я баба глупая! — подумала она. — Зачем это я ему про Нерыдая?»

— Ты, Яшенька, станешь ужинать? — всполошилась она. — Так я соберу тебе.

Яшка молчал. Он прилаживал себе к ногам чистые онучи с новыми лаптями и, только когда кончил с этим, повернулся к Анисье.

— Стану ужинать, — сказал он, вдруг повеселев неведомо отчего. — А после пойду к воротам сторожить. Доглядать буду, как бы кто собак не покрал.

Ужин уже был на столе. Яшка съел все, чем попотчевала его Анисья: целую редьку с ломтем хлеба и с солью и еще борща полгоршка. Потом накинул на себя зипун и, прихватив зачем-то только что сброшенные онучи, выбрался из подвала на двор.

Там все померкло к этому времени: серебристое облако стало совсем тусклым; затмилась густая листва на островерхих тополях; посерели белые сакли, лепившиеся по скату горы. Угомонился Бахчисарай от целодневного крика, стука, причудливого пения муэдзинов на минаретах и звяканья погремков на ослах, карабкавшихся по утесам с корзинами винограда и овощей. Угомонился Бахчисарай, и у Неплюихи в окне было темно, весь дом спал, только в подвале у Анисьи еще мигал огонек. Яшка выломал из стенки, что окаймляла весь двор, большой камень и завернул его в свои старые онучи.

Только подошел Яшка к сеням, как оттуда вырвался Нерыдай. Мопс сразу бросился Яшке под ноги и вцепился ему в икры. Но Яшка, высоко подняв завернутый в онучи камень, хватил Нерыдая по переносице. Нерыдай сразу обеспамятел и, повалившись на землю, стал сучить лапами.

В сенях заскулили собаки; а одна, самая беспутная, куцый мопс Разгуляй, даже принялась тявкать. Но, не слыша отклика себе, собаки умолкли, а к тому времени и у Анисьи огонек в под-

вале погас. Тогда Яшка достал из-за пазухи веревку, сделал затяжную петлю и накинул Нерыдаю на шею. Пес все еще сучил ногами, но затих, когда Яшка потащил его на веревке к Неплюихе под окно.

Яшка сделал все в точности, как насоветовал ямщик у почтового двора.

«Будет завтра у Неплюихи сызнова траур! — злорадствовал Яшка. — Летось только Мене Лайку похоронила, теперь надо, вишь, Нерыдая отпевать. Яшка — туда, Яшка — сюда... Яшка и гроб сколачивать псу смердящему, Яшка и могилу рыть и слезы лить...»

На этот раз Яшке не пришлось ничего этого делать. Он только захлестнул веревку за сук на каштане, росшем у Неплюихи под окном, и подтянул Нерыдая вверх к самому окошку. Едва не задевая лапами за стекла, собака раскачивалась в петле.

— Ну, — прошептал Яшка, — матушка-барыня, ваше превосходительство, Варвара Петровна, суковата-неровна! Прощай, не рыдай, мене лай.

И Яшка, чуть слышно пристукнув калиткой, вышел на улицу. Здесь он остановился на минуту...

— Али воротиться? — произнес он вполголоса, и что-то словно оборвалось у него в груди. — Ладно, ворочусь, — тряхнул он головой и тут же нахлобучил поглубже шляпу. — Ужо ворочусь... жди... после дождика в четверг.

Через полчаса, не разбирая в темноте ни луж, ни бугров, Яшка бодро шагал по дороге в Севастополь.

XXXI

Записка, найденная в каске

Флигелек на Корабельной стороне у морских казарм, где у вдовы флотского комиссара квартировал лекарь Успенский, разнесло еще в большую бомбардировку. Хозяйку убило, жильцов перекалечило, и все они разбрелись неизвестно куда. Все, что было у Порфирия Андреевича имущества — платье, скрипка, книги, — все сгорело, и от флигелька осталась только куча мусора. Порфирий Андреевич постоял подле этой кучи, копнул носком сапога в одном месте и в другом и даже черепка битого нигде не обнаружил, только одичавшую кошку вспугнул. Тогда Порфирий Андреевич снова сел в кибитку и велел ямщику катить прямо в госпиталь, на Павловский мысок.

Успенский, попав в госпиталь, уже и не обедал в этот день и не уходил отсюда до ночи. Сначала его оглушили было крики и стоны раненых, которые всё прибывали, и гром канонады,

которая началась на первом бастионе и становилась все слышней. Но лекарь, тщательно вымывшись у медного ракушечника, надел белый халат и холщовую шапочку и пошел по палатам.

В первой же палате Успенский увидел девушку в сером сарафане и белом переднике. Она стояла подле койки, на которой лежал раненый солдат. И лицо и руки были у солдата сплошь забинтованы; оставлены были только щелки для глаз и для рта.

Когда на первом бастионе взорвался пороховой погреб, солдату обожгло лицо и руки. Только счастливый случай спас ему глаза. Сигнальщик на бастионе едва успел крикнуть: «Ракета, берегись!», как солдат уже закрыл глаза и руками заткнул уши, чтобы не слышать этого ужасного воя, от которого даже у привычных людей, случалось, волосы вставали дыбом. А в это время горячий ветер обдал солдату лицо, и только после этого он глаза открыл. Земля, камень, мусор, оторванные головы, руки, ноги — все смешалось вместе, но солдат наш остался невредим. Только лицо начало саднить.

— Земляк! — сказал он арестанту, пробежавшему с носилками. — Что, как на лице у меня?

— Да ничего, браток, — ответил арестант. — Так, будто прикололо маленько.

Но через несколько минут кожа на руках и на лице стала у солдата сходить клочьями. Саднило все сильнее, боль становилась нестерпимой... Солдат один пошел на Павловский мыс. По дороге он подобрал какой-то обгорелый кусок картона и обмахивался им, как веером. Это несколько умеряло боль. Но солдат еще не добрался до Корабельной бухты, как лицо и руки превратились у него в сплошной струп.

Успенский, подойдя к солдату, увидел, что девушка в сером сарафане чем-то поит раненого и просовывает ему в рот крохотные кусочки черного хлеба. Солдат проглатывал хлеб, не жуя, и мычал что-то, потому что говорить внятно он не мог. От жевания и от разговора у солдата лопались на лице струпы. Все же Успенский расслышал:

— Спасибо, Дашенька, — еле пролепетал солдат.

«Дашенька? — подумал Успенский. — Даша... Гм... Как это так?»

Николай Иванович Пирогов рассказывал своим слушателям в Медико-хирургической академии в Петербурге про какую-то девушку, которая прославилась великим подвигом человеколюбия в день битвы на Альме. Даша Севастопольская — так называл ее Пирогов. Не она ли это и есть знаменитая Даша Севастопольская?

— Как зовут вас, милая? — обратился к ней Успенский.

— Дашей зовут, — сказала девушка.

— Даша Севастопольская? — спросил Успенский.

Даша не совсем поняла, но ответила:

— Да, я здешняя, из Корабельной слободки.

«Она», — решил Успенский.

И он велел Даше разбинтовать солдата.

Сначала это у Даши выходило довольно ловко; но чем дальше, тем труднее было ей снимать прилипшие к живому телу бинты. Приходилось смачивать их водой и ждать, пока они как-нибудь не отлипнут сами.

— Ожоги у тебя — это что! Ожоги пустяковые, — сказал солдату Успенский. — Все дело в том, что в порохе селитра содержится — соль, следовательно. Вот селитрой тебе и просолило твои ожоги; круто, видно, просолило. В этом, братец, все дело. И как это у тебя глаза уцелели, не пойму я! Моргнул ты в это время?

Солдат замычал, но на этот раз Успенский ничего не понял. Даша объяснила:

— Говорит, глаза закрыл, когда ракета выть стала.

— А, вон что! — сказал Успенский. — Ну, значит, счастливая звезда твоя, что в голову тебе это пришло в такую минуту. Успенский написал что-то карандашом на клочке бумаги.

— Вот, Даша, возьмите в аптеке. По утрам разбинтовывайте и смазывайте ему лицо и руки... Ну, прощай, счастливцев! — обратился он к солдату. — Через две недели вернешься на бастион.

Солдат закивал головой и опять замычал, но Успенский перешел к следующей койке.

На койке лежал красивый старик, не похожий ни на солдата, ни на матроса. Черноглазый, большеусый, со щетинистым подбородком и с сивой гривой волос на голове, он вытянулся на койке во весь свой крупный рост. Смугловатый мальчик, с глазами, как маслины, стоял у койки. В руках у него была великолепная сабля в зеленых сафьяновых ножнах, оправленных в серебро. И рукоятка сабли была серебряная с чернью.

«Пленный, — догадался было Порфирий Андреевич. — Осанка у него, сабля... Паша... без сомнения, паша. Но зачем тут этот мальчик? Как похож он на этого пашу! И почему же пленному оставлена его сабля? Да и по-каковски мне объясняться с ним?»

— Деда, — сказал мальчик, — тебя доктор сейчас лечить будет.

— Положи, Жора, саблю, — сказал старик. — Господин доктор ногу смотреть будет. Иди, Жора, потом придешь.

Мальчик положил саблю в головы у старика и неохотно пошел к выходу.

«Вот так паша! — подумал Успенский. — Конечно, грек. Но по-русски говорит хорошо. Верно, и родился здесь».

И Порфирий Андреевич узнал от старика, что зовут его Христофором Спилиоти, и что он родился в Балаклаве, и женился в Балаклаве, и защищал Балаклаву, а две недели тому назад ходил отбивать Балаклаву. Балаклавцы не отбил, а вот проклятый турок отбил ему колено. Каждый день хотят ногу Христофору пилить, чтобы совсем ее долой, а Христофор не дается: дескать, худая нога, а все же нога. И хоть работает Христофор руками — и гребет и сети забрасывает, — но ведь и нога у человека тоже не последнее дело.

Успенский улыбнулся.

— Посмотрим, посмотрим, старик, — сказал он. — Конь о четырех ногах и то спотыкается, а человеку на одной ноге и во все неспособно. Посмотрим.

Даша уже успела забинтовать солдату лицо и руки и теперь разбинтовывала Христофору ногу. Когда бинты были сняты, открылось такое, что даже на ногу не было похоже. Что-то невероятно толстое, распухшее, заплывшее и притом огненно-багровое.

— Ну, Христофор Спилиоти, — сказал Порфирий Андреевич, — возьми себя в руки.

И Порфирий Андреевич нажал пальцами у Христофора в колене.



— А-а-а! — закричал Христофор и вскинул кверху кулаки.

— Кричать можно сколько угодно, — сказал Успенский, — но что до кулаков, то это уж оставь... Даша, придержите ему руки.

— Не надо... — сказал Христофор, бледный, как отложной

ворот его сорочки. — Не надо, — повторил он, взглянув страдальчески на Дашу.

Он закрыл глаза и стиснул зубы. И больше ни звука не вывралось у него из груди. Только слезы выступили из-под опущенных век и кровь появилась на губах. Даша вытирала ему кровь и слезы какими-то лоскутками, а Успенский тем временем делал свое дело. Сидя на краю койки, он общупал и обмял всю ногу у Христофора, от бедра до ступни.

— Всё, — сказал Успенский, вставая с койки. — Всё, Христофор. Молодец! Силы и терпения у тебя много. Да. Оставим тебе ногу. Пригодится. Но только будешь хром. С костылем ходить будешь.

Христофор поймал у Порфирия Андреевича руку и поднес ее к губам.

— Оставь! — крикнул Успенский, вырывая свою руку из больших рыбацких ладоней Христофора. — Раз навсегда оставь. А то сразу ногу прочь — и всё.

Христофор смутился.

— Нет, не надо прочь, — шептал он, прижимая к груди руки.

— Конечно, не надо, — улыбнулся Успенский и перешел к следующей койке.

Так до самого вечера переходил Успенский из палаты в палату, от койки к койке. Старший лекарь госпиталя, он с первого же дня увидел, что в госпитале нетоплено и грязно; коек и даже нар не хватает, и множество раненых валяется на полу, на прелой, пропитанной кровью соломе; и медикаментов в обрез, и врачей мало, и лечат они по старинке... И Порфирий Андреевич снова, как обычно, стал думать о том, что нужно и чего не нужно России. России не нужны цари и дворяне, России нужны просвещение и свобода. России нужны университеты, России нужны врачи, и много, много нужно было тогда России, чтобы отбиться от наседавшего на нее врага.

Успенский за работой забыл, что и глотка чаю у него не было во рту сегодня. И Даша не думала об обеде, следуя неотступно за Успенским как тень. Она и в операционную пошла за Успенским и видела все страшное, что там происходило. Но Даша уже привыкла и обтерпелась, и ее не пугали отрезанные руки и ноги в окровавленных ушатах.

Время шло. По палатам разнесли зажженные плошки. На бастионах затихала пальба, и приток новых раненых стал слабее. У Порфирия Андреевича голова кружилась от усталости и гудело в ушах. Он вспомнил, что ведь и кровя над головой у него нет, и не знает он, где будет ночевать сегодня.

— Где бы мне переночевать ночку? — обратился он к Даше. — А то от квартиры моей и черепка не осталось.

И Даша повела его к дедушке Перепетую.

Дедушка очень обрадовался молодому лекарю. Не то что ночью переночевать, а совсем поселиться у него в его домике с голубыми ставнями упрашивал Порфирия Андреевича дедушка. По крайней мере, дедушке можно будет иногда и поговорить с ученым человеком, и легче будет вдвоем ночью, когда во дворе лопнет бомба или ракета поднимет неистовый вой. И стали с того дня жить вместе старик Ананьев и лекарь Успенский.

На другой день Успенский поднялся раним-рано. Но дедушка Перепугуй встал еще раньше и уже успел согреть самовар.

— Благодать у вас, Петр Иринеич, — сказал Успенский, подливая себе козьего молока в чай. — Особенно после госпиталя.

— Ну, и хорошо, — ответил дедушка, — вот хорошо! Ну, и живите. И денщика вам не надо; не берите денщика, Порфирий Андреевич. Денщики эти поголовно пьяницы.

— Разве уж так поголовно? — улыбнулся Успенский. — Не все же.

— Это вы мне верьте, Порфирий Андреевич. Как избалуется, на боку лежа да с боку на бок поворачиваясь, так и начинает норовить в кабак. Трактир у нас тут в Корабельной, «Ростов-на-Дону»... Может, знаете?

— Как же, замечал, — отозвался Успенский, допивая чай.

— Ну вот; так там, в «Ростове», этих денщиков полно. Братья на бастионах жизни не жалеют, а у денщика только косушка на уме. Пенник хлещет и судачит с такими же, как он, пропойцами.

— Хорошо, Петр Иринеич, — согласился Успенский. — Денщика не берем; решено.

— И прекрасно, Порфирий Андреевич. Отлично мы с вами проживем здесь двое. Конечно, по нынешнему времени...

— Понимаю, Петр Иринеич, — сказал Успенский вставая, — понимаю. Проживем... Ну, мне пора.

Он вышел за ворота.

Дом напротив, и дом наискосок, и целый ряд хатенок матросских лежали в развалинах. Но повсюду слышно было, как хозяйки доят коз. В каких-то щелях среди битого камня и обгорелого дерева изливалось со звоном парное молоко в жестяные поддонники, и когда животное дергало головой, тускло звякало на нем погромом.

А справа в молодом небе роскошествовало утреннее солнце. Оно разбросало золотые лепестки света на дороге, и они легли там вперемешку с опавшими листьями.

И словно нарочно, чтобы вмиг потускнела эта сияющая радость, из Гончегго переулка выехали на Широкую улицу дроги. На дрогах между грядами были уложены тела убитых. Ноги и головы виднелись из-под набросанных сверху рогож.

— Куда? — спросил Успенский арестанта, ведшего под уздцы запряженную в дроги хромую лошадь.

— На Северную, ваше благородие, — ответил арестант. — Куда же еще?

В это время ударила пушка, за ней — другая...

— Ну, теперь пошло, — заметил арестант. — До самой до ночи не утихнет.

— Началось, — пробормотал Успенский и, уже не глядя по сторонам, заторопился в госпиталь.

Но не успел он сделать и десятка шагов, как впереди закружилось на дороге. Двое конных скакали навстречу Успенскому, один — на малорослой серенькой лошадке... Успенский никогда не видел Нахимова верхом на лошади и сначала не узнал было Павла Степановича. Да и, кроме того, Нахимов порядком изменился за протекшие пять месяцев. Загар, пыль, постоянный пороховой дым и беспрестанное напряжение всех сил, душевных и телесных, — все это вместе наложило на Павла Степановича неизгладимый отпечаток. Вид у Нахимова был истомленный; на лицо словно накинута частая сетка из множества мелких морщинок; но улыбка с лица не сходила.

Несмотря на ранний час, Нахимов уже побывал на всех бастионах Корабельной стороны и теперь вместе с адъютантом своим, Колтовским, проезжал с первого бастиона в морские казармы. Павел Степанович, как только разглядел Успенского в шагавшем вдоль по улице медике, так сразу остановил коня.

— Голубчик, Порфирий Андреевич, давно ль? — обрадовался Нахимов старому приятелю.

— Ах, Павел Степанович, вы ли? — воскликнул Успенский, подбежав к Нахимову и ухватившись за его стремя.

Успенский словно боялся, что это померещилось ему и видение, если его не придержать, может тотчас исчезнуть.

— Павел Степанович, Павел Степанович! — повторял Успенский в восторге от такой неожиданной встречи. — Надо мне вам много рассказать и много надо и от вас услышать.

Нахимов как-то болезненно поморщился. Вернутся ли эти тихие вечера за рюмками марсалы и с трубками жуковского табаку? Нет, другое пришло время.

— Надо, надо, — сказал Павел Степанович. — Да когда, Порфирий Андреевич, когда? Ведь я почти по целым суткам не схожу с бастионов. Разве там, в блиндаже как-нибудь...

Успенский знал, что после смерти Корнилова вся оборона фактически перешла к Нахимову, который был начальником морских команд, оборонявших Севастополь. Да и сам Успенский — сможет ли он теперь посиживать у Павла Степановича за марсалай и отводить душу в заветных разговорах? Ведь у Порфирия Андреевича теперь чуть ли не полгоспиталья на руках.

Вокруг стали ложиться мелкие артиллерийские снаряды. Можно было подумать, что неприятелю известно, где в эту минуту находится Нахимов, и поэтому англичане посылали свои каленые ядрышки именно сюда, в Корабельную слободку, на Широкую улицу, угол Докового переулка.

— Павел Степанович, — сказал Колтовский, — сюда бьют, здесь опасно. Надо вам ехать отсюда.

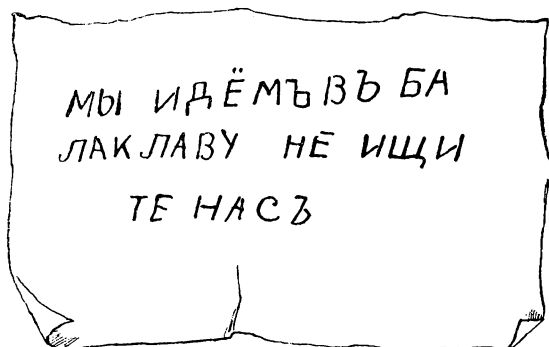
— Теперь, Митрофан Егорович, везде опасно, — сказал Нахимов. — А в одного меня из орудия целить не станут, хоть бы я стоял во весь рост на бруствере. А впрочем, едемте-с... Счастливо, Порфирий Андреевич!

— И вам счастливо пребывать, Павел Степанович.

Друзья расстались. Успенский зашагал к Павловскому мысу, а Нахимов погнал своего конька через Доковый переулок.

Павел Степанович до сих пор не выработал себе кавалерийской посадки и ехал попрежнему сутулясь. Впрочем, он не только сутулился в седле, но с некоторых пор стал как-то странно поживаться. Никому неизвестно было о контузиях, которые беспрерывно на бастионах получал Павел Степанович, а сам он никогда никому об этом не говорил. Все тело у него не переставая ныло. Несколько дней тому назад, когда он менял белье, то случайно взглянул на себя в зеркало. Вся спина у Павла Степановича представляла собой теперь огромный сплошной синяк.

Успенский, придя в госпиталь, застал там целый переполох. Христофор сидел у себя на койке боком, вытянув больную ногу поверх выцветшего байкового одеяла. А подле койки стояли его сын Кирилл и сноха Зоя. И все, перебивая друг друга, сообщили Успенскому, что этой ночью исчез Жора Спидиоти, тот самый черноглазый мальчуган, который был вчера в госпитале. И вместе с ним пропали еще два мальчика из Корабельной слободки — Николка Пищенко и Мишук Белянкин. А Елисей Белянкин, почтарь, отец Мишука, нашел утром у себя в каске записку, на которой было изображено печатными буквами:



Кудряшова, узнав, что у Белянкиных такое приключилось, сказала, что надо непременно заявить в полицию, и сама сбежала в полицейскую часть. А пристав Дворецкий только накричал на Кудряшову за то, что каждый день бегает в полицию с пустяками: то, видите ли, ядро попало к кому-то в мусорный ящик; то коза сошла со двора и где-то, говорят, шляется по третьему бастиону; а теперь какие-то сорванцы сбежали. Пристав до того рассердился, что приказал полицейским десятникам высечь Кудряшову. Но та не стала дожидаться, пока десятник Ткаченко ходил в подвал за розгами, выскочила в окошко и была такова.

Так ничего толком не удалось узнать и через полицию.

Выслушав это, Успенский сказал, что ребята не иголки и нигде не затеряются.

На Корабельной стороне стрельбы в этот день было мало. Поток раненых, начавшийся было с утра, к полудню кончился вовсе. Успенский выпил стакан чаю с ломтем белого хлеба и вышел на улицу немного проветрить легкие, пропитанные тяжелыми испарениями госпиталя.

Большая бухта отдавала просмоленным канатом и соленым морем. Стоял погожий день золотой осени, и воздух, нагретый крымским солнцем, уходил вверх широкой мреющей струей, теряясь в бледном полуденном небе. Успенский снял фуражку, расстегнул китель и пошел берегом к большим камням на самой стрелке мыса. Было тихо; стрельба прекратилась совсем; набегавшие волны чуть шипели, когда, откатываясь, процеживались сквозь гальку.

И неожиданно ко всему, что с таким наслаждением вдыхал в себя Успенский, прибавилась горечь гари. Успенский обернулся. На Театральной площади что-то было повито черным дымом, сквозь который прорывалось белое пламя.

«Уж не театр ли это горит?» — забеспокоился Успенский и незаметно для себя повернул обратно к госпиталю.

В сенях ему в лицо снова хлестнули запахи больницы — терпкая смесь эфира, аммиака и карболовой кислоты. Дверь из сеней в коридор была загорожена огромным узлом с корпией¹, около которого возилась Даша. Успенский помог Даше пропихнуть узел в коридор.

— Театр, Даша, горит? — спросил Успенский, красный с науги.

— Нет, Порфирий Андреевич, не театр это, — ответила Даша. — Это в переулке у адмирала Лукашевича.

— Белый дом с колоннами и башенкой? Там ведь и капи-

¹ Кор п и я — расчипанная полотняная ветوشь, употреблявшаяся прежде для перевязки ран.

тан-лейтенант Лукашевич живет, с «Императрицы Марии», Николай Михайлович.

— Вот-вот, — подтвердила Даша: — с отцом живут, с адмиралом. Жена у него, у Николая Михайловича, уж такая красивая!.. Года нет, как обвенчались, после Синопа сразу.

В своей каморке под лестницей, сняв с гвоздика халат, Успенский вдруг остановился.

«Ах!» — чуть не вырвалось у него, потому что он вспомнил фортепиано Нины Федоровны, дорогой инструмент, сработанный в Лондоне на знаменитой фабрике Эрара и только в прошлом году доставленный в Севастополь на пароходе. Наверно, и фортепиано Нины Федоровны пылает там теперь, и виолончель Николая Михайловича охвачена огнем... Успенский представил себе, как плачет в эту минуту Нина Федоровна и как утешает ее капитан-лейтенант Лукашевич.

Томимый этими мыслями, Успенский натянул на себя халат, вымыл руки и пошел по палатам.

XXXII

Яков Вдовин, человек вольный

В это время Корабельной слободкой, Широкой улицей, шагал человек, высокий, широкоплечий, с русой окладистой бородой, веером развернувшейся у него на груди. На человеке этом была кучерская войлочная шляпа, старый сермяжный зипун и лыковые лапти. Это Яшка Вдовин, дворовый человек генеральши Неплюевой, возвращался в Севастополь.

Крепко запали Яшке в голову слова ямщика в Бахчисарае на почтовой площади:

«Всем, кто в Севастополе свою кровь прольет, будет навечная воля».

Да, за волю можно было и кровь свою пролить и жизнь отдать... А без воли, рассуждал Яшка, что за жизнь!

У Яшки ныли ноги, искусанные мопсом; к тому же Яшке очень хотелось есть. С того вечера, как поужинал он в последний раз у Анисьи в подвале, прошли ночь, и день, и еще одна ночь, и за это время у Яшки во рту и маковой росинки не было. Яшка шел без копейки денег. В Дуванке он только попил воды у колодца да хотел было сорвать у какой-то ограды забытую на дереве грушу, но его опередил казак верхом на лошади, снявший грушу с дерева пикой.

Голод и жажда все больше разбирали Яшку и стали особенно терзать его, когда он подошел к трактиру «Ростов-на-Дону». Может быть, Яшка и без денег завернул бы в трактир, но с

Театральной площади густо понесло дымом, туда бежали матросы, пристав Дворецкий скакал по улице на рыжей кобыле... По забыв и голод, и жажду, и Неплюиху с повешенным у нее под окном мопсом, Яшка бросился к приставу и крикнул:

— Ваше благородие, где горит?

Но пристав на всем скаку шиб нагайкой у Яшки с головы шляпу и поскакал дальше.

Не подобрав и шляпы, Яшка бросился к Театральной площади и увидел там в переулке за чугунной оградой знакомый дом адмирала Лукашевича, с колоннами и башенкой, и людей на кровле, и языки огня, совсем белые при свете полуденного солнца. Пристав Дворецкий в темнозеленом полицейском мундире с серебряным шитьем на красном воротнике мордовал свою рыжую кобылу... Та храпела, взметываясь на дыбы и бросаясь из стороны в сторону.

— Качай, качай! — кричал пристав толпе арестантов, надрывавшихся у пожарного насоса.

Пронзительно звенели колокольцы на дышлах пожарных упряжек, и протяжно трубил горнист, передавая команду медным каскам, мелькавшим наверху в густых клубах дыма. И туда снизу рвались из брандспойта с сухим треском белые, как кипень, струи воды. Вместе с матросами, прибежавшими на пожар, и Яшка ринулся в раскрытые настежь ворота адмиральского дома.

Первое, что Яшка там увидел, был молодой Лукашевич с пузатым чемоданом на плече. Николай Михайлович бежал через двор к флигелю. Капитан-лейтенант был без фуражки, без фуражки и сюртука, в замшевых помочах поверх измазанной грязью сорочки. Сам адмирал, Михаил Эрастович Лукашевич, давно парализованный старик, сидел под яблоней в кресле на колесах, укутанный клетчатым пледом. На голове у адмирала была черная бархатная шапочка с шелковым помпончиком, она съехала набекрень, один глаз у адмирала дергался, адмирал улыбался... и казалось, что он подмигивает кому-то, что он знает что-то, знает лучше других, но не скажет никому. А у ног адмирала стояла на коленях молодая сноха его, стояла Нина Федоровна Лукашевич, и, раскачиваясь, беззвучно плакала, закрыв лицо руками в перстнях и кольцах, таких нарядных, «как звезды в небе», подумал Яшка.

«Ах ты, боже ж мой, — всполошился Яшка, — каково убивается!»

И, ни о чем не думая, бросился к объятому пламенем дому.

Яшка сразу очутился в просторной комнате с вышибленными в окна стеклами. Огонь мелкой зыбью струился по стенам, и Яшка стал размахивать руками, расталкивая перед собою густой дым.

Комната была пуста. Только в углу темнело что-то — огромный треугольный ящик на пузатых ножках.

«Музыка, — сообразил Яшка. — Ах ты, боже ж мой!»

Он подбежал к ящику и двинул его с места. В ящике что-то зазвенело, сначала тонко и жалобно, потом — глухо и грозно.

«Музыка! — совсем обрадовался Яшка. — Фортепяны».

Яшке казалось, что все нутро у него уже плотно набито коричневым дымом. Но дым этот все еще лез Яшке в глотку и ноздри, и путался у него в волосах и бороде, и немилосердно ел ему глаза. А огненная зыбь пошла теперь струиться по паркету, подбираясь к Яшкиным лаптям. Где тут было мешкать да раздумывать! Яшка сорвал с себя зипун, швырнул его на подоконник и подкатил фортепиано к окну.

Под самым окном метался пристав Дворецкий на своей кобыле, он кричал что-то, чорт его знает что и кому — Яшка все равно ничего не слышал, охваченный одной заботой: продвинуть фортепиано через окно. Да не пройдет, велика штука! Не пройдет ни прямо, ни боком... И Яшка вспомнил, как перетаскивал он такую же музыку у генеральши своей, у Неплюевой, то из гостиных в мезонины, то обратно сверху вниз, из мезонина в гостиную — это как матушке барыне вздумается. Так и теперь: надо только вывинтить ножки и вообще снять все, что было прилажено под ящиком.

А глаза у Яшки от дыма на лоб лезут и язык изо рта вываливается. Но ничего, ничего... Яшка крикнул и поставил ящик набок.

— Полундра, — рявкнул Яшка, — поберегись!

В окно полетело все, что Яшка мигом выдрал из-под музыки, — ножки, педали, винты; осталось одно тело в бронзовых накладках и перламутровых инкрустациях, и Яшка поднял его на подоконник.

— Эй, смоленые души! — крикнул Яшка в окно толпе матросов. — Поддерживай!

И фортепиано, разрывая под собой Яшкин зипун в клочья, скользнуло в открытое окно прямо на руки матросам. Дружно подхватили они драгоценный инструмент и отнесли его в сторону, под яблоню, где метался капитан-лейтенант Лукашевич, и в своем кресле на колесах все еще хитро подмигивал старый адмирал, и лила горькие слезы жена капитан-лейтенанта.

А на Яшке уже задымились лапти. Дробно перебирая ногами, он показался на подоконнике. Он ничего не видел, потому что глаза у него были залиты кровью, ничего не слышал — в ушах у него стоял один только рев, как в большую бомбардировку. Яшка прыгнул наугад и грохнулся оземь под окном. Здесь пожарник сразу окатил его водой из брандспойта, чьи-то дюжие руки потащили Яшку к яблоне, где была собрана вся

вытащенная им из огня музыка... И Яшка, привалившись к ней, просто-напросто заснул мертвецким сном с храпом и присвистыванием.

Ни матросы с третьего бастиона, ни капитан-лейтенант Лукашевич, ни даже пристав Дворецкий со своими десятниками — никто из них не смог разбудить человека в заплатанной ливрее и закопченных лаптях. Он проснулся сам уже под вечер, под смурым, но еще беззвездным небом. Слабый дымок поднимался от пожарища. Пахло угольем, залитым водой. Черными полосами копоты были обвиты белокаменные колонны домового фасада.

В головах у себя Яшка почувствовал подушку. Он присел, потрогал подушку в батистовой наволочке с кружевными прошивками и поглядел на двор, через который шестеро арестантов, подняв на плечи вызволенную Яшкой музыку, несли ее к стоявшему в стороне флигелю. Несмотря на поздний час, на четвертом бастионе за Театральной площадью не умолкала пальба.

Яшка стал искать вокруг себя свою войлочную шляпу. Но, не найдя ее, сшибленную приставом Дворецким еще днем на Корабельной, поднялся, потянулся, встряхнулся и побрел к воротам. И уже у ворот нагнал его старый матрос Воскобойников, служивший в адмиральском доме и дворником, и садовником, и камердинером, и чем-то еще, смотря по надобности и приказанию.

— Куда же ты, свят человек? — окликнул Воскобойников Яшку. — Молодая барыня тебя кричит, поди покажись хоть ей.

Яшка остановился, почесал бороду и, проводив глазами огненный шар, прорезавший небо где-то близко за театром, молвил:

— А на что мне твоя барыня? Я едва от моей ушел.

И, повернувшись, вышел за ворота.

— Чудак ты! — кричал ему Воскобойников вдогонку. — Вернись, что те разве худо будет?

Но Яшка, не оборачиваясь, крикнул:

— Не, не пойду!

И двинулся дальше по переулку, на костер, который заметил в саду за театром.

Яшка шел, не зная, что найдет он подле костра. Но надо же было куда-нибудь идти. А вдруг этот костер развели солдаты из резерва, что постоянно находится в саду за театром? И разлеглись там солдатики вокруг костра, трубочки покуривают, каши дожидаясь, той, что бурлит в котле над огнем.

Стылый ветерок воровато скользнул у Яшки под ногами и, завертев на дороге белую пыль, юркнул в соседнюю подворотню.

«Эх, без каши-то что-то зябнется! — подумал Яшка и потрогал рукою свой запавший живот. — Ин и впрямь к солдатам ткнуться?..»

Но Яшка услышал позади себя топот.

— Постой, чудак, куда те несет нелегкая? — кричал ему, подбегая, тот же Воскобойников. — Вот чудак!

— Ну, чего еще? — молвил Яшка хмуро.

— Чего еще! Еще спрашивает, дуrolом!

— Да ты чего бранишься?

— Пороть тебя такого надо, не бранить!

Яшка ничего не ответил и, перейдя на другую сторону, снова зашагал к Театральной площади.

— Ах ты мякинное брюхо! — продолжал браниться Воскобойников, идя за Яшкой следом. — Была б моя воля, я бы тебя порол ежедень по зорям, на дню два раза!

— Так бы я тебе и дался! — ответил Яшка, не оборачиваясь. — Я человек вольный, тебе не подчинен.

— А, разговаривать мне с тобой! — крикнул нетерпеливо Воскобойников. — На вот, возьми и катись куда хочешь!

Воскобойников запихал Яшке в кулак бумажку и пошел было прочь, но остановился и крикнул:

— Да, еще... Как сказать о тебе барыне? Говорила — без того не ворочаться.

Почувствовав у себя в ладони плотную бумажку, шелковистую, с хрустом, Яшка остановился.

«Рублевка! Неужли? — удивился он, еще не веря привалившей неожиданно удаче. — Право слово, рублик», — все же решил он и разжал руку.

В глазах у него засинело от «синички», от синей пятирублевой бумажки в руке, и все словно стало сразу синим вокруг: даже матрос показался синим в синих сумерках, и синяя звездочка зажглась высоко у матроса над головой, промеж исчерна синих облаков.

Яшка поднес ближе к глазам бумажку, не веря, не понимая, не зная, как поступить и куда ему с этим податься. И, стиснув синенькую в кулаке, только и выдавил из себя:

— За что?

— А за музыку, дуrolом! — крикнул ему Воскобойников. — За фортепьяны, что ты из огня выволол. Ведь из Лондона привезены фортепьяны эти, из Лондона! В пять радужных¹ штука эта молодой барыне стала. Понятно это тебе?

— Понятно, — сказал Яшка задумчиво. — Да-а... Бывает... Бывает, и хряк соловьем защелкает и барин либо барыня чeloveчьим голосом заговорит. Хоть раз в сто лет, а бывает. Да-а...

¹ Р а д у ж н а я — сторулевая бумажка.

А деньги эти, матрос, мне не лишни. Ну, — тряхнул Яшка головой, — скажи молодой барыне поклон. Кланялся, мол, Яков Вдовин, человек вольный.

И Яшка, выйдя на площадь, не пошел к театру за солдатской кашей, а двинулся обратно на Корабельную сторону, туда, где, сияя огнями из всех окон, высилось на пригорке двухэтажное здание знаменитого трактира «Ростов-на-Дону».

В трактире, в нижнем этаже, было малоллюдно и тихо. Фаянсовые чайники в крупных розанах выстроились в ряд на полке за стойкой. А на самой стойке допевал свою песню огромный самовар из красной меди. За одним из столиков, обливаясь потом, чаевничали Егор Ту-пу-ту и мясник Потапов.

Яшка знал обоих, но сел за отдельный столик в дальнем углу. И ворочался и туда и сюда так, что табурет под ним трещал, ворочался от нетерпения, дожидаясь то жареной камбалы, то солонины с кашей, то того, то другого из всего, чем наполнял он в этот вечер свою пустую утробу. Ни разу в жизни не едал так Яшка, и никогда еще он не чувствовал себя так легко. И совсем хорошо стало у него на душе, когда он принялся париться чаем, чаем с сахаром, который лежал перед ним на блюдечке, накалотый крохотными кусочками.

Чем больше требовал Яшка пищи и чем дальше упивался чаем, тем явственнее становилось беспокойство буфетчика за стойкой. Яшкино лицо было ему как будто знакомо. Но эти измочаленные лапти на ногах и ливрея вся в пропалинах... Да и шапки что-то не видно с ним.

«Верно, пропил, — решил буфетчик. — А теперь вот наел тут на добрую полтину, а в кармане, на лучший конец, пятак медный».

И буфетчик стал щелкать на счетах, насчитывая Яшке и за чай, который Яшка пил, и за кофей, которого Яшка отродясь не пробовал, и за солонину, которую Яшка съел, и за телятину, которой у него и в уме не было. Да еще за размен на звонкую монету насчитал буфетчик сколько-то... Вышло чохом шестьдесят пять копеек. Яшка без проверки и заплатил чохом, разменяв свою «синицу». Как ни роскошествовал Яшка в этот вечер, а не протратился: осталась у Яшки еще трешна зелененькая, и серебряный рубль, и три кругленьких гривенничка, и пятак орлений. И может Яшка при таких деньгах сидеть в трактире хоть до рассвета, чай пить и улыбаться в бороду.

«Неплюиху, — думает Яшка, — верно, сразу обморок ошиб, как увидела поутру в окошке у себя Нерыдайку в петле. Хо-хо!.. Вот это да!»

Матроса этого, холуя адмиральского, Яшка тоже здорово отбрил: «Скажи, мол, своей барыне поклон. Кланялся, дескать, Яков Вдовин, человек вольный». Во как!

Наверху, на втором этаже, стучали бильярдные шары, топали ноги и в богемской польке разливалась шарманка, которую без усталости вертел итальянец, днем таскавшийся по Севастополю, а по вечерам игравший в трактирах.

Звонкой шпорой по паркету,
Каблучок о каблучок! —

вывертывала шарманка так, что и Яшка стал мурлыкать себе в бороду всем известный бравурный мотив:

Ту-ти, тру-ти,
Каблучок о каблучок!
Ту-ти, тру-ти...

«А хорошо — ту-ти, тру-ти — там, наверху! — решил Яшка. — Людно, и шарманщик накручивает...»

Но Яшка знал, что наверх его все равно не пустят: там было отделение для чистой публики, а не для таких, как он, мужиков лапотных, медведей муромских.

И вдруг Яшке словно нож вонзили в сердце. Яшка заворочался так, что табурет под ним едва на куски не рассыпался.

— Постой, Яков Вдовин, человек вольный, — стал шевелить Яшка одубевшими сразу губами. — Да кто же тебя такого-сякого, мужика лапотного, неумытого, так это, за мое почтение, на бастион пустит? Пожалуйте, мол, Яков Сидорыч, вас только и ждали. Как не так! А пашпорт, Яков Вдовин, ты при себе имеешь? Как, нет пашпорта?! Ну, так и разговаривать нам с тобою нечего. Сдадим тебя в полицию, там тебе — ту-ти, тру-ти! — Дворецкий живо расспрос сделает: от владельца ты своего сбежал али решетку в остроге выломил, бродяга ты беспашпортный, арестант...

Яшка встал. Что это будто на стене в масляной лампе кто-то огонь привернул? Неясно стало кругом и сбивчиво...

«Бог с ними совсем, — решил Яшка. — Шарманщик этот... А, пойду. Поел и пойду».

Задевая за столы, за скамейки, за все, что попадалось, Яшка выбрался из трактира на улицу.

Свежий ветер обвеял ему лицо; палый лист зашуршал под ногами; кошка, перебежав дорогу, скользнула в продух подвала. Яшка остановился у груды дров, сваленных подле, и глубоко вдохнул в себя все запахи, источаемые этим местом: соленый запах ветра, горьковатые запахи палого листа и березовых дров, и сухой запах земли, и винный запах, шедший от пустой сорокаведерной бочки с выбитым дном. Из трактира, из широко раскрытых окон верхнего этажа, струились тоже свои запахи — запахи табачного дыма и стеариновых свечей. Толстые свечи горели там и оплывали в бронзовых канделябрах на большом

столе, придвинутом к самому окну. А на столе — чего там не было! Батареи бутылок, эскадроны рюмок, бастионы, воздвигнутые из всякой затейливой снеди... И кого только не было за столом! Тыловые вояки в расстегнутых провиантских мундирах, розовощекие молодчики в новеньких венгерках нараспашку...

— О-о-о! — чуть не задохнулся Яшка. — Викторин Павлыч! О-он!

Это был и впрямь Викторин Павлыч Хохряков, которого Яшка всего только третьего дня оставил в бахчисарайской луже барахтаться и мычать: «Эта, ммм, что же? Эта, ммм, как же?»

И толстый провиантский чиновник в зеленом с золотым галуном мундире сидел рядом с Хохряковым, и на столе между ними лежал фуляровый платок, красный в белую клетку, и что-то вздувалось под платком...

Свет в окнах запрыгал у Яшки в глазах, завертелся радужными кругами, поплыл в сторону разноцветными полосами... А тут еще эта шарманка:

Звонкой шпорой по паркету
Ту-ти, тру-ти...

— Не захлебнулся в луже, бык, -- стал шептать Яшка, когда всё в окнах, повертевшись у него в глазах, вернулось на свое место. — Не захлебнулся же...

Яшка выбрал из груды дров полено поувесистей.

— Рожь с кострицей... — скрежетал он зубами, — падаль за мясо... черви... сапоги гнилые... полушубки прелые... Ах, змеиное племя!

И Яшка откинулся, потом подался вперед и швырнул полено в открытое окно.

Раздался звон разбитой посуды, вмиг оборвалась шарманка, загрохотали отодвигаемые стулья, кричали перепуганные кутилы, вопил человек, которому Яшкино полено угодило в голову либо в грудь.

— На солдатской крови жируете! — крикнул Яшка, посылая наверх, в открытое окно, второе полено. — Христопродавцы... изме-энники... во-оры... уже вам головы скру-утим...

И, выкрикнув все это, Яшка отодвинулся в сторону и шагнул в ночь.

Все, что было в трактире, высыпало на улицу. Ударил пистолетный выстрел. Придерживая рукой саблю, бежал к трактиру полицейский десятник. Один Викторин Павлыч, которому Яшка прошиб поленом голову, оставался наверху среди черепков, опрокинутых стульев и розлитых вин и соусов. Но, лежа на полу с закрытыми глазами, в луже крови, Хохряков Викторин Павлыч не оставался совсем безучастным к тому, что только что случилось.

— Эта, ммм, что же, бунт? — мычал он, еле шевеля губами. — Эта, ммм, как же, бунтовать?

А Яшка тем временем уходил все дальше от гиблого места, где было б ему несдобровать, попадись он теперь в лапы провиантщикам либо приставу Дворецкому. За побег от помещицы, за повешенного мопса, за полено, запущенное в свору взяточников и казнокрадов, Яшку ждали плети в Симферополе и каторга в Сибири. Зная это, Яшка, не разбирая дороги, все прибавлял шагу, уходя в ночь, в мрак, обходя редких встречных, которые с зажженными фонарями пробирались по своим делам.

Иногда ракета либо светящееся ядро проносились у Яшки над головой, и тогда он принимал к стенке, к дереву, к чему попадет. На глазах у Яшки бомба шибнулась в прудок возле церкви Белостоцкого полка, и в воде заклокотало, зашипело, поднялось кверху фонтаном и заглохло. Потом побрызгало мелким дождичком, всего на одну минуту, даже пыли не прибило. А Яшка все шел, выбирая места потемнее, все плутал по каким-то пустырям и задворкам, пока за поворотом, где стояла хатенка, не наткнулся у плетешка какого-то на человека: матрос — не матрос, солдат — не солдат...

— Яш! — воскликнул человек. — Ты ли?

Яшка отшатнулся, однако успел разглядеть на человеке и кожаную каску, и сюртук, и ботфорты, и серебряную медаль на груди.

— Елисей Кузьмич! — пробормотал растерянно Яшка.

— Да разве ты, Яша, не уехал? Я только сегодня стучался, письмо было твоей... Ну, вижу, ворота — наглухо, ставни заколочены, собак этих не слышно, никто мне ничего... Значит, думаю, выбыли все по случаю военного времени.

— Верно, Елисей Кузьмич, все выбыли, а я вот воротился.

— Как же, Яша?

— А... надо проведать.

— А-а! — протянул Елисей. — Беспокоится, значит, генеральша, ее превосходительство.

— Беспокоится, Елисей Кузьмич, очень даже беспокоится, — ответил двусмысленно Яшка. — Я так думаю, что и ночью теперь не спит, все беспокоится.

— Да, это, конечно, — согласился Елисей. — Пора беспокойная. Тоже ведь... ночь, а не сплю.

И Елисей тут же рассказал Яшке, что прошлой ночью сбегал у него сынишка Мишук, и с Мишуком еще двое мальчишек: пекаря Сплиотина сын и Николка Пищенко, наверно всему делу заводила, первый на всю Корабельную озорник.

— Ну, и как же теперь, Елисей Кузьмич?

— Ума не приложу, — развел руками Елисей. — Записку

нашел в каске: идем, мол, в Балаклаву. А в Балаклаве, Яша, англичане и турки!

— Оказия! — заметил Яшка. — Прямо сказать, оказия.

И задумчиво почесал бороду.

Но тут ударил ветер, забросав пылью и Яшку и Елисея. И сразу дождь пошел стучать по черепицам хатенки.

— Замолаживает¹ будто, — сказал Елисей, подняв кверху голову. — Ишь, небо ровно чернила. Теперь, значит, на всю ночь. Прощай, Яша.

— Прощай, Елисей Кузьмич.

И оба, разойдясь, растворились в черной, как чернила, тьме ненастной ночи.

XXXIII

В поход за бабушкой

После того как Христофора Спилиоти положили в госпиталь на Павловском мысу, Жора понял, что вряд ли уже дедушка Христофор сможет выручить бабушку Елену. И Жора решил подобрать себе команду из самых отчаянных смельчаков, чтобы вывести бабушку из вражеской зоны. Николка Пищенко и Мишук Белянкин с восторгом согласились на Жорино предложение пробраться в Балаклаву через линию фронта. Но Жора сам предложил, сам же стал сомневаться в успехе своей затеи.

— А ту...турок, Николка? — робко спросил он.

— Турок! — презрительно процедил Николка сквозь зубы. — Гм, тоже...

— Там за каждым камнем турок. Ружье у него, ятаган острый...

— Ска-ажешь!.. — протянул Николка.

И Жора понял, что возврата нет. Назад, дескать, только раки лезут. Ну, конечно, и трусые лезут назад, а Жора больше всего на свете боялся прослыть трусом.

В это время в Севастополе пошла слава про матроса Петра Кошку. По ночам Кошка выходил за нашу оборонительную линию к неприятельской стороне. Крадучись, подбирался он к неприятельским аванпостам и залегал где-нибудь в ямке или за камнем. Целыми часами таился он там, высматривая, и



¹ Замолаживать (о погоде) — меняться к ненастью.

вдруг глубокой ночью, в самую глухую пору, как гаркнет «ура!» Весь вражеский пост, сколько бы там ни было людей, бежит без оглядки, только бы подальше. А Кошка начинает хозяйничать на посту у неприятеля, все перевернет вверх дном, и чуть свет ползет обратно к себе на батарею на третьем бастионе с отличным английским штуцером, с шотландским пледом или с какой-нибудь другой диковиной.

— Эх, Кошка, не сносить тебе головы! — предостерегали удалца матросы постарше и порассудительнее.

— Ничего не боюсь, — отвечал Кошка, размахивая руками: — ни ядра, ни гранаты, ни бомбы, ни пули... Они меня не тронут.

Николка Пищенко, и Мишук, и Жора — все они постоянно ходили за Кошкой, и тот им все рассказывал про свои подвиги.

Вот и зародилась, прежде всего у Николки, мысль просить Кошку идти с ними в Балаклаву.

Кошка идти в Балаклаву отказался.

— Никак я этого, братишечки, не могу, — сказал он ребятам, пришедшим к нему на третий бастион.

Стрельба в это время утихла, неприятель, видимо, обедал, да и наши, постреляв целое утро и пообедав в полдень, легли соснуть где кому довелось. Кошка вертел в руках какой-то металлический предмет неизвестного назначения, стянутый на кануне у вражеского костра.

— По морскому уставу, братишечки, — продолжал Кошка, — делать матросу такие заплывы не полагается. По морскому уставу матросу полагается ежели отходить от корабля, так не далее как на пистолетный выстрел. По всем статьям морского устава.

Разумеется, в морском уставе никаких таких статей не содержалось. Но Кошке нравилось форсить перед влюбленными в него мальчишками, и он, не переставая, повторял: «по морскому уставу», «по всем статьям морского устава»...

— Павел Степанович Нахимов, — разливался Кошка, — сколько раз приезжал на бастион, всегда говорил: «Ребята, бастион теперь есть наш корабль на якоре. Чтобы всё, ребята, на бастионе было, как полагается по морскому уставу, по всем статьям». Ну, матросы, конечно: «Рады стараться, ваше превосходительство». Так что, братишечки, никак мне в Балаклаву неспособно. Скрасть эту бабушку у англичан надо бы, да только вот загвоздка: как ворочусь я с бабушкой в Севастополь, так боцман сто горяченьких влепит не бабушке, а мне. И буду я тогда вовсе драный-сеченый, и это по всем статьям морского устава.

С вражеской стороны начинали постреливать. С третьего ба-

стиона вяло отвечали. На бруствере за прикрытием устроился сигнальщик и тянул бесконечную песню.

— Не белы-то снеги-и... ах, снеги во чистом по-оле... снеги забелелися-а-а...

Заметив вражеский снаряд, направленный в сторону бастиона, он вскрикивал «ядро!» — и опять тянул свою песню:

— Не белы-то снеги... Берегись, бомба!.. Снеги во чистом поле... Граната, мимо!.. Эх, снеги забелели-ися-а...

Снаряды летели мимо, сигнальщик тянул свою песню, Кошка напирал на статьи морского устава. Но бесшабашному Кошке нравилось то, что задумали ребята, и он им насоветовал:

— А вы, братишечки, чем переть со мной напрямки, по дороге между четвертым и пятым бастионом, так вы лучше в обход ступайте, Черной речкой, всё берегом, берегом, долиною. Всё больше в балочках хоронитесь. Веревку с собой захватите и сенца в мешок. А нарветесь на неприятеля, так вы ему сразу: «мэ-э, мэ-э»; козу, мол, ищите, там Гашку или Машку. Мол, Кудряшова послала козу искать. У нее что ни день, коза у нас через бруствер скачет. Ну, известно, коза: бегаёт где вздумается; может хоть куда забежать, даже очень просто... А лучше про Севастополь не поминайте. Так и говорите, что из Балаклавы вы, братишечки; балаклавские, мол, ребята — и боле никаких! И коза, дескать, тоже из Балаклавы. Главное дело, ври смелее, а там кому какое счастье.

Ребята были очень разочарованы отказом Кошки идти с ними в Балаклаву и просили его помочь им выбраться хотя бы за бастионы. Но Кошка и в этом отказал.

— В обход ступайте, околицей. А мне — не отлучиться. Не сегодня, так завтра сам иду в дело. Масленицу буду брать.

— К-как масленицу? — удивился Мишук.

— Ан до масленицы еще сколько жить! — воскликнул Николка.

Но Кошка молчал и снова стал вертеть в руках свой вчерашний трофей.

В это время из траншеи вылез какой-то измаранный, весь в глине, матросик и, накинув на одно плечо шинелишку из просмоленной парусины, пошел к бочке с водой. Пройдя несколько шагов, он обернулся.

— Петро, — сказал он Кошке, — скоро масленица?

— Масленица скоро, — ответил Кошка.

— Как — скоро? — снова удивился Мишук. — Масленица зимой ведь! Нет, ты скажи...

— Не скажу! — отрезал Кошка. — Много будешь знать — плохо будешь спать.

Пальба учащалась. Сигнальщику то и дело приходилось совсем обрывать свою песню:



— Не белы-то снега... Пушка-а, к нам, берегись! Бомба мимо! Мортира, к нам, берегись!.. Не белы-то... Граната!

Засвистал боцман в дудку, вызывая всех наверх из блиндажей, землянок, рвов и прочих укрытий.

— К орудиям становись!

— Ну, братишечки, — сказал, вставая, Кошка, — выметайтесь. По всем статьям морского устава, раз-два!

Ребята не стали дожидаться, пока кто-нибудь из артиллеристов треснет их банником, чтобы не мешались тут подле орудий. Все трое сразу побежали в слободку, прыгая через вырытые снарядами ямы, через рогожи, набитые землей, через кучи тряпья и всякого мусора.

Была темная ночь, когда Николка с Жорой подошли к хатенке, где жили Белянкины. Ядро ли, бомба, изредка пролетая где-то в стороне, на миг озаряли всю слободку колеблющимся, призрачным светом. Тогда можно было разглядеть в руках у Николки веревку и набитый чем-то мешок. В мешке, конечно, было сено, как надоумил ребят Кошка.

Николка с Жорой постояли у калитки, пошептались, потом запели на два голоса:

— Не белы-то снега, снега во чистом поле, снега забелелись-а...

Со стороны можно было подумать, что девушки, возвращаясь с ночной работы на сахарном заводе, затаили эту песню, чтобы не так жутко было в темноте, где ни одного огонька. У Жоры был чистый, звучный, сочный дискант. Вторил альтом Николка.

Пели они недолго. Калитка бесшумно приоткрылась, и на улицу с зажженным фонарем и узелочком проскользнул Мишук. Тихо перешептываясь, добрались ребята до Большой бухты и взяли направо. Когда неподалеку раздался протяжный оклик ночного сторожа: «Слуша-ай!», Мишук погасил фонарь, и ребята сиганули через плетень. Но тут у них над головой как захохочет:

— Хо-хо-хо-хо-хо!..

И стало щелкать, словно кто кости подбрасывал и ловил. И стало хлопать, будто кто-то там сверху выколачивал платье. И стало пыхтеть... Жора так и присел.

— Сова, — шепнул Мишук.

— Брысь! — бросил Николка и размахнулся своим мешком.

Вверху сразу смолкло, и с дороги явственно донеслись шаги сторожа. Он шел, постукивая подковами на тяжелых сапогах. Ребята выждали, пока совсем не затихло все вдаль, в темноте, и перелезли через плетень обратно на дорогу. Они добрались до Инкерманского моста на Черной речке, уже не зажигая фонаря.

Ребята шли всю ночь и все утро, изредка делая привалы в балках. Мишук развязывал свой узелок, и все трое подкреплялись хлебом и огурцами. Солнце стояло высоко, когда с левого берега речки послышались голоса. Ребята юркнули в ивняк и там притаились.

Два вражеских солдата в красных куртках и на гнедых неседланных лошадях спускались из балки к речке. Перебравшись на песочек на правом берегу, они спутали лошадей, чтобы не ушли далеко, а сами стали раздеваться, потом бросились в воду, которой в речке теперь было много от прошедших дождей. Несмотря на теплый день, вода, видимо, была холодна. Солдаты кричали, фыркали и отдувались; они барахтались в воде и обдавали друг друга брызгами и что-то кричали при этом, кричали по-своему, чего ни Жора, ни Мишук с Николкой, конечно, не могли понять. Натешившись вволю, солдаты выбежали на берег, распутали своих лошадей и повели их в речку.

Вода в речке была лошадям выше брюха. Лошади не стояли на месте. Они ржали, дергали головами и отходили в сторону, вверх по течению, к большим ивам, нависшим с правого берега. И солдаты, обдавая их водой, отходили вместе с ними всё дальше, а за излучиной и вовсе скрылись из глаз. Тогда Николка Пищенко вылез из зарослей мелкого ивняка и пополнил на четвереньках к воде. Добравшись до того места, где солдаты разделись, Николка схватил все, что там было, — куртку красного сукна с золотым галуном, сапоги, подбитые железными гвоздями, круглые шапочки, исподнее белье, — и побросал в воду. Волна сразу подхватила все, что набросал Николка, и понесла вниз по течению.

«Вот, — быстро пронеслось в голове у Николки, — вынесет все это речная волна в Большую бухту и прибьет где-нибудь; может быть, даже к Графской пристани... То-то будет диво!»

Николка хотел уже ползти обратно, когда заметил на прибрежном песке замшевый кисет с табаком и великолепную трубку в виде кабаньей головы, с толстым янтарным мундштуком.

«Подарю Кошке, а то тятю отдам, чтоб не больно дрался, когда вернусь», — решил Николка и засунул кисет вместе с трубкой за пазуху.

Мишук и Жора все это видели, лежа в кустах. Когда Николка вернулся, он шепнул им, что надо перебраться в другое место, а то как бы солдаты не обнаружили их по следу, оставленному Николкой на песке, и по примятому ивняку. И ребята стали ползком пробираться вглубь ивовых зарослей, в самую чащу, и там залегли, ожидая, что будет.

Они уже не могли видеть из своего укрытия солдат, вернувшихся на место, где было оставлено платье. Ребята только слы-

шали голоса, которые становились все возбужденнее, переходя временами в громкий крик. Солдаты бегали по берегу, перекликаясь и переругиваясь, доказывая друг другу, что не здесь, а там скинули они с себя платье и что не тут ему надо быть, а вон за тем камнем. Но платья не было ни тут, ни там, ни за камнем, ни за деревом.

Всё громче кричали солдаты, всё яростней становилась их ругань, наконец раздался звук здоровенной оплеухи, от которой как будто даже эхо отдалось. Солдаты завыли и, сцепившись, покатались по земле.

Потом все стихло. Но прошло несколько минут, и солдаты снова схватились. И через некоторое время опять тихо. Ребята решили, что этак, с передышками, солдаты могут драться и до вечера. Николка подал знак, и все трое опять поползли, волоча с собой веревку, фонарь и мешок с сеном. Мальчики вскоре снова выбрались к речке и пошли долиной вверх по течению. Они шли молча, друг за другом, готовые при каком-нибудь новом подобном случае опять юркнуть в густые заросли ивняка.

Больше всего ребята боялись встречи с турками. Жоре было известно от деда, что на свете нет свирепее турка. И что турку нет большей радости, как смахнуть у греческого мальчика голову с плеч и отнести ее к паше.

Жора потрогал свою голову. Она была кругла, как арбуз, и Жора не хотел, чтобы она досталась турку. Мальчик зорко вглядывался, не мелькнет ли впереди турецкая феска, в виде красного конуса со срезанной вершиной. Но фесок нигде не было видно — ни впереди, ни по сторонам. И Жора наконец успокоился.

У деревни Чоргун ребята стали отходить от речки влево, чтобы выйти к Балаклавe со стороны Байдарской долины. Они шли широкой тропой, которая проходила через деревню Алсу. Ребята обошли деревню, снова вышли на тропу и на повороте у часовни, превращенной в караулку, увидели в двух шагах от себя турецких солдат, игравших в кости. Двери часовни были раскрыты настежь, и в глубине стояли лошади. Увидя это, Мишук и Николка остановились как вкопанные, а Жора снова потрогал свою голову.

Турки, занятые игрой, не обратили никакого внимания на появившихся из-за поворота мальчишек. Стучали кости, перемещиваясь в жестяной кружке, и взлетали кверху, подбрасываемые одним из солдат. Потом все бросались на землю, чтобы взглянуть, как упали кости и сколько на долю того либо другого солдата выпало очков.

Игра становилась все горячее. Всё громче стучали кости в кружке, всё выше взлетали они вверх, и солдаты бросались на

них, как собаки на мясо. Ребята постояли немного и прошли мимо солдат, занятых в эту минуту подсчетом очков. Солдаты не оглянулись даже тогда, когда под ногой у Жоры треснул сучок.

Немалый крюк пришлось сделать ребятам, чтобы попасть в Балаклаву со стороны Байдар. И хорошо! А то не подумал бы кто-нибудь, что ребята пробираются в Балаклаву с русской стороны, из осажденного Севастополя. Попадись с этим к англичанам в лапы — затаскают по допросам, а потом в тюрьму посадят и в Туретчину увезут. Но Жора часто бывал в Балаклаве у деда и отлично знал обе дороги: и Байдарскую и Севастопольскую.

Только к вечеру вышли ребята к морю и пошли направо, берегом, по направлению к Балаклавской бухте. Но тут их ожидало последнее в этот день и самое сильное испытание.

Море было беспокойно и мутно, и над ним нависли темно-серые тучи. Переменный ветер налетал порывами и взбалтывал море, как огромную лохань. Взлохмаченные волны с грохотом выплескивались на берег и, вынося туда крупную гальку, увлекали ее с собой обратно. Над волнами низко носились чайки и пронзительно кричали.

Уже видна была Балаклава — огоньки, лепившиеся по скалам и взгоркам. Ребята продрогли, и всем им хотелось есть. Жора зажмурил глаза и представил себе, как бывало растопит бабушка Елена печку, поджидая дедушку Христофора с морского лова. А дедушка причалит в бухте, и начнут они с Жорой таскать наверх корзины с рыбой. И какой только рыбы не было в корзинах! Кефаль, скумбрия, камбала, бычки, султанка... На жарит бабушка Елена рыбы большую сковороду, с помидорами нажарит; а то другой раз напечет прямо на горячих угольях... Ух, и вкусно же!

— Stop! ¹ — раздался вдруг окрик, словно кнутом щелкнуло.

Ребята не могли сообразить, откуда появился он, этот английский солдат, закутанный в клетчатое одеяло. Точно из-под земли вырос.

Направо был утес, слева море, тропинка была узка, и дорога в Балаклаву... перерезана! Бежать в обратную сторону? Но у солдата в руках штуцер. Еще хлестнет, чего доброго, в кого-нибудь да уложит на месте.

Солдат лопотал что-то, тыча штуцером в мешок с сеном. И ребята вспомнили наказ Петра Кошки и поступили, как он их научил.

— Мэ-э!.. — протянул Николка и показал солдату веревку.

— Мэ-э?.. — протянул вопросительно солдат.

¹ Стой!

— Да-да! — стали кричать ребята, перебивая друг друга. — Коза у нас ушла... мэ-э!.. ищем козу, понимаешь? Гашка-Машка, да...

И чтобы солдату понятно стало, что это за козой ходили ребята, а не за чем другим, Мишук бросился на землю и умудрился почесать у себя левой ногой под самым ухом.

— Мэ-э! — кричал он при этом, подбрасывая ноги и головою дергая, как бы бодеясь.

Солдат расхохотался и ткнул Мишука прикладом.

Мишук поднялся с земли, потный от всего, что он только что проделал, а солдат все еще продолжал хохотать.

— Мэ-э! — кричал он, шагнув в сторону и пропуская ребят.

— Мэ-э! — отвечали ему ребята, пускаясь снова в дорзгу.

И долго они так перекликались — ребята, вышедшие сухими из воды, и одураченный ими солдат. Ребята уже были у бухты, и бабушкин домик Жора различал на горе, а дурашный солдат все еще мекал по-козьему, совсем как заправская коза.

В городе повсюду в окнах горели огни. Над одним домом на плацу хлопал под ветром огромный флаг. У ворот был столб, выкрашенный в красный цвет, с железным кольцом, в которое вставлен был зажженный факел. По плацу провели старика, заросшего седой щетинистой бородой, и странно было ребятам видеть, как выбрасывает

старик ногу и откидывает руку в сторону. Один Жора догадался, что это капитан Стаматин Елизар Николаич, которого он видел не раз, когда гостил у дедушки. Мишук и Николка о Стаматине слышали, но в лицо его не знали.

Вся бухта полна была вражеских кораблей. По набережной проходили воинские части. Даже рота турок прошла с барабанами и бубном. Но на ребят никто и не взглянул, и они беспрепятственно поднялись на гору и оказались у цели.

Крепчал ветер, гудело море, пошел дождь. Огонек горел внутри дома, подле которого остановились ребята. Они стояли все трое и жадно глядели в окошко просторной комнаты с большой русской печью.



На середину комнаты был выдвинут квадратный стол на толстых ножках, а за столом сидели два усача и, скинув куртки, играли в карты. На столе стояли бутылки, стаканы и лежала куча серебра. Поодаль на лавке сидела бабушка Елена и вязала чулок. Жора только открыл рот, чтобы крикнуть «Бабушка!», но Николка так стиснул ему руку, что Жора сразу опомнился.

«Надо стоять тихо и ждать», — решил Жора.

И все трое стояли тихо под дождем и ветром и ждали случая как-нибудь подать бабушке знак.

Но время шло, завывал ветер, а дождь уже лил ливнем, и ребята промокли до костей. И всё же они не могли оторваться от окошка, за которым было и светло и тепло, а два усача тасовали карты и сдавали их, поминутно подливая себе из горлатых бутылок.

— В тринку режутся, — решил Николка.

— Должно, в преферанец, — сказал Мишук, чувствуя, что ему раздирает рот от зевоты.



— И вовсе не в преферанец, — вмешался Жора. — В свист¹ играют. Деда мой говорил, что русские матросы — все в тринку; французы — чисто все в преферанец. А эти рыжие — они англичане, они — в свист. Как ошвартуется корабль английский, так матросы сразу все давай виску² хлестать и в свист резаться.

А дождь все лил, и бабушка сидела с чулком, и пики-козыри переходили у игроков из рук в руки. У ребят сверкало в глазах и в голове гудело от усталости, от дождя, которому не было конца-краю, и от «свиста», за который засели, может быть, на всю ночь эти два усача. Но вот один из них встал, налил полный стакан и залпом вкатил себе в глотку желтоватую жидкость. Потом поставил сумку и сгреб в нее со стола все серебро.

Тут встал и другой. Он растерянно поерошил у себя на голове волосы...

¹ Тринка, преферанс, вист — карточные игры.

² Виски — английская водка.

— Ага, продулся, гад! — шепнул злорадно Николка.

Ребята оживились и, вплотную прикинув к стеклу, не сводили глаз с усачей. А те натянули синие куртки с красными якорями на воротниках...

— Моряки, — шепнул Николка. — Наверно, откуда-нибудь из штаба.

— Из штаба, — согласился Мишук. — На постое живут у бабушки, а в штаб ходят на занятия.

Усачи тем временем стали надевать шинели, тоже синие и тоже с красными якорями.

— Уходят, — шепнул Мишук. — В штаб, видно, идут на дежурство.

— Сматывайся, братишки! — скомандовал Николка. — Сейчас выйдут.

Ребята бросились в угол двора и там спрятались за пустыми корзинами, в которых Христофор возил на базар рыбу.

— А мешок и веревка? — хватился Мишук. — Вот разини!

— Я сбегая, — предложил Николка.

Но было уже поздно: дверь открылась, и усачи вышли на улицу. И вдруг один, споткнувшись о мешок с сеном, заорал, потом распахнул дверь и стал кричать на бабушку. Бабушка, выбежав на улицу, разводила руками, подняла с земли мешок и веревку, лепетала что-то, все оправдываясь:

— Не знаю, не знаю, откуда взялось это... Коровки нету, козы нету, на что мне сено? Не мой мешок... Не знаю, не знаю...

— Наю, наю! — передразнил бабушку один из усачей, видимо тот, что споткнулся. — Тьфу!

И оба пошли со двора, громко разговаривая.

А бабушка Елена стояла под дождем без шали и рассматривала невесть откуда взявшийся мешок.

— Бабушка! — позвал тихо Жора.

— Кто там? — крикнула бабушка, всматриваясь в темноту.

— Это я, я, Жора, бабушка...

И Жора бросился к дому и принялся бабушку обнимать и целовать.

Бабушка стояла, словно окаменела.

Потом выронила из рук мешок и заплакала навзрыд.

XXXIV

Встреча в зарослях кизила

Времени было вдоволь, усачи были и точно из британского морского штаба и ушли на целые сутки. Бабушка Елена принялась было хлопотать, чтобы накормить чем-нибудь Жору и его товарищей, но у нее всей провизии оказалось только черствая

лепешка да две луковицы. Пойти раздобыться чем-нибудь у соседей было невозможно: ветер стал шквалистым, ливень пережегся с крупным градом.

На полке у бабушки стояли мясные консервы в желтых металлических банках, и две бутылки красного вина, и полголовы сахара, и галет мешок... Но все это принадлежало поселившимся у нее англичанам, и бабушка боялась даже прикоснуться к этому.

Долго пришлось Николке убеждать бабушку Елену. Он доказывал ей, что греха тут никакого нет, если взять у врага немного еды; и что усачей бояться нечего: все равно завтра на рассвете ребята вместе с бабушкой бросят все и уйдут отсюда, — поминай тогда, как звали! Пусть эти усачи хоть лопнут потом от злости, и очень даже хорошо, если они лопнут. Такие это сквалыги, только бы себе в живот, а бабушка в это время у них на глазах с голоду пропадала.

— Нешто нет? — кричал Николка. — Ни до чего им нету дела! Живут тут у бабушки, и всё. В преферанец либо в свист режутся и консервы жрут.

— Что верно, то верно, — вяло согласился Мишук, зевая во весь рот.

Бабушка Елена долго раздумывала и все колебалась и не соглашалась... Очень она была напугана: никак не ожидала, чтобы на старости лет — и столько всего натерпеться. Но, видя, как измучены ребята, голодные и холодные, — а у Жоры и во все зуб на зуб не попадал, до того вымок он и продрог, — видя это, бабушка наконец согласилась взять от всего понемножку.

Она раздула огонек на шестке и взяла с полки мясца кусочек из начатой банки, крупки горсточку, пару галет и обломочек сахара. Из всего этого получился такой ужин, вкуснее которого ребята, кажется, никогда не едали. Наваристый суп с галетами и кипятком с сахаром... И тепло в домике, горит на столе масляный ночник... Но на улице что делается!

Дождь и ветер носились по темной улице из конца в конец и словно мокрыми плетями били по чему попало. Там нигде, должно быть, не оставалось живого места: все было исхлестано ветром и дождем.

— Ветер, наверно, десять баллов, — сказал Мишук, прислушиваясь к неистовому завыванию за окошком.

— Давай все двенадцать, — поправил Мишука Николка. — Ураган. А в море как теперь!.. Страсти...

— наших нет теперь в море, — заметил Мишук. — Все на бастионах.

— И на бастионах ураган? — спросил Жора.

— А ты как думал? — сказал Николка. — На море ураган, а на бастионах солнышко играет?

— Обязательно и на бастионах ураган, — подтвердил Мишук.

Ребятам смертельно хотелось спать. Разомлевшие от тепла, от горячего супа и кипятка с сахаром, они уронили головы на стол и тотчас задремали. Бабушка постлала им на полу и с трудом уложила. Штанишки, куртки, обувь — все это бабушка развесила перед шестком, на котором еще тлели угольки.

Очутившись на полу, ребята сразу заснули как убитые. Но бабушка только забылась на часок и вдруг открыла глаза и присела на лавке.

Такой погоды бабушка Елена не могла запомнить. Уж так-то выл ветер, ревел море, бил дождь в стены и окна домика! На улице что-то страшно грохотало, что-то разрывалось на куски, что-то переламывалось пополам.

Бабушка пробовала задремать еще хоть на часок, но не могла. Она лежала долго в беспросветной темноте — ну прямо глаз выколи! А ребятам хоть бы что! Они не спали целые сутки, целые сутки провели на ногах и теперь посапывали на полу, угревшись друг подле друга под ватным одеялом, сшитым когда-то бабушкой из ситцевых лоскутков.

Слабый рассвет забрезжил на дворе, и бабушка встала и глянула в окошко.

Лет сорок подряд, с тех пор как поселились они в этом домике с дедушкой Христофором, бабушка Елена каждый день смотрела в окошко на бухту и на море, но никогда еще не видела подобного тому, что довелось ей увидеть сегодня. Черные волны гигантских размеров вбрасывались в бухту, и вода в бухте клокотала, как в кипящем котле. Вода уже залила всю набережную, а корабли, сорванные с якорей, сталкивались и расширялись, и обломки их носились по волнам. Где-то стреляли пушки, должно быть подавая сигналы о бедствии. Вдали, за бухтой, в море беспомощно моталось огромное транспортное судно, и стреляли, должно быть, с него. Ему грозила неминуемая гибель. Бабушка все это видела. Она не знала только, что на этом транспорте теперь находится взятый англичанами в плен начальник балаклавского гарнизона капитан Стаматин.

Вечером 1 ноября, накануне этой жестокой бури, капитан Стаматин был переведен из арестного дома на английский военный транспорт «Ливерпуль». Капитана Стаматина отправляли в Константинополь вместе с большой партией тяжелораненых солдат и офицеров из корпуса лорда Раглана. Второго ноября на рассвете транспорт должен был сняться с якоря. Но ветер еще ночью достиг силы полных двенадцати баллов, а на рассвете на транспорте лопнули якорные цепи, и судно вылетело пулей из бухты в открытое море. В одно мгновение на транспорте оказались сломанными все мачты и сорван руль. Обрушившая-

ся на судно волна смыла с верхней палубы всех вахтенных матросов вместе с вахтенным офицером. Корабль стал игрушкой волн и ветра.

Капитан Стаматин оставался в отведенной ему каютке на носу корабля. Все, что было в каютке, расшвырялось килевой и бортовой качкой в разные стороны, и на капитана Стаматина упал сверху, развев густую пыль вокруг, пробковый спасательный пояс. Капитан Стаматин подумал, что, может быть, это сама судьба посылает ему орудие спасения от смерти и плена, и стал прилаживать на себе пояс и завязывать позади тесемки. Едва он управился с этим, как волна пробила иллюминатор и вода хлынула в каюту. Стаматин недолго думая открыл дверь и полез куда-то наверх.

Он очутился на батарейной палубе транспорта, и его сразу чуть не убила ринувшаяся на него пушка. Сорвавшаяся с привязи, она, как бешеная, носилась из стороны в сторону, в зависимости от того, куда кренилось судно. Пушка уже вышибла закрытые ставни в амбразуре и словно только и ждала появления капитана Стаматина, чтобы броситься на него. Но судно неожиданно дало обратный крен, и пушка рванулась обратно. Капитан Стаматин мигом забился в закуток за поворотом между лестницей и стенкой, куда не добиралась взбесившаяся пушка. И все, что творилось на море и в бухте, сразу открылось капитану Стаматину сквозь открытую амбразуру.

— Ишь, как бунтует, разыграй-царевич! — сказал капитан Стаматин и даже как будто улыбнулся.

Бедствие было велико, но оно не печалило капитана Стаматина. Он хотел, чтобы ветер дошел до крайнего неистовства, волны поднимались еще выше и море расступилось и сразу проглотило в своей пучине все эти корабли, и фрегаты, и корветы, и пароходы... Все они вломились полтора месяца назад в тихую Балаклаву и всё развеяли там, как солому.

Еще одна пушка сорвалась тем временем с лопнувших канатов, и уже две пушки носились теперь словно в паническом ужасе по батарейной палубе из конца в конец, налетая одна на другую. Капитан Стаматин слышал где-то близко вопли раненых и командные выкрики на непонятном ему языке и полез еще выше. По дороге он снял со стенки спасательный круг и надел его через плечо. Едва он выбрался на верхнюю палубу, как его подхватила налетевшая волна, взмыла с ним высоко вверх... и он полетел, как щепка, с волны на волну, с волны на волну и захлебнулся в тяжелой, черной, мутной воде.

Когда ребята проснулись, было уже совсем светло. Вся черепичная крыша с домика была сорвана. Дождь и град хлестали в разбитое окошко, и вода с подоконника стекала на пол.

— Ветер двенадцать баллов, — сказал Мишук.

— Шторм, — откликнулся Жора.

— Ураган, — поправил Николка и подбежал к окну.

Над бухтой носились сорванные с домов крыши, полотнища парусиновых палаток, кубы прессованного сена, корзины, мешки, бревна, доски... Мачты на кораблях раскачивались, как пьяные. Они с треском переламывались, и обломки их подхватывал ветер. А в море близ берега огромный военный транспорт швыряло по волнам, как скорлупку, и на судне не было ни мачт, ни кормового флага; должно быть, не было уже и руля. Это был английский военный транспорт «Ливерпуль», с палубы которого только что сорвался в море капитан Стаматин.

Николка заявил, что в такую погоду и думать нельзя вернуться в обратный путь: надо подождать, пока утихнет.

— А постояльцы бабушкины вернутся из штаба — нас увидят... — возразил Жора и даже к окошку подошел поглядеть, не поднимаются ли по тропинке на гору усачи с красными якорями на синих куртках.

— А мы скажем, что только на минуточку забежали к бабушке, — успокоил Жору догадливый Николка. — Мы им тоже скажем, как вчера дуралею этому с одеялом: «Мэ-э!» — козу искали.

Это понравилось ребятам и бабушке Елене тоже понравилось. А Мишук опять стал лягаться, как вчера, и прыгать и чесать ногой у себя за ухом. Все смеялись и ждали, когда утихнет буря.

Однако время шло, а буря не утихала. Бабушка заткнула разбитое стекло подушкой, но подушка быстро намокла, и с нее струйкой потекла на пол вода. Бабушка подставила таз, и вода со звоном стала падать и накапливаться в тазу. Скоро всем захотелось есть, а бабушка, как и вчера, не знала, что делать. Николка снова стал убеждать бабушку взять немножко у постояльцев, и Мишук с Жорой тоже уговаривали бабушку. И они рассказали бабушке про матроса-героя Петра Кошку. Кошка бы уж так не оставил: все бы съел до крошечки, а неприятелю оставил бы шиш. На то война! А так что же получается? Неприятель будет обжираться, а русские станут помирать с голоду? Кто же тогда будет Севастополь защищать, и вылазки делать, и дедушку Христофора лечить в госпитале? И тогда дедушка Христофор совсем умрет.

Бабушка Елена замахала руками: она не хотела, чтобы дедушка Христофор умирал. И она бросилась к полке, снова отщипнула из банки волоконце мяса, взяла из мешка одну галеточку и опять раздула на шестке огонь.

Буря не утихла и к вечеру, и все волей-неволей оставались на месте и ждали, что вот-вот вернутся с дежурства усачи.

— Хоть бы их водой захлестнуло в их проклятом штабе! — буркнул Николка.

Но бабушка покачала головою и сказала, что грех так говорить.

— И вовсе не грех, — стал спорить с бабушкой Николка. — Дедушка Перепетуй говорит, что все они разбойники, пришли сюда нас мучить. И Нахимов тоже сколько раз говорил на пятом бастионе, где мой тятя: «Братцы! Прогоним врага с родной земли, сбросим его в море». Это значит, чтобы он там захлебнулся, враг. И всё.

Сказав это, Николка вышел в сени взглянуть, не возвращаются ли усачи из штаба.

Он приоткрыл дверь на улицу. Ночь была там безмерна и словно наполнилась конским ржаньем. С бухты ли шел этот рык, яйла¹ ли гудела? Все же ветер немного ослабел, а на улице было бело от напáдавшего снега.

Николка постоял, поглядел, послушал, как рычит и корчится ночь, и вернулся в дом.

Ребята решили не ложиться. Может быть, утихнет еще хоть немного, и тогда они сразу тронутся в путь.

— Ветер восемь баллов, — сказал Мишук, прислушиваясь к свисту: вью-вью-у-у!

— Восемь, больше не будет, — подтвердил Николка.

— Пошло на убыль, — добавил Жора.

И все согласились, что пошло на убыль и надо собираться в дорогу.

Уже и с потолка пошло капать, и штукатурка стала отваливаться большими кусками: снегу-то ведь навалило прямо на чердак!

Жора вспомнил, что у бабушки была тележка, в которой он возил на базар рыбу. Надо было захватить с собой эту тележку, а то у бабушки ноги пухнут; как ей с больными ногами такую дорогу пройти? И Жора пошел в сарай искать тележку.

Светало. Ветер дул ровно, и сила его была теперь не так велика. Таял снег, стекая вниз с горушки. Вода с набережной сошла обратно в бухту, и вся набережная была завалена обломками разбитых кораблей. По всей Балаклаве бродили люди с зажженными фонарями, собирая, что уцелело от страшной бури второго ноября.

Сарай, как и дом, стоял без крыши, которую тоже снесло ветром. Но тележка в сарае была на месте, полная пустых рогожных кулей. Жора стряхнул с кулей снег и выкатил тележку из сарая.

Все вышли на улицу.

— Четыре балла, — сказал Мишук.

¹ Яйла — горный хребет вдоль южного берега Крыма.

— Четыре, — согласился Николка и взял с тележки совсем еще новый куль.

Пока бабушка Елена укладывала в тележку какие-то свои узелки, Николка вернулся в дом и набил весь куль продуктами. Все поместилось в куле, и шиш остался на полке. Мясные консервы, галеты, сахар, крупа, вино — все проглотил бездонный Николкин куль.

«Пусть-ко попомянутся, гады! — злорадствовал Николка, завязывая куль поднятой с полу тесемкой. — Небось всё бабушку морили голодом, а нынче и сами без обеда останутся».

Надо было торопиться, а то как бы в самом деле не нагнули усачи. Николка незаметно сунул куль с продуктами в тележку, и все стали спускаться с горушки.

Было очень скользко. Снег стаял, но на тропинке еще не просохло. Жора и Мишук поддерживали бабушку, а Николка тащил тележку.

Буря наделала столько хлопот неприятелю, что никому не приходило в голову о чем-нибудь расспрашивать каких-то мальчишек и старушку. Ребята выбрались вместе с бабушкой за город и пошли берегом моря той же тропой, по которой третьего дня пришли. Они узнали место, где их остановил тогда вражеский солдат, закутанный в одеяло. И всем им стало весело при воспоминании о том, как они одурачили этого болвана, тывкавшего своим штуцером в набитый сеном мешок.

— Мэ-э! — протянул Мишук.

И Николка с Жорой, забавляясь, стали ему вторить. Но в это время чей-то слабый голос донесся к ним из-за кизилового куста:

— Ой!.. то самое... Есть тут кто-нибудь? Русские люди...

Все остановились, и Николка с Мишуком, оставив бабушку с одним Жорой, бросились к кусту.

За кустом лежал заросший щетинистой бородой старик в изодранном и запачканном грязью офицерском мундире. Старик был обвязан пробковым поясом, а через плечо у него был продет спасательный круг. Лицо и руки у старика были в синяках и царапинах, а на лбу пламенела большая багровая шишка.

Старик пошевелил пересохшими губами и произнес:

— Детки, спасайте меня, спасайте капитана Стаматина...

И закрыл глаза.

Мишук и Николка кинулись за бабушкой и за тележкой, и бабушка слова не могла вымолвить от удивления. Капитан Стаматин содержался в арестном доме, потом рассказывали, что его отправляют в Константинополь, и вдруг такой случай!

Жора бегал за водой к морю; Мишук снимал с капитана Стаматина круг и пояс; Николка развязывал куль и вынимал оттуда одно за другим: вино, галеты, сахар... Бабушка Елена

только покосилась на Николку, но на этот раз ничего не сказала. Она принялась обмывать капитану Стаматину лицо и приводить полумертвого старика в чувство. Бабушка влила капитану в рот вина с полбутылки, и капитан сразу порозовел весь и даже улыбнулся. А когда бабушка стала пихать ему в рот намоченные в вине галеты и кусочки консервированного мяса, старик открыл глаза, присел и стал закусывать с большим аппетитом. Насытившись, капитан Стаматин рассказал своим спасителям, как это все с ним произошло и как морская волна накатилась с ним на берег. Обессиленная, она стала откатываться обратно в море и оставила капитана Стаматина на берегу в зарослях кизила.

Но что может сотворить судьба с человеком! Похоже, что после бури несчастному капитану совсем память отшибло. Еще полтора месяца назад бабушка Елена видела капитана Стаматина на балаклавском плацу. Ну, прямо — орел! В глазах огонь, грудь колесом... Правда, капитану Стаматину шел восьмой десяток, и грудь у него была выкачена колесом только потому, что в Севастополе военный портной Ерофей Коротенький не скупился в таких случаях на вату. Но все же приятно было смотреть на военного человека, который прохаживался вдоль фронта своей роты и вдруг оглушал и плац и бухту раскатистой командой:

— Ба-ррабанщи-ик!.. Горр-ни-ист!..

Или:

— Сборр к зна-мени-и!.. то самое... Пправое пле-чо!..

Вся Балаклава собиралась смотреть, когда капитан Стаматин выводил по праздникам свою роту на плац. А теперь — увы! — на что смотреть? Перед бабушкой Еленой был дряхлый старичонка, который все еще воображает невесть что.

Капитан Стаматин рассказывал историю своих злоключений, все порываясь вскочить и броситься на невидимого врага. А бабушка Елена, глядя на капитана, предавалась своим печальным размышлениям.

Между тем выглянуло солнце, дорога обсохла... Тогда решено было всем, вместе с капитаном Стаматиным, двигаться дальше, не теряя времени. Но капитан Стаматин после всего пережитого только и смог, что выбросить ногу и отвести руку. Это, однако, не подвинуло его вперед ни на шаг. Ребята и бабушка тоже — все они стали упрашивать капитана Стаматина сесть в тележку. Но капитан наотрез отказался. Он даже обиделся, заявив, что он не какой-нибудь несчастный инвалид и все знают, как он храбро защищал Балаклаву. Приосанившись, он тут же скомандовал:

— Смирно! Застрельщики впереди, обоз в арьергарде! То самое... Шагом марш!

Жора, Мишук и бабушка вышли вперед, а Николка потащил тележку вслед за ними. Капитан Стаматин стал снова выбрасывать ногу, но от этого попрежнему получался не марш вперед, а шаг на месте.

«Этак нам и в год до Севастополя не добраться», — решил Николка, наблюдая тщетные усилия капитана Стаматина сдвинуться с места.

И Николка, остановившись, принялся снова уговаривать капитана сесть в тележку.

По словам Николки, на всех бастионах всем было известно, что капитан Стаматин герой. И Павлу Степановичу Нахимову это тоже известно. И Меншикову и Истомину — всем, всем известно, что капитан Стаматин не хуже Казарского. Казарский на маленьком бриге отбил в 1829 году от двух турецких кораблей, а капитан Стаматин с одной ротой отбивался от целого корпуса. И капитану Стаматину, наверно, поставят памятник в Севастополе, и это даже очень просто, потому что Казарскому уже есть памятник.

Капитан Стаматин во все глаза глядел на бойкого мальчишку и ладонь к уху приложил, чтобы лучше слышать... То, что он, капитан Стаматин, храбрый офицер и честно выполнил свой долг, в этом он не сомневался. Но чтобы памятник ему поставили в Севастополе, это ему не приходило в голову.

Сказав о памятнике, Николка перешел на другое.

Хотя, говорил Николка, капитан Стаматин и герой и ему поставят памятник, но капитан Стаматин теперь человек раненый: он весь исцарапан, и шишка у него на лбу такая, какой Николке никогда не приходилось видывать ни у кого из мальчиков во всей Корабельной слободке. И в других слободках — в Артиллерийской, в Цыганской, в Карантинной, даже в Каторжной — нигде в Севастополе ни у кого никогда еще не было такой шишки, и такая шишка может быть только у тяжелораненого. А тяжелораненые никогда не ходят пешком: их либо переносят на носилках или же перевозят в повозках, полуфурках, тележках. И дабы окончательно убедить капитана Стаматина, Николка, вспомнив матроса Кошку, добавил, что перевозить тяжелораненых в тележках полагается по всем статьям морского устава.

И памятник, и действительно исключительных размеров шишка, и морской устав — все это так подействовало на капитана Стаматина, что он полез в карман, достал оттуда тряпочку и несколько раз высморкался. Глаза у него набухли, нос покраснел, и, всхлипнув, он повалился в тележку. Николка, не теряя ни минуты, сразу потащил ее за оглобелки, а Мишук стал подталкивать сзади. Жора поддерживал бабушку. Дело пошло бы у них очень споро, но дорогу время от времени преграждали всевозможные предметы, выброшенные на берег вчерашней бу-

рей. И не только вещи, исковерканные и разбитые, преграждали им путь, но и трупы матросов в синих куртках с красными якорями и трупы лошадей, верблюдов и мулов. Впрочем, тропа спустя некоторое время стала удаляться от моря, и останавливаться приходилось иногда только из-за упавшего на дорогу каштана или тополя. Все же у деревни Алсу пришлось и дольше задержаться. Здесь капитан Стаматин по требованию Николки вывернул свой мундир наизнанку и залез в тележку под рогожи. Пока капитан Стаматин возился с этим, Николка ползком подобрался к часовне, где стоял турецкий пикет. Но турок там уже не было, часовня полна была конского навоза, а образа были все изрублены в щепы. На пороге валялась с разможенной головой желтобрюхая змея.

Когда Николка вернулся к своим, у капитана Стаматина один нос торчал из-под рогожи.

— Лево руля! ¹ — скомандовал Мишук Николке, когда тот снова ухватился за оглобелки.

— Есть лево руля! — весело откликнулся Николка.

Взяв лево руля, он мигом раскатил тележку по скату. Мишук едва успел ему крикнуть:

— Так держать!

Но Николка уже не откликался. Он летел вместе с тележкой вниз по скату, ветер свистел у него в ушах — только свист, и ничего больше, — так что даже вопли капитана Стаматина в тележке Николка принимал за свист и вой ветра в корабельных вантах.

Неожиданно на пути у Николки выросли два порядочных камня. Николка мгновенно решил взять препятствие с ходу и прыгнуть поверх рифов, не убавляя парусов. И он перемахнул через камни вместе с тележкой.

Раздался треск, и еще громче завопил капитан Стаматин, подкинутый высоко кверху. Тележка вырвалась у Николки из рук, и всё — тележка, Николка и капитан Стаматин — полетело в колючий кустарник, разросшийся вдоль тропы.

XXXV

Ночью в подполье

У тележки было сломано колесо, а капитану Стаматину сразу стало стрелять в поясницу: выстрелит, отдастся по хребту, отпустит немного, потом снова стрельнет.

— То самое... — пробормотал капитан Стаматин.

Он захотел сесть, но это далось ему не легко.

¹ Команда «лево руля» означает поворот судна направо.

— Мда, — только и сказал он, стоя на четвереньках. — Мда, — повторил он, усевшись наконец у разлапистого держи-дерева.

На капитане Стаматине словно целые сутки горох молотили. Все ныло у злосчастного капитана: хребет и поясница, руки и ноги, и затылок, и загривок, и загорбок... А подле, в колючих кустах, ползал исцарапанный в кровь Николка. Далеко во все стороны разлетелось рассыпавшееся на части колесо. И Николка то тут, то там находил где втулку и обод, где ступицу со спицей. Хорошо еще, что куль с провизией был туго-натуго перевязан веревкой! Он был целехонек и каким-то образом, вывалившись из тележки одновременно с капитаном Стаматиным, очутился с ним рядом у того же держи-дерева. Как только капитан Стаматин пришел немного в себя, то сразу заметил, что куль лежит подле, цел и невредим. Это было настолько приятно капитану, что он даже попытался вступить с кулем в разговор.

— Родимый! — сказал капитан Стаматин, и слезы умиления навернулись у него на глазах. — Куманек! Весь тут? Неповрежденный. Ни раны, ни контузии. Не грех бы по такому случаю...

Однако что хотел тут предложить по такому случаю капитан Стаматин, осталось неизвестным. Как раз в это мгновение ему так стрельнуло в поясницу, что он взвыл даже. Скрючившись, он обхватил куль обеими руками и замер, боясь пошевелинуться. В таком положении его нашли Жора с Мишуком и бабушка Елена, которая шла очень медленно, но подоспела как нельзя более кстати. Она тотчас развязала куль и дала капитану Стаматину понюхать из бутылки, потом налила ему полный стаканчик. Капитан Стаматин выпил, крикнул и стал жевать какую-то галетку, поверх которой бабушка Елена положила ему ломтик консервированного мяса.

Вскоре из кустов выполз Николка. Он стал подбрасывать к опрокинутой тележке все, что ему удалось разыскать. И оказалось, что ни одна спица не пропала, завалившись где-нибудь в кустарнике: все было налицо. Налицо были и втулки, и ступица, и обод... Николка быстро собрал все вместе.

— Не пойдет, — сказал Жора, наблюдавший за Николкиной работой.

Николка и сам видел, что колесо получилось вихлястое, готовое снова рассыпаться при первом же обороте. Спицы все вошли в обод и в ступицу, и втулки вошли в гнезда, но закрепить все это было нечем.

— Пойдет! — тряхнул упрямо головой Николка. — Должно пойти.

Он стал оглядываться вокруг, соображая и все твердя:

— Должно пойти. Должно пойти и пойдет.

— Не, не пойдет, рассыплется, — снова заметил Жора.

Но на этот раз Николка ничего не ответил. Он встал и, прихватив с собой колесо, спустился по скату вниз. Там он швырнул колесо в лужу, полную дождевой воды. И, вымыв лицо и руки, вернулся к держи-дереву, подле которого хлопотала бабушка Елена и управлялся со своей галеткой капитан Стаматин.

О продолжении пути пока что нечего было и помышлять: в тележке не хватало колеса; капитану Стаматину нет-нет, а стрельнет в поясницу; у бабушки Елены распухли ноги. Но и на месте оставаться было опасно. По тропе, того гляди, мог проехать вражеский патруль, а компания подле держи-дерева с кулем своим и тележкой была вся на виду. Не лучше ли будет поискать укромного местечка где-нибудь у часовни либо в самой часовне?

Николка и Мишук побежали вниз к часовне, которая была попрежнему пуста. Они обшарили все стены и в одной обнаружили крохотную дверку, за которой была кладовка, чистая от конского навоза, но вся заваленная всякой всячиной: доски, медное кадило, церковные книги, полная корзина свечных огарков... И тут же — парусиновый кошель, в котором оказалась полная форма шотландского стрелка: красная куртка и пестрая клетчатая юбочка, башмаки с пряжками и белые гетры и огромная меховая шапка с пучком страусовых перьев. Николка сразу напялил все это на себя. Рукава ему пришлось подвернуть, а с шапки ничего нельзя было поделать: она не только налезала Николке на глаза, но norовила закрыть ему все лицо.

Ребята продолжали шарить во всех углах и нашли еще складной нож со сломанным лезвием, пустую банку из-под мясных консервов и пачку серных спичек. В углу, едва прикрытый доской, чернел люк с приставной лестницей в темное подполье. Из подполья несло чем-то затхлым, и лезть туда у ребят не было охоты.

Бабушка, когда увидела издали Мишука с шотландским стрелком в клетчатой юбке, вся съезжилась от страха, и Жора сразу загородил ее, чтобы не дать в обиду. А капитан Стаматин хотел прямо-таки превратиться в ничто и спрятал голову под куль с провизией. Но Жоре все же показалось странным, что вот шотландские стрелки все такие великаны и все белобрысые, и юбочки у них коротенькие, а этот, что с Мишуком, и куцоват, и смугловат, и юбка у него длинная, чуть не по щиколотки.

— Да это же Николка, Николка это! — вскрикнул Жора. — Ой, умру!..

И Жора бросился вниз, товарищам своим навстречу.

Он раз десять дернул Николку за юбку и перетрогал все медные пуговицы у него на куртке и все перья на шапке. Жора был прямо-таки счастлив, когда Николка подарил ему складной нож со сломанным лезвием и две серные спички. Медным

кадиллом Николка и Мишук решили порадовать бабушку Елену: наверно, бабушке зачем-нибудь в хозяйстве пригодится.

Впрочем, какая могла быть бабушке польза от такого не совсем обычного предмета? Ухи в кадиле не сваришь и оладушек не напечешь, и заместо самовара не пойдет оно.

— Ну, коли не так, — предложил Мишук, — бабушка сможет ходить с кадиллом в байдарский лес по ягоды.

Но Мишук тут же взял свои слова обратно. Для ягод кадилло было слишком мало, и бабушке таскать его в Байдарскую долину не было никакого смысла.

— Носись тут теперь с ним! — сказал Мишук и размахнулся кадиллом, чтобы забросить его в кусты.

Но Николка не дал ему этого: бабушке, дескать, самой видно будет, какое дать употребление медному кадилу с крышкой и с шишкой на крышке и с тремя цепочками, чтобы при надобности раскачивать его направо и налево.

С Николкой было еще и колесо от тележки, выловленное из лужи и за какой-нибудь час размокшее и разбухшее. Ни одна спица не вихлялась больше, втулки крепко сидели в гнездах, колесо вполне годилось в дело.

— Теперь пойдет! — сказал торжествующе Николка. — Должно пойти.

Жора осмотрел колесо, постучал кулаком по ободу, перебрал все спицы...

— Теперь пойдет, — согласился он, возвращая Николке колесо. — Накинуть на ось, чеку вставить — и катай-валяй!

Николка снял с себя клетчатую юбочку и все остальное, что он надел из амуниции шотландского стрелка, и отнес бабушке Елене кадилло.

Но бабушка Елена отнеслась к Николкиному подарку довольно равнодушно. Она взяла кадилло, открыла крышку, потом вновь закрыла. И ничего не сказала, только цепочками задумчиво погремела. Завернув кадилло в холстинку, она положила его подле себя.

Было уже поздно — день-то прошел незаметно, и столько было всего! Ноги у бабушки Елены стали совсем как два обрубка. А капитану Стаматину и вовсе не сладить было со своей поясной: все стреляло и стреляло... Кое-как уложили его ребята в тележку и отвезли к часовне. Потом вернулись с тележкой обратно и отвезли к часовне бабушку Елену.

Ночевать стали в кладовке при часовне. Здесь на досках бабушка расстелила свое ватное одеяло из разноцветных лоскутков и еще набросала какого-то тряпья, кому что. И кто посапывая, кто похрапывая, а заснули все... все, кроме Николки.

Николка то ложился, то вскакивал и, неслышно ступая босыми ногами, пробирался на улицу. Там он обходил вокруг ча-

совни, проверяя, на месте ли тележка, упрятанная в кусты, и замирал, прислушиваясь к звукам, которые рождала ночь.

Это были звуки, шедшие непонятно откуда: какой-то шорох позади, всплески крыльев где-то рядом, а то легкий треск, как от надломленного сучка, или чье-то бормотанье словно спросонок. И над головой у Николки тоже стоял невнятный шопот, будто там, вверху, в светлом небе, шушукались звезды.

И вдруг этот строй малых звуков, осторожных и приглушенных, был резко нарушен топотом копыт.

Николка вмиг снова очутился на крыльце часовни и вытянулся там, как струна.

Топот шел со стороны Байдар. На горé мелькнули были огни факелов и вмиг пропали за деревьями. А топот стал еще явственнее. И пятнадцати минут не пройдет, как всадники нагрянут в часовню.

Николка метнулся к тележке и стал выдирать ее из кустов. Но через минуту раздумал и снова затолкнул ее в кусты. Потом бросился в часовню и стал поднимать всех по очереди.

— Бабушка, вставайте! — шептал Николка задыхаясь. — Господин капитан Елизар Николаич, вставайте... Жора, Мишук...

— А? Что? — закричал капитан Стаматин. — Тревога? Где? Кто? Откуда?

И, попытавшись встать, сразу грохнулся обратно на пол.

— Барабанщик! — крикнул он снова, барахтаясь между досками, ничего не видя в темноте и не различая голоса Николки. — То самое... Барабанщик, ударь тревогу! Тревога-а!

— Елизар Николаич, тихо... господин капитан... — увещевал капитана Стаматина Николка.

Нащупав в темноте щетинистую бороду, Николка схватил капитана Стаматина за плечи и так тряхнул, что у капитана пошло стрелять куда только. Он мгновенно присмирел, и тогда конский топот стал слышен и в часовне.

Николка сообразил, что время упущено, и выбираться из часовни на улицу, чтобы там спрятаться где-нибудь в кустах, поздно. Пламя факелов уже играло на тропе по скату и отражалось желтым в медных касках всадников и белым в их длинных палахах.

Бабушка всхлипывала в темноте; капитан Стаматин повторял только: «мда»; а Жора с Мишуком подползли к раскрытой на улицу двери и ждали, что будет. Один Николка не оставался на месте. Он поминутно выбегал на улицу и, возвращаясь в часовню, метался там из угла в угол и в кладовку забегал, где были капитан Стаматин и бабушка Елена.

«Вот сейчас, — думал Николка, — нагрянут эти, в медных касках, и тогда все пропало».

Они всех завезут, куда вóрон костей не заносил, и Николка больше никогда не увидит Севастополя и не будет ловить крабов под камнями в Большой бухте. А Николкина мать, поджидая его, будет плакать, лить горячие слезы, и, не дождавшись Николки, умрет с горя. И всё оттого, что Николка не слушался матери и по целым дням пропадал на бастионах и без спросу убежал из дому, в Балаклаву пошел с Мишуком и Жорой. И в Туретчине Николку будут мучить и огнем жечь, чтобы Николка стал турком. Но Николка лучше умрет, а в турка не перевернется никогда, хоть на куски его режь. И там еще видно будет: может быть, Николке удастся убежать из турецкого острога, даже наверно удастся...

— Ой! — вскрикнул от неожиданности Николка.

Доска, на которую он ступил, треснула у него под ногами, и он кубарем покатился куда-то вниз, в кромешную темноту. Там что-то сразу шарахнулось под ним, что-то пискнуло, и он сразу вспомнил, что под досками-то ведь был люк и лестница там виднелась в люке, лестница в подполье, куда он теперь провалился. Недолго раздумывая, Николка нащупал в темное лестницу.

— Бабушка! Елизар Николаич! — позвал он, высунувшись из люка. — Скорей, скорей, не мешкайте! В подполье, все в подполье полезайте! Мишук! — крикнул он, уже выбравшись из подполья весь. — Давай сюда бабушку!

Мишук тоже вспомнил про люк в подполье и, не медля ни минуты, потащил бабушку Елену к люку. Николка с Жорой ухватились за капитана Стаматина и запихали его в подполье вслед за бабушкой. Капитан пробовал было сопротивляться, но силы в нем не было никакой, и он скользнул вниз по лестнице, как тюфяк, набитый соломой. Вслед за капитаном Стаматиным в люк полетели одеяло из лоскутков и прочие бабушкины пожитки, потом куль с провизией, а за ним в подполье шмыгнули Жора и Мишук. Вражеские кони уже закружились на площадке перед часовней, а в самой часовне заиграли зловещие отсветы факелов и черные тени запрыгали... И только тут Николка, нырнув в подполье, накрыл над собою люк куском доски.

В подполье было гадко, липко, сыро. Крысы с визгом бросались из стороны в сторону. Слышно было, как тихо всхлипывает сквозь платок бабушка Елена. Тяжело, с присвистом, дышал капитан Стаматин. Ребятам под ноги попадались какие-то черепки и обломки — что такое, не понять было. Темень была в подполье — ни зги не видать! Но все сразу умолкло, бабушка перестала плакать, капитан Стаматин затаил дыхание, даже крысы как будто пропали куда-то. Вверху в часовне раздался топот шагов, звон шпор и бряцание оружия. Сквозь щель в доске, которую Николка накрыл люк, прорвался на один миг

лучик света от факела и пропал. Сердитые возгласы, похожие на ругань, а вслед за ними раскатистый смех гулко отдались под сводами пустой часовни. Кто-то стал носками сапог размывать доски в кладовке, и у Николки зашевелились на голове волосы. Он скрючился на верхней ступеньке лестницы у самого люка и готов был тотчас же скатиться вниз, если только доска, которую он накрыл люк, будет отброшена в сторону. Но случилось как раз обратное.

Николке слышно было, как на доску, прикрывавшую люк в подполье, упала другая доска, за ней — третья, потом еще и еще... Видно, целая груда досок уже нагромоздилась над люком, даже голоса наверху стали едва слышны.

— Хорошо! — шептал Николка. — А ну-ка, еще! Давай дальше!

И, словно по Николкиной команде, кто-то наверху лупил ногами по доскам и швырял их руками; и над люком, должно быть, досок этих уже выросла прямо гора.

— Валяй! — хихикал Николка, потирая в темноте руки. — Поддай еще, ногастый чорт!

Однако раз, другой, десятый, но ногастый чорт, орудовавший там, наверху, над головой у Николки, наконец не послушался Николкиного приказа. Зачем понадобилось ему перевернуть там все доски? Что он там искал? И нашел ли то, что так старательно разыскивал, или, наоборот, убедился, что оставленного здесь уже теперь не найти? Но только он перестал работать руками и ногами и громоздить над люком доски одну на другую. Николка еще прислушался к наступившей вдруг тишине и спустился по лестнице вниз.

Там тоже все замерло, все скорчилось там и притаилось. Одно только сердце у каждого гулко стучало в груди, и каждому хотелось, чтобы и сердце у него колотилось хоть немножечко тише. Но неожиданно в этой гробовой тишине...

Неожиданно в этой гробовой тишине не выстрел грянул, не бомба разорвалась... Это готовилось уже давно и только разразилось в эту минуту.

От сырости у капитана Стаматина давно стало щекотать в носу, и старик долго крепился, но, не выдержав, чихнул так, что крысы в панике снова повыскакали из своих нор и какими-то только им известными ходами бросились вон из подполья.

— Ах, чтоб тебе, старая корзина! — выругался Николка шопотом.

Но это бы ничего, если бы капитан Стаматин чихнул, утерся и успокоился. Так нет же!

— Чихи-чихи! Ап-чихи, ап-чихи!.. — только и гремело в подполье, только и разрывалось, только и отдавалось эхом в каких-то закоулках и ямах, которых, повидимому, было здесь немало.

Жора и Мишук сидели притихшие, ухватив друг друга за руки. Бабушка Елена стала стонать. А Николка чуть не рвал на себе волосы.

— Нашел время! — шептал он, стиснув кулаки. — Тоже герой называется! Памятник ему в Севастополе поставят... Как же, держи карман шире! Шиш ему в Севастополе поставят, а не памятник! Небось Казарский не стал бы чихать, когда не надо.

А капитан Стаматин тем временем все чихал и чихал. Уж такова была его натура! Как расчихается, так потом долго не может остановиться. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы Николка, нащупав подле себя бабушкино ватное одеяло, не набросил его на капитана Стаматина, определив по звуку, где в эту минуту капитан находился. И это вышло очень удачно. Правда, капитан Стаматин, и закутавшись в одеяло, продолжал чихать. Но теперь это уже получалось не так оглушительно. А вскорости, угревшись под одеялом, он чихать и вовсе перестал.

Наступила тишина невозмутимая. Ни один звук не проникал сюда и сверху. Николка взобрался на верхнюю ступеньку лестницы и приник ухом к доске, которою был прикрыт люк. Но и с этой позиции к Николке сверху не доносилось решительно ничего: ни шороха, ни шопота, ни возгласа, ни выкрика.

«Уехали? — спрашивал сам себя Николка. — Может, только спать легли? Нет, видно, уехали».

И, скользнув с лестницы вниз, он стал на четвереньки и приложил ухо к земле.

Он услышал отдаленный топот, звуки глухие, но еще различимые.

«Далеко отъехали», — подумал Николка и рассмеялся.

— Чего ты? — тихо спросил Мишук.

Но Николка ничего не ответил. Он растянулся на земле; что мешало ему — опять эти черепки; но он все слушал, не отнимая от земли уха; все слушал, как топот становился тише, дальше, глуше... Наконец, сколько ни прислушивался Николка, земля не доносила до него ни звука.

— Уехали, — сказал Николка, поднимаясь с земли. — Бабушка Елена, уехали. Мишук...

— Уехали! — обрадовалась бабушка, и слышно было, как она всплеснула руками.

— Может, не все уехали? — заметил робко Жора. — Остался один или двое...

— Зачем? — спросил Николка, и в темноте никто не увидел, как он помрачнел весь.

— А так, — ответил Жора. — На карауле, может быть, остались.

— Да чего караулить-то? Крыс одних?

— А так, — не унимался Жора: — досматривать. Дозор, значит.

— Дозор? — переспросил Николка. — Дозор... — И голос у Николки дрогнул.

Об этом он не подумал. А что, если Жора прав? Война ведь! Может, это и был развод караулов? Объедут всю округу и оставят где одного, где двоих, а где, может быть, и целый десяток. Но это сейчас... сейчас можно узнать. Надо только тихонечко отодвинуть обломок доски над люком и одним глазком взглянуть.

Николка еще не успел додумать всего, а уже снова был на верхней ступеньке лестницы.

— Сейчас видно будет, — твердил он неслышно, еле шевеля губами. — Один остался или целый десяток или никто не остался... Только чуточку отодвинуть доску — ну самую малость... щёлочку только... щё...

Но доска, словно ее кто-то наглухо привинтил шурупами, — ни с места. Ни вправо, ни влево; ни вверх, ни в сторону.

— Щё-лоч-ку! — шипел Николка, стараясь поддеть доску то плечом, то головой. — Щё-лоч-ку, — повторял он, выбиваясь из сил. — Ух!

И наконец ему стало ясно: слишком много досок было набросано там на люк. Где теперь одному Николке справиться с такой горой!

Но дело не пошло лучше, когда Николке пришел на помощь Мишук, а за ним и Жора. Как ни напрягались все трое, так что лестница под ними трещала, а результат был один. Пот катился с них ручьями, руки, плечи, кожа на голове были у всех в занозах и ссадинах, но доска не поддавалась ни на волосок.

— Хватит, — сказал наконец Николка, тяжело дыша. — Ложись в дрейф¹, братишечки.

— Ходу нет, — молвил Жора уныло.

— Мертвая зыбь, — подтвердил Мишук.

И ребята расселись по ступенькам, чтобы отдышаться и передохнуть.

Ни бабушка Елена, ни капитан Стаматин не слышали, о чем наверху, на лестнице, шептались ребята. Очень, видно, притомились старые, прикорнув каждый в своем углу. Но ребята, все трое, понимали, что нюни распускать не время: надо самим выбираться из этой ловушки и бабушку с капитаном спасать.

Тут Николка спохватился: ведь с ним были серные спички, целую пачку он давеча подобрал в часовне! И огарков у него

¹ Лечь в дрейф — поставить паруса так, чтобы судно оставалось на месте.

полон карман! Николка в темноте чиркнул обо что-то спичкой и зажег огарок.

Крохотный огонек сначала осветил только Николкину руку и лицо. Вокруг огонька образовался желтый световой кружок с расходящимися во все стороны лучиками. Потом пламя вспыхнуло, и растопленный воск обжег Николке руку. Но Николка едва почувствовал это.

Подняв в одной руке огарок, Николка другой рукой судорожно вцепился в ступеньку, на которой сидел. А Жора и Мишук схватили за руки друг друга и так и замерли в этом положении.

Внизу, в подполье, стояли рядом три гроба. Крышки с них были сорваны и лежали подле. По всему подполью валялись на земле истлевшие лохмотья, человеческие кости, оскалившийся череп. В углу на каком-то узелке сидела бабушка Елена, уронив повязанную платком голову на грудь. А капитан Стаматин, прислонившись к одному из гробов, крепко спал, закутанный с головою в бабушкино одеяло.

XXXVI

Встреча под старым кленом

Так прошло несколько минут.

Николка переводил глаза с одного гроба на другой, с разбросанных по всему подполью костей на оскалившийся посреди них череп, с бабушки Елены на капитана Стаматина. И вдруг встрепенулся Николка, поднял повыше зажженный огарок, вытянул голову вперед. Между двумя гробами, в кирпичной стене, чернело большое пятно. Что бы оно такое было? Николка чуть дыша сполз по лестнице вниз и, стараясь не наступать на кости, подобрался к тому, что густо чернело между гробами, низко, у самой земли.

Это было отверстие, отверстие, пробитое в кирпичной кладке неизвестно для чего. Может быть, там старый тайник, кем-то уже открытый и, без сомнения, очищенный; а может быть, подземный ход, лаз — но куда?

Мишук и Жора попрежнему оставались на лестнице, вцепившись один в другого, и не сводили глаз с Николки. Они видели, как Николка погрозил им пальцем, потом приложил тот же палец к губам... И они поняли: молчок, мол, тихо, ни гу-гу. Николка стал после этого уменьшаться в размерах и пропал, словно ушел в стену в том месте, где она чернела большим полукруглым пятном. И тотчас в подполье стало снова непроглядно темно.

Но все это только показалось Мишуку и Жоре в подполье с гробами при слабом свете воскового огарка. Николка в размерах не уменьшался, он только опустился на корточки и полез в отверстие в стене, вытянув вперед руку с зажженным огарком.

Сначала Николка очутился словно в русской печке. Над ходом был выведен полукруглый свод, и кирпичи вверху были покрыты сажей или копотью. Николка полез дальше и скоро заметил, что свода больше нет и над головой у него сырая — верно, от прошедшего ливня — земля. Огарок догорал в руке у Николки, но это не печалило его. Огарков этих с ним в кармане портков был полный запас, и пачку спичек он ощущал у себя за пазухой вместе с трубкой и кисетом, раздобытыми на берегу Черной речки в первый же день. Увлеченный своей задачей, Николка попрежнему не чувствовал, как растопленный воск обжигает ему руку. Но вот пламя вспыхнуло, затрещало, и огарок погас. И сразу стало темно и черно, словно утонул Николка в чернильной реке.

Только постепенно, очень медленно начало что-то обозначаться впереди, бесформенное и бесцветное, похожее на гигантскую медузу. Она была во много раз больше тех, что вылавливал Николка руками, купаясь в Большой бухте. Но, бесцветная, она довольно скоро посерела, потом приобрела голубой цвет, и — чего Николка, во всяком случае, никогда у медуз не видел — у нее появился глаз, круглый и светлый, и она принялась лукаво подмигивать Николке.

— Звездочка, — догадался Николка. — Это ж звездочка! — чуть не крикнул он, поняв, что ход из подполья с гробами и черепом ведет на вольную волю, где небо и звезды, и ветер, и мать в Севастополе, и тятка на пятом бастионе... — Звездочка, — шептал Николка как зачарованный. — А вон и другая... глянько — третья... Ах, ты!

И, не зажигая нового огарка, Николка, как змея, подтянулся дальше, и скоро голова его торчала наружу, в отверстии, которым кончался ход.

То, что Николка увидел, не порадовало его. Под часовней, в лощинке, горел костер. У костра, боком к Николке, сидел на земле человек, обнаженный до пояса, с сорочкой, разостланной у него на коленях. Судя по тому, как человек этот поминутно дергался, то припадая к сорочке, то выпрямляясь и растирая что-то между пальцами, — он занимался ловлей блох. И тут же рядом были брошены красная английская куртка, медная каска с волосяным султаном, карабин на ремне и палаш. С ногой, привязанной к поводу, бродил по ту сторону лощинки неразличимо каких мастей конь.

Николка вертел головой, словно она была у него на шарнире. Он долго высматривал, нет ли тут еще солдат, кроме этого,

который охотился за блохами. Но, думал Николка, были б еще солдаты, были бы еще и лошади, помимо той, которая паслась невдалеке, переходя с места на место, припадая на одну ногу — должно быть, на ту, к которой привязан был повод. Решив так, Николка вытянулся из подполья весь.

Чем было взять этого охотника за блохами? Если бы у Николки был с собой хотя перочинный нож... Николка пожалел даже, что так опрометчиво подарил бабушке Елене медное кадило. Оружие самое подходящее. Подкрасться сзади, раскатать на цепочках и — рраз! — обрушить эту тяжесть на голову блохолову. Впрочем, Николка тут же отверг эту мысль. Во-первых, где все же теперь кадило? Ползи за ним в подполье, когда обстановка складывается так, что нужно действовать безотлагательно. А кроме того, кадило можно было считать оружием, производящим слишком много шума: крышка стучит, цепи брещат...

Не зная еще точно, на что он решится, Николка стал подползать к костру, однако так, чтобы подобраться к блохолову сзади. Николка полз... С каждой минутой ближе костер, еще ближе... Лошадь по ту сторону ложбинки подняла голову и, наострив уши, заржала. Николка остановился, огляделся и увидел на земле, вправо от себя, какой-то чурбан. находка была кстати. Прихватив ее, Николка пополз дальше и снова остановился, расластавшись на земле. Блохоллов откинулся от своей сорочки и, подобрав сучок, стал им чесать себе спину. Николка был теперь так близко, что даже разглядел у блохоллова шрам на спине и рыжие волосы на лопатках, густые, как у сеттера.

Блохоллов, почесав себе спину левой рукой, взял сучок в правую, но сразу выронил его и хлопнул ладонью по сорочке. Он склонился над ней всем корпусом: должно быть, редкий по величине экземпляр блошиного царства попался ему... Блохоллов ничего другого не видел, ничего не слышал... А Николка тем временем выпрямился, наметился, напряжился и с чурбаном в вытянутых руках упал на блохоллова.

Чурбан, как и рассчитал Николка, обрушился блохоллову прямо на затылок. Что-то шмякнуло при этом, что-то хрипнуло и сразу затихло. снова заржала лошадь, а блохоллов так и остался склоненным над своей сорочкой.

Подхватив с земли карабин и палаш, Николка отбежал с ними к часовне. Он остановился там на минуточку, прислушался, взгляделся... Было тихо, ниоткуда никаких звуков; мигали вверх звезды, припал к своей сорочке и оставался недвижимым блохоллов. Николке и пяти минут не потребовалось, чтобы в кладовке разметать над люком доски и с помощью Жоры и Мишука извлечь из подполья капитана Стаматина и бабушку Елену. Капитан, по старой привычке, пробовал было дать команду в

связи с обнаружившейся ночной тревогой, но все же позволил вывести себя из подполья, откуда он потащил за собой очень понравившееся ему бабушкино одеяло. Обоих — капитана Стаматина и бабушку — ребята устроили в стороне, позади часовни, а затем принялись за блохолова.

Вместе с зажатой в руке сорочкой, в которой притаились все не пойманные еще блохи, блохолов был перетащен в часовню. Похоже было, что Николка не убил его чурбаном, а только сильно оглушил. Тем скорее надо было покончить с этим, так, чтобы следов не оставалось. И ребята, недолго размышляя, спустили блохолова в подполье и закидали люк досками. А потом Николка бросился в кусты за тележкой. Скорей, скорей надо уходить отсюда, всем уходить, не оставляя и следа. Пусть подумают англичане, что блохолов перебежал к русским или что его чорт съел...

Но Николка успел уже раз десять обшарить все кусты, а тележки нигде не было. Николка твердо помнил, что он поставил ее здесь вот, за обрывом, и еще закидал ветками... Но ветки лежали на земле, а тележка словно в землю ушла. И Мишук тоже принялся искать тележку...

— Николка, Николка!

Жора уже давно кликал Николку, который пропадал где-то в кустах. Но Николка весь ушел в поиски пропавшей тележки.

— Николка! — наконец услышал он и высунул голову из кустов. — Мишук!

Мишук тоже выглянул.

— Сюда... Николка... Мишук!

Николка и Мишук подбежали к Жоре, извлекшему что-то из груды тлеющих угольев. Это было обгоревшее колесо от тележки, которое Николка давеча бросил в лужу, чтобы оно там разбухло. Отсыревшее, оно, очевидно, не сразу поддалось огню. А все остальное... Кроме этого колеса, ребята нашли под угольем четыре железные чеки и шкворень, тоже железный. А все остальное пошло блохолову на костер и сгорело дотла.

Время шло, надо было немедля уносить отсюда ноги. Николка только зубами заскрипел, когда увидел, что сделал с тележкой блохолов. Как же теперь без тележки? Капитан Стаматин хоть и пыжится, хоть и хорохорится, а стал совсем плох. Да и с бабушкой Еленой не намного легче.

— Убить его мало, гада блохастого! — сказал Николка, стиснув кулаки. — Сколько в часовне навалено досок! На сто костров хватит. Так нет же! Тележку ему надо было сжечь. У, чтоб тебя в подполье блохи загрызли!

Чем-то теплым обдало в эту минуту Николку по затылку и голове, словно баннным паром чуть пыхнуло. Николка вздрогнул и обернулся.

Позади него стоял конь золотисто-рыжей масти с поводом, прихваченным к ноге, конь блохолова. Шерсть у коня лоснилась, грива низко свисала, хвост был завязан узлом. На таком коне Николка доскакал бы до Севастополя в полчаса. Но не для себя он был теперь нужен Николке.

Николка погладил коня по храпу. Лизнув руку Николке, конь принялся обнюхивать у него голову.

Седло желтой кожи было брошено тут же. Николка улыбнулся. Не в тележке, так верхом! Наверно, капитану Стаматину верхом даже поспособнее будет. И бабушку Елену можно пристроить позади, на крупе коня.

— Живо, живо! — крикнул Николка. — Собирай все, а я оседлаю рыжего.

Николке не стоило труда разобраться в седле, во всех этих пряжках и застежках; он умел отличить чепрак от потника и нагрудник от пахвы. В Севастополе Николка перевидал и коней и седел, никогда бы не спутал киргизскую лошадь с донским маштаком, видал ротмистра Подкопаева на арабской кобыле в английском седле. Ребята еще не увязали пожитков, а Николка уже подвел капитану Стаматину оседланного коня.

Оседланный конь произвел на капитана Стаматина необыкновенное действие. Старик, вспомнив, должно быть, лихую молодость свою, сразу взбодрился, выпятил грудь и без посторонней помощи поднялся на ноги. Он даже вдел ногу в стремя, и Николка очень проворно подсадил его, а Мишук перекинул ему другую ногу через седло.

«Трубач, труби сбор к знамени», — хотел было скомандовать капитан Стаматин, но сразу осекся, потому что ребята, накинув коню на круп бабушкино одеяло, мигом взгромоздили на него и самое бабушку.

Капитан Стаматин почувствовал, что бабушка сзади крепко обхватила его обеими руками и ни за что теперь не отпустит.

— Мда, — произнес капитан Стаматин.

И подумал при этом, что хорошо вот — ночь теперь на дворе. А увидел бы кто-нибудь капитана Стаматина среди бела дня в такой позиции — и пропало все: и честь и слава. Сообразовавшись с этим, капитан уже не отдал никакой команды. Тем более, что, в довершение всего, ему подкинули и рогожный куль. Позади бабушка, впереди куль! Впрочем, против куля капитан Стаматин, собственно, не стал бы возражать. Наоборот, ему даже приятно было слышать, как что-то там внутри, в куле, булькает, шуршит и позвякивает.

Николка повел коня за повод, а Мишук и Жора шли по сторонам, поддерживая капитана Стаматина и бабушку Елену. Кроме того, ребята волокли каждый что мог. У Николки на плече висел карабин, а рука была продета сквозь завязки в ко-

шеле. Там, в кошеле, снова поместились клетчатая юбочка шотландца, его шапка и башмаки на пряжках... Жора тащил палаш блохастого, Мишук — его медную каску.

Не успел еще Николка вывести коня на тропу, как бабушка Елена забеспокоилась.

— Кадило! — сказала она. — Ой, Жорженька! Турки, турки придут...

Бабушка очень боялась, что придут турки и, найдя кадило, осквернят его: наплюют в кадило или как-нибудь иначе напакосят. Турки всегда так — в христианских храмах творят невесть что и с иконами, и с кадилами, и с другими священными сосудами... Бабушка до того разволновалась, что и за капитана Стаматина перестала держаться.

— Кадило здесь, бабушка, вот оно, — сказал Мишук и даже как-то брякнул цепочками, так что бабушка Елена сразу успокоилась.

Кадило в самом деле было с Мишуком. Обернутое в холстинку и упрятанное в каску блохолова, оно уместилось там как нельзя лучше.

А тем временем шла ночь, звезды перемещались в небе, но сколько осталось до рассвета, никто сообразить не мог. Впрочем, в ноябре-то ведь светает поздно, а до Севастополя осталось каких-нибудь верст десять. Ночью, в темноте, легче проскользнуть так, чтобы не быть замеченными с Федюхиных гор. Но тут опять, как нарочно...

Путники уже протянулись мимо Трактирного моста, из осторожности оставляя его от себя далеко влево, и увидели на противоположном берегу Черной речки, на Федюхиных горах, множество огоньков.

— Французы, — заметил Николка. — Не спят, окаянные! Должно, кофей варят.

— Кофей? — спросил Жора. — Вот гады!

— Французы! — встрепенулся капитан Стаматин. — Кофей... А? что? где?

И он рванул правую руку к левому боку, где у него обычно была сабля. Но теперь на левом боку у капитана Стаматина не было даже кортика.

— Мда, — сказал он, вспомнив, что саблю свою он, под давлением жестоких обстоятельств, вынужден был полтора месяца назад самолично передать английскому главнокомандующему лорду Раглану.

И зануло у капитана Стаматина сердце, и на глазах навернулись слезы. Ах, старый он стал, вся сила иссякла, и память, должно быть, отшибло, когда волна выкинула его на берег в кусты кизила. А конь... Хром он, что ли? Все время припадает на правую ногу — чем дальше, тем пуще. Капитан Стаматин еле

в седле держится. Собственно, не он держится, а бабушка Елена его держит, и Жора с Мишуком поддерживают, а то бы Елизар Николаич давно из седла вывалился, хлопнулся бы оземь, как старая тыква.

Да, золотисто-рыжий конь, захваченный у блохолова, был хром. Николка заметил это, как только они выбрались на тропу. «Не потому ли, — думал Николка, — блохолов и отбился от отряда, костер там развел в ложбинке у часовни и принялся на досуге блох ловить и вшей давить?»

— Как нарочно, — шептал Николка, стиснув кулаки, — как нарочно! Колесо рассыпалось, потом тележку сжег этот чорт блохастый... А теперь здравствуйте — конь охромел! Ну, погоди ж ты! — погрозился Николка, сам не зная кому.

Николка все же думал, что, переберись они на левый берег речки, они потом, во всяком случае, могли бы как-нибудь продвинуться до Килен-балки. А там уже все равно что дома: по обеим сторонам балки хутора, сады... Но французы почему-то молчали, молчали, а теперь принялись сыпать светящиеся ядра. Летит такая штука, где шлепнется — еще неизвестно, а свет от нее — на всю долину, мертвый, зеленоватый, будто десять тысяч серных спичек зажгли сразу. Где тут речку вброд переходить! Пришлось даже, не мешкая, всем смахнуться с тропы долой вправо и двигаться дальше вовсе без дороги, пробираясь глухими балками и продираясь сквозь кусты. Но тут рыжий окончательно перешел с четырех ног на три и двинулся таким аллюром, что капитан съехал вправо, бабушка — влево, и если бы не Жора с Мишуком, оба седока грохнулись бы оземь и рассыпались на части.

— Тпру! — крикнул Николка, выпуская из рук повод.

Николка опустил на колени, чиркнул об рукав спичкой... Копыто у коня было все в крови.

— Крышка, дальше не пойдет, — решил вслух Николка. — Ух, чтоб тебя! Не одно, так другое...

И капитан Стаматин, и бабушка Елена, и Мишук с Жорой — все сидели на земле и молчали. Один Николка метался из стороны в сторону, ерошил себе волосы, десять раз принимался осматривать у коня поврежденное копыто и десять раз повторять одно и то же:

— Крышка! Теперь крышка, братишечки! Ни коня, ни телеги... Господин капитан Елизар Николаич, крышка, говорю!

Елизар Николаич не возражал: он сам видел, что дело дрянь. В синем небе зеленоватые звезды собирались в стаи, и мигали, и подмигивали, словно ожидая, что из всего этого получится. Николке казалось, что звезды смеются над ним, особенно вон та, глазастая, что собрала вокруг себя целую кучу звездной мелюзги.

— Тьфу! — сплюнул Николка. — Погоди же! Мишук, Жора...

Ребята, все трое, отошли в кусты и долго шептались там. Потом Николка притащил парусиновый кошель и добыл оттуда полный наряд шотландского стрелка. И снова напялил на себя юбку и куртку, гетры натянул и шапку нахлобучил. Прихватив с собой карабин, Николка пошел узенькой тропинкой и скоро пропал в темноте.

Расчет у Николки был простой: добраться до Корабельной слободки, разбудить Жороного дедушку Христофора и рассказать ему все. Пускай только дедушка Христофор раздобудет коня и повозку — в этом все дело. И чтобы вернее было, Николка вырядился шотландским стрелком. Увидят издали неприятельские солдаты, как на Николке колышется на ходу юбочка, гетры белеют, вороньим гнездом шапка торчит, и не станут за ним гоняться либо стрелять по нему. А Николка и сам не даст маху, не пойдет на сближение с неприятелем — сиганет куда-нибудь в сторону или в ямке притулится. Ну, а встретятся русские, так Николке ж только этого и надо! И дедушку Христофора не придется будить. Сразу все бросятся выручать капитана Стаматина, и бабушку Елену, и Мишука с Жорой. Где ж это видно, чтобы русский русского не выручил, бросил в беде!

Николка шел, и звезды сверху чуть насмешливо наблюдали за ним, и где-то далеко-далеко брехали собаки и орали петухи. Перед рассветом, что ли, они разорались или это только полночь вещают они, первые ли это петухи или третьи, Николка не знал. Во всяком случае, он на востоке не заметил никаких признаков рассвета и надеялся еще затемно добраться до Корабельной слободки.

Чтобы сократить путь, Николка решил переправиться на левый берег. После ливня и от растаявшего снега речка была бурлива и полноводна, но найти брод все же Николке удалось.

Мальчик, оставив на себе одну короткую шотландскую куртку, оголился до пояса и вошел в воду. Она была очень холодна, колола, как спицами, и сводила Николке ноги, прямо-таки валя его с ног. Николка напрягал все силы, чтобы не свалиться в воду, и медленно брел в темноте, осторожно ступая по илистому дну, нащупывая ногами то камень, то какую-нибудь корягу. Вода сталкивала Николку с камней, и тогда ноги у него увязали в иле, а он снова выбивался на твердое место, высоко поднимая над головой узелок с платьем, башмаками и карабином. Когда Николка вышел наконец на берег, то, тяжело дыша, сразу повалился в ивняк. Передохнув, Николка вытерся юбкой шотландца и все снова надел на себя. И пошел дальше.

Светящиеся ядра временами попрежнему заливали зеленоватым светом горы, бугры и далекие бастионы. Но Николка шел

балкой, оставаясь все время в тени, и появлялся на поверхности только для того, чтобы бегом либо ползком перебраться из одной балки в другую. Он шел теперь по усеянному мелкими камешками дну иссякшего ручья, он знал эти места хорошо... Впрочем, было ли в окрестностях Севастополя такое место, которого Николка Пищенко не знал так же хорошо, как свой Гончий переулочек в Корабельной слободке! Вот сейчас будет поворот, а за поворотом — большой камень и старый, раскидистый клен...

Но Николка не дошел до поворота, как услышал хруст и храп.

«Стой!» — мгновенно скомандовал сам себе Николка мысленно.

И остановился как вкопанный.

Николка до того никогда не держал в руках карабина, а теперь даже не знал, заряжен ли он. Но дать, если придется, неприятельскому солдату прикладом — на это Николку, конечно, хватило бы. Стиснув в руках ствол карабина, Николка поднял высоко приклад, чтобы пустить его в дело при первой же надобности. И так приготовившись, стал подходить к повороту.

За поворотом все было на месте: большой камень давно врос в землю на добрую половину, а рядом давным-давно вырос здоровенный клен. Но теперь как раз из-под клена и шел этот хруст и храп — то, что заставило Николку так насторожиться. Николка сделал еще шаг и различил под кленом повозку и коня — не коня, но и не быка и не верблюда. В повозке лежал русский матрос и, прикрыв лицо бескозыркой, заливался во все носовые завертки.

Николка от радости ошалел. Вытащив из-за пазухи спичку, он чиркнул ею о приклад карабина.

Повозка, в которой спал матрос, была как в сказке. Николка никогда подобной не видывал. Она вся была снизу доверху выкрашена масляной краской в три колера. За синей полосой шла белая, за белой — красная, а потом снова в том же порядке. Даже спицы в колесах были разноцветные: спица синяя, спица белая, спица красная... И на такой же образец через все колесо. А запряжен был в тележку действительно не конь, и не бык, и не верблюд.

Спичка в руке у Николки догорела, и он зажег новую. То, что было запряжено в тележку, повернуло теперь к Николке голову, и Николка увидел, что это лошадь, однако чем-то смахивающая на осла.

«Да это же мул! — догадался наконец Николка. — Во какой!»

У мула была на лбу трехцветная кокарда, и морда у него была засунута в холщовую торбу. Животное бодро встряхивало

головой, набивая себе рот овсом из торбы и перетирая его затем у себя на зубах со смачным хрустом.

Но что тут случилось с мулом? Запах ли серной спички взволновал его или вид шотландского стрелка в полной форме так на него подействовал, но только мул почему-то вдруг перестал жевать, хлестнул хвостом, лягнул в передок повозки и как заревел:

— И-а, и-а, и-а!

Матрос в тележке мгновенно проснулся, смахнул с лица бескозырку, скользнул с повозки наземь... И у Николки горло словно петлей перехватило от неожиданности: перед ним сверкнул Петр Кошка, его лицо с приплюснутым носом, вся его вертикальная и гибкая фигура... Кошка, увидев в пяти шагах от себя шотландского стрелка с карабином в руках, сделал прыжок, вышиб у Николки из рук карабин, дал ему подножку, и не успел Николка опомниться, как он уже лежал на земле с косынкой во рту, с шапкой, нахлобученной на все лицо, и Кошка вязал его ремнем и веревкой по рукам и ногам.

Николка стал мычать и барахтаться, но Кошка, подняв его с земли, дал ему коленом в зад и швырнул в повозку. Для большей верности Кошка еще приторочил своего пленника веревкой к грядкам повозки и набросил на него мешок. Уложив в повозку Николкин карабин, Кошка снял с мула торбу.

— И-а, и-а, и-а! — закричал снова мул, недовольный тем, что у него отобрали торбу и вдобавок еще суют в рот удила.

— Поговори у меня! — сказал Кошка и щелкнул языком: — Но-о!

Тележка покатилась, подпрыгивая на буграх.

XXXVII

Широкая масленица

С некоторых пор, еще до того, как ребята отправились в Балаклаву, Кошка во время своих ночных вылазок стал замечать в неприятельском стане, вправо от английских батарей, пестро одетую бабищу, раскатывавшую в цветастой с колокольчиками, с бубенчиками повозке от костра к костру. Волосы у бабы были черны, как вороново крыло. И широка ж она была!.. Кошка как увидел ее из своего укрытия, так чуть не крикнул ей: «Эй, ты... широкая масленица!»

С тех пор Кошка так и называл ее Масленицей.

На Масленице были башмаки с белыми гетрами, красные шаровары, короткая синяя юбка и голубая гусарская куртка, вся расшитая желтыми шелковыми шнурами. Кинжал

довольно значительных размеров был прицеплен у Масленицы к поясу, а круглая шляпа со страусовым пером и трехцветной французской кокардой очень ловко сидела у нее на голове.

Чем ближе к неприятельскому бивуаку доводилось подползать Кошке, тем пуще дивился он ухваткам Масленицы и тому, что она проделывала при каждой остановке. Как только эта вооруженная кинжалом баба круто натягивала вожжи и кричала «гг-гг!»¹ своему мулу, десяток глоток приветствовал ее радостным криком, десяток фляжек протягивался к ее повозке, десяток рук хлопал ее по могучим плечам. А Масленица, таратора, как сорока, цедила что-то такое в каждую фляжку из раскрашенного в три колера бочонка, получала деньги, отсчитывала сдачу и, отпустив на прощанье какую-нибудь шутку, дергала вожжи и, причмокивая, катила к следующему костру.

Однажды Кошка подкрался к Масленице на расстояние, не превышавшее тридцати шагов. Он не только услышал, как звенят металлические фляжки, наполняемые из трехцветного бочонка, но уловил даже... уловил запах спиртного. Тогда Кошке стало все ясно.

С этой ночи Кошка как-то загрустил. Когда он рассказывал у себя на бастионе о бабе, широкой, как масленица, в шароварах и с бочонком, над ним просто смеялись.

— Ври, Кошка! — кричали матросы. — Хоть пост, хоть масленица, лей-заливай!

Другие, встречаясь с ним, кричали ему еще издали:

— Кошка! Скоро масленица?

Но не одно это печалило Кошку.

До всего этого он французов просто презирал.

— Без понятия народ, — делился он на бастионе своими впечатлениями. — Ты ему говори не говори — все одно что горохом об стенку. Вот вчерашний день снял я одного, арканом взял — фить! — и готово дело. Аркан тяну, а он, гляди, упирается, собака. Я ему: «Мусью, говорю, не утруждайтесь, попался — не уйдешь». А он нейдет — и все; руками в аркан вцепился... «Мусью, говорю, честью просят; удуленный ты мне не нужен, а приведу живого, так прямо в штаб тебя для приятного разговору. И нам польза, да и ты не в убытке». Куда там! Нейдет, окаянный; посинел весь, а нейдет. Ну, вижу, человек вовсе глупый, ему добра хочешь, а он... Не солгу, был грех, пришлось таки маленечко по башке треснуть, только тем и привел в понятие. «Москов бон!» — кричит. «То-то, говорю. Ну, ступай вперед, да не оглядывайся». Что ты думаешь? Пошел как миленький.

¹ Тпру!

— Кошка, — сказал матросик в просмоленной шинелишке внакидку, — скоро ль масленица?

Кошка окинул его взглядом с головы до ног и промолчал.

— Нет, ты скажи, — не унимался матросик: — скоро ль масленица?

— Масленица скоро, — произнес Кошка загадочно.

— Как так?

— А так, — бросил Кошка, поднялся и пошел прочь.

Кошка считал французов, стоявших против соседнего четвертого бастиона, не только людьми без понятия, а просто-таки безумными. Щей не варят, набрасают в котел травы да ракушек разных, зальют кипятком и жрут. А лягушку дашь, так, небось, и лягушкой не побрезгают.

— Лягушатники! — твердил Кошка, сплевывая сквозь зубы. — Совсем безумный народ.

Но до чего же был огорчен Кошка, когда убедился, что по части спиртного французы обставили не только все известные Кошке народы, но вместе с ними и русских!

— Очень, братишечки, у них эта забава в почете, — рассказывал Кошка. — Ты пойми, баранья голова! — обращался он к матросику в просмоленной шинельке. — Лежишь ты где-нибудь в ямке. Дождик тебя поливает, ветерок продувает, в брюхе труба играет — и вдруг катит это на тебя с горки, здравствуйте пожалуйста, хотите кружку, хотите две, вам за наличные али угодно в кредит, там сочтемся, люди свои, фу-ты, ну-ты, труля-ля... Да, братишечки, — повторял Кошка, — очень у них эта забава, очень...

Матросы хохотали, а просмоленная шинелька опять свое:

— Скоро ль масленица?

— Масленица скоро, — отвечал обычно Кошка и на этом кончал разговор.

И хотя Кошка убедился, что французы не такие уж дураки, поскольку «очень у них эта забава в почете», но уважать французов после этого все-таки не стал. Наоборот, он их теперь не только презирал — он их ненавидел. В нем что-то глухо протестовало против благоустройства и комфорта, с каким неприятель взялся за кровавое дело войны.

— Погоди ужо! — твердил он самому себе. — Масленица скоро. Доставим... возьмем «языка», да такого!..

И Кошка стал готовиться к тому, чтобы Масленицу у французов скрасть и привезти в Корабельную слободку в ее же повозке, с мулом, двумя бочонками, оловянными кружками и прочею снастью.

Был тихий вечер после прошедшей страшной бури, когда Кошка, вооруженный штуцером, арканом и крюком на длинной жерди, сошел с третьего бастиона и, пройдя наши передовые

ложементы, стал углубляться в неприятельское расположение, забирая вправо. Где ползком, где перебежками, но Кошка уже слышал, как переговариваются французские солдаты, залегшие в секретях, а ветерок доносил к нему пряный запах табачного дыма.

«В самый раз и нам бы раскурить трубочку», — подумал Кошка, но удержался от соблазна.

И секреты и ложементы французов остались позади. Кошка полз теперь на огни костров. Много их, костров, зажжено было на французской стороне — пожалуй, и не сочтешь. Поди угадай, у которого костра Масленица балагурит теперь с солдатами, наполняя то одну фляжку, то другую!

Кошка был терпелив. Он мог, выжидая, и ночь напролет пролежать где-нибудь в канаве. И Кошка залег, борясь со сном и с трудно одолимым желанием хоть один разочек затянуться из трубки.

Ночь была тоже тиха, пальбы не было вовсе. И без пальбы у неприятеля полно было после бури хлопот. Кошка приложил ухо к земле: тихо. Он еще подождал, и вдруг далекий звон бубенчиков донесся до его слуха. Ясно: Масленица начала свой объезд.

«На ловца, значит, и зверь бежит», — подумал Кошка и распластался так, что, только наступив на него ногой, можно было сообразить — не камень это и не бугор.

А колокольчики-бубенчики тем временем то запевали, то обрывали свою песню. Масленица, закончив дело у одного костра, переезжала, повидимому, к другому, потом к третьему... И все ближе становился звон, всё грохотливее погромки, насаженные у мула и на шлее, и на седелке, и на вожжах.

Кошка решил, что брать Масленицу вернее будет за последним костром налево. Наверно, и возвращаться она будет так, как приехала: по дороге позади костров, а не по фронту, обращенному к Севастополю. И Кошка перекатился через край канавы и пополз к крайнему костру, который едва мигал вдали.

А бубенчики попржнему то возникали, то пропадали. Кошка рад был, что Масленица задерживается у костров: по крайней мере, хватит ему времени доползти до цели и там залечь в подходящем месте.

Такое место нашлось. Кошка обнаружил, что дорога, проходя позади французских траншей, не кончается у последнего костра, а идет дальше, вниз и в объезд довольно крутой горушке. Здесь-то Кошка и устроился за развесистым дубом, который разросся по склону.

А бубенчики все ближе, звенят-поют, во весь голос разговаривают. И замолкли. Уже у последнего костра управляется Масленица:

— О-ля-ля, тру-ля-ля, тра-та-та!..

Кошка слышит, как стрекочет Масленица и как раскатисто хохочут солдаты.

— Au revoir, messieurs! — кричит Масленица. — O! o! et voilà! ¹ — и сочно чмокает губами, посылая направо и налево воздушные поцелуи.

— A ta santé, ma mignonne! ² — кричит ей в ответ на прощанье какой-то детина и — буль-буль-буль! — льет себе в глотку из фляжки.

Конец. Мул перебирает ногами, бубенчики переливаются в малиновом перезвоне, Масленица отправляется спать. Но, поравнявшись с дубом, она вдруг останавливает мула.

— Halte-là, petit béta, — говорит она, — halte-là, mon garçon! Tu n'en as pas assez de courir? Halte-là! ³

Мул остановился и, помахав хвостом, повернул голову к хозяйке. Две пары глаз наблюдают за ней: мул в упряжке и Петр Кошка из-за дуба. Кошка расправил аркан и приготовился его метнуть.

А Масленица тем временем нацедила себе из бочонка в кружку и, подняв ее вверх, кивнула мулу:

— A ta santé, mon petit! ⁴

Мул ударил копытом оземь и отвернулся. Масленица крикнула:

— Et donc toi, fainéant!.. Pas de bêtises! ⁵

И поднесла кружку ко рту.

В эту минуту Кошка метнул аркан.

Масленица захрипела и, выронив из рук кружку, выпала из повозки. В одно мгновение она, уже лежа на земле, выхватила кинжал из ножен и перерезала на себе аркан. Не помня себя от ужаса, она бросилась бежать обратно к костру, не в силах в первую минуту даже поднять крик. Кошка успел метнуть ей вдогонку жердь с крюком, но промахнулся. А Масленица уже вопила во всю свою исполинскую мочь:

— А-ля-ля-ля-ля! О-о-ой! Sauvez-vous! Les cosaques! ⁶ О-о-ой!

Ударил пушка, и светящееся ядро залило все поле перед траншеями зыбким светом. Началась беспорядочная ружейная пальба. Барабаны передали тревогу по всей линии фронта. Кошка вкинулся в повозку и погнал мула по колеям и без колея, через рытвины и канавы, куда б нибудь, только подальше

¹ До свиданья, господа! Вот!

² За твое здоровье, крошка!

³ Стой, дурачок, стой, мальчишка! Не набегался ты разве? Стой!

⁴ Будь здоров, мой малыш!

⁵ Ну ты, бездельник!.. Без глупостей!

⁶ Спасайтесь! Казаки!

от траншей и костров, от французских ложементов и французов в секретях — от всего, что неминуемо грозило ему теперь смертью или пленом.

Звон бубенчиков на муле слился с общим шумом поднявшейся суматохи. Но чем дальше отъезжал Кошка в сторону, тем явственнее различал он этот многоголосый звон, словно целую колокольную взгромоздили на мула и она вступала в ход, стоило только мулу сделать шаг.

— Тпру, стой! — крикнул Кошка.

И, соскочив с повозки, он вытащил из-за голенища нож и живо обрезал на муле все бубенчики, не оставив ни одного.

Мул отнесся безразлично к тому, что проделал над ним Кошка. Возможно, что мул даже был этому рад. Шутка ли — греметь бубенцами чуть ли не двадцать четыре часа в сутки! Мухи хвостом не сгонишь без того, чтобы не разгреметься на целых два лье¹ в округности. Хоть кому надоест!

Во всяком случае, пока что мул во всем слушался Кошку и, где надо было, пускался вскачь, а где надобности этой не было, держал ровную рысь. Светящиеся ядра всё еще посылали во все стороны потоки разжиженного света, а Кошка все уходил и уходил от него в ту сторону, где свет этот должна была полностью растворить в себе ночная тьма. Это произошло, как только Кошка вкатился со своей повозкой в довольно глубокую балку.

С каждым ядром зеленоватый свет начинал плескаться только вверху, по краям балки, а в самой балке было сумрачно, и грохот канонады долетал сюда приглушенно, как из-под земли. Впрочем, пальба скоро вовсе прекратилась. Французы постреляли, постреляли и бросили. Никаких казаков они не обнаружили, как ни клялась и ни божилась Масленица, что сейчас только собственными глазами видела их целую сотню. Все косматые, свирепые, у каждого в руках аркан и на огромной жерди крюк...

А Кошка тем временем в балке катил по дну иссякшего ручья и за поворотом различил в темноте большой камень и дерево, похожее на клен. Да, это был клен, клен с широко растопыренными ветвями, самое подходящее место, где бы передохнуть и пораскинуть, разобраться в обстоятельствах.

— Ну, братишечки, — обратился Кошка неизвестно к кому: — стоп машина, бросай якорь! По всем статьям морского устава.

И, подъехав к клену, Кошка остановил мула.

Нащупав подле себя холщовую торбу и разобрав, что это овес, Кошка разнуздал мула и нацепил ему торбу на го-

¹ Лье — французская путевая мера, равная 4,5 км.

лову. Мул сразу пошел встряхивать головой и хрустеть напропалую.

— Что, брат, нравится? — спросил Кошка. — Со мной не пропадешь! Держись за Петра Кошку крепко; стой, и боле никаких.

Ублагодарив мула, Кошка принялся шарить в повозке, чтобы окончательно уяснить себе положение вещей.

В повозке Кошка ничего особенного не обнаружил. Здесь оказался почему-то только один сапог со шпорой; потом пустой мешок; искусственная коса из жесткого черного волоса; еще банка белил и банка румян; медный подсвечник и медный кофейник. И это всё, не считая двух бочонков и пары кружек. Впрочем, нашелся еще порядочный кусок пирога, обернутый в бумагу.

Пирог был кстати как нельзя более. Кошка порядком маялся с Масленицей, которая к тому же так и не далась ему в руки. Проголодался Кошка и продрог от долгого ползания по сырой земле на брюхе, на пустом брюхе, в котором теперь, казалось, выводил свои рулады корабельный горнист. Тоже эта скачка — без дороги, в бедовой повозке с кружками, с бочонками...

Кошка тряхнул один бочонок — пусто. Тряхнул другой — переливается. Взгрустнулось Кошке: ой, как грустно стало, и неприятно, и зябко!.. Подставив кружку, Кошка нащупал ручку краника, повернул ее и нацедил себе пахучего питья.

«Верно, гром», — решил Кошка понюхав.

И не ошибся: это был действительно ром, довольно крепкий, не послабее того пенника, которым Кошке случалось иногда угощаться в Корабельной слободке, в трактире «Ростов-на-Дону». В таком случае...

— Бувайте здоровы!

Кошка пожелал этого вслух всем добрым людям на всех севастопольских бастионах и перелил ром из кружки себе в желудок. Потом он с минуту молчал, раздумывая. И наконец сделал вывод:

— Знатный гром! Годится в дело.

Чтобы не терять времени попусту, Кошка тут же перекатил через глотку себе в желудок вторую кружку, отломил от пирога и закусил.

Каким образом у него в руках опять очутилась полная кружка, Кошка уже не заметил, это как-то вышло само собой. Однако Кошка не стал пока пить, а держа в руке кружку, обратился к мулу с таким словом:

— Ты что? Ни то ни се. Ни вол, ни осёл; ни бык, ни кобыла. Мул ты — вот ты кто! Одно слово — сирота. И я, брат, тоже сирота: один, как перст.

Кошка уронил голову на грудь, повертел ею, хлебнул из кружки и продолжал:

— Вовсе меня теперь засмеют на бастионе. «Масленица, масленица, скоро масленица...» А где я ее им возьму, Масленицу? Совсем было в руках держал. Должен ты это понимать, мул ты эдакий!

И Кошка ткнул мула кулаком в хвост.

Мул был, собственно, занят своей торбой, но тут он перестал хrustеть, повернул голову и взглянул на Кошку.

— Извиняйте! — сказал Кошка, приложив к груди руку. — Коли что обидное, так прошу прощенья. Пардон, и боле никаких. И всё. И чтобы тихо. Чинно и благородно. И никаких кабаков. Чтобы грому этого алибо пенника не развезить больше. Война!.. Должен ты это понять. Чтобы польза отечеству, а не кабаки развезить. Чтобы была победа. Ну дай тебе, небоже¹, чтобы все было гоже.

Сказав это, Кошка влил в себя до капли то, что еще оставалось в кружке, и сразу забыл обо всем на свете. Втянув в повозку ноги, он разлегся там, кинув себе под голову мешок и закрыв лицо бескозыркой.

Хруст овса на зубах у мула и человеческий храп... Глухая балка и временами вспышки светящихся ядер в усыпанном звездами небе...

Здесь, в этой балке, на Кошку наткнулся Николка.

XXXVIII

Николка объявился

Николка лежал в повозке, веревки впились ему в кисти рук, слезы заливали лицо. Обида душила Николку, но он не мог произнести хотя бы слово, потому что косынка плотно забила ему рот. Повозка неслась куда-то, взмывая вверх, и тогда Николка тыкался головой в кузов... А когда Николка упирался в кузов повозки ногами, значит она летела вниз, по скату балки либо с бугра. меховая шапка закрывала глаза Николке, и он не видел направления, по которому повозка уносилась вперед.

«Наверно, в Севастополь погнал, — думал Николка. — Куда же еще?»

И тогда он принимался плакать еще пуще, потому что представить себе не мог, как это его провезут через Корабельную слободку связанного, с косынкой во рту, и все это будут видеть — все мальчики, и дедушка Перепетуй, и Кудряшова, и

¹ Убогий.

Даша Александрова... И когда обнаружится, что это Николка, то все станут его дразнить и смеяться над ним. А может так случиться, что в это время Корабельной слободкой будет проезжать Нахимов, и Нахимов тоже увидит это, и тогда Николке лучше умереть, чем такое пережить.

— Мы-ы-ы! — мычал Николка, задыхаясь от возмущения и ярости. — Гу-у-у...

И начинал метаться в тележке так, что на нем трещали все ремни и веревки.

У Кошки весь хмель давно вылетел из головы. Он потчевал своего пленника тумаками в бок, приговаривая:

— Чинно и благородно у меня, слышь ты? А будешь мычать да дергаться, так в речку тебя спихну. Русским языком тебе говорят?

Николка наконец выбился из сил и притих.

— То-то! — сказал многозначительно Кошка.

Он торжествовал, что так удачливо вышло. Пускай не Масленицу, а Кошка таки притащит «языка» в Севастополь; и не какого-нибудь кашевара-замухрышку, а шотландского стрелка в полной амуниции — таких Кошке брать еще не приходилось.

Скоро Николка услышал хлюпанье копыт по воде и даже почувствовал, что под ним как-то подмокло.

«Бродом пошел, через речку, — решил Николка. — На правую сторону перетягивается».

И точно, Кошка переправлялся на правую сторону Черной речки, чтобы попасть в Севастополь по Инкерманскому мосту. Возвращаться обратно напрямик, тем же путем, каким он пробрался к французским траншеям, Кошка опасался: с ним был пленный; кроме того, кабак на колесах, в котором мчал теперь Кошка, бросался в глаза и был известен всему французскому войску.

Повозка уже была на правом берегу и бойко катила по дороге меж зарослей ивняка, как Николке пришла в голову спасительная мысль.

— Гу-гу, гу-гу... Гу-гу, гу-гу-гу-гу... — замычал он, чуть не давась косынкой.

«Ладно, — подумал Кошка. — Теперь хоть мычи, хоть рычи... Ну, мычи, коль тебе это в охоту».

И продолжал причмокивать, подергивать вожжами и поукать мула:

— Но-о, бурый! Чать, на русской мы стороне. Вали, не сомневайся!

И вдруг Кошка встрепенулся, прислушался, придержал мула.

Мычит пленный? Еще как мычит, чуть не разрывается. Но

в этом мычании Кошке почудилось что-то знакомое, словно какой-то забытый мотив. Постой-постой! А ну-ка, пусть еще помычит...

И Николка мычал еще и еще:

— Гу-гу, гу-гу...

А из этих тусклых звуков возникала тяжело и медленно, словно со дна морского, знакомая песня:

Шуми, вино... Иду далёко я,
Мне жизнь и путь на корабле.
Прощай ты, улица Широкая,
Родное место на земле!

Неужто так? Быть не может!

Кошка снял с головы бескозырку и вытер ею вспотевший лоб.

Нет, так, именно так, как раз это напевал пленный, то, что Кошке самому довелось петь, может быть, сотню раз:

Моя головушка бездельная,
Забубенная хмельна.
Прощай, слободка Корабельная,
Родимая сторона!

Кошка бросил вожжи, обернулся к Николке и сорвал с него шапку.

— Нико... Николка! — вскрикнул Кошка, всплеснув руками.

Мул остановился и, повернув голову, увидел, как Кошка двумя взмахами ножа перерезал на Николке ремни и веревки, а затем выдернул у него изо рта косынку. Николка выскочил из повозки и с воплем бросился на Кошку. Он подпрыгнул, ткнул Кошку кулаком в зубы... Кошка пошатнулся. И совсем неожиданно рванул на себе куртку, распахнул ее и, расставив руки, крикнул:

— Бей меня, Николка! Ударь! Ну, ударь еще раз!

Он упал на колени, обхватил руками голову и стал раскачиваться, повторяя:

— Бей! Ударь! Шибани меня, дурака!

Уже светало. Мул стоял понурясь. Николка сидел на земле рядом с Кошкой и тихо плакал.

Он рассказал Кошке все: и про бабушку, и про капитана Стаматина; и как они боялись, что их застигнут усачи; и как страшно было в подполье, где человеческие кости. И Николка теперь не знает, что там случилось с Мишуком и с Жорой, и с бабушкой Еленой, и с Елизаром Николаичем. Мишук и Жора без Николки ничего не могут, а у бабушки Елены ноги распухли; а с капитаном Стаматиным никакого сладу, потому что он

стал совсем сумасшедший. И обиднее всего, что Кошка надавал Николке пинков и тычков, связал его, как каторжного, и чуть не целую ночь протаскал в повозке куда вовсе не нужно.

Чем больше рассказывал Николка, тем сильнее его одолевала зевота. Он уже почти засыпал.

— Так куда держать, Николка? — спросил Кошка. — Ты мне курс определи.

— Держи на Трактирный мост, — еле вымолвил Николка и заснул, навалившись на Кошку.

— Есть держать на Трактирный мост! — отозвался по привычке Кошка.

Он сгрел Николку в охапку и на руках понес к повозке. Там он уложил Николку как мог: мешок пустой подостлал ему и укрыл снятой с себя курткой. Под голову Николке ничего не нашлось, кроме сапога со шпорой, но поверх сапога Кошка положил Николке шотландскую меховую шапку. Шапка была пушистая и большущая. Получилось мягко, почти как подушка.

Сам Кошка в повозку не сел. Он взял мула под уздцы, развернулся с ним и повел берегом, вверх по течению, в сторону Трактирного моста.

Было холодно и сыро. Над речкой, еле подгоняемый слабым ветром, медленно полз туман. Солнце поднималось в облаках. Когда совсем наступил день, Кошке пришлось отойти от берега и пробираться дальше, укрываясь за кустами. Повозка Масленицы была чересчур цветаста и в самом деле очень уж бросалась в глаза: с противоположного берега ее могли бы отлично заметить.

Но вот вддали смутно обозначился каменный мост с разрушенным трактиром подле и французским предмостным укреплением. Можно было разобрать и дымки, много дымков, которые курились на том берегу, на Федюхиных горах. Кошка оставил мула и разбудил Николку.

Николка дернулся под курткой, присел в тележке и уставился на Кошку мутными, непонимающими глазами. Кошка взял Николку за руку... Рука у Николки была горячая.

«Не захворал бы мальчишка, — подумал Кошка. — Рука как в горячке, и в глазах мутно...»

И он сказал как можно ласковее:

— Николка, болит у тебя что? Ты скажи, голубок.

— Ничего не болит! — буркнул Николка и взъерошил на голове волосы.

Он не хотел признаваться, что у него голова болит, и знобит его, и как-то тошнотно ему...

— Вон трактир, — показал Кошка пальцем. — Гляди, виднеется. Французы там, Николка...

— Французы, — согласился Николка. — Ты, Кошка, туда не езд.

— Зачем, Николка, нам туда ездить? Мы туда не поедим. Мы еще дальше отъедем. А то, вишь, повозка-то... В ней, брат, обезьян возить в пору.

— Обезьян! — рассмеялся Николка, уже совсем проснувшись. — Зачем обезьян?

— А комедию показывать, — пояснил Кошка, — обезьянскую алибо каюю.

— Ха-ха! — рассмеялся Николка еще пуше. — Это как у немца было на Театральной площади. У него там обезьяны были, и собачки кувыркались через обручик. Меня тятка водил, после Синопа когда вернулся.

— Во-во! — подтвердил Кошка. — В самый раз. Так как же, Николка? Какой нам теперь курс?

— Курс? — удивился Николка. — Это куда же? А, да, курс... Ты, Кошка, немного назад подайся, а потом держи курс — вон там белая горка. Так держать!

— Есть так держать! — откликнулся Кошка и снова взял мула под уздцы.

Повозка выехала на дорогу, которая шла от Трактирного моста на северо-восток, вверх, прямо к баракам на Мекензиевой горе. Но проехала повозка по дороге только с версту. Николка стоял в повозке на коленях, зорко всматриваясь в голые холмы, которые поднимались один над другим.

— Влево, забирай теперь влево! — скомандовал он. — Ясень видишь? Вон ястребок над ясенем трясется.

Влево от дороги вытянулся вверх одинокий ясень в желтой осенней листве. А много выше ясеня повис в высоком небе молодой ястреб. Только зоркий глаз мог разглядеть, как трепещет птица на одном месте, не подаваясь ни вперед, ни в сторону. Кошка повел мула к этому ясеню, за которым начинался спуск в балку.

Первое, что увидели Кошка с Николкой сейчас же за ясенем, — это золотисто-рыжий конь с резко запавшими боками. Ребра у коня можно было пересчитать. Он стоял неподвижно, понураясь... Но, услышав голоса, и топот, и поскрипывание колес, он вытянул голову, повел ноздрами и понюхал ветер.

— Конь! — крикнул Николка, выскочив из повозки. — Вот! Эх он за одну ночь сдал! А ястреб чего тут? Неужто на коня может скинуться?

— Очень просто, — ответил Кошка. — Кокнет в глаз и был таков. Ястреба эти, знаешь...

Но Николка не стал слушать дальше. Он сорвался с места и по чуть заметной тропинке ринулся вниз. Когда Кошка подъехал, он увидел Николку сидящим на земле, а перед Николкой,

подостлав под себя что пришлось, спали крепким сном четыре человека: двое мальчишек, одна старушка и дряхлый дед в измызганном сюртучишке, вывернутом наизнанку.

И тут только Николка, при свете дня, заметил, что на нем до сих пор клетчатая юбочка, красная куртка и гетры... Николке стало как-то неловко: ему показалось, что он словно в чужой коже. Он быстро сдернул все это с себя и остался в своей ситцевой рубашке и заплатанных порточках. А потом уже разбудил Мишука и Жору.

Мишук и Жора были потрясены, увидев перед собой вместе с Николкой и Кошку, да еще с мулом и повозкой. Повозка была очень похожа на ту, в которой еще год назад разъезжал по Севастополю с мартышкой на коленях содержатель зверинца Карл Швейцер. И Жора с Мишуком бегали теперь вокруг повозки, разглядывали французский сапог с медной шпорой и смотрели, как Кошка распрягает мула и подвешивает ему к храпу торбу с овсом.

Скоро проснулась и бабушка Елена. Затем капитан Стаматин открыл один глаз, а потом другой. На капитана Стаматина повозка не произвела впечатления, зато она очень понравилась бабушке Елене. Бабушка Елена сказала, что это очень красивая повозка и что она в молодости видела в Константинополе такую повозку на цыганской свадьбе.

Кошка не советовал торопиться в Севастополь.

— Напрямки — путь недалекий, — сказал он, — а в объезд наломаешь верст. Животина, вишь, намаялась: всю ночь в упряжке проходила. Пускай раньше силу нагуляет.

— Пускай нагуляет, — согласился Николка, — и мы поспедем¹.

Поснедать был не прочь и Кошка. Он так и сделал. Закусив галетой и куском мяса, он залез в повозку соснуть перед дорогой. Заснул и Николка на бабушкином одеяле, с парусиновым кошелем под головой. А когда проснулся, утреннее недомогание — озноб и головную боль — как рукой сняло.

Небо прочистилось, и солнечный луч протянулся по балке, когда вся компания снова пустилась в дорогу. Охромевшего коня, уже совсем исчахшего, решено было не таскать за собой. Авось сам собою оправится и куда-нибудь прибьется. С повозки были сняты оба бочонка и тоже брошены, чтобы освободить место для бабушки и капитана Стаматина. Затем в повозку были уложены все пожитки и трофеи.

Непонятно, как это получилось, но когда все было готово, сигнал к отправлению был дан мулом.

— И-а! — звонко крикнул он и, никем не понукаемый, бод-

¹ Позавтракаем.

ро зашагал как раз в том направлении, в каком это было нужно. — И-а! — повторил он, оглянувшись, все ли за ним поспевают.

— Вошел в силу, есть-таки, — сказал Кошка, шагая за повозкой. — Говорил я!

Только к вечеру добрались путники до Инкерманского моста. Вскоре их остановил дозор с фрегата «Кагул». Сам фрегат стоял верстах в трех, попрежнему близ Павловского мыса.

Матросы из дозора так и ахнули, увидя столь пестро раскрашенную повозку, запряженную конем не конем, а чем-то вроде коня. Но перестали дивиться, узнав Петра Кошку в матросе, который, сбив бескозырку на затылок, шел за повозкой.

— Да это ж Кошка! — хлопнул себя ладонью по коленке матрос из дозора, пожилой, с красными от курева усами. — Штукарь Кошка! Чего не выдумает! Ну, проезжай, брательник!

Николка хлестнул мула вожжой по хребту, и повозка пошла в объезд Килен-бухты, чтобы потом взять на Павловский мысок.

— Петро! — услышал Кошка позади себя чей-то знакомый голос. — Скоро масленица?

Кошка быстро обернулся: опять этот матрос в дрянной шинелишке из просмоленной парусины! И чего он тут слоняется, рот разиня?

— А тебе, умник, уже не терпится? Блинков захотелось, масленицу тебе? — сказал Кошка прищурясь. — Со сметаной, с маслицем блинки? Нет, брат, шалишь, рано! Добро, хватило б сухарей аржаных!

— Верно, Кошка! — снова хлопнул себя по коленке красносый. — Отбрил-таки, брательник!.. А ты, Савка, не лезь! На бастионе, вишь, с тебя было пользы, как с козла молока; ну, и отсель вытурим, не посмотрим. Поди лучше умойся, чумазый!

Уж какой переполох поднялся в госпитале на Павловском мысу, когда Кошка внес туда на руках капитана Стаматина, а Христофор Спилиоти увидел подле своей койки бабушку Елену! В палату пришел старший лекарь Успенский, прибежала Даша Александрова, а потом явился Кирилл Спилиоти с женой Зоей. И уже по всей Корабельной стороне пошли рассказы про Николку, Мишука и Жору, которые в Балаклаву ходили и бабушку оттуда привели и капитана Стаматина выручили.

Капитана Стаматина положили тут же на койку, рядом с Христофором Спилиоти, потому что капитан был еле жив от перенесенного плена, от бури, швырнувшей его на берег, и от двухдневной тряски то в маленькой тележке, то на хромой лошади, то в повозке, запряженной мулом. И когда все успокоились, Мишук и Николка вспомнили, что вот у Жоры все улади-

лось с отцом и матерью, а им, Мишуку и Николке, будет, наверно, дома здоровенная трепка. Но, на Мишуково счастье, в госпиталь пришел в это время Елисей Белянкин с газетами и письмами. Елисей, увидев Мишука, первым делом нацелился ухватить его за вихор. Но, разобравшись во всем происшедшем, только крикнул Мишуку:

— Ступай к матери! Она уж по тебе все глаза выплакала.

И Мишук сразу убедился, что трепки ему не будет. Он, как пробка из бутылки, мигом вылетел из палаты и во весь дух помчался домой.

Пошел домой и Николка, прихватив с собой взятые из дому мешок и веревку. На плече у Николки висел на ремне карабин блохолова. Кроме того, Николка тащил всю амуницию шотландского стрелка, уложенную в парусиновый кошель. Каску блохолова ребята решили тоже отдать бабушке Елене: надо же бабушке в чем-нибудь кадило держать!

А между тем Петр Кошка, стоя в своей повозке и вертя вожжами у мула над хвостом, летел Широкой улицей через Корабельную слободку.

— Шуми, вино... Иду далёко я... — орал Кошка, подхлестывая мула. — Вали-вали, бурый! Шевели ногами! Не кабак развозим, на третий бастион едем. Эх, друзья-товарищи!.. Ого-го-о!

И пошла кутерьма. Мальчишки всей Корабельной слободки пустились за Кошкиной повозкой вслед. Васька Горох, который все еще был князем Меншиковым, изловчился и, вцепившись в задок повозки, устроился там довольно удобно. Он время от времени засовывал в рот два пальца и оглушал мула таким свистом, что животное порывалось выскочить из оглоблей.

Из всех ворот на улицу выбегали люди. Вечерело, но еще видно было, как в клубах пыли мелькает на дороге что-то до невозможности яркое, пестрое, цветистое. Кто говорил, что это содержатель зверинца Карл Швейцер вернулся в Севастополь со своей группой обезьян и собачек. Кто спорил, утверждая, что это Осман-паша из плена бежал. Кудряшова уже накинула полушалок — бежать в полицию. Но, вспомнив, как третьего дня с нею обошелся пристав Дворецкий, сдернула с себя полушалок и бросилась к дедушке Перепетую.

Дедушка собирался ложиться, но, услышав шум на улице, засеменял к воротам, поддерживая рукою брюки. Едва он открыл калитку, как на него набросилась Кудряшова.

— Осман-паша!.. — крикнула она задыхаясь.

— Что Осман-паша? — спросил дедушка.

— Бежал... Надо в полицию...

— Как бежал? — изумился дедушка. — Да его же еще летом в Москву увезли!

— Тра-та-та... «Бежал»! — передразнил Кудряшову мясник Потапов. — Цыц, пустомеля!.. Не слушай ты ее, Петр Иринеич. Обезьянский хозяин приехал, вот что. Немец этот с собачками.

— Зачем же он приехал? — спросил дедушка.

— Зачем... Комедию ломать.

— Это теперь-то комедию ломать! — сказал укоризненно дедушка. — Тут кровь льется, война за отечество, а ты говоришь — комедию ломать. Тьфу!

Дедушка плюнул, вошел во двор и запер калитку.

На улице только пыль клубилась, поднятая Кошкой. Сам Кошка уже гнал вниз, к морским казармам, и покрикивал на бурого, и распевал во весь голос, пока не заметил толпу матросов у входа в трактир «Ростов-на-Дону». Кошка сразу оборвал свою песню, подумал-подумал и — была не была — решил сделать небольшой привал, прежде чем явиться на третий бастион.

— Па-береги-ись! — крикнул он, свернув к трактиру.

— Тю-у, Кошка, да на каком возу! — даже подпрыгнул на месте от удивления юнга Филохненко, околавившийся в Корабельной слободке, потому что его за малолетством пока что ни на один бастион не брали. — Хлопцы, Кошка!

— Он самый! — ответил Кошка, выскакивая из повозки.

— Завтра по тебе хотели панихиду служить.

— Рано, — бросил Кошка уже в дверях трактира. — Тут я, живой.

А Николка в это время пробирался со своей поклажей через Гончий переулочок. Дома он никого не застал. Отец был у себя на пятом бастионе; верно, и мать пошла туда же отнести отцу поесть. Николка подумал и пришел к заключению: чем затягивать дело, лучше уж порешить его разом. Конечно, Николка в Балаклаву убежал и мешок с сеном дома стянул и веревку... Но ведь вот они — и мешок и веревка! А в общем, решил Николка, семь бед — один ответ.

И, забросив всю свою поклажу на чердак, одно за другим, Николка побежал к отцу на бастион.

Пальба, обычно терзавшая Севастополь по целым дням, к вечеру немного затихала. И тогда, с вечера же, на бастионах начиналась лихорадочная работа по исправлению всего, что за день было разрушено неприятельским огнем. А за день такого огня редуты оказывались сровненными с землей, траншеи засыпаны, крепления амбразур разворочены, валов и насыпей — как не бывало. Но всю ночь, от зари до зари, стучали на бастионах кирки и лопаты. И на рассвете изумленный враг видел против себя всю семиверстную оборонительную линию, готовую, как и прежде, отразить любое нападение. Однако в эти дни почти вовсе не слышно было канонады. Зато дел наделала на бастионах буря.

Николка добрался в темноте до театра, где на улице горел один-единственный фонарь. На Театральной площади, у фонтана, расположилась рабочая рота Севского полка, с минуты на минуту ожидавшая приказа выступить. Солдаты лежали на земле, курили, балагурили...

— Веселое горе — солдатская жизнь, — сказал седоусый солдат, раскуривая трубку. — Вот, Васек, какая поговорка про жизнь солдатскую складена! Да и не одна такая, вот еще: хорошо, сказывают, в солдатах, да что-то мало охотников. Или — солдат, что муха: где щель, там и постель; где забор, там и двор. Вот, Васек, какая солдатская жизнь! А то есть другие поговорки, про другое: хочешь покою, так готовься к бою; такое уж дело, что надо идти смело. А ты, Васек, смекай, мотай себе на ус! Без пословицы, сынок, не проживешь и от пословицы не уйдешь, а старая пословица вовек не сломится, и красную речь красно и слушать.

Николке очень понравились поговорки, которые он только что случайно услышал, пробираясь через Театральную площадь по рядам солдат из рабочей роты.

— Дяденька! — обратился он к старому солдату, выбивавшему теперь свою трубку о подошву сапога. — А не скажете мне, дяденька: что, есть такие поговорки, когда тятя больно дерется?

— А и такая поговорка есть, — сказал солдат. — Коли тятенька хватит тебя по макушке чем попадая, ты ему скажи: родитель мой, дракою прав не будешь, а где лад, там и клад. И еще есть поговорка...

Но в это время раздался окрик:

— Становись!.. Стройся!.. Смирно!.. Шагом марш!

И рота взяла влево, к четвертому бастиону, а Николке надо было на пятый.

Николка хорошо знал дорогу на пятый бастион, потому что бегал туда к отцу что ни день. И, пробираясь в темноте по изрытому ядрами и бомбами пустырю, Николка не переставал твердить, как учил его только что солдат.

— Родитель мой, — старался запомнить Николка, — дракою прав не будешь, а где лад, там и клад.

На бастионе Николка еще издали увидел зажженный фонарь, прицепленный к пушечному лафету. У лафета на какой-то чурбашке сидел Тимофей Пищенко, Николкин отец, и хлебал борщ деревянной ложкой из глиняной латки. Около Тимофея расположились на земле Николкина мать с корзиной и Егор Ту-пу-ту со своим ящиком.

— Тихо сегодня, — заметил Ту-пу-ту, всматриваясь в звезды, которые теплились за амбразурой. — Весь день было тихо, пальбы не было вовсе.

— До пальбы ли им? — откликнулся Тимофей. — Что на-творила у них буря, так это и не рассказать. По всему берегу, от Балаклавы до Евпатории, раскидано утопленников. Корабли побило о камни. Такая буря!

— Жидкий народ, — заметил Ту-пу-ту. — От дождя чихает, от штыка — давай бог ноги; а как свалится с корабля в море, так сразу буль-буль-буль! — и на дно рыб кормить.

— Народы там разные, — возразил Тимофей. — Не все на-роды на одну статью. Это точно: как дойдет до штыков, так тут, верти не верти, а наша берет. Да вот, не солгать бы, и у них войско ученьем ловкое. Англичане — те жилистые; только француз шельмовский помудренее да половчее англичанина будет. А турки — эти совсем никуда. Народ мелкий, не годится против нас вовсе. Видали мы их под Наварином в тысяча во-семьсот двадцать седьмом и в прошлом году, когда их под Си-нопом громили... У нас паруса убирают — сколько времени на-бежит? Две, ну три минуты. А у турка так восемь, а то и все десять. Боязливый народ!

Сказав это, Тимофей снова принялся за свой борщ.

Николка стоял в тени, отбрасываемой насыпью на порохо-вом погребе. Из укрытия Николке слышно было, как скребет ложка, задевая за стенки латки, да сипит трубка, насасывае-мая дядей Егором. Но в трубке был, видимо, один пепел, по-тому что Егор Ту-пу-ту бросил ее сосать, а стал выколачивать о колесо лафета. «Пам-пам, — услышал Николка: — пам-пам-пам...»

— Слушок есть, — сказал Ту-пу-ту, стараясь при помощи щепки прочистить единственной своей рукой трубку, зажатую в коленях. — Да, такой, значит, есть слушок, что Миколка твой объявился.

— Спущу шкуру, — сказал Тимофей, выловив из борща крохотный кусочек сала.

— И не один будто объявился, — сказал дальше Ту-пу-ту, — а и Елисеев Белянкина мальчишка и Жорка этот, Шпи-лиотин.

— Беспременно спущу шкуру, — повторил Тимофей, вы-скребывая ложкой дно латки.

— И будто ребята эти такие удальцы, — продолжал Ту-пу-ту, — что Кирилла Шпилиотина мать из Балаклавы вывели, да еще и капитана Стаматина в Севастополь приволокли; из плена, значит, капитана этого выручили.

— Как так? — удивился Тимофей.

— Ой, что ты, Егор Силыч! — замахала руками Николки-на мать.

Тимофей, помолчав минуту, тряхнул упрямо головой и ска-зал:

— Все одно спущу шкуру.

— Как знаешь, Тимофей Никифорович, — пожал плечами Ту-пу-ту. — Твое дело родительское. Отчего бы мальчишку когда и не посечь?

— Ах ты шиш мохнатый! — прошипел Николка, оставаясь в тени. — «Посечь»... Кабы тебя, дядя Егор, посечь, небось другое бы запел. «Посечь»!.. — И Николка от возмущения стиснул кулаки.

— Табачку не держишь, Егор Силыч? — спросил Тимофей, вытирая рукавом губы. — Дай трубочку набить.

— Табачку — это можно. — И Егор Ту-пу-ту полез в карман за кисетом. — Не стало нынче табачку, как прежде. Чего только не сыплют в табак, в тютюн то-есть: и вишневый лист, и пробковую крошку, и опилки...

— Да, не стало табачку хорошего, — согласился Тимофей.

Тут Николка решил, что теперь пришло его время. Он достал из-за пазухи трубку в виде кабаньей головы с толстым янтарным мундштуком и замшевый кисет, полный табаку, но какого табаку! Табак этот источал запахи вина, меда, корицы — всего вместе. И, держа в одной руке кисет, а в другой трубку, Николка вошел в световой круг, падавший от фонаря.

— Родитель мой, — произнес Николка, положив перед отцом на лафет трубку с кисетом: — дракою прав не будешь, а где лад, там и клад.

Тимофей Пищенко, Николкина мать, Егор Ту-пу-ту — все они оцепенели от неожиданности и не тронулись с места, а только переводили глаза с Николки на трубку с кисетом, с кисета на Николку.

Первая опомнилась мать Николки. Она вскочила с места, подбежала к Николке... Заслонив его руками, она крикнула:

— Не дам я сечь Николку! Ишь... выдумали! Скаженные!¹

Тимофей молчал. Запрокинув голову, он стал чесать заросший щетиною кадык и увидел над собою глубокое ночное небо, полное звезд. Там, вверху, их высыпало после бури особенно много, и они тихо тлели над головой у Тимофея, как в большой жаровне.

«Нехай себе тлеют», — благодушно решил Тимофей.

Протянув руку к лафету, он взял трубку с янтарным мундштуком и стал ее разглядывать. Потом захватил пальцами табаку из кисета и набил трубку. Раскурив ее о свечку в фонаре, он протянул замшевый кисет Егору. И оба стали пускать колечками ароматный дым.

— Табак! — нарушил наконец молчание Тимофей.

— Табачок, что и говорить! — откликнулся Егор.

¹ Скаженные — бешеные.

— Поди сюда, Николка, — сказал Тимофей. — Держи ответ. Откуда табак? Где взял трубку?

— Трофейная! — крикнул Николка, бросаясь к отцу.

И, присев у тятенькиных ног, рассказал Николка, как приехали двое искупаться в речке, англичане они, и как стали они потом купать лошадей, а Николка подобрался и все побросал в воду, только трубку и кисет не бросил, тятке принес.

Тимофей курил и слушал и незаметно для себя стал гладить Николку по голове, а Николка все рассказывал и рассказывал: и про Балаклаву, и про капитана Стаматина, и про Кошку, и про всё.

— Ну, Миколка, и удалец! — сказал Егор Ту-пу-ту, когда Николка кончил. — Герой-мальчишка! Из него будет толк.

— Бедовый! — согласился Тимофей.

Николка пришел к заключению, что его сечь не станут. Ведь вот даже хвалят и называют героем... И он до того осмелел, что, отойдя к стоявшей рядом маленькой мортире, молвил:

— Тятенька, что я вам скажу...

Николка передохнул и сразу брякнул:

— Дозвольте из мортирки пальнуть!

К Николкиному удивлению, отец не стал его, как обычно, гнать прочь, а только сказал:

— Сегодня, Николка, пальбы нет, по случаю бывшей бури. Приходи завтра. Постреляешь. Мортирка куда не уйдет... не убежит мортирка.

И, возвращаясь с матерью домой, Николка ни о чем не ду-



мал, как только о завтрашнем дне, когда он с утра побежит на бастион и первый раз в жизни наведет мортирку, чтобы пальнуть из нее по врагу.

XXXIX

Николка — артиллерист

Яшка Вдовин, после того как распрощался с Елисеем Белянкиным, стал в темноте пробираться с Корабельной стороны на Городскую. Где он проведет ночь, Яшка еще не знал. Но крепчал ветер и дождь уже лил ливмя... Может быть, и впрямь притулиться где-нибудь около солдат из резерва, который стоял в саду за театром?

Когда Яшка подошел к театру, то никаких костров он там теперь не увидел. Какие могли быть в такое ненастье костры! И солдат в саду за театром не было. Все разбежались, прятались куда-то, или, может быть, весь резерв по казармам разведен — во всяком случае, в саду не было ни души. Но слабо мерцало что-то в окнах театра, и гомон шел оттуда, заглушаемый свистом ветра и стукотней дождя.

Яшка пошел вдоль стен здания — не найдется ли там отпертая дверь, калитка ли, что-нибудь, чтобы пробраться внутрь и укрыться в какой-нибудь щели. К счастью, он скоро увидел раскрытую настежь дверку и шагнул через порог.

Все пространство внутри театра было освещено только двумя фонарями. На сцене и по всем ярусам зрительного зала копошились и галдели солдаты, устраиваясь на ночлег. В партере не было никого. Сквозь отверстия в крыше, пробитые вражескими ядрами, в партер, на золоченые кресла и развороченные ряды стульев, низвергались потоки воды.

Яшке доводилось бывать в театре, но не дальше вестибюля. Он топтался в вестибюле в толпе господских слуг, держа на руках лисью шубу Неплюихи и дожидаясь конца представления. Неясно было Яшке, что делалось там внутри, за широкими дверями, у которых стояли два капельдинера в голубых фраках и дежурил полицейский десятник Ткаченко в черной каске с белой шишкой. Звуки музыки и всплески аплодисментов временами вырывались из-за широких дверей в вестибюль, там внутри совершалось что-то... Но в места, где дежурил полицейский десятник Ткаченко, путь Яшке Вдовину был заказан.

Яшка стал пробираться по лестницам и переходам и очень удивился, когда в полумраке перед ним начал обозначаться

сад с клумбами и дорожками, и беседка, вся увитая, плющом, и море, спокойное и лазурное, вдали.

«Откуда бы здесь взяться морю? — призадумался Яшка. — Пойти поглядеть?»

Плутая и оступаясь, с лесенки на лесенку, тут — дверь, там — поворот, Яшке удалось все же выбраться на сцену. И очень был разочарован Яшка, когда убедился, что никакого тут моря нет, а все только намалевано на грязной холстине, как бы для отвода глаз. И сад, и беседка в саду, и клумбы — все оказалось поддельным.

«Одна фальшь, — решил Яшка. — Что хорошего?»

За холстиной с морем тлел в плошке крохотный огонек, и толпа арестантов, собравшись в круг, хлебала из большого котла редьку с квасом. Яшка присел тут же на грудку каких-то размалеванных тряпок, и никто ему здесь не удивился. А один, совсем молоденький, с бубновым тузом на спине, повернулся к Яшке...

— Не хочешь ли редечки, дядя? — спросил он. — Ох, вкусна!

— Хлеб-соль, — ответил Яшка, — а я уже ужинал.

— Ужин редьке не помеха, — откликнулся пожилой арестант, заросший бородой не хуже Яшки. — А нам надо котел опростать. Опростаем — быть завтра вёдру. Это уж примета такая. А здорово льет!

— Погода, — ответил Яшка. — Видно, здесь ночевать придется, али как?

— Ночуй, чего ж, — сказал арестант. — Места тут не то что на арестантскую роту — на всю государеву каторгу хватит. Пишись к нам в артель.

— Разве что, — заметил Яшка.

— Худо ли? Постоим за Россию, неприятеля сгоним, будет нам воля, — сказал арестант, вытирая рот рукавом куртки. — Воля! — повторил он вздохнув. — Ступай куда хочешь, на все четыре стороны.

— О! — воскликнул Яшка.

— А ты думал! Сам адмирал Корнилов сказал: «Ребята, забудем всё; что было, то было». А Корнилов, знаешь, брехать не стал бы.

Яшка нагнулся, уставил локти в колени и стиснул руками голову. Сердце в груди у него гулко колотилось.словно изда- лека доносился к нему человеческий гомон, и плеск воды, и го- лос арестанта, предложившего ему в шутку писаться к ним в артель. Что тут писаться, у них ведь ни паспортов, ни отпуск- ных билетов... Обрядись только в арестантскую куртку и сту- пай на какой хочешь бастион. И станешь ты Яшка-арестант, а после войны — пошел на все четыре стороны, куда душа поже-

лает. Работай какую хочешь работу. Можешь на шахтах работать, или вот хорошо бы наняться к купцу за садом ходить — самое это разлюбозное дело. Хорошо тоже пчел глядеть да мед обирать из ульев или, скажем, бурлачить на большой реке. Грудь у Яшки богатырская, хоть какую лямку вытянет...

Встал Яшка, выпрямился... Гомон в театре к этому времени утих, и арестанты все улеглись здесь же, за размалеванной холстиной, и огонек в плошке зачах. Но ветер все злее гудел за окошком, и в партере потоки воды, скатываясь по наклонному полу, перехлестывали через обвалившийся барьер оркестра и пропадали где-то под сценой. Яшка глянул в окошко... Там, на площади, было черным-черно.

«Неужто в арестанты? — вертелось у Яшки в голове. — А то куда же? Куда ни кинь, а выходит тебе, Яков Вдовин, бубновый туз. Коли сам теперь не налепишь себе туза на спину, так матушка-барыня тебе его припечатает, да и загрит тебя потом на веки вечные, куда Макар телят не гонял. Нет, лучше тут самому по своей охоте — с арестантами в артель на бастионы, а после войны объявиться. Что было, то было... Да».

И, решив так, Яшка успокоился, разворошил кучу тряпья на полу и уснул рядом с арестантами, под завыванье ветра и мерные звуки падения воды.

Среди ночи Яшка несколько раз просыпался в совершенной темноте, с изумлением различая при вспышках молний то чью-то кудлатую голову рядом, то намалеванный на холсте кипарис, подвешенный к стропилам, то какую-то избушку на курьих ножках в углу. И, вспомнив о своем решении, бормотал:

— В арестанты либо у Неплюхи в крепостных-дворовых... Одна честь.

Потом снова зарывался головой в тряпки, от которых пахло клеем, мышами и пылью.

Яшке довелось провести в театре вместе с арестантами и солдатами из резерва весь следующий день и еще одну ночь. Все замерло в Севастополе в этот день — ни пальбы на бастионах, ни движения на улицах. Рев моря, вздыбленного ураганом, доносился в театр сквозь выбитые стекла в окнах. Но в самом театре, если не считать партера, залитого водой, было укромно. Здесь без числа было коридоров, лесенок, переходов, клетушек, и солдаты отдыхали здесь от кровавых трудов, которым еще не предвиделось конца.

За протекший день Яшка совсем сошелся с арестантами. Бородатого арестанта звали Панкратом, и он считался старостой арестантской артели, работавшей на Малаховом кургане. И вот, сидя с дядей Панкратом в углу за холстиной, у буффорского пня, Яшка как бы в шутку сказал, что хочет писаться к нему в артель.

Но дядю Панкрата обмануть было трудно. Недаром он сам о себе рассказывал, что с того дня, как поджег усадьбу городничего в Ахтырке и ускакал на его лошади, он, Панкрат Цыганков, прошел огонь и воду и медные трубы, едал хлеб из семи печей и хорошо теперь знает, где раки зимуют. И понял дядя Панкрат, что человек, назвавшийся Яковом, только прикрывается шуткой, а на самом деле не до шуток человеку. Но дядя Панкрат не стал ни о чем расспрашивать.

«Видно, такая человеку причина подошла», — решил он.

И сказал только:

— Худо ли дело в артель! А писаться тут нечего. Писарь нам не положен. Держись около нашего котла, вот и вся недолга.

И Яшка, пошарив в кармане, нащупал там серебряный рубль и отдал его на всю артель.

После этого молоденький арестант, несмотря на ураган, бегал куда-то за редечкой и за квасом, и за хлебом, и за пенником. Яшка пообедал с арестантами, а после обеда пел с ними «Степная глушь, Сибирь вторая», потом спал... И к вечеру на Яшке каким-то образом появилась арестантская куртка с нашитым на спине бубновым тузом и арестантская фуражка без козырька — правая сторона черная, левая серая. На другой день Яшка в этом наряде вышел с толпой арестантов на улицу, оставив опостылевшую ему ливрею, всю в дырках и пропалинах, на груде тряпья, размалеванного пестрыми колерами.

На Малаховом кургане Яшка не привлек к себе ничего внимания. Арестант как арестант. Портки и лапти, бубновый туз на спине, и борода не брита и не стрижена. Яшку даже стали путать с дядей Панкратом, у которого тоже была окладистая борода.

— Эй, борода! — крикнул в тот же день Яшке на Малаховом ездовой с повозкой, застрявшей в колдобине. — Крутая ямина, черти ее рыли! Пособи! Коням вишь как томно!

Яшка бросился к повозке и поддел ее плечом; ездовой ударил по лошадям, и повозка мигом очутилась на ровном месте.

— О, и ловок же ты, Панкрат! — сказал Яшке ездовой. — Панкрат... извиняйте, отечество запамятовал.

— Ан я не Панкрат, — заметил Яшка. — Яков я, а по отчеству Сидорыч.

— Как не Панкрат! — изумился ездовой. — Панкрат... вспомнил!.. Агеич.

— Не, — тряхнул головой Яшка. — Яков Сидорыч.

И подхватил бревно, которое двое арестантов, едва не падая, переносили на плечах к бомбовому погребу.

— Эй, борода! — услышал Яшка хриплый окрик и оглянулся.

У башни стоял боцман с дудкой, свесившейся на цепочке ему на грудь, а дядя Панкрат, не выпуская из рук лома, бежал к нему через плац.

Обнаружившимся положением Яшка остался доволен.

«Он — борода, я — борода, — стал он размышлять, присев на минуту у бомбового погреба, когда они свалили там тяжёлое бревно. — У меня борода совковой лопатой, у Панкрата — больше заступом. А все одно борода. Поди разберись, кто Панкрат, кто Яков, Борода, и всё. Так тому и быть».

И Яшка, поднявшись, припустил к башне за новым бревном.

Много выпало в этот день арестантам работы на Малаховом кургане. Буря и здесь натворила бед: что размыла, что расшвыряла, что залила водой. Яшка целый день рыл землю, перетаскивал бревна, откачивал воду. А когда стемнело, поужинал горячей кашей из арестантского котла и заснул под навесом у бомбового погреба, спокойный, почти счастливый.

И на другой день — то же. Яшка работал с охотой, работа шла у него споро, тем более споро, что, как и накануне, пальбы не было никакой. Буря все разворотила и перепутала у нас на бастионах и в траншеях у неприятеля. Пальба на Малаховом кургане возобновилась только на следующий день с рассвета.

Сразу здесь стало все по-другому. Стонали раненые, кричали сигнальщики, ревели пушки. Дядя Панкрат разделил свою артель: одних поставил тушить возникавшие то тут, то там пожары, других определил на переноску раненых. И когда пробежавший по плацу лейтенант Волобуев повалился навзничь с развороченным животом, Яшке выпало уложить его на носилки и вместе с двумя другими арестантами нести через Корабельную слободку на Павловский мысок.

После бури установилось вёдро, пообсохло за вчерашний день на дорогах, и нести было легко. Яшка шел впереди один; позади два других конца носилок поддерживали двое других арестантов. Солнце уже поднялось в синем и чистом небе и даже припекало слегка. Словно вымытое к светлому празднику, все кругом блестело и переливалось.

«Жить бы да радоваться!» — подумал Яшка, чувствуя, как солнечное тепло пробирается к нему сквозь арестантскую куртку из серой грубой тканины.

Но эти вопли раненого лейтенанта и эта кровь, которая капала с носилок прямо на дорогу... Недаром в Корабельной слободке мальчишка, выбежавший из ворот с узелком в руке, остановился как вкопанный, потом бросился бежать, не оглядываясь.

Николка Пищенко уже привык и к убитым и к раненым. Но

находившееся в носилках вопило так страшно, что Николка оцепенел на месте, потом бросился прочь без оглядки. Николка остановился только на Театральной площади, чтобы посвятить верблюду, разлегшемуся у театрального подъезда. Верблюд не терпел свиста и не любил мальчишек. Николка едва уклонился от плевка, которым хотело его угостить надменное животное. Но, слава богу, пролетело мимо и шлепнулось у фонтана. Николка показал верблюду язык и, вспомнив, что предстояло ему сегодня, пропустил через пустырь на пятый бастион.

Перестрелка разгорелась вовсю, но пока только на укреплениях Корабельной стороны. Николка уже был на месте, когда пушка с французских батарей ударила и по пятому бастиону. Ядро с визгом пронеслось над Николкой и пропало за бастионом, где-то далеко на пустыре.

Тимофей Пищенко сдержал свое обещание. Он взял Николку за руку и повел его к мортирке. Не заряжая ее, Тимофей стал показывать Николке, как надо наводить, но оказалось, что Николка все это отлично знает, хотя своими руками еще никогда никакого орудия не наводил. Недаром же Николка часами околачивался на бастионе, когда мать посылала снести отцу то какие-нибудь оладушки, то жбан квасу. Николка давно присматривался к работе артиллеристов, которые назывались «нумерами». Один «номер» подносил порох, другой — ядра, третий — банил, четвертый — заряжал, пятый — наводил и стрелял... Случалось, что около орудия мелкого калибра управлялся только один матрос. А бывало, что орудие вовсе бездействовало, потому что все «нумера» были перебиты.

Николка сам зарядил, сам навел и сам выстрелил. Куча земли взлетела вверх над тем местом, куда угодил Николка. Николка все повторил сначала и сделал всего пять выстрелов. Они, видимо, не вовсе пропадали зря, потому что с французских укреплений принялись рьяно отвечать. Ядра и бомбы уже ложились на самом бастионе, и все «нумера» стали у своих орудий.

— Хорошо, Николка! — сказал Тимофей. — На сегодня хватит. Завтра опять приходи. А теперь марш с бастиона! Бегом... ну!

С тех пор Николка стал с каждым днем оставаться на бастионе все дольше. Не только матросы, но и офицеры призывали к мальчишке и с любопытством наблюдали, как он управляется со своей мортиркой. На вторую неделю Николка как-то угадал из своего орудия в бочонок пороху на французской батарее. Но бочонок этот был не один: целая гора их была только что выгружена у порохового погреба, от которого еще повозки не успели отъехать. Что там поднялось на француз-

ской батарее, видел только наш вахтенный офицер, лейтенант Шишмарев, в подзорную трубу. Это было похоже на извержение вулкана. От одного бочонка подрывался другой, там — третий, четвертый, и все летело вверх — земля, камни, пыль, дым, и отшибленные у повозок колеса, и оторванные лошадиные головы, и люди в синих мундирах и красных штанах. Через два дня Нахимов нацепил Николке на куртку георгиевскую медаль.



Зима была в том году холодная и суровая. Она пришла и в Крым с морозами и снегопадами. Непривычные к холоду неприятельские солдаты места себе не находили от беспощадного северо-восточного ветра, пробиравшегося к ним под синие шинели. Зимой ушел в отставку незадачливый Меншиков, а на его место был назначен новый главнокомандующий, князь Горчаков. Но в Севастополе попрежнему ухали каждый день пушки, и вражеские снаряды падали попрежнему в Корабельной слободке.

XL

Добрая партия

В эту же зиму в своей столице, в Зимнем дворце умер император Николай Павлович, «всероссийский голубой», как называл его про себя дедушка Петр Иринеич.

Весть о смерти царя принес дедушке его жилец Порфирий Андреевич Успенский. Лекарь вернулся из госпиталя раньше обыкновенного, возбужденный, говорливый... Но дедушка сидел понуро у себя на кровати, ему нездоровилось, и на все, что выложил ему Успенский, сказал только:

— Не тот царь, так иной будет. Место пусто не станет.

Потом отпер сундук и извлек оттуда, из тайника какого-то, толстую тетрадь, переплетенную в синий картон.

— Я лягу, — сказал он Успенскому, — а вам, Порфирий Андреевич, сегодня как раз бы помянуть почившего императора нашего вот этим. Почитайте на сон грядущий, каков был

царь такой. Однако помните: тайна это великая, никому ни слова, время для этого еще не пришло.

И дедушка, вырезав ножницами из старой газеты закладку, заложил ею свою тетрадь на сорок восьмой странице.

Оконные ставенки были закрыты, и за ними потрескивала зимняя ночь. Временами шальное ядро с визгом шарахалось где-то близко, совсем, казалось, рядом. Успенский лежал на койке в большой комнате и с любопытством перелистывал тетрадь — «записки исторические, писаны Петром Иринеевым Ананьевым».

Успенский читал и улыбался.

«Ай да дедушка Перепетуй! — думал Порфирий Андреевич, листая страницу за страницей. — Прямо летописец Нестор, историограф Корабельной слободки... А почему бы и не так? Вот в Сибири нашли же новую летопись, а вел ее Илья Черепанов, даже не отставной кондуктор телеграфической роты, а простой ящик. Да всё же...»

Но Успенский перестал улыбаться, как только дошел до сорок восьмой страницы.

Тетрадь дедушки Перепетуя, оказывается, хранила память не об одних великих делах, но и о делах низких и преступных. Очень хотел император Николай, чтобы все это совсем забылось, вырванное с корнем из народной памяти. А вот нашелся же человек, всего только отставной телеграфист, который ничего не забыл и все записал.

Успенский читал, не замечая, как нагорела свечка на этажерке, готовая вот-вот совсем зачахнуть. Глаза у Порфирия Андреевича уже привыкли к этому зыбкому полумраку и к старинному почерку дедушки Перепетуя с замысловатыми росчерками и кудрявыми завитками. Этими росчерками и завитками дедушка не написал, а почти нарисовал на сорок восьмой странице сверху:

«Да выйдет правда из мрака подпольного на божий свет! Нет тайного, что не стало бы явным. Поведаю о горестных днях в Корабельной слободке, о нужде великой и нестерпимой, также о всенародном восстании для умерщвления тиранов и отвоевания прав».

Дверь из большой комнаты в горенку дедушки Перепетуя была раскрыта, и оттуда доносилось его прерывистое дыхание и мерное тиканье его часов. Скреблась мышь в углу, в большой комнате. Свечка на этажерке нагорела еще больше. А Успенский впился глазами в исписанную гусиным пером бумагу. С ужасом, от которого сердце замирало, читал Порфирий Андреевич о том, что произошло на этом месте, в Корабельной слободке, в царствование Николая Первого, всего только двадцать пять лет назад.

«Как же это, как же это? — точило Успенского. — Ведь четыре года я в Севастополе, и хоть бы одна душа заикнулась!»

Многое из того, о чем в эту ночь довелось прочитать Успенскому в тетради дедушки Перепетуя, было известно лекарю и раньше. Он, конечно, прекрасно знал о поголовном взяточничестве царских чиновников, о воровстве провиантских комиссаров, о плетях и шпицрутенах¹ для матросов и солдат, вместе с песком — в муке и червями — в сухарях. Однако ново было Успенскому то, как организованная шайка градоправителей, комендантов и медицинских начальников тиранила городскую бедноту. Порфирию Андреевичу еще не приходилось слышать, чтобы тысячи вполне здоровых людей были объявлены в Севастополе зачумленными и обречены на мучительный и незаконный долгий карантин.

Дедушка Перепетуя обстоятельно рассказывал в своих «записках исторических» об оцеплении Корабельной слободки войсками. И как жители, после насильственного купанья среди зимы в бухте, возвращались в свои хатенки, где не было ни куска хлеба, ни полена дров. От всего этого люди болели, но не чумой, умирали, но не от чумы.

По всей Широкой улице, и по Гончему переулку, и по Доковому поднимался вопль, как только там показывались «мортусы» — санитары в черной кожаной одежде, обмазанной дегтем. Лица у мортусов были скрыты под низко надвинутыми капюшонами, а вся снасть состояла из железных крючьев на длинных жердях. Этими крючьями мортусы переворачивали в слободских хатенках все вверх дном, вытаскивали на улицу вполне здоровых людей и волокли их к Корабельной бухте купаться или на Павловский мысок в карантин. Мортусы пьянствовали и вымогали взятки, а мортус, по прозвищу Колдун, кроме того лечил людей от чего вздумается или просто так требовал на водку, грозясь:

— Вот возьму и оборочу тебя вверх носом! Будешь ты меня помнить!

«Избавления не видно было ниоткуда, время шло, — записал в своей тетради дедушка. — Карантинные чиновники и мортусы угнетали один низший класс людей, и совсем безо всякого милосердия. Многие, просившие хлеба или какого-нибудь топлива, были военным полицмейстером Макаровым истязуемы на базарной площади, при всем народе: мужчин пороли плетью, а женщин розгами. И дабы вовсе не погибнуть голодной смертью, пошла наша Корабельная слободка распро-

¹ Шпицрутены — прутья, применявшиеся для жестоких телесных наказаний.

даваться по грошику и по копейке. Какой ни был в доме скерб, последнее рухлядишко, всё вместе отдавали за рубль, за два на пропитание своих семейств.

Да взялись еще люди разорять свои хатенки, выламывать полы и рушить стропила. А то ведь все, что нашлось деревянного из движимого имущества, — всё уже раньше спалили на очагах и в печурках: столы, скамейки, сундуки, кровати... Ибо как же было иначе в то страшное время добыть огня для сугрева и для пищи? Ибо время было поистине страшное, ох, разбедовое было время, 1830 год.

А чумы в Севастополе, знаю и свидетельствую и на том стою, не было никакой. Выдумана была чума мошенниками и спекуляторами для увеличенного жалованья по положению в карантинное время и для всяких суточных и прогонных¹ денег. Выдумана была чума для истомы бедным людям и грабежа простого народа, для беззаконной и лютой корысти. А главный мошенник и злодей — это карантинный доктор Верболозов, образина — не приведи господи! Слободские бабы кричали ему в лицо, что утопят его в Корабельной бухте. А один рабочий из семнадцатого флотского экипажа приступил к нему и кричал на него при всех:

— Тебя, лыс бес, ночью убьют! Все вы тут, начальство, — мошенники, шпионы! Сгубили Севастополь! Завели тут карманную чуму — людей изводить голодом, а себе набивать карманы золотом.

Матросы стали пошвыривать камнями и поленьями в комиссаров, и в конвойных, и в мортусов. Однава было — вырвали у часового ружье и сорвали перевязь с унтер-офицера. А мортуса Колдуна, поймав, хотели покалечить за его лечбу, за то, что всех лечит серной кислотой и восемьдесят человек уже залечил до смерти. И за всё хотели отодрать его в три кнута; и еще за то хотели, что вымогает на водку, грозясь оборотить всех вверх носом.

Но чуть было не дошло до беды. Потому что когда совлекли с Колдуна штаны кожаные и капюшон с головы сорвали, то оказалось, что это не Колдун вовсе, а другой мортус, именем Федька, совсем малоумный. Однако хотя мортуса Федьку не стали пороть и калечить, но и ему попало от матросов на орехи. Так что бежал мортус Федька из Корабельной без оглядки, бросив посреди улицы и крюк свой, и штаны с курткой, и капюшон с головы. И матроски с ребятами очень смеялись над ним и кричали вдогонку:

— Не показывайся больше, шука, в слободке! Все равно сдерем с тебя кожу и крапивой выпорем!

¹ Прогонны — плата за проезд.

И поделом бы! Они, мортусы, столько лечить знают, сколько медведь на фортепьянах играть.

Раз от разу и день ото дня распался все сильнее народный гнев против воров и притеснителей, тиранивших людей немилосердным тиранством. Уже слышно было в Корабельной слободке, что пора-де народу, бедным людям, самим подумать о себе и учинить расправу над карантинщиками, и чиновниками, и богатыньками.

А тут случилось, что карантинный чиновник приказал мортусам тащить крючьями совсем здорового матроса Гришу Полярного и дочь его здоровую в карантин. Но Гриша схватил ружье и в чиновника выпалил. И стал Гриша с чердака у себя отстреливаться и опалил из ружья генерал-губернатора Столыпина. Схватили тогда несчастного Гришу и расстреляли у его же хатенки, на глазах у всего семейства, безо всякого суда.

В Корабельной слободке как не было чумных, так и не было. Ничем таким корабельцы наши не болели, а всё еще были в оцеплении и в рогатках: ни на Городскую сторону сходить в крайности, по надобному делу, ни скотину на выгоне пасти, ни на огородах за Инкерманским мостом работать, ни продать, ни купить... Эка, в самом деле, беда, ну прямо горе горевое, пропадай совсем живой человек, ровно ты не человек! И уже длилось тиранство это побольше ста дней.

В ту пору погибла в Корабельной слободке старуха Щеглова. Сидела, старая, дома и ела кашу, и был у нее всего только на шее чирей. А мортусы, набежав, тут же старую извели, задушили совсем, набив ей рот морской травой.

Тогда же стали матросы по всему Севастополю держать совет. Что вот-де их братия, бедные люди, вконец погибают; надо теперь всем соединиться и сообща учинить бунт, чем такое терпеть. И матросы кричали армейским офицерам, тем, что оцепление делали и были в пикетах и на заставах:

— Скоро ли откроете огонь? Мы только и ждем того. Мы готовы. Совсем заесть нас хотите? Не будет так, и с Корабельной слободки мы вас скинем!

Приехал тогда в Корабельную слободку увещевать народ соборный протопп Софроний. А не увещевал вовсе, только ругался и колотил крестом об трость, так что из народа шумели, и смеялись, и кричали:

— Что ты, протопп, так невежничаеть, крестом, как пестом, колотишь и ругаешься нехорошо? Видишь, мы совсем изнемогли, с голоду помираем, а ты под шелковою рясою эвон какое брюхо наел!

Уехал протопп, а унтер-офицер Кузьмин стал тогда обучать по ночам людей в Корабельной слободке, мужчин и женщин, для бунта. Учил пальбе из ружья, пехотному бою, мар-

шировке и разным построениям. И говорили Кузьмин и яличник Шкуропелов и другие атаманы, что они — Добрая партия; и порешила, дескать, Добрая партия все высшее начальство в Севастополе истребить. В ту пору только и речи было в Корабельной слободке, что есть-де теперь у нас Добрая партия для соединения людей, чтобы всем миром постоять за правду, а не погибнуть от неправды, развеявшись по свету.

Началось по сигналу, когда на Городской стороне жены мастеровых рабочих Марья Гриченкова и Аграфена Тютюнина ударили в набат. А другая, Дарья Семенова, услышав, что уже ударили на колокольне, зашибла на Большой Морской генерала Примо и сорвала с него эполеты, после чего мастеровые с ломами, топорами и кольями ворвались к генерал-губернатору Столыпину и, сбросивши его с лестницы на двор, убили.

— Это тебе за Гришу Полярного, за его безвинную кровь! — кричали матроски, волоча труп Столыпина через улицу.

Видя, что генерал-губернатора уже нет, матросы под ружьем, и котельщики, и плотники — все пошли к соборному протопопу. А протопоп отнюдь теперь не стал ругаться, но облачился в ризу и пошел петь, как сладкогласная сирена¹:

— Чада мои, зачем мятетесь и что вам надобно здесь, ибо место сие свято?

А матросы ему:

— Ты не пой, головы нам не туманы! Какие мы тебе чада, губернаторский ты угодник? Мы пришли тебя убить. А дальше пойдем косить по городу, всех перебьем, кто выдумал чуму.

Однако протопопа не убили, а взяли от него бумагу за печатью и подписью. Я бумаги не читал, потому что лежал в морском госпитале после тифа. А читал бумагу фельдшер Полупанов и все мне обсказал. А бумага такая:

«1830 года, июня 3 дня сим свидетельствую, что в городе Севастополе нет чумы. И не было чумы. Протоиерей Софроний Гаврилов».

И еще были под бумагой подписи разных людей из духовных и мирян. Городской голова Василий Носов тоже подписался и печатью своею припечатал. А купец этот, Василий Носов, городской голова, он первейший живодер, спекулятор, мошенник, дрова поставлял флоту и на выдуманной чуме тоже разжился, карманы набил и каменных домов себе понастроил.

Получив бумагу о том, что никакой чумы в Севастополе нет и не было, матросы с ружьями и примкнутыми штыками и мастеровые с дрекольем бросились из города в Корабельную

¹ Сирены — по верованиям древних греков, морские девы, своим пением завлекавшие мореплавателей в опасные места на верную гибель.

слободку. А там полковник Воробьев, державший оцепление, уже выдвинул против них пушки с зажженными у запалов фитилями.

— Солдаты, не тронем вас! — кричали в один голос матросы и мастеравые. — Выдайте нам начальников! Где ваши начальники? Ничего, хороших не тронем, а злодеям — смерть!

Тогда полковник Воробьев приказал открыть огонь по матросам и мастеравым; да только невелика была пальба, и та из ружей вверх. Не хотели солдаты стрелять по своим братьям. И канониры у пушек тоже не стали палить, побросали фитили на землю. Пошла тут пехота и артиллерия обниматься с матросами и с рабочими. И выдали солдаты на расправу своего полковника, который был поистине злодей. А хороших офицеров солдаты не выдали, стали за них грудью: за штабс-капитана Перекрестова и за констапеля¹ Саблина. И матросы, посоветовавшись, хороших начальников не тронули, а полковника Воробьева убили.

А из офицеров тоже были в Доброй партии — не одни простые люди и матросы. Сказывали, что штабс-капитан Перекрестов, коего матросы не тронули, и он был с Доброй партией заодно, чтобы поднялся народ. И еще приходили в те дни



в Корабельную слободку к жителям тоже из Доброй партии капитан-лейтенант Матусевич и капитан-лейтенант Черняев, еще лейтенант Энгельгардт да из прапорщиков несколько.

И пошла тогда Добрая партия по Корабельной слободке расправу делать по заслугам, всем сестрам по серьгам. Убили в слободке, кроме полковника Воробьева, еще чумного комиссара Степанова. Хотели убить корабельского попа

¹ Констапель — первый офицерский чин в морской артиллерии, замененный вскоре чином прапорщика.

Федора Кузьменку — очень опалился на него народ за то, что шпионит в слободке, с «голубыми» чаи распивает и обо всем им доносит. Раз пять приходили за попом за Кузьменкой. Сколько ни искали, найти не смогли. А спрятался поп в церкви, в тайнике.

Еще тоже был от тех, что в Доброй партии, приказ — лавочника Попова заколоть штыками. Однако помиловали, пустили жить.

А и на Городской стороне народ в тот день творил расправу, и пошло по всему Севастополю. Все, у кого рыльце в пуху, попрятались; а из полиции, так те чисто все разбежались, они первые убежали, а то не сносить бы головы ни полицмейстеру, ни последнему десятнику.

И, не найдя никого, разорял народ дома: крушили у адмиралов и у генералов, и у провиантских, и у купцов. А грабить ничего не грабили и не давали грабить никому. А кто грабил, так с теми была от Доброй партии расправа: секли розгами и плетью пороли, а награбленное отбирали и относили туда, откуда взято.

Солдаты все были с народом заодно. Имея ружья заряженными, ни в кого не стреляли.

— В кого стрелять? — говорили они офицерам. — Мы здесь турок не видим. Красных фесок тут нет, чтобы стрелять.

На другой день по требованию Доброй партии комендант города Турчанинов приказал карантин в Севастополе повсюду снять.

А уже курьеры скакали из Севастополя в Петербург к царю к Николаю с чрезвычайной и невероятной вестью о возмущении севастопольского народа. И поскакали курьеры из Петербурга обратно в Севастополь — что ни день, то фельдъегерь с валдайским колокольчиком под дугой и кожаной сумкой на груди. А в сумке — всё указы, всё указы, высочайшие его императорского величества указы хватать, тащить, казнить, не миловать. Ибо претензии жителей царь признал неуважительными и определил оставить их без внимания.

После этого стали у нас в Корабельной слободке хватать кого попало, правого и виноватого; нахватали сотни людей, потащили их в укрепление на Северной стороне и бросили в казематы. Уже 11 августа полицейские десятники рыскали в Корабельной слободке по хатам, сгоняя народ, дабы все видели казнь. А казнили через расстреляние семь человек из Доброй партии, и среди них наши корабельцы Тимофей Иванов и яличник Шкуропелов. Не было им милости от царя ни до того, ни теперь: ни жить не жили, ни умереть по-людски не умерли.

И потом пошли в ход шпицрутены.

Попряталась наша беднота по запечьям; в норы, как мыши,

забились. А по всему Севастополю, в гробовой тишине, только и слышно: «ать, два... ать, два...»; барабаны бьют, и прутья свищут, и брызжет кровь.

Пятьсот человек солдат выстроились улицей, в две шеренги, и у каждого солдата в руке длинный, толстый прут.

— А ну, разомнись! — кричат офицеры, пробегая позади шеренги. — Сейчас поведут. С замахом, с замахом бей!

Из матросов 29-го экипажа по жребию каждому десятому определили шпицрутены и прогнали шесть раз сквозь строй в пятьсот человек. Но мало кто дожил до шестого раза. А дожил, так уж после шестого богу душу отдал. Всех остальных из 29-го экипажа — на пять лет в каторжную работу.

Понахватали тоже и женщин в слободке. Кому кнут и каторга, кого из Севастополя в Архангельск, от теплого моря к студеному. Схвачены сотни и сотни матросок и мещанок простых, с детьми и без детей... Никто не разбирался. Ах, где было найти правду! У царя, говорили, запрятана правда за семью печатями и семьюдесятью семью замками. И таковых мужчин и женщин всего было — казненных и через шпицрутены умученных и на каторгу угнанных, и на Белое море, и в Полесские флотских, и армейских, и гражданских, разных народов люди — из русских, из евреев, из греков, из иных.

И повелел государь император срыть Корабельную нашу слободку с лица земли, чтобы стало место пусто и беспмятно, не осталось ни названия, ни воспоминания. Однако передумал государь, опасаясь, как бы такое разорение не пришлось казне в убыток.

Уцелела Корабельная, но пусто стало, малоллюдно стало. Хоть не срыли, а беспмятно стало, забываться стало. Ибо от полиции и от «голубых» было тайно объявлено каждому, что есть наказ царский наистрожайший: считать все бывшее в Севастополе не бывшим.

Потекло время, пришли в Корабельную слободку новые поселенцы и народились новые люди. При Лазареве, и при Корнилове, и при Нахимове стало сколько-нибудь по-иному. А о том, что было на месте этом раньше, кому печаль?

Попрежнему поп Кузьменко под покровом ночи хаживал без фонаря к тогдашнему корпусу жандармов полковнику Шихуцкому. А лавочник Попов за пережитые страхи скверно ругался и вовсе бесстрашно драл с живого и с мертвого.

На этом конец. Кто знает больше моего, расскажет больше моего, дабы не забылось совсем».

Успенский закрыл тетрадь и положил ее рядом с собой на табурет.

На улице что-то беспрерывно вспыхивало: в щелях ставенек загорались словно бенгальским огнем зеленоватые полоски и гасли. И сложный шум проникал со двора в комнату, набор звуков, где в топот копыт и скрип колес врывалось фырканье продрогшей лошади, и звяканье металла, и стук чугунных цапф¹ на дубовых лафетах, когда орудия подскакивали на мерзлых буграх.

«На этом конец, — повторил мысленно Успенский завершающие слова из записи дедушки Перепетуя. — Конец... Ой, нет, быть не может, не конец! Будет еще продолжение. Придет пора, воздастся каждому по делам, будет всем сестрам по серьгам...»

Успенский встал и сунул ноги в чувяки, чтобы потушить свечку.

Дверь в сени была плотно прикрыта, но все же оттуда тянуло холодом.

Стоял февраль, а в Крыму еще держалась зима.

Верно, здоровый взялся к рассвету мороз.

XLI

Бомбы — не пряники

Однако чем суровее был февраль, тем шибче стало в марте пригревать весеннее солнышко. Повсюду в рытвинах у дорог голубела полая вода — раздолье шальному воробьиному племени. И звонкий ветер шевелил на деревьях голые ветви.

Но не прошло недели, как все покрылось светлозеленым пухом. В сад под шелковицу вышел дедушка Перепетуй. С ним была его новая тетрадь. Старую он снова упрятал в сундук.

Под шелковицей было прозрачно и пусто. Еще в декабре с нее снесло ядром крону; другим ядром дерево было расщеплено до половины. Но не сдавалась шелковица, пустила старая новые побеги, которым, наверно, предстояло тоже жить и жить.

С наступлением весны старый солдат из рабочей роты Севского полка, знаток поговорок, пришел на пятый бастион и, глядя на Николкину работу у мортирки, говаривал:

— Ишь ты! Смекалистый мальчонка. Не про тебя ль, сынок, сказано: сам смекай, где берег, где край; была б догадка. будет и меду кадка.

¹ Ц а п ф ы — шипы в средней части артиллерийского орудия, служащие для накладывания его на лафет.

Но во вторую большую бомбардировку, 28 марта 1855 года, Тимофею Пищенко ядром разmozжило голову. Тимофей упал на свою пушку и, обхватив ее по стволу, накрепко стиснул в последнем объятии. Насилу разжали Тимофею руки. Обрядили тогда Тимофея в чистую рубаху и парусиновые штаны и повязали ему шею новой косынкой. И похоронили на Северной стороне, на Братском кладбище, в братской могиле.

На другой день пришел на бастион старый солдат из рабочей роты, бросил наземь свою лопату и сел подле Николки. Николка похудел и почернел с горя, но глаза у него были злые.

— Уж я вот... уж я им... — задыхался он, посылая французу из своей мортирки ядро за ядром.

— Птичьего молока хоть и в сказке найдешь, — сказал солдат, — а другого отца и в сказке не сыщешь. Эх! Сирота — что камень при распустье. Хорошо бы жить у отца, да нет его у молдца.

Солдат сунул руку в карман шинели и вытащил оттуда медовый пряник.

— Мертвого схоронить, да живому, сынок, надо жить. А жизнь изжить — не лапоть сплести.

Он положил Николке на лафет мортирки пряник, прихватил лопату и пошел к траншее. Николка сурово покосился ему вслед, но ничего не сказал.

Пустеть стала Корабельная слободка после второй бомбардировки. Много хатенок смело ядрами, другие сгорели от зажигательных снарядов... Жители переселялись на Северную сторону, и там, в шалашах, уже жили Белянкины и Спилиоти. Мишук и Жора страшно завидовали Николке и его георгиевской медали. Но Елисей Белянкин и Кирилл Спилиоти зорко следили за своими мальчишками. Училище, куда раньше ходил Мишук, было на все время осады закрыто, и Мишук слонялся с Жорой по базару на Северной стороне, где изредка появлялся, щеголяя своей медалью, Николка. Но прошел целый месяц, как Николка не бывал на Северной; почти весь май прождали его Мишук и Жора... А между тем уже четыре державы воевали против одной России. Чтобы угодить французскому императору, в войну вступила маленькая Сардиния; пятнадцать тысяч итальянцев под начальством генерала Ламармори высадились в Крыму. И 25 мая началась третья большая бомбардировка Севастополя.

На Северной стороне было безопасно, хотя, случалось, и сюда залетала шальная ракета. Егор Ту-пу-ту устроился здесь возле харчевых балаганов. Все так же за медную копейку показывал он всем желающим уже не Синопский бой, а новую программу, которая называлась «особая категория».

— Станичник! — кричал дядя Егор, заметив подвыпивше-

го донца в смушковой шапке, сбитой на ухо. — Кузьма Гаврилыч, становись в затылок; а коли мало сроку, подбирайся сбоку.

Егор вертел ручку ящика, и в зрителях у него попрежнему недостатка не было. Его хрипловатый голос и тут разносился во все концы, как год назад в Корабельной слободке.

— Погляди-ко особую категорию, любопытную историю, королеву Викторию, приехала в Евпаторию, пьет кофей без цикорию.

Казак тыкался носом в ящик и видел сквозь увеличительное стекло какую-то бабу, которая сидела на столе на полосатом матраце, а перед нею стояли на коленях турки с подносами в руках. Подносы были уставлены большущими чашками, из которых клубами валил пар.

Дядя Егор давал казаку вволю наглядеться на королеву Викторию, а сам тем временем раскуривал трубку.

— Слышал, Иван Потапов? — сказал он мяснику Потапову, высекавшему для него кремнем огонь. — Миколка-то Пищенко как объявился! Медаль у него, а теперь — Георгия мальчишке. По всей форме, сам Павел Степанович крест ему... да, перед всем фронтом. «Трудись, — говорит, — и впредь, Миколай Пищенко, за Россию-матерь». Вот те, Иван Потапов, и слободские, Корабельная то-есть... «Миколай, — говорит, — Пищенко», а?

Мишук с Жорой обомлели, услышав это. Потом оба принялись теревить дядю Егора. Но Егор уже снова взялся за ручку ящика, а Потапов как цыкнет да как замахнется кулачищем!.. Ребята бросились бежать и остановились, только когда добежали до бухты. Здесь они повалились на какой-то ялик, вытащенный на берег и опрокинутый вверх дном.

— Николка-то... — сказал Мишук, еле переводя дух. — Павел Степанович Георгия ему...

— Крест... — ответил Жора, тоже еще не отдышавшись. — Николка... Важно!..

Второй день гремела над Севастополем усиленная канонада. Словно тысяча буйволов редела вместе, на один голос, и рыла копытами землю, взметая над нею камни и пыль. Но Мишук и Жора давно привыкли к этому реву, и на Северной стороне он совсем не страшил их.

— Бежим к Николке на пятый, — предложил Мишук. — Посмотрим, какой крест.

Жора взглянул вверх, где в синем небе плавали дымки разрывов.

— Может, Николке дали игрушашный, — сказал он вздохнув.

Мишук презрительно оглядел Жору с головы до ног:

— «Игрушечный»... Скажешь!.. Это Павел Степанович даст игрушечный! За Россию-матьер...

Жоре и самому хотелось побывать у Николки на пятом бастионе, но и боязно было пускаться через бухту, потом — под выстрелами через весь город.

— А может, это набрехали дяде Егору про крест? — робко спросил Жора. — Может...

— Говори! — оборвал его Мишук. — Набрехали! Про крест набрехали!

— Наверно, Николка теперь ва-ажный стал, — протянул Жора.

— Ну и что ж, что важный, — стоял на своем Мишук. — Пускай важничает.

Оба сидели верхом на опрокинутом ялике. Мишук — на носу, Жора — на корме. Перед Мишуком расстилалась бухта, зеленая вода была в ней прозрачна, и дымки в ясном небе отражались в воде.

— «Трудись, Николай Пищенков, за Россию-матьер», — повторил Мишук как зачарованный.

И, встрепенувшись, замолотил кулаками по днищу ялика.

— Идешь со мной, Жорка, или как? — крикнул он, соскочив на землю. — Не то я и один, без тебя... Очень ты мне нужен! Ступай лучше к мамке, она тебе соску даст.

— Ой, что ты, Мишук! — сразу замахал руками Жора. — Давай вместе. Наверно, не игрушашный крест, коли Павел Степанович дал.

Жора сполз с ялика наземь и поглядел на свои руки. Они были у него в смоле, которая по килю ялика еще не всюду успела засохнуть.

— Глянь-ка, Мишук, — сказал Жора, показывая свои ладони.

Мишук рассмеялся. Потом поглядел на свои ладони и рассмеялся еще пуще. Они и у него были в смоле. Оба стали мыть руки — воды в бухте сколько угодно.

Время было далеко за полдень; солнце уходило в открытое море; пальба затихала. На противоположном берегу бухты выдался вперед Павловский мысок с батареей, казармами и госпиталем. Дальше, за мыском, торчали ряды печных труб на пепелищах Корабельной слободки. И там же, чуть левее, курился Малахов курган с белой башней и русским флагом.

— Кабы нам к Павловской батарее причалиться, — молвил озабоченно Мишук. — А там с Корабелки махнуть по мосту на Городскую сторону.

— Разве что... — заметил Жора. — А тут, через Большую бухту, как?

— То-то и оно-то, — вздохнул Мишук. — Никто задаром не повезет.

— Нет, не повезет, — согласился Жора. — Как сунешься в ялик без трех копеек, так еще и уши надерут.

Ни Мишуку, ни Жоре не хотелось рисковать своими ушами. Оба знали по собственному опыту, что яличники, случалось, дрались очень больно: как схватит за ухо или за вихор, жди потом, когда ему вздумается отпустить. А в оба конца, да за двоих, это, значит, надо выложить за перевоз целых двенадцать копеек. Таких денег у ребят не водилось. Надо как-нибудь по-другому. Хоть вплавь пускайся через бухту! А плыть ведь до Павловского мыска полторы версты. Петр Кошка бывало на пари переплывал. А Мишуку и до середины не доплыть. О Жоре и говорить нечего: совсем пловец никуда.

Вдруг Мишука осенила мысль. Он огляделся: кругом никого не было. Тогда он схватил Жору за руку.

— Жора, знаешь что? — стал шептать он, все еще оглядываясь. — Спустим ялик в бухту. Там на берегу у Павловской батареи камни, так мы причалим под камнями и ялик там спрячем. А вернемся сюда, на Северную, тогда ялик снова на старое место...

Но Жора покачал головой:

— А хозяин спохватится — ан ялика нет. Выждет тут за амбаром, а когда будем ворочаться, так стукнет по макушке. Тут ходит один старый чорт... Васька Горох было-то залез к нему в ялик бычков удить, так старый этот, не молвив слова, как хватил Ваську доской по голове, аж треснула.

— Голова треснула? — заинтересовался Мишук.

— Не, доска треснула. А на голове выскочила шишка, здоровенная, как у капитана Стаматина, только на самую чуточку меньше — вот настолечко, на волосок один.

Но Мишук слушал недоверчиво:

— Врешь ты, Жорка, зубы мне заговариваешь! Просто боишься — и всё. Я и один с яликом управлюсь, не впервой мне.

— А весла где возьмешь?

В самом деле, где было взять весла? Может быть, они спрятаны где-нибудь за сараем?

Мишук побежал к сараю, но ни у сарая, ни за сараем не было ничего, а самый сарай был заперт на большой замок. Однако из-под дверей сарая торчал край доски. Мишук вцепился и вытащил всю доску.

— Вот тебе вместо весла! — крикнул он Жоре, который принялся швырять камешки в воду. — Ты только помоги мне ялик спустить, а я и доской угребусь.

Ребята ухватились за ялик — Мишук с носа, а Жора с

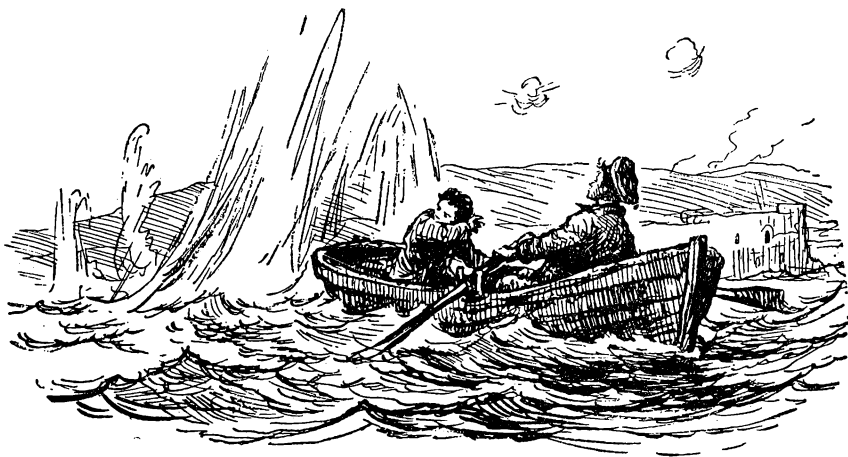
кормы, — но ялик словно к земле прирос. Тогда они вместе вцепились в борт суденышка, понатужились — раз, два, три! Тяжело! Но — хлоп! — и ялик опрокинулся набок.

— Ой! — воскликнули оба в один голос и присели на корточки.

Ялик опрокинулся, и под ним оказались весла и два катка, чтобы спустить его в бухту, и ковш — воду вычерпывать, и фонарь с огарком, и веревка, и даже, неизвестно для чего, мешок с сеном.

У Жоры из головы сразу вылетели все опасения. Вместе с Мишуком посадили они катки под ялик и спустили его на воду. Прихватив с собой весла и все остальное, ребята отчалили и через пять минут были на середине бухты.

Вся бухта была залита солнцем, которое плыло теперь по западной окраине неба и незаметно все больше клонилось к морю. Пальба поднялась снова, и с каждой минутой все чаще становились выстрелы, и опять словно буйволы ревели, и вновь над Севастополем поднялись дым и пыль. Мишук рвал веслами воду, а Жора сидел на корме притихший, и сердце у него стучало, и глаз он не сводил с больших камней на Павловском



мысу. Жоре все казалось, что расстояние между мысом и яликом несколько не уменьшается и что Мишук не гребет, а только весла в воде мочит. Но когда Жора обернулся, то увидел, что сарай на берегу остался далеко позади и что какой-то человек в фартуке поверх красной рубахи бежит там по берегу и руками размахивает — наверно, кричит что-то, только за канонадой ничего не слышно. А Мишук еще раньше заметил этого человека и греб изо всех сил.

«Хорошо, — думал Мишук, — что успели отчалить. А то и верно хватил бы доской по макушке, так что доска бы треснула, а на голове бы здоровенная шишка с картофелину...»

Но радоваться Мишуку довелось недолго.

«Плюм!» — услышал он где-то в стороне. «Плюм!» — раздалось позади. «Плюм!» — поднялась за кормой вода фонтаном и окатила Жору с головы до ног.

Ядра и бомбы стали падать в бухту, и волна разыгралась такая, что чуть ялик не опрокинула. Жора сразу осунулся и сидел серый, как его парусиновая безрукавка. Мишук уже и сам не рад был своей затее, но было поздно. Да и до Павловского мыска осталось рукой подать. Мишук ударил веслами раз и другой, и ялик врезался в низкий берег между двумя камнями. В тени, падавшей на воду от большого камня, ребята укрыли ялик и выскочили на берег.

Пальба становилась все злее. Видно было, как снаряды ложатся в Корабельной слободке и один из них на глазах у Мишука и Жоры сшиб с колокольни крест.

На Павловский мысок несли раненых. В окне госпиталя показалась Даша Александрова и исчезла. Через минуту она снова была у раскрытого окошка вместе с врачом Успенским. Успенский высунулся из окошка и что-то кричал ребятам, но за пальбой ничего нельзя было разобрать. Тогда Успенский стал грозить ребятам пальцем. Руки у лекаря были в крови, и палец тоже был весь красный... Ребята бросились бежать, но знакомой дороги через Корабельную слободку не находили — всюду камни и мусор, бурьян и крапива. Только колокольня со сшибленным крестом еще высилась над тополями и хатенка Кудряшовой белела вдаль да у дедушки Перепетуя окна были закрыты голубыми ставнями.

Но заходить к дедушке либо к Кудряшовой у ребят не было охоты. Они знали, что дедушка рассердится, увидев их здесь одних, когда такая пальба. А Кудряшова, чего доброго, бросится заявлять в полицию. Там, в полиции, пристав Дворецкий только и знает ребят сечь. Ни за что ни про что может отодрать; а уж за ялик, угнанный без спросу, так отстегает, что потом два дня на лавку не сядешь. И ребята, не останавливаясь, побежали дальше.

Вскоре их обогнал на белой лошади начальник обороны Корабельной стороны генерал Хрулев. Батальон пехоты пронесся беглым шагом к Малахову кургану. Похоже было, что там, у Малахова, идет большой бой.

— Беда! — кричал, пробегая, заморенный солдатик, оставший от батальона.

Завидя ребят, высунувшихся из-за кучи мусора, он снова крикнул:

— Беда, хлопчики! На Камчатском люнете Нахимова убили...

Камчатский люнет был еще зимой построен Нахимовым на пригорочке перед Малаховым курганом. Это было земляное укрепление, открытое только с одной стороны — с задней стороны, обращенной к кургану. Чтобы взять Севастополь, надо было овладеть Малаховым курганом. Но стать хозяином кургана можно было, только сокрушив сначала Камчатский люнет.

В то время, когда Жора и Мишук причаливали к большим камням на Павловском мысу, Нахимов на своей серенькой лошадке скакал во весь опор через Корабельную слободку. Резвый конек брал с маху всевозможные препятствия, которые внезапно вырастали у него на пути, так что адъютанту Павла Степановича Колтовскому пришлось подстегнуть своего вороного, чтобы не очень глядел по сторонам. Вдруг вверх взвилась, точно змея, ужалившая собственный хвост, серебристо-белая ракета. И за нею еще две ракеты обе сразу рванулись в вышину. Нахимов ударил свою лошадку каблуками сапог, и та, вытянув голову, наддала еще шибче, так что ветер засвистел у Павла Степановича в ушах.

— Шту-урмм! — выл ветер, подхватывая и разнося пыль, взрываемую конскими копытами. — У-у-у...

— Штурм, — словно соглашаясь с ветром, шептал беззвучно Павел Степанович. — А на люнете всего триста пятьдесят человек!..

Он оставил лошадь внизу и стал пешком подниматься на люнет. И совсем неожиданно для защитников люнета среди них появилась знакомая фигура Нахимова, его черный сюртук с золотыми эполетами, полусабля на кожаной портупее через плечо... Офицеры и солдаты, даже несколько человек арестантов, работавших на люнете, — все сразу окружили его, они стали как бы жаться к нему, словно ища в нем опоры. Их было действительно мало, чертовски мало, а тут еще этот штурм, которого и впрямь можно ждать с минуты на минуту. Об этом говорит и перебежчик, немец из Эльзаса, одетый во французскую форму. От него пахло ромом...

— *Vive l'empereur?* — повторял он и, морщась, вертел головой: — *Non, je m'en fiche de l'empereur!* Тьфу!

Нахимов подошел к нему. Перебежчик, увидя русского начальника в адмиральских эполетах, несколько подобрался, вытянулся...

— Количественно какими силами предполагается штурм в этом месте? — спросил его по-французски Нахимов.

— Две дивизии, ваше превосходительство, — ответил пере-

¹ Да здравствует император? Нет, я плюю на императора.

бежчик. — Две дивизии храбрых солдат императора французов. — И, одолеваемый хмелем, тут же добавил: — Je m'en fiche de l'empereur. Тьфу!

— Какие полки?

— Линейные полки, ваше превосходительство. И зуавы, алжирские стрелки, два батальона гвардии императора...

Перебежчик потер лоб, припоминая, кто же еще. Но ром все больше разбирал его, и он едва держался на ногах. Ничего не припомнив, он закончил:

— Je m'en fiche... Тьфу!

«Петрушка, паясничает, — подумал Нахимов и зашагал к вышке, раздвигая по дороге подзорную трубу. — А цифра все же похожа на правду. У них две дивизии, а у меня на люнете сколько? Триста пятьдесят всех, вместе с матросами и даже арестантами. Гм... да... К примеру, выходит на одного русского добрых три десятка храбрых солдат императора французов? Многовато-с!.. Впрочем, перебежчик хоть пьян, да еще и в том прав: император — тьфу! Какой император? — мелькнула в голове у Павла Степановича озорная мысль. — Их два: император французов и император всероссийский. Тьфу — вообще-с, — решил Павел Степанович и улыбнулся в усы. — «Царь наш — немец прусский, мундир носит узкий», да-с, — вспомнил Павел Степанович из стихотворения декабриста Рыльева, повешенного императором всероссийским. — За всем тем, — продолжал про себя Павел Степанович, — теперь на Руси новый император, а старый в бозе почил. В сундук его скорей, да на десять запоров, да стопудовый камень ему на могилу — гранит, малахит, каррарский мрамор!.. «Чтоб встать он из гроба не мог»... Да... уж очень палят-с, очень...»

Размышления Нахимова были прерваны возгласом командира люнета — лейтенанта Тимирязева:

— Павел Степанович, куда вы? Не нужно это, Павел Степанович!

— Это ничего-с, вы не беспокойтесь.

И Нахимов в два прыжка очутился на холмике, откуда ему сразу открылась широкая картина начинающегося штурма.

Не надо было и подзорной трубы, чтобы увидеть это. Неприятель двинулся на люнет с трех сторон, и солнце, стоявшее низко, ярко отблескивало на золотых орлах, которыми увенчаны были маленькие знамена французских линейных полков. А далеко влево что-то отчетливо переливалось голубыми волнами. Не море волнуется, не ветер играет в овсах... Павел Степанович узнал голубые куртки алжирских стрелков. Алжирцы толпами бежали в обход люнету, чтобы ворваться туда с тыловой, открытой стороны. Нахимову не понадобилось и пяти секунд, чтобы определить положение.

— Нет, врешь! — крикнул он в пространство. — Барабанщик, тревога! Сигналист, подними флаг!

Обнажив свою коротенькую саблю, Павел Степанович соскользнул с вышки, увлекая за собою вниз камни, гальку, мелкий щебень.

Солдаты едва увидели синий флаг, флаг нападения и тревоги, как сразу же открыли ружейный огонь по красным штанам, которыми заалело, словно калиной, все поле перед люнетом.

— Картечью их, лейтенант, — сказал Павел Степанович Тимирязеву, поджидавшему его внизу.

Тимирязев побежал к левому фасу люнета.

— Левый фас! — крикнул он матросам, стоявшим у орудий. — Начинай ядром с дальней картечью!

Начал левый фас, потом пошло по всем трем фасам. Осколком бомбы Тимирязева контузило в левый висок... Штуцерная пуля пробила ему правую ногу... Увидя это, Нахимов сам побежал к левому фасу.

— Батальный огонь! — крикнул он, взмахнув саблей. — Раз за разом! Бей! Держись, ребята, Хрулев идет!

Но Хрулев со своими батальонами подбегал еще только к Малахову кургану. И вместо хрулевского призыва «Благодетели, за мной!», Павел Степанович услышал картавые возгласы зуавов — опять это «vive l'empereur!»

Зуавы вместе с линейцами уже мелькали за амбразурами, лезли на самый вал, сыпались сверху на оружейную прислугу.

— Пальбу прекратить! — скомандовал Нахимов. — Мичман Харламов, передайте по батареям: заклепывать орудия, отходить за укрытие.

— Vive l'empereur-eur! — услышал тут Павел Степанович совсем над ухом у себя, и красные кепи французов замелькали перед ним, как искры. — О-о-о! — завывали французы.

Они уже разглядели адмиральские эполеты на плечах у этого пожилого сутуловатого командира с обнаженной полусаблей и завертелись вокруг него, как смерч. Чья-то рука с потускневшими галунами на синем рукаве протянулась к русскому адмиралу, но адмирал рубанул по ней саблей. Другому французу адмирал выпалил из пистолета в оскаленные зубы. Коротенькая морская сабелька Нахимова ударялась о вражеские штыки, высекая огонь из металла, но удар чем-то страшно тяжелым в спину сразу свалил Павла Степановича с ног.

— Братцы-и! — слышал он здесь же, рядом, на земле, вопли матросов. — Ребятушки! Не отдавай Нахимова! На-хи-мо-ва-а!

Матросы катались по земле вместе с французскими солдатами, набросившимися на адмирала. Выручать Нахимова бежали теперь со всех умолкнувших уже батарей.



— Нахи-имова-а! — ревели матросы, налетая на французов со своими пальниками и рычагами — Пал Степаныча-а! Выруча-ай!

Здоровенный арестант с бубновым тузом на спине и русой бородой веером, слышав этот крик, напружился и одним рывком расшвырял навалившуюся на него мелюзгу в красных штанах. Не мешкая, он схватил первое, что подвернулось под руку, не то дышло, не то оглоблю, и пошел крушить, переламывая ноги, раскраивая черепа, сшибая головы напроць. Когда он пробился к живой груди, барахтавшейся на земле, двое зуавов уже крутили Павлу Степановичу руки. Арестант отбросил свое орудие и вцепился в зуавов.

Он сшиб их лбами, и они повалились замертво. Но сам упал тут же с кривым тесаком между лопатками.

— Дядя Яков!! — завопил, подбегая, молоденький арестант.

— Я, — откликнулся Яшка, но изо рта у него хлынула кровь, заливая бороду и куртку. — На все четыре стороны... — шептал он отходя. — Куды хошь...

Павел Степанович, тяжело дыша, поднялся с земли. Сюртук на нем разорван и покрыт пылью. Но адмиральские эполеты попрежнему блестят, и вокруг Нахимова теснятся матросы и солдаты.

— Отступать за укрытие! — командует Нахимов, боясь рукой взмахнуть, потому что каждое движение отдается у него резкой болью в спине.

И сотня русских, отбиваясь от двух дивизий противника, покидает люнет.

Медленно, поддерживаемый лейтенантом Колтовским, проезжает Корабельной слободкой адмирал Нахимов. Лицо у него в кровоподтеках, спина нестерпимо ноет и в глазах белый свет мутится. И вдруг губы у Павла Степановича растягиваются в улыбке и подстриженные усы дрожат от смеха.

— Видали, Митрофан Егорович, перебежчика на люнете? — говорит он Колтовскому. — Завел съяна петрушку: «Je m'en

fiiche de l'empereur — тьфу!» Прямо в ушах навязло: l'empereur — тьфу! Уморил, стервец!..

Мишук и Жора, ошеломленные вестью о смерти Нахимова, не знали, что предпринять дальше: то ли домой на Северную возвращаться, то ли бежать к Николке на пятый бастион.

— Нахимов! — крикнул вдруг Жора, узнав Павла Степановича в одном из проезжавших мимо всадников. — Живой!

— Как есть живой! — всплеснул руками Мишук. — Павел Степанович живой, живой! — повторял он, взобравшись на кучу мусора. — Павел Степанович...

Нахимов остановил коня. Тут только ребята заметили, что лицо у Павла Степановича в крови, и сюртук на нем разорван, и сидит Павел Степанович в седле, как деревянный.

— Павел Степанович... — продолжал лепетать Мишук уже испуганно. — Кровь...

— Кровь — это пустяки, — сказал Нахимов. — Герои, ну! Вы что здесь забыли?

— Мы не забыли, Павел Степанович, — стал объяснять Мишук, немилосердно теребя свою и без того истрепанную бескозырку. — Мы только на минуточку на пятый бастион хотели...

— Нашли время! Бастион — не ярмарка; бомбы — не пряники. Завечереет скоро; глядишь — ан спать пора.

И, повернувшись к Колтовскому, Нахимов шепнул ему:

— Нет ли у вас, Митрофан Егорович, полтинничка взаймы?

Получив от Колтовского серебряный полтинник, Нахимов крикнул:

— Ну, герои, получай на коврижки! Деньги поровну, по четвертаку на брата; а лови, кто поймают.

Монета блеснула в воздухе, и Мишук поймал ее на лету.

— А теперь домой, — сказал Нахимов, — беглым шагом без остановки; начинай с левой ноги, не оглядывайся: раз-два, марш!

Ребята в точности исполнили команду.

— Есть беглым шагом! — крикнул Мишук.

И, прижав локти, увлекая за собой Жору, Мишук бросился беглым шагом обратно на Павловский мыс.

У дедушки Перепетуя ворота были раскрыты настежь, а во дворе стояли две маджары, запряженные волами. На маджарах были узлы, чемоданы, корзины... Но ребята, выполняя приказ Нахимова, пробежали мимо не останавливаясь. На Павловском мысу они мигом вывели ялик из-под укрытия. Но едва успели отчалить, как на стрелке мыса появился человек.

— Острожники-и! — вопил он, размахивая руками. — Ялик туды-сюды гоняете! Я вас в полицию-у!

На человеке, потрясавшем кулаками и задыхавшемся от ярости, была красная рубаха, а поверх рубахи — грязный фартук. Это он давеча и на Северной стороне бегал по берегу

бухты и тоже кричал что-то. А пока ребята отсиживались в Корабельной слободке за кучей мусора и разговаривали потом с Нахимовым, крикун в красной рубахе успел добраться до Павловской батареи на мысу, но опоздал только на одну минуту. До ребят в ялике ему уже было не достать рукой, и он принялся швырять в них камнями, все так же вопя:

— Полиция! Ой, полиция! Десятни-ик!

Но камни все давали недолет, и чем дальше, тем больше, пото что Мишук уже выгребся на середину бухты.

В вопившем человеке Жора узнал мясника Потапова.

— Его ялик, потаповский, — догадался Жора. — Он на нем баранов перевозит. И сено тут в мешке — баранам. Ишь как грозитя! Попадись ему теперь — как хватит! Кулачище у него... — молвил Жора с тоской в голосе.

Мишук и сам знал, что кулаки у Потапова, как чугунные ядра; скулу свернут хоть верблюду.

Около Потапова стал уже на Павловском мысу собираться народ: лекари из госпиталя в полотняных халатах, девушка в саржевом платье и белом переднике...

— Должно, Даша, — заметил Мишук.

— Даша, — подтвердил Жора. — С Потаповым, вишь, разговаривает.

Ялик ткнулся в берег, и ребята на тех же катках оттащили его на старое место. Они долго тужились, пока не опрокинули ялик вверх дном. Когда это наконец удалось им, они упрятали под ялик все, что в нем было — весла, катки, ковш, фонарь, сено, — и тем же беглым шагом двинули домой.

— Раз-два, раз-два! — командовал Мишук, бежавший впереди с нахимовским полтинником, зажатым в кулаке. — Лево́й, лево́й... Не отставай, Жорка!

Солнце уже село, и все кругом стало серым. Серые казармы, серые шалаши, в которых теперь обитали переселившиеся сюда севастопольцы, и серый мужик огромного роста, который бежал ребятам навстречу.

И вдруг, когда мужик приблизился, он из серого сразу стал красным: краснорожий, и красна была на нем кумачовая рубаха, и бычьей кровью был залит фартук...

— Потапов! — крикнул Жора в ужасе и бросился в сторону.

Мишук тоже не стал ждать, пока налетит на него разъяренный мясник, и рванулся вслед за Жорой.

Они притаились в каком-то палисадничке за плетнем, и через минуту мимо них пробежал Потапов, сотрясая землю своими пудовыми сапожищами. Он бежал и вопил:

— Острожники! Ялик! Полиция!

И размахивал при этом кулаками, каждый из которых в состоянии был свалить верблюду.



Душа Севастополя

О падении Камчатского люнета дедушка Перепетуи узнал, когда садился в маджару, полную корзины и узлов.

Накануне в Севастополь приехал старший сын дедушки Перепетуя, Михаил, чтобы увезти дедушку в Одессу. Оставить дедушку в Корабельной слободке уже было невозможно. И под вечер 26 мая тронулись они в путь, отец и сын. А спустя неделю, когда лекарь Успенский ушел в госпиталь, дедушкин домик сгорел дотла. Порфирий Андреевич опять остался без крова и без ничего — один китель на плечах и очки на носу. В тот же день Порфирий Андреевич перешел на квартиру к Кудряшовой, которая никуда не хотела уезжать и, всхлипнув, сказала, что она здесь и замуж выходила, и мужа схоронила, и полжизни прожила. И что сама она тоже здесь, в Корабельной слободке, умрет.

Теперь большие бомбардировки шли одна за другой, без длительных промежутков. Не успели в Севастополе передохнуть после бомбардировки 25 мая, как спустя всего десять дней, на раннем рассвете 5 июня, город снова был оглушен сплошным ревом, который шел волнообразными раскатами, не затихая ни на минуту. Это началась четвертая бомбардировка Севастополя; а на другой день, 6 июня, неприятель бросил свои лучшие силы на приступ.

В ночь на 6 июня три ослепительно белые ракеты одна за другой вонзились в черное небо, и французские дивизии рванулись к Малахову кургану. Впереди бежали офицеры с обнаженными саблями. За офицерами, клопоча, как волны в половодье, катились линейные полки. Но картечь Малахова кургана из русских пушек, и ядра, и бомбы, и штуцерные пули, и камни даже — все без остановки стало хлестать по французским штурмующим колоннам. И вся эта человеческая лава в синих мундирах остановилась, завихрилась на месте, завертелась, как в омуте, и отхлынула обратно, чтобы затем снова броситься вперед.

Совсем рассвело, когда Кудряшова, подоив козу, пошла за водой к колодцу в Гончем переулке. Она уже подходила к переулку, как оттуда вышли на Широкую улицу четверо арестантов с носилками. Позади ковылял отставной матрос Поздняков, дряхлый-предряхлый, сам напросившийся на третий бастион и ходивший там по уборке раненых. А на носилках лежал молодой офицер, черноусый, с забинтованной головой, в лице ни кровинки. Все же лицо его было Кудряшовой как будто знакомо.

— Силантьич, кто? — спросила она, остановившись с ведрами и коромыслом.

Старик нахмурил брови.

— Кто!.. — сказал он сердито. — Не видишь? Капитан-лейтенанта Лукашевича не знаешь?

Капитан-лейтенанта Лукашевича знал весь Севастополь. И Кудряшова знала его; и удивилась, как это она Николая Михайловича сразу не признала.

— Ах, голубчик! — всхлинула она.

Лукашевич открыл глаза. Карие с искорками, они были у него теперь словно подернуты туманом.

— Палаш... — сказал он, еле ворочая языком, — ночью...

Арестанты с носилками ушли вперед. Силантьич на минутку задержался с Кудряшовой...

— Ночью, вишь, была вылазка у нас на третьем, — стал он шамкать, тужась снять крышку с жестянки из-под ваксы. — А-а, проклятая! — кряхтел он, поворачивая свою жестянку и так и сяк. — Заела ты век мой! Каждый раз вот эдак!

Крышка наконец подалась и, отлетев, упала Силантьичу под ноги. При этом Силантьич просыпал табак, который хранил в жестянке.

Силантьич с досады и нюхать не стал.

— А, сто чирьев тебе, подлюка! — выругался он, подбирая с земли крышку.

И каждый раз так. Но расстаться со своей жестянкой, причинявшей ему столько хлопот, Силантьич был не в силах. Очень уж хороша была крышка с негром в красном фраке и белом жилете! Торжествуя, негр высоко поднял в одной руке щетку, а в другой начищенный ваксой сапог.

— Вылазка, говоришь, была? — напомнила Кудряшова Силантьичу о том, что собрался он рассказать.

— Была вылазка, — подтвердил Силантьич, решив наконец все же заправить ноздри табаком. — Николай Михайлович повел... — сказал старик задумчиво, потому что почувствовал действие табака в носу. — Повел, да...

Силантьич шумно вздохнул и, оживившись, продолжал:

— Повел... Да, вишь, случись так, что передвижка войсков была у неприятеля, целым шкадром шел. Ну, и врубись он в наших. Потемки, известное дело; кто, чего — не разбери поймешь. Николая Михайловича в черепок, сердешного, палашом долбануло. Палаш — он ведь тяжелый! Не говори: может и трясение мозгов сделать, еще как!

Тут только Силантьич заметил, как далеко ушли с носилками арестанты. Он сразу оборвал свой рассказ и, хлопнув крышкой по жестянке, торопливо заковылял прочь.

Кудряшова постояла, поглядела Силантьичу вслед и, погро-

мыхая ведрами, пошла к колодцу. И четверти часа не прошло, как она уже возвращалась обратно с ведрами на коромысле, полными свежей воды.

Вдруг Кудряшовой почудилось, будто за нею гонятся. С коромыслом на плече она медленно повернулась и увидела бегущих людей в красных штанах.

— А-а! — закричала Кудряшова.

Красноштанники прорвались на Корабельную сторону и открыли по Кудряшовой огонь из штуцеров. «Циви-циви, фить-фить», — стали посвистывать вокруг Кудряшовой пули. И — бац! — пуля ударила в ведро, оттуда струей, как из открытого крана, брызнула вода... Кудряшова бросила наземь и ведро и коромысло и побежала по улице.

— А-а-а! — кричала она, но никто не мог услышать ее крика: один только рев канонады стоял у всех в ушах.

Вдали проходила с ломami и лопатами рота Севского полка. Кудряшова ураганом помчалась навстречу севцам.

— Французы! Француз идет! — кричала она, упав на руки какому-то седоусому солдату. — Здесь, на Корабельной, он, сама видела... Скорей, ой, скорей!

Штабс-капитан Островский, который вел севцев, возвращавшихся с работы, крикнул:

— Что зевать, ребята! Вперед!

И севцы бросились к Гончому переулку.

А навстречу им уже летел на своем белом коне начальник обороны Корабельной стороны генерал Хрулев.

— Благодетели мои! — кричал он, размахивая нагаечкой над своей черной папахой. — В штыки! За мной! Навались!

Французы засели в домах. Севцы выковыривали их оттуда штыками, выкуривали дымом, выжигали огнем. Неторопливо, старательно, деловито работал прикладом седоусый солдат, на которого набросилась Кудряшова.

— Воруешь не для прибыли, а для гибели, — сказал он, войдя в хату, в которой засело пятеро французов. — И, треснув прикладом по чьей-то красной шапке, солдат добавил: — На воре шапка горит!

Неминуемо пал бы здесь старый солдат один против оставшихся четверых, если бы в хату через полминуты не ворвался с обнаженной саблей штабс-капитан Островский. Он сразу зарубил двоих и крикнул остальным:

— Просите пардону, подлецы!

Но штуцерная пуля свистнула у него над головой, и он снова размахнулся саблей. Вдвоем с солдатом они управились здесь начисто. Когда под ударом ружейного приклада упал замертво последний, солдат молвил:

— Поделом вору и мука.

И вместе со своим штабс-капитаном бросился вон из избы. Но на улице оба упали, сраженные штуцерными пулями из дома напротив.

Вечером через Корабельную слободку проходила Широкой улицей толпа солдат. Кудряшова вышла за ворота и увидела на плечах у передних носилки с покойником, прикрытым солдатской шинелью. Поверх шинели лежала обнаженная сабля с офицерским темляком.

Штурм был отбит, но на бастионах горело; горело и в самой слободке. Кроме того, небо резали светящиеся ядра. На улице было светло — светло, как днем. И Кудряшова, стоя у ворот, узнала в покойнике на носилках штабс-капитана, который, не задумываясь, ринулся в Гончий переулок. А на других носилках Кудряшова увидела бездыханное тело седоусого солдата, к которому она бросилась с криком «французы». Лицо у солдата было и теперь спокойно, и на губах у него, под седыми усами, играла улыбка. Казалось, что если бы этот любитель поговорок мог теперь заговорить, он сказал бы: «Страх много, а смерть одна. Умел жить — умей и умереть».

Потому что и такие поговорки знал старый солдат.

Но велика была русская победа в этот день. Пять тысяч своего войска уложил в этот день неприятель перед бастионами Севастополя и ничего не добился и отступил.

Кудряшова стояла одна на улице и смотрела на зарево за Гончим переулком. Пламя плясало теперь где-то между вторым бастионом и третьим — должно быть, на Малаховом кургане. И курган и оба бастиона были как бы сторожами всей Корабельной стороны в Севастополе — с Корабельной слободкой, судовыми мастерскими, морским госпиталем, доками и казармами. Дни и ночи били теперь вражеские осадные пушки огромных калибров и по Малахову кургану, и по бастионам Корабельной стороны, и по Корабельной слободке, по госпиталю, по докам, по казармам...

— Уморилась! — жаловалась кому-то по ночам Кудряшова во сне. — Ах, уморилась! Все разорено и развоевано... Моченьки моей нет...

И то сказать, была когда-то Авдотья Кудряшова и белолица и круглолица, была высока и статна. А стала нынче Авдотья узкой и длинной, тощей, как ухват.

По утрам в летней кухоньке на огороде просыпалась Михеевна, мать Кудряшовой, и, выйдя на крылечко, звала дочь, ночевавшую в сарайчике, где зимой помещалась коза.

— Дуня, а Дуня! — кричала Михеевна. — Жива ль ты?

— Жива, матушка! — откликнулась Кудряшова. — Только где-то близехонько... не знаю... сильно ночью ударило. Верно, опять к Спилиотиным.

— Хорошо, Дуня, что выбрались они на Северную. А то пропали бы вовсе. Всё к ним да к ним... Беда!

— Вестимо, хорошо, матушка, что выбрались.

— А лекарь, Дуня, что? Как он, спит?

— Куда, матушка! Да он ни свет ни заря в гошпиталь побежал.

— Экий шустрый! Пойдем, Дуня, по воду.

— Вот козу подою, тогда...

И под грохот падающих ядер и лопающихся бомб Кудряшова устраивалась в углу двора доить козу.

Но 28 июня ударило не к Спилютиным в их уже и без того дотла развороченный домишко, а прямо на двор к Кудряшовой.

Сначала пискнуло где-то за Малаховым курганом, потом разразилось воем, и рассыпалось искрами, и фукнуло смрадом. И грохнулось. Ракета, запущенная из-за кургана, разорвалась у Кудряшовой в углу двора и разнесла в клочья и Кудряшову, и козу, и старую Михеевну.

В этот день канонада, начавшись с утра по всей линии, стала затем особенно разрастаться против бастионов Корабельной стороны. После полудня грохот пушек, как и при прежних больших бомбардировках, уже сливался в сплошной рев. Нахимову сообщили, что очень жарко на третьем бастионе.

— А вот я сейчас сам туда проеду, — ответил Павел Степанович.

— Павел Степанович, — обратился к Нахимову Колтовский, — не надо вам туда ездить. Не ровен час...

— Да что, Митрофан Егорович, не ровен час! — махнул рукой Нахимов. — Как едешь на бастион — веселее дышишь.

Они уже въезжали на бастион, когда над головой у Нахимова пронеслась бомба.

— Видите? — сказал он Колтовскому. — Нас приветствуют. — И, как-то болезненно поморщившись, добавил: — Какой все же дьявольский салют!

Впрочем, дьявольский салют гремел теперь только на третьем бастионе. На Малаховом кургане, куда с третьего бастиона направился Нахимов, канонада почему-то вовсе прекратилась. Но зато штуцерные пули чирикали, как воробьи в оттепель. Пули пролетали в амбразуры и сплющивались, ударяясь о чугун.

Когда серая лошадка Павла Степановича взнесла его на Малахов курган, матросы и солдаты издали узнали адмирала по всегдашнему черному сюртуку с золотыми эполетами.

— Павел Степанович... Павел Степанович едет! — разнеслось по всему кургану, и все, кто могли, бросились встречать адмирала, проезжавшего шагом между ямами и корзинами с землей.

— Здравия желаем, Павел Степанович! — приветствовал Нахимов один из защитников Малахова кургана, матрос Грядков. — Всё ли, Павел Степанович, здорово?

— Как видишь, Грядков, — улыбнулся Нахимов, и глаза у него засветились. — Все обстоит благополучно.

— Да, Павел Степанович, — продолжал Грядков: — спросить вас, так вы извиняйте.

— Ну! — кивнул головой Нахимов.

— Говорят, будто отдает главнокомандующий неприятелю Севастополь.

Нахимов нахмурился.

— Отстоим Севастополь, — сказал он резко, — или умрем с честью!

— А зачем же, — не унимался Грядков, — саперы мост через Большую бухту наводят? Земляк у меня там в саперах, херсонские мы. Говорил он, отступление замышляют, по мосту чтобы.

— Зачем мост? Подлость это! — отрезал Нахимов и поскакал к башне.

Башня Малахова кургана стояла без верха, срезанного ядрами еще в первую бомбардировку. Здесь, у башни, Нахимов слез с лошади и пошел по батарее.

А штуцерные пули еще громче чиркали, и одна из них ударила около Нахимова в мешок с землей.

— Они целят довольно хорошо, — сказал Павел Степанович и, став у самой амбразуры, принялся раздвигать и наводить свою подзорную трубу.

— Павел Степанович, — обратился к нему тот же Грядков, — местечко здесь, как бы сказать, лихое. Может, спаси-помилуй, и зацепить.

— Это дело случая-с, — сказал Нахимов. — Не всякая пуля в лоб.

Он хотел было уже отойти от амбразуры, как услышал пушечный выстрел рядом и возглас сигнальщика:

— Ловко, Данилыч! Ишь как зацепила! Трех сразу так и подняло!

— Зацепила-таки? — улыбнулся Нахимов и опять глянул в амбразуру. — А!!

Что-то чиркнуло, ударило, залило лицо горячим и липким, накатились грохочущим туманом... В одно мгновение все скрылось из глаз и провалилось без следа. Штуцерная пуля ударила в левый висок, и Нахимов упал. Он сразу потерял сознание, и оно так и не возвращалось к нему. Он умер, не сказав ни слова, 30 июня 1855 года.

В этот день в домике на Екатерининской, где жил Нахимов, в небольшой комнате стоял гроб, обитый золотой парчой.

В гробу лежал Нахимов. Три адмиральских флага были укреплены у почившего в головах, и тело его было прикрыто тоже флагом. Это был кормовой флаг с адмиральского корабля «Императрица Мария», простреленный турецкими ядрами в победоносном Синопском бою.

Группами и в одиночку подходили к домику Нахимова солдаты и матросы с бастионов, урвавшие минутку, чтобы проститься навеки с любимым адмиралом. Защитники Севастополя были покрыты засохшей грязью, запекшейся кровью и вьющейся в тело копотью. Они смотрели на вытянувшегося в гробу адмирала и словно ждали, что вот он встрепенется, глянет, прищурил глаз, и адъютант подаст ему подзорную трубу. Но Павел Степанович лежал неподвижно, и глаза у него были закрыты.

А за окном были полдень и неумолчный грохот, известковая пыль и клочковатый дым. Солнце, похожее на воспаленное око, широко разверстое, стояло в зените над развалинами города.

Даша несколько раз прибежала в этот день на Екатерининскую улицу, а ночью она и вовсе не возвращалась к себе на Павловский мысок. Всю ночь до утра простояла она в углу комнаты, не сводя глаз с осененного флагами катафалка, на котором стоял гроб. Толпы людей бесшумно роились перед Дашей, кто-то хотел стать поближе к гробу, кто-то пробирался к выходу... В открытое окно заглядывали звезды да с бухты налетал иногда ветерок, колебля в подсвечниках пламя свечей... Адмирал Лазарев с портрета на стене задумчиво смотрел своему погибшему ученику в его мертвое лицо; а на другой картине, над головой у Нахимова, было бурное море и военный корабль, преодолевающий волны и ветер.

И тихо было. Только свечи, потрескивая, разбрызгивали воск и черное шелковое платье Нины Федоровны прощуршало.

С рассветом пламя свечей потускнело, и на лице у Нины Федоровны легли темные тени. Снова прощуршала она около и внимательно посмотрела Даше в глаза. Даша вдруг встрепенулась. Не глядя на Нину Федоровну, она прошла к гробу и опустилась перед ним на колени. Она зажала в руке краешек флага, которым он был покрыт... Потом прикоснулась губами к этому полотнищу, от которого, казалось, еще пахло дымом Синопа. Слезы сразу забили ей глаза, и она, как слепая, ничего не видя вокруг, еле выбралась на улицу.

Кусты акаций густо разрослись в палисадничке перед домом, и листики были у них подернуты тонкой белой пылью. Люди входили в дом и выходили, раз двадцать промелькнул перед Дашей Петр Кошка... А потом к ней подошел Успенский...

Когда за вечерело, генералы и адмиралы подняли гроб Нахимова и понесли его к выходу. Барабаны, как на походе, выбили генерал-марш, и парами вышли вперед факельщики с за-

жженными факелами, обвитыми черным крепом. Корабли на рейде пропустили флаги.

Весь этот день мертвая тишина стояла в Севастополе; даже неприятельские пушки умолкли. Но вот ударил колокол на Корабельной стороне, и похоронный звон стал разливаться, таять и пропадать в каких-то норах и трущобах, из которых почти сплошь состоял теперь Севастополь. К колокольному звону скоро присоединились пушечные салюты, которые загрели с корабля «Константин».

За гробом Нахимова в огромной толпе народа шли по разбитым улицам лекарь Успенский и Даша Александрова. И лекарь Успенский говорил Даше, что вот умер Нахимов и некем его заменить. И что России нужно много таких, как Нахимов.

Сняв с головы свою почтарскую каску, шел за гробом Елисей Белякин, рядом с Марьей и Мишуком. Над всей толпой смутно вырисовывалась львиная грива Христофора Спидиоти. Христофор шел, прихрамывая и опираясь одной рукой на костыль, а другою придерживая Жору, чтобы он не затерялся в толпе.

Николка Пищенко с крестом и медалью на матросской куртке шагал с матросами, только что сменившимися с пятого бастиона. И позади стучал по камням мостовой своей деревяшкой дядя Егор. Все, казалось, были здесь. Не было только дедушки Перепетуя, потому что он жил теперь с сыном в Одессе. Не было и капитана Стаматина, вышедшего из госпиталя и уехавшего в Симферополь. Не было и Кудряшовой с Михеевной, потому что обе они погибли три дня назад у себя во дворе, в Корабельной слободке. И не было тех, кто, защищая Севастополь, не сходил с бастионов даже в этот необычный день.

Процессия растянулась по Екатерининской улице, и сводный оркестр всех экипажей черноморского флота разрывал сердце протяжными воплями траурного марша. Капельмейстер Новицкий был в армейской фуражке и с черной траурной повязкой на рукаве. Даже Мишук заметил, что бычий затылок Новицкого весь обмяк, посерел и покрылся морщинами.

И еще, при свете факелов, заметил Мишук, что вывеска на кондитерской Саулиди с нарисованным на ней золотым рогом болталась на одном гвозде, готовая вот-вот сорваться. Кондитерская была заперта, и с витрины куда-то исчезли нарядные коробки, перевязанные разноцветными ленточками. А магазин «Моды Парижа» был и вовсе заколочен досками наглухо. У магазина стоял Николай Лукашевич, тот, что полтора года назад взял в плен Османа-пашу. На Лукашевиче был флотский сюртук с эполетами капитана второго ранга. Голова у Лукашевича была забинтована; он стоял, опершись Нине Федоровне на руку.

— Нет Нахимова — отлетела душа Севастополя! — сказал Лукашевич громко, так, что и Мишук услышал. — Отлетела...

И Лукашевич со своей спутницей сошел с тротуара и присоединился к процессии.

XLIII

Встреча с „Никитишной“

Тяжка была для русского сердца гибель Нахимова. Но защитники Севастополя попрежнему дни и ночи отражали жестокий натиск врага и стояли насмерть по всей оборонительной линии.

С некоторых пор неприятель стал забрасывать Корабельную слободку бочонками в железных обручах. Бочонки полны были пороху. Разрываясь, они причиняли больше вреда, чем обыкновенные бомбы.

В Корабельной слободке уже следа не осталось от домишек Кудряшовой, Белянкиных и Спилюти. Лекарь Успенский никуда не выходил теперь из госпиталя. Он работал с рассвета и дотемна и даже ночевал в госпитале, на койке под лестницей.

В каморке, где приютился Успенский, было крохотное окошко, которое никогда не закрывалось. Ночью Успенскому в окошко видны были звезды. А на рассвете, когда Порфирий Андреевич просыпался, то слышал, как всхлипывает волна в бухте, и бьет по воде рыба, и печальный ветер, набегая, шуршит в больших камнях на берегу.

Солнце еще не всходило, а в стороне Инкерманского моста рванули барабаны и рассыпались долгой и мелкой дробью. Успенский быстро оделся и вышел на крыльцо. Да, в долине Черной речки готовилось что-то: что-то шевелилось в тумане, потягивалось и разминалось, взлетало белыми ракетами в синие полосы предутреннего неба. Нашей Крымской армии снова предстояло атаковать неприятеля в открытом бою.

Успенскому было известно, что этого пожелал новый император, Александр Второй. Ни главнокомандующий князь Горчаков, ни другие генералы не верили в успех атаки. Они знали, что у противника больше солдат, что солдаты эти отлично вооружены и занимают неприступные позиции на отвесных Федюхиных горах. Но в угоду царю Горчаков вывел свою армию на Черную речку, и здесь 4 августа 1855 года произошло кровопролитное сражение.

Долина Черной речки все еще утопала в тумане, сквозь который с трудом пробивалась утренняя заря. Но полковые горны трубили атаку. У Трактирного моста горнисты вместе с солдатами ворвались в предмостное укрепление, и французы бежали.

Потом, под те же тревожные призывы горнов, началась переправа через Черную речку по перекидным мостам и вброд. Неприятель не переставал поливать переправу картечью. Генерал Рead ввел в бой нашу артиллерию. Но выстрелы шли с долины на гору, снизу вверх, и пушки генерала Рeада били мимо цели.

Один за другим бросались на штурм Федюхиных высот наши храбрые полки. И неприятель расстреливал их поодиночке. К генералу Рeаду подбежал солдат с ефрейторскими нашивками на рукавах. Он по-ефрейторски приветствовал генерала, отставив правой рукой ружье в сторону:

— Николай Андреевич, ваше превосходительство, — сказал он задыхаясь: — дайте нам резерв... помощь нам...

— Кто тебя прислал? — спросил Рeад.

— Товарищи.

— Где же офицеры?

— Они убиты, — ответил ефрейтор.

— У меня нет резервов, — развел руками Рeад. — Я сам их жду. Пришлю, когда придут.

Вскинув ружье, ефрейтор побежал обратно к своим товарищам, изнемогавшим в неравной борьбе.

Но Рeад так и не послал резервов полку, в котором не осталось ни одного офицера. Резервов не дождался сам Рeад. Не успел ефрейтор добежать до места, как услышал позади себя топот копыт. Ефрейтор обернулся и в ужасе попятился: в глазах у него сверкнул всадник в орденах и генеральских эполетах, всадник без головы. В то же мгновение всадник свалился с лошади. Это был генерал Рeад, которому ядром оторвало голову.

Горчаков с передовой линии видел, что неприятель численностью превосходит нас в полтора раза. Перед главнокомандующим круто лезли вверх белые горы — Федюхины высоты, позиции, которые невозможно было взять. И солдат своих видел главнокомандующий. Они шли навстречу смерти. И они стояли насмерть там, где не было возможности пройти вперед. Горчаков понурил голову и, приказав бить отбой, повернул коня обратно к Трактирному мосту.

Пятая бомбардировка Севастополя началась на другой день. Девятнадцать суток день и ночь громил неприятель Корабельную сторону. В Корабельной слободке уже не было ни улиц, ни переулков; а по ядрам, густо устлавшим то место, где проходила немощеная Широкая улица, можно было теперь ездить как по мостовой.

Ничего, кроме развалин и бастионов, не осталось и на Городской стороне. Даже почтовый двор перевели на Северную сторону. Елисей Белянкин бродил со своей сумой и по Север-

ной и по Городской стороне и много писём приносил обратно. Устроившись в новом помещении почтовой конторы за столом в каплях сургуча и чернильных пятнах, Елисей ставил на принесенных обратно письмах кресты и делал надписи: «Не вручено за смертью адресата». Сдав такую пачку писем почтмейстеру Плехунову, Елисей, перед тем как идти к себе в шалаш, отправлялся на Северную пристань.

В открытом море, на горизонте, вытянулись в одну цепь корабли неприятеля. Длинная полоса вспененного вала явственно обозначалась от одного берега бухты до другого в том месте, где одиннадцать месяцев назад были затоплены корабли. В Корабельной бухте, сейчас же за Павловским мыском, стояла на якоре «Императрица Мария».

Елисей присаживался где-нибудь у пристани на опрокинутой вверх дном шлюпке и, сняв с головы каску, устало глядел на происходившее вокруг.

«Пропал Севастополь, — думал он, наблюдая, как по Большой бухте разводят плоты для пловучего моста. — Добрый будет мост, и способно будет по нему... отступить».

Ядра падали уже и в бухту, но Елисей не уходил. Он считал плоты, заготовленные для пловучего моста с Городской стороны на Северную. И насчитал восемьдесят четыре плота. Прошла неделя, и Елисей, возвращаясь под вечер на Северную сторону, не сел в ялик у перевоза, а пошел по новому мосту от Николаевской батареи и вплоть до Михайловской на противоположном берегу.

Всадники и пешеходы двигались по мосту в оба конца; по доскам гулко цокали лошадиные подковы; набегавшие волны хлестали в мост, укрепленный на якорях.

«Работа чистая, — думал Елисей, стуча каблуками по деревянному настилу. — Ничего не скажешь». И тут же сразу: «Пропал Севастополь. Один князь начал, другой князь станет вершить. Ваша светлость, ваше сиятельство, тра-та-та... Куда им! Вот Нахимов был... да... орел-человек!»

И Елисей решил, что побывает завтра на третьем бастионе, поглядывает «Никитишну», посмотрит, что там.

Когда на другой день поутру Елисей подходил к новой почте близ Северного укрепления, то еще издали заметил как раз напротив ворот тесовую палатку, выросшую здесь за одну ночь. Давно примелькавшаяся вывеска с кудрявым барашком на блюде перекечевала сюда с Корабельной стороны и уже висела над входом. В палатке было темно, и тихие переборы гитары реяли там, как ночные мотыльки.

— «Ресторация», — прочитал Елисей вслух знакомую надпись на вывеске.

Но тут из глубины палатки кто-то крикнул:

— Белянкин!

Елисей заглянул внутрь. Там было прохладно. Возле стойки застыл ресторатор, маслянистый лупоглазый человек с полотенцем через плечо. В углу за накрытым камчатной скатёркой столиком сидел капитан второго ранга Лукашевич с женой. И цыганка Марфа сидела с ними, а Марфин муж Гаврила стоял поодаль и небрежно перебирал на своей гитаре.

Он как-то весь вылинял за протекший год, цыган Гаврила — щеголь и лихой плясун. Потускнели и совсем износились лакированные сапоги, и порыжела синяя поддевка, и серебряных колечек в свою черную бороду Гаврила не вплетал больше. Но Марфа попрежнему пылала дикой красотой.

— Сюда, Белянкин! — позвал Лукашевич, поправляя на голове у себя повязку. И, дернувшись на табурете, вскрикнул: — Ах! больно...

— Коленька, родной, опять?.. — схватила Нина Федоровна его за руку.

— Ах, Нинок, опять! — поморщился Лукашевич. — Голова моя... Словно палашом, палашом, как в ту ночь...

В глазах у Нины Федоровны стояли слезы.

— Ты бы не пил сегодня, — попросила она. — Коленька..

— Ничего, Нинок! Не будем грустить... А стакан вина не повредит мне. Ну, прошло же... совсем прошло, — сказал он, снова коснувшись рукою повязки. — Вот, Белянкин, сидим, глядим, лошадей дожидаемся в Симферополь... а там, дальше — динь-динь-динь, и нет Лукашевича: за тяжелым ранением вы был в Киевскую губернию.

Он вырвал из переплетенной в сафьян записной книжки листок, черкнул что-то карандашом...

— Ну, подойди, душа, — сказал он Елисею. — Возьми. Тут адрес, вот четвертной билет... Передай почтмейстеру. Всё, что на мое имя, пересылать, как написано.

Елисей взял деньги и записку. Он нерешительно зажал это в руке, бросив сначала взгляд на листок с золотым обрезом.

Там было написано — ломкие буквы, но ровные строчки:

*Киев, в доме Беляева
у Золотых ворот.
Анне Даниловне Рославец.
С передачей
капитану второго ранга Лукашевичу.*

Прочитав это, Белянкин недоуменно взглянул на Лукашевича, на Нину Федоровну... Но Лукашевич топнул ногой:

— Белянкин! Чур, нос на квинту не вешать!

Елисей отошел в сторонку и кивнул в сторону бухты:

— Так ведь вот, Николай Михайлович...

— Ничего, Белянкин; это ничего, — тихо произнес Лукашевич. — Наша правда — значит, наша будет и сила. А это... — и он тоже кивнул в сторону бухты, — это еще не конец. Синоп, Белянкин, помнишь?

— Как его забыть, Николай Михайлович!

— Ну, так вот, будет им еще не так. А теперь выпей, Белянкин, на прощанье крымского розового за кормовой наш флаг да за русский флаг в Севастополе. А?.. Поднеси ему, Марфа.

Марфа поставила на поднос полный стакан и пошла к Елисею. Пальцы у Гаврилы встрепенились и побежали по струнам. Подойдя к Елисею, Марфа поклонилась ему, и Елисей взял с подноса стакан.

— Комендор Белянкин, верхняя палуба, третья батарея, второе орудие! — крикнул Лукашевич, поднимаясь с места. — За русский флаг в Севастополе, за него пьешь!

Вино, хотя и легкое, но, видно, ударило Лукашевичу в ослабевшую от раны голову.

— Пей, еще налью! — кричал он, взмахнув рукою и опрокинув стеклянный кувшин на столе.

Нина Федоровна вцепилась мужу в руку и с мольбой смотрела ему в глаза, в которых искорки то гасли, то вспыхивали вновь:

— Коленька...

Но Лукашевич уже успокоился и, опустившись на табурет, взялся за голову обеими руками. И остался так, закрыв глаза.

— За русский флаг в Севастополе, — повторил Елисей. — За нашу Корабельную!

И не прощай, а до свиданья, —

запела вдруг Марфа во весь голос, оставаясь перед Елисеем с подносом в опущенной руке.

Мы встретимся в желанный час.
Так не грусти ж о расставанье,
Есть в мире счастье и для нас!

Елисей тряхнул головою и рассмеялся.

— Может, и так, — сказал он, поставив стакан обратно на поднос. — Эх, и человек же вы, Николай Михайлович! Таких людей...

— Толкуй! — отмахнулся Лукашевич. — Получай второй, по уговору.

— Гремит, — сказал Елисей, принимая от Марфы второй стакан.

— Где гремит? — спросила Нина Федоровна прислушиваясь.

— Почта, Нина Федоровна, бежит из Симферополя. Она!

Все повернулись к открытой двери. Вдали клубилась пыль,

и почтовая тройка с погремками и колокольцами летела вниз с горы.

— Пора мне, — сказал Елисей. — Спасибо, Николай Михайлович, на угощеньи, а тебе, Марфа, за песню твою. Хорошая песня... «И не прощай, а до свиданья, мы встретимся в желанный час...» А... а как дальше... вот не упомянул.

Марфа хрустнула пальцами в перстнях и кольцах и снова встала из-за стола. Она повела плечами, и кисейные рукава размахнулись у нее, как крылья. Под звон гитары она опять взяла на полный голос:

Так не грусти ж о расставанье,
Есть в мире счастье и для нас!

— Теперь запомню, — сказал Елисей улыбаясь.

Он взял под козырек и, круто, по-флотски, повернувшись, вышел на улицу.

А тройка уже въезжала на почтовый двор. Пришел Николай Григорьевич Плехунов и снял печати с почтовых чемоданов. Елисей вывалил все на стол, разобрал, подложил одно к другому и запихал в суму.

После свежей ночи день выдался душный. Над Корабельной стороной стоял дым. Горькая гарь грызла горло. Елисей шел мимо разгромленных корпусов морского госпиталя. Но дальше место было неузнаваемо: один мусор, да репейник, да ямы, да ядра... Да еще пара беркутов плыла поверх рваной пелены дыма, высоко-высоко.

— Эй, благодетель! Куда, почтарь, забрел? — услышал Елисей окрик и увидел генерала Хрулева.

Начальник обороны Корабельной стороны генерал Хрулев был во всегдашней своей папаше, черной с красным суконным верхом, обложенным накрест золотой тесьмой. Хрулев пробирался куда-то между глубокими ямами и перекатными ядрами. Он сидел верхом в казацком седле на белой лошади и помахивал нагаечкой.

— На третий, ваше превосходительство, охота по пути завернуть, — откликнулся Елисей. — Есть там кто живой из сорок первого экипажа?

— Есть, благодетель, еще живые, — ответил Хрулев: — дня на три, говорят, вашего брата хватит. Что ж, вали с нами, почта!

С Хрулевым был конный ординарец и всегда сопровождавший генерала боцман Цурик. Цурик шел впереди, пешком, и Елисей пошел рядом с ним. Навстречу им с бастиона шли солдаты. Один из них брел, припадая на подшибленную осколком бомбы ногу, опираясь на ружье, как на костыль.

— Извольте, ваше превосходительство, сойти с лошади, — обратился он к Хрулеву. — Здесь нельзя проезжать.

— Отчего это, благодетель? — спросил Хрулев.

— Убьют.

— Да ты почему знаешь?

— Здесь, ваше превосходительство, и пешком идти — пригнуться надо. И не идти надо, а лучше сразу бегом... Да все одно сейчас две-три штуцерные пули чирикнут. А ежели на лошади, мы уж знаем — убьют.

— А может, и не убьют, — усмехнулся Хрулев.

— Никак нет, ваше превосходительство, — настаивал солдат: — бесприменно убьют. Это такое место.

— Так вот же не убьют! — сказал чуть слышно Хрулев и поднял руку.

Все остановились: и ординарец, и Цурик, и Елисей. А Хрулев помахал нагаечкой, сплетенной из сыромятного ремня, лошадь насторожила уши и тихим шагом прошла с Хрулевым по опасному месту. Несколько штуцерных пуль — «фить-фить!» — пронеслось у Хрулева над головой.

Хрулев обернулся.

— Вот вам и место! — крикнул он весело, словно сразу охмелев от своей бесшабашной удали. — Не всегда убивают. Эх, благодетели!

— Удаля головушка, — сказал раненный в ногу солдат товарищам своим, и все они поплелись дальше.

— Либо заколдован он от штуцера, либо что... — молвил задумчиво другой.

— Да это же Хрулев! — откликнулся третий. — Известно: отчаянный генерал.

Хрулев, действительно, слыл отчаянным, и солдаты любили его за молодечество и ласковое слово, которое находилось у него про всякого.

Но удалец и молодец, а на Хрулева сегодня что-то особенное нашло. Он поехал дальше, и навстречу ему — новая группа солдат. И вдруг солдаты все бросились на землю и наперебой закричали:

— С лошади!

— С лошади, ваше превосходительство, слезай!

— Шибись наземь, Степан Александрыч, не мешкай!

Однако Хрулев оставался в седле.

— А зачем, благодетели, с лошади? — спросил он спокойно.

— Да бомба, ваше превосходительство, бомба же, вона!

Елисей услышал долгий свист и поднял голову. Какой-то черный шар летел на Корабельную сторону из-за третьего бастиона. Потом ударило оземь, свист сразу оборвался и перешел в злое шипенье. Елисей и Цурик упали на землю. Ординарец

Хрулева соскочил с лошади. Но Хрулев по-прежнему оставался в седле.

— Ну что ж, что бомба? — сказал он. — А может, не разорвет?

— Ой, разорвет! — крикнул солдат, распростершийся на земле ничком. — Шибись наземь, ваше превосходительство! Слышишь, шипит?

— Авось не разорвет! — И Хрулев, помахав нагаечкой, не спеша

проехал подле самой бомбы. — Не разорвет, — повторил он.

А бомба шипела-шипела и умолкла, не разорвавшись.

— Издохла, — сказал один из солдат, первым поднявшийся с земли.

— Верно, что издохла, — заметил Хрулев. — Я говорил, багодетели, не разорвет.

Солдаты смущенно чесали затылки.

— Ты, верно, ваше превосходительство, такое слово знаешь. Тебя и бомба боится.

Хрулев рассмеялся и поднял нагаечку. Елисей и Цурик встали с земли и принялись стряхивать с себя пыль.

На третьем бастионе Елисей не нашел никого из старых приятелей своих. Давным-давно выбыли из строя Игнат Терешко и Тимоха Дубовой. Все «нумера» у «Никитишны» были Елисею незнакомы. Да это были и не матросы вовсе. Пятеро молодых солдат из десятой артиллерийской бригады ходили подле «Никитишны» — кто с банником, кто с ганшпугом¹ — и, как умели, делали свое дело. В дыму, в огне и в грохоте неумолкавшей канонады они банили, заряжали, стреляли...

Елисею показалось странным, что никто здесь с «Никитишной» не разговаривает, никто ни разу не погладил ее по стволу. Словно это пожарная труба, а не старое, заслуженное орудие. Пусть не сам Елисей, а ведь именно из этой пушки Игнат Терешко угодил «Фазлы-аллаху» в пороховую камеру в знаменитый Синопский день!

Но тут Елисей вдруг насторожился, прислушался...

«Ух-дзымдззз, — задыхалась «Никитишна», — ух-дзымдззз...»
«Никитишна» дзымкала и явно была перегрета.



¹ Г а н ш п у г — рычаг.

— Эй, парнишка! — окликнул Елисей молоденького солдата, кое-как управлявшегося подле «Никитишны» за комендора.

Солдатик обернулся и увидел однорукого человека с сивыми баками и серебряной медалью на георгиевской ленте.

— Я, дяденька! — откликнулся молодой комендор. — Ну?

— Давно ты деда в баню водил? — спросил Елисей.

Солдатик ослабился:

— Года два будто, как банились с дедом. Ну?

— А деда ты в бане из шайки окатывал?

— Гы! — хмыкнул солдат. — Бывалоча шаек десять хлестнешь в деда. Ну?

— А ты возьми вот ушат, — показал Елисей, — и хлестни по орудию. Лучше будет.

Солдат сделал, как сказал Елисей. «Никитишна» окуталась паром.

— Ну? — сказал солдат.

— Все «ну» да «ну»! — проворчал Елисей. — Молодо-зелено... Стань в сторонке, гляди.

И Елисей навел и сделал выстрел.

— Зацепила! — крикнул сигнальщик. — В амбразуру ему угадал.

И верно: вражеская пушка, рявкавшая весь день, вдруг замолчала.

— То-то, — сказал Елисей. — Эх, старушка! — Он ласково погладил уже просохшее оружие и вздохнул: — Ох, и бывало же! Ты да я, да мы с тобой...

И он стал наводить и стрелять, наводить и стрелять...

XLIV

Малахов курган

Дедушка Перепетуя уже три месяца жил в Одессе у сына. В Одессе было спокойно, неприятель там больше не появлялся.

Каждое утро дедушка в одном жилете, без сюртука, выходил на терраску к утреннему чаю. Дедушка пил чай медленно, по-стариковски. Не успевал он еще и с первой чашкой управиться, как Михаил, сын дедушки Перепетуя, срывался с места и убегал в порт на работу. Жена Михаила, Настюша, прихватив с собой камышовую корзинку, отправлялась на рынок. А внучек дедушки Перепетуя, Павлушенька, возился в куче песку на заросшем травой дворике. Дедушка оставался на терраске один, один со своей зеленой тетрадью.

Скоро уж и она, зеленая тетрадь, должна была кончиться у



дедушки вся: столько за последний год было событий, а дедушка вел свою летопись великих дел аккуратно, не пропуская ничего. По дедушкиной зеленой тетради можно было проследить весь ход этой войны, начиная с нападения турок на Николаевский пост и уничтожения турецкого флота при Синопе.

Дедушка своим старинным слогом подробно описал, как злодейски бомбардировали англо-французы Одессу, как вторглись они потом в Крым близ Евпатории и как незадачливые царские генералы проиграли сражение на Альме. «Впрочем, — писал дедушка, — торжеству неприятеля способствовали превосходство его в людях и вооружении. Так что после Альмы напал на светлейшего князя Меншикова великий страх. Убоясь быть отрезанным с армиею своею от коренной России, вывел он свои войска из Севастополя к Бахчисараю. Но одумался и вернулся в Севастополь, перехитрив неприятеля: направил его на Южную сторону, а там Корниловым, Нахимовым и Тотлебеню была к тому времени построена непреборимая линия обороны».

Вслед за этим дедушка описал захват англичанами Балаклавы и как капитан Стаматин с одной инвалидной ротой отражал натиск целой армии. «Ветхий старец сей не посрамил русского имени, — писал дедушка Перепетуй о капитане Стаматине. — Ныне, излечаясь от многих контузий и потрясений, проживает, всеми чтимый, в городе Симферополе на покое».

После этого дедушка исписал не одну страницу, рассказывая о жестоких бомбардировках Севастополя и как с каждым

днем все больше разрушалась Корабельная слободка. «Чтобы заставить неприятеля снять осаду, — писал дедушка, — были у нас с ним сражения и за пределами Севастополя: были бои при Балаклаве, и на Инкермане, и на Черной речке, не повлекшие, однако, за собой достижения цели. Но на Кавказском театре войны мы перешли турецкую границу и вошли в город Баязет, а могучую крепость Карс взяли в тесную блокаду. Начальником же сей крепости Карс будто бы Вассиф-паша, но подлинно известно, что командирствует во всем англичанин Вильямс».

Так же было в эту войну и на Балтийском море, где английский адмирал Непир даже думать бросил подойти к Кронштадту. Посмеиваясь в усы, дедушка Перепетуй старательно вывел в своей тетради стишок: «А тебя, вампир адмирал Непир, ждет у нас не пир. Близок локоть, да не укусишь!»

«Пространно отечество наше, — писал дедушка, — и много омывает его морей и океанов. В своем адском умысле сокрушить Россию отторжением от нее Крыма, Кавказа, Финляндии, Привислянских и Балтийских земель, неприятель на всех морях устремлял свои армады к берегам, на коих развевается флаг наш. Но всюду терпел урон и поворачивал вспять. Ибо, забравшись в Белое море, бомбардировал древний монастырь Соловецкий. А вот и не дали вражеской ноге ступить на русскую землю, хотя палил неприятель по монастырю со своих кораблей непрерывно поболее восьми часов сряду.

И в то же лето перетянулся из Белого моря в Кольскую губу, где издревле русский город Кола. И город Колу пожег разными зажигательными составами, кои пускал с кораблей своих. И восемнадцатиглавый деревянный собор горел, как свеча. Но и тут инвалидная команда и жители стреляли по английским баркасам и нанесли неприятелю стыд. Пожегши город и не ступив на русскую землю, угомонился и отошел прочь.

Дерзость врага в этой войне простерлась на отдаленнейшие окраины отечества нашего. Эскадра кораблей французских и английских, крейсировавшая в Тихом океане, вкинулась в Авачинскую бухту, где город Петропавловск-на-Камчатке. Неприятелю, превосходившему наши силы вчетверо, удалось было высадиться на берег. Однако в городе не бывал и в тот же день был обратно сброшен в море с позором и великим уроном».

Дедушка выбрал новое гусиное перо из пачки и, очинив его ножичком, расщепил кончик. Совсем было дедушка приготовился писать дальше, но в это время вернулась с рынка Настюша с полной корзинкой всякой всячины. Прибежал Павлушенька, и все трое — дедушка Перепетуй, Павлушенька и Настюша — пошли на кухню. Там Настюша вывалила все из корзинки на стол, и Павлушенька запрыгал от удовольствия. Гладкая, вы-

скобленная добела столешница окрасилась сразу во все цвета радуги и вся пошла горками: горка золотистой султанки, и красных помидоров горка, и синих баклажанов горка, и горка оранжевой моркови, и зеленые груши, и сизые сливы, и черный виноград. Дедушка скушал две сливы и вернулся на терраску. Он вынул свои пузатые часы и взглянул на выщербившийся по краям циферблат. Было девять часов — три минуты десятого.

— Ого! — сказал дедушка.

И, обмакнув свежечиненное перо всё в ту же еще севастопольскую баночку из-под помады, стал писать:

«Нет в живых Корнилова, и погиб Истомин, и Нахимова нет, и сколько полегло солдат и матросов! Одиннадцать с половиною месяцев тянется осада Севастополя, не имеющая себе равных. Истинно героем сей войны мнится не иной кто, как великий народ русский...»

Дедушка Перепетуи подсчитал правильно. Одиннадцать с половиною месяцев истекло, как пришедшие из-за моря войска — сначала трех, а потом и четвертой державы — громили Севастополь. И все одиннадцать с половиною месяцев неприятель медленно и неуклонно придвигал к нашим бастионам свои укрепления и укрытия. Было уже так, что стоило французам выскочить из своих окопов и пробежать сорок шагов, как вражеские солдаты очутились бы у Малахова кургана. Но к новому штурму неприятель готовился долго. Если он овладеет Малаховым курганом, он станет хозяином всей Корабельной стороны, и тогда... что же тогда станет с Севастополем?

Двадцать третьего августа к вечеру пальба стала затихать. Но уже на другой день новые потоки смертоносного металла пошли непрерывными струями на бастионы, на разгромленные улицы города и на Большую бухту. Началась шестая усиленная бомбардировка Севастополя. Она длилась три дня. Двадцать седьмого утром она прекратилась. Но на бастионах барабаны били тревогу; комендоры стояли наготове у своих орудий; из города к бастионам подходили резервы. «Штурм! Жди штурма!» Эти слова перекачивались по рядам. Умолкли вражеские пушки — значит, сейчас пойдет на приступ. Но неприятель снова открыл пальбу, теперь уже и по нашим резервам, когда их достаточно накопилось на угрожаемых бастионах.

День стоял ветреный. Небо было какое-то пестрое. От множества мелких облачков рябило в глазах.

— Иголкин! — окликнул кашевар проходившего по Малахову кургану солдата.

— Я, ваше сковородие! — отозвался Иголкин

— Почему так — сковородие? — спросил подслеповатый кашевар, возившийся у мешка с пшеном.

— А тебя как, благородием величать? На то есть дворяна, а нам с тобой рано. Твое дело что? Ротный котел да большая сковорода. Так тебя и величать надо «ваше сковородие».

— Ох, уж ты! Одно слово — Иголкин, — ухмыльнулся кашевар. — За словом в карман не полезешь. А скажи-ка, Иголкин, быть сегодня штурму? С великою ли силою пойдет?

Иголкин посмотрел направо и налево. Малахов курган был истерзан, как никогда раньше. Все осыпалось и расползлось. Все было перевернуто вверх дном. Всюду разбитые корзины, мешки с пропалинами, камни, горелое дерево, разметанный фашишник¹. А наверху? Там рябое небо. И пальба снова прекратилась.

— Быть ли штурму? — сказал Иголкин. — По всему выходит, что штурму быть. Видишь небо?

Кашевар поднял голову и заморгал красными веками, воспаленными от дыма.

— Вижу. Что с этого?

— Рябое оно? — снова спросил Иголкин.

— Рябое, — согласился кашевар. — Известно — небо. И что с этого?

— То-то, — сказал многозначительно Иголкин. — Такие дела понимать надо.

И пошел дальше. А кашевар, пожав плечами, снова принял за свое пшено.

Около полудня на Малаховом кургане сели обедать. Солдаты похлебали пустых щей и принялись за кашу. Покончив с этим, они снова стали у орудий в напряженном ожидании.

Кашевар насыпал Иголкину каши в железный казацкий котелок и сказал:

— А небо-то прочистилось, Иголкин.

— Прочистилось? Верно. Ну, тогда штурму не быть.

— Морочишь ты меня, Иголкин, — проворчал кашевар.

И только он сказал это, как три орудийных залпа неслыханной силы один за другим рванули пространство.

Кашевар выронил ложку из рук. Иголкин поднял голову. Крики, грохот барабанов, резкие звуки вражеских рожков — все это сразу полезло в уши. Иголкин понял: штурм! Он швырнул в сторону свой котелок с кашей и побежал к валу.

Франсузы лезли на вал — одна штурмующая колонна за другой. Защитники кургана расстреливали их картечью, а штуцерники били на выбор.

Иголкин, схватив свой штуцер, отбежал с ним к ротному котлу. Укрывшись за котлом, он стал бить по красным штанам на бруствере. Но красные штаны замелькали на батареях, а на

¹ Фашишник — прутья, связки которых употребляются при сооружении насыпей.

бруствер взмывали всё новые и новые, и не было им числа. Флаг, зловещий, сплошь синий, развевался на белой башне кургана.

Орудия были теперь облеплены синими куртками и красными штанами французских солдат. Комендоры хватили в руки что придется — банник, пыжовник, кирку, лопату, а то и просто камень, чтобы сбить французских линейцев с орудийных стволов и лафетов и сделать выстрел. И тут же падали, один против десяти.

Иголкин увидел, что таких десятеро бросилось к нему. И он мгновенно скатился в ров, широко опоясывавший башню. Пробежав по рву, он выбрался наверх и очутился перед самой башней. Он быстро юркнул в башню, и вслед за ним туда в одну минуту набежало еще человек сорок солдат и матросов.

— Двери, двери заваливай, ребятки! — кричал офицер, черноволосый, без фуражки.

Иголкин бросил на каменный пол свой штуцер и двинул к двери дубовый стол.

«Хорошее начальство, — мелькнуло в голове у Иголкина. — Поручик Юньев... С ним и в раю не скучно и в аду не страшно...»

— Стрелки — к амбразурам! — крикнул поручик, когда вход был забаррикадирован столами, тюфяками с нар — всем, что было под рукой. — Матросам с абордажными пиками оставаться у дверей! Стоять насмерть!

Иголкин подобрал свой штуцер и приник к амбразуре. Он выглянул оттуда, и первое, что он увидел, — это зеленая повозка, которую выкатили из-за тучи дыма четверка лошадей. На выносе сидел в седле ездовой и немилосердно нахлестывал и переднюю и заднюю пару. На повозке была навалена гора какой-то клади. «О, старый знакомый!» — вспомнил Иголкин сражение под Балаклавой и как они вместе с этим ездовым укладывали к нему в повозку раненого грека.

— Ермолай Макарыч, здравствуй! — крикнул Иголкин в амбразуру.

«Никак, Иголкин? Веселый Иголкин?» — подумал ездовой. И, сдержав на минуту лошадей, крикнул в свой черед:

— Иголкин Ильич, ты ли?

— Я самый, Ермолай Макарыч. Передай на Корабельной, что был Иголкин и весь вышел. Кланяйся там теще в осиновой роще. Сказал бы еще, да время негу. Прощай, Ермолай Макарыч!

— Прощай, Иголкин Ильич! — крикнул ездовой и ударил по лошадям.

Там, вдали, шел жестокий бой, но подле башни еще не было никого. И вдруг в глазах у Иголкина запестрело от синих кур-

ток и красных штанов. Но, кроме линейцев, к башне бросились еще бородачи-зуавы, гибкие, как кошки. Иголкин стал бить их на выбор, и они падали навзничь без шума и стона.

Французы уже заполнили всю лицевую сторону укрепления. Уже были опрокинуты пушки на батареях, изрублены лафеты, перебиты все «нумера». А новые волны всё еще перехлестывали через вал, и горнист в красных штанах где-то близко трубил атаку на своем медном рожке. Вот он выбежал с рожком на площадку перед башней, и снова — «тру-та, тру-та, та-а!»

«Ну, соловей, — решил Иголкин, — хорошо поешь, где сядешь?»

Штуцерная пуля вышибла у горниста рожок из рук и перебила челюсть. Он взмахнул руками и побежал прочь.

Бац... бац... бац! — раздавались один за другим выстрелы.

У каждой амбразуры пристроился стрелок. И гулко отдавалось эхо пальбы под сводами башни.

Французы связали вместе две осадные лестницы, и капрал Шовен из двадцатого легкого полка взобрался наверх и поднял над башней трехцветный флаг. Когда, сделав свое дело, он спустился обратно, пуля, ударившая из амбразуры, сбросила его вниз, и он упал на штыки своих товарищей.

Ни линейцы, ни зуавы долго не могли понять, откуда хлещут в них пули. Почему то один, то другой из них валится за смертью, кто на кучи щебня перед башней, кто на голую землю? И вдруг зуав с коричневым шрамом через все лицо заскрежетал зубами и подпрыгнул от ярости на месте. В амбразуре башни блеснул ружейный ствол! Зуав ткнул рукой по направлению к амбразуре и в ту же минуту свалился с выбитым глазом. Но и другие внизу успели разглядеть ружейные дула, направленные из всех амбразур в кепи солдат и фески зуавов.

— *En avant, zouaves!* — раздался чей-то возглас. — *En avant, mes braves!*¹

И огромная толпа бородачей в фесках зарычала в ответ и в несколько прыжков очутилась у входа в башню.

Но здесь из всех щелей высунулись абордажные пики. Они кольнули и отошли обратно, и бородачи отбежали от башни, обливаясь кровью. Не обращая внимания на раны и кровь, они дали залп, но пули застряли в тюфяках, которыми был завален вход. А из башни всё стреляли и стреляли — сорок защитников Малахова кургана против десяти тысяч штурмующих солдат.

В это время с Павловского мыска через Корабельную слободку мчался на своем белом коне начальник обороны Корабельной стороны генерал Хрулев. Недалеко от кургана стоял в резерве Ладожский полк, ожидавший сигнала к выступлению.

¹ Вперед, зуавы! Вперед, храбрецы!

— Благодетели, за мной! — крикнул Хрулев. — Вперед!

— Ура-а! — ответили ему солдаты и бросились за ним к воротам кургана.

Мост через ров был цел, но ворота кургана французы уже завалили корзинами с землей, опрокинутыми пушками, орудийными лафетами, грудами камня. На кургане в разных местах еще кипело в кровопролитном бою, но это были последние судороги Малахова кургана.

Ладожцы бежали за генералом Хрулевым по мосту. Штурцеры пули жалили насмерть, но солдаты ничего не замечали, ничего не слышали, кроме этого вольного, как ветер, лихого крика:

— Благоде-тели-и!

Хрулев во весь опор несся к воротам. Он перекинул на всем скаку нагаечку из правой руки в левую... И вдруг упала его рука...

Пуля оторвала ему на левой руке большой палец, и нагаечка скользнула вниз, под ноги коню. В то же мгновение Хрулев почувствовал удар, точно всем телом шибнуло оземь. Но генерал оставался на коне, только крик его сразу оборвался да из руки била кровь. Да еще лицо похолодело и по ногам, под исподним, будто проползло что-то.

— Мне... нехорошо... — сказал он, едва ворочая языком. — По... поддержите меня...

И упал подбежавшим солдатам на руки. Ладожцы отхлынули от моста, вынося на руках своего генерала.

— Благо... благодетели... — силился что-то сказать солдатам Хрулев, но так и не сказал.

Речь вернулась к нему только спустя час, когда его перенесли на катер, чтобы переправить с Павловского мыска на Северную сторону. Хрулев, лежа в катере, увидел вдалеке на Малаховом кургане флаг, но сквозь дым и пыль не мог разобрать цветов.

— Флаг, — произнес он чуть слышно.

Он поднял руку и вновь уронил ее на носилки.

— Да, — сказала девушка в сером саржевом сарафане и белом переднике.

— Какой? — спросил Хрулев.

— Французский, — ответила девушка. — На Малаховом.

— А на других бастионах?

— Всюду штурм отбит, — сказала девушка. — Да и на Малаховом будто еще стреляют. Надо быть, и с кургана француза сбросят.

— Вы думаете? — И Хрулев внимательно посмотрел девушке в лицо. — Кто вы?

— Я — Даша Александрова с Павловского мыска, из

госпиталя, — ответила девушка. — Дашей Севастопольской стали теперь звать.

— Даша Севастопольская?.. Слышал, а вижу впервые. Даша Севастопольская... — повторил Хрулев и закрыл глаза.

Даша не ошиблась. На Малаховом еще стреляли. Стреляла кучка людей из амбразур башни на кургане. Сраженные Иголкиным, уже свалились два ординарца генерала Мак-Магона, командовавшего на кургане. Иголкин, конечно, метил в самого генерала, алевшего под башней, как стручок красного перца: красные штаны и красная шапка, ленты, канты, аксельбанты... Но генерал прижался к стене, и пульей уже было его не взять. Он кричал что-то... «Кар-кар!» — показалось Иголкину.

— Не каркай! — твердил Иголкин, посылая вниз пулю за пульей, и вдруг заметил, что пули все.

Он обернулся и увидел поручика Юньева, метавшегося по башне. Юньев перебежал от амбразуры к амбразуре, чтобы определить положение... да, безвыходное положение.

Весь курган затопили красные штаны, красные шапки, красные фески. Штуцерные пули целыми роями залетают в башню сквозь те же амбразуры. И гранаты пошли хлестать через дверь. Уже мало осталось от сорока человек, бросившихся в башню вместе с поручиком Юньевым час назад. Дым... в двери ползет дым!.. Французы развели костер у входа и хотят выкурить Юньева дымом. Как быть? Вот Иголкин, весь в крови... Он смотрит из угла на Юньева, словно спрашивая: как быть? И другие — тоже опаленные, окровавленные, — все смотрят на Юньева.

— Под башней пороховой погреб, — говорит Юньев. — Когда огонь доберется до пороха, мы все взлетим на воздух.

— И в раю не скучно, и в аду не страшно! — тряхнул головой Иголкин и разорвал на себе сорочку, чтобы перевязать раны.

Никто Иголкину не ответил. Все стояли молча, ожидая, что вот ударит, и тогда — конец.

Но снаружи... Снаружи стали кричать что-то. Слышно было, как там зашипел костер, заливаемый водой. Французы как-то довелись о пороховом погребе и давай скорей заливать. Только взорвись башня — и не видать бы больше генералу Мак-Магону своего замка в Монтаржи; осталось бы от генерала на Малаховом кургане только мокрое место.

А снаружи снова крики; один Юньев, может быть, разберет, что кричат они там. Юньев швырнул в сторону свой пистолет, для которого у него не осталось ни одного заряда, сел на покрытые пылью нары и схватился за голову.

— Товарищи, — произнес он глухо: — мы исполнили свой долг, Россия нас не забудет.

Он поднялся с нар, высокий, с черными кудрями. Глаза у него на бледном лице горели...

— Ко мне, товарищи!

С полдесятка уцелевших людей тесно обступили его. Он что-то еще сказал, но его слова были заглушены страшным воем где-то в самой башне, чуть ли не под нарами, подле которых стоял Юньев. И оттуда, из-под нар, сразу полезли, точно стаи тараканов, алжирские стрелки.

— Окошко-о!! — вдруг закричал Юньев.

«Ах, окошко под нарами! — словно выстрелило у него в мозгу. — Но оно в решетке?!»

Да, под нарами было окошко, и оно было в решетке. Но в грохоте перестрелки, в шуме и криках не слышно было защитникам башни, как французы высадили решетку и в башню полезли алжирцы. Не успел еще Юньев сообразить это, как на него набросились, свалили, скрутили ему руки шарфом и потащили к выходу.

Кровавый туман застил Юньеву все вокруг. И его совсем оглушил нечеловеческий вой этих черномазых с дико вылупленными глазами. Тошнота стала неудержимо подкатывать к горлу от страшной усталости и от козлиного запаха, который исходил от никогда не мывшихся алжирских стрелков.

Юньев пришел в себя только на воздухе. И ему сразу бросились в глаза пламя и дым над Севастополем и море вражеских солдат, куда ни взгляни. В нескольких шагах от башни, лицом к открывшемуся входу, стоял Мари Морис Мак-Магон. Он не смог скрыть своего изумления, когда увидел горсточку людей, вытасненных алжирцами из осажденной башни. Мак-Магон нервно подергал темляк на своей сабле и, взяв руку под козырек, пошел навстречу этим людям, подобных которым он еще не видел.

И тогда из тысячи грудей вдруг вырвалось восторженное «ура» в честь русских храбрецов, и где-то близко грянула музыка, и вверх полетели красные шапки... Но вот очутились они друг перед другом лицом к лицу, генерал Мак-Магон со своими адъютантами и поручик Юньев с истерзанными товарищами своими.

— Как ваша фамилия, поручик? — спросил Мак-Магон и крикнул: — *Déliez-les!*¹

— Михаил Юньев, ваше превосходительство, — машинально ответил поручик, чувствуя только, что кто-то позади нетерпеливо тербит у него на руках затянутый тугим узлом шарф.

— Юниев? — переспросил Мак-Магон и выкатил свои светлоголубые глаза, словно опять изумился, на этот раз — неиз-

¹ Развяжите их!



вестно чему. — Запишите, — кивнул он адъютанту: — поручик Юниев... Скажите, поручик, на что вы рассчитывали, обстреливая две наших дивизии из десятка разбитых штуцеров?

— Мы исполняли свой долг перед родиной, согласно данной нами присяге, ваше превосходительство.

— Вы вели себя героически, поручик, — сказал Мак-Магон. — Ваше имя должно стать достоянием истории. Да. Это так.

Взгляд Мак-Магона упал затем на полуголого человека с обвязанной головой, улыбавшегося во весь свой рот до ушей.

— Чему улыбается этот человек? — спросил Мак-Магон.

— Этот человек всегда улыбается, — ответил Юньев. — Он никогда не теряет присутствия духа.

— А-а... гм... А как фамилия этого человека?

— Иголкин, ваше превосходительство. Рядовой Иван Иголкин.

— Иголкин, — повторил вслед за Юньевым Мак-Магон. — Запишите: Жан Иголкин. Он тоже герой.

Иголкин, услышав, что речь идет о нем, вытянул руки по швам, но улыбаться не перестал.

— Иголкин, — повторил еще раз Мак-Магон.

Он сунул руку в карман своих красных штанов и достал оттуда кожаное портмоне с вытисненным на нем гербом. Вынув из портмоне золотую монету, он щелкнул себя по подбородку, подмигнул Иголкину и произнес:

— Иголкин, водка, водка...

Мак-Магон хрипло рассмеялся, запихал Иголкину в кулак монету и ткнул его при этом в голый живот. Иголкин взвизгнул, схватился за живот и затрясся от смеха. У Мак-Магона мгновенно сбежала с лица улыбка, он перестал смеяться, резко рванул руку к козырьку и направился к башне. К пленным подошел конвой, и они двинулись вниз по лицевому скату кургана.

— Иголкин, — спросил Юньев, — чему это ты так смеялся?

— Да спервоначалу, Михаил Павлович, стало меня раздражать от речи ихней, — ответил Иголкин. — Вовсе непонятный язык: «он-мон-бон-бон»... Поди угадай, что к чему. Верно, нарочно придумано, чтобы русскому человеку не понять, к чему оно клонится. Так нет же, думаю: кого-кого, а Иголкина не проведешь. Мели, Емеля, твоя неделя, а там еще посмотрим! Ну, а как ткнул меня этот шут полосатый по голому пупу, так мочи моей не стало: смерть моя, щекотки боюсь.

Они спустились с кургана и перебрались через ров по перекидному мосту. Впереди шел Юньев, за ним — Иголкин. Веселый Иголкин что-то еще рассказывал, но Юньев занят был своими мыслями. Однако он остановился и глянул на Иголкина, когда тот неожиданно замолк.

Иголкин не улыбался больше. Наоборот, лицо у него было угрюмо. На лбу, несмотря на холодный ветер, выступили капельки пота.

— Михаил Павлович... — молвил он чуть слышно. — Так, значит, как же это, Михаил Павлович? Значит, не видать нам теперь... не видать нам родной сторонки?..

Юньев поднял голову.

Налетавший ветер рвал французский флаг с покосившегося древка на башне кургана. Ползли тучи, и глухо ухали с бастионов Севастополя одиночные выстрелы. За курганом вся Корабельная сторона была охвачена огнем. Юньев низко поклонился Севастополю, достав рукой до земли. Потом повернулся, вжал голову в плечи и зашагал рядом с Иголкиным.

— Месье... — стал шептать Юньеву на ухо конвойный солдат со штуцером в руках и кривым тесаком на боку. — Месье, вы храбрец, вы все герои, потому что защищаете свою страну. Но, тысячу извинений... я вас спрашиваю, месье, я, простой рабочий из предместья Сент-Антуан в Париже: я хочу знать, когда это кончится? О, эта война, она нужна у нас одним банкирам! А мы ляжем здесь все, солдаты Франции. Вернутся на родину только англичане, потому что они воюют за нашей спиной, нашими руками... Месье...

Юньев не придавал значения словам конвойного. Вряд ли Юньев сколько-нибудь вдумался в то, что, торопясь и задыхаясь, нашептывал ему француз. Голова у Юньева горела, и в ушах стоял сплошной звон. Погруженный в свои невеселые ду-

мы, Юньев едва заметил, как из-за холма показался сардинский патруль.

В своих широкополых шляпах со свисающими султанами берсальеры¹ были все как с картинки. Они обменялись несколькими словами с конвоем, потом расступились, и Юньев с товарищами двинулся дальше, по израненной земле, которая была своей до боли и в то же время чужой нестерпимо. Это совсем придавило Юньева. Он стиснул кулаки.

«Убегу, — решил он, задыхаясь, жадно глотая воздух, которого ему не хватало. — Не хочу туда!.. Ночью убегу...»

Иголкин словно прочитал его мысли.

— Верно, в Камыш погонят, — сказал он, раздумывая вслух. — До ночи не дойти, нет. И добро! Солнышко сядет, темень, самое время. Где-либо в балочке сообща придавим их? А? Нас, гляди, пятеро, их — двое. Даже очень просто. Обоим руки назад и по кляпу в глотку. Шито-крыто!

Сообразив так, Иголкин заметно повеселел.

— Он-мон-бон-бон, — продолжал он, выступая рядом с Юньевым. — Так я тебе и дался! Не жирно ли будет? Эх, — вздохнул он мечтательно, — Россия! «Домик по-над ре-эчкой, там кума-а живет...» — И, понизив голос, добавил: — Гляди, ребята: я как свистну, как гукну, кидайся сообща враз. Так, ваше благородие, Михаил Павлович?

Юньев глубоко втянул в себя струю отравленного пороховой гарью воздуха, улыбнулся и утвердительно кивнул головой.

XLV

В крови и пламени

В этот день Николка Пищенко с самого утра находился в полной боевой готовности у своей медной мортирки на пятом бастионе. От сигнальщиков всем на бастионе было известно, что неприятель накапливает в своих траншеях большие силы. Когда на башне Малахова кургана взвился синий флаг, стали и на пятом бастионе ждать атаки.

Штурм пятого бастиона начался в два часа дня. Сначала шла густая стрелковая цепь. Вслед за цепью французы несли лестницы, перекидные мосты и всякий рабочий инструмент. Позади двигались штурмовые колонны. Но дальше рва перед бастионом французы не пошли. Лишь несколько смельчаков взбежало на вал, но они были тут же сброшены в ров. Николка

¹ Берсальеры — сардинские стрелки.

успел сделать из мортирки только один выстрел. И вдруг у него над головой вырос на валу человек с козлиной бородкой, в синей куртке... Николка вмиг отбежал от мортирки, подобрал камень и запустил козлобородому в голову. Тот опрокинулся навзничь и покатился с вала обратно. Николка вернулся к своей мортирке и стал готовить ее для нового выстрела.

Враг был едва ли не втрое сильнее, но атака пятого бастиона ему не удалась. Французы были отбиты и при штурме второго бастиона. На третий бастион бросились англичане. Они перевалили через вал, но на бастионе были сразу взяты в штыки. Пока на плацу бастиона шла штыковая работа, шотландские стрелки разбежались по батареям сбивать прислугу с орудий и заклепывать пушки. Еще издали, только подбегая к «Никитишне», трое молодчиков в клетчатых юбках и с голыми коленками дали залп по находившимся подле «Никитишны» «нумерам». Все «нумера» остались целы, а двое шотландцев тут же были иссечены тесаками и, тяжело раненные, взяты в плен. Все это произошло в одну минуту, и в эту же минуту третий в юбке подался назад и ринулся затем на молодого комендора, которого Елисей Белянкин учил окатывать водой пушку. Комендор схватил ушат, полный воды, перемешанной с копотью, и одним махом швырнул в шотландца. Тяжелый ушат угодил шотландцу в грудь, вода хлестнула его по глазам, он задержался на мгновение, и это погубило его. Комендор повалил его на землю и скрутил ему руки веревкой. А в это время две свежие роты Селенгинского полка решали на бастионе дело. Англичане не выдержали штыкового удара и отхлынули обратно за вал.

Порывистый ветер поднял на бастионах облака пыли. Пороховой дым быстро разлетелся длинными космами. Солнце на минуту выглянуло из разорванных туч и вновь скрылось за сдвинувшейся темносерой завесой. К четырем часам с третьего бастиона убрали пленных и раненых, и солдаты смогли передохнуть после целого дня ожидания и тревоги.

В этот день артельщики не доставили на бастион крупы и печеного хлеба. Костров на бастионе не разводили, каши не варили. Солдаты ели тюрю из воды и толченых сухарей. Каждый сам себе готовил это незатейливое блюдо. Но только принялись солдаты за свой поздний обед, как на бастионе ударили сбор.

Из блиндажа вышел к фронту солдат и матросов начальник третьего отделения оборонительной линии Корабельной стороны генерал-лейтенант Павлов. На бастионах уже почти не стреляли, и тихий голос генерала был явственно слышен.

— Господа офицеры! — сказал Павлов. — Солдаты!..

В это время ветер снова развеял пыль и дым, и солнце опять брызнуло из-за туч. Полотнище в три цвета на Малаховом кургане — синий, белый, красный... полотнище в три цвета поперек,

оно бросилось генералу Павлову в глаза. Но через полминуты курган с башней и вражеским флагом — все снова окуталось дымной пеленой.

— Солдаты! — повторил Павлов. — Матросы! Боевые товарищи! Триста сорок девять дней, обливаясь кровью, стояли мы на этих валах, отражая грудью полчища врага, превосходящего нас вооружением и числом. Четыре державы — Англия, Франция, Турция, Сардиния — пошли на нас войной, чтобы сокрушить ненавистную им Россию. Но, как в Отечественную войну двенадцатого года, неприятель торжества здесь не получит. Москва была на время отдана Наполеону, но восторжествовала Россия. И мы будем торжествовать. Но сегодня...

Что-то захлестнуло и без того тихий голос Павлова. Он кашлянул, вздохнул...

— Но сегодня, — продолжал он, — по приказу главнокомандующего Крымской армии весь гарнизон переходит на Северную сторону, и пусть враг получит на время эти окровавленные камни. Он не найдет здесь покоя и все равно уйдет туда, откуда пришел. А память о наших непомерных делах перейдет в роды и роды...

Весь строй солдат и матросов застыл на месте, точно из гранита были высечены эти люди. Что говорит генерал? Перейти на Северную? Оставить бастион? Зачем?

— Неприятель не сломил нас, — продолжал Павлов, — но теперь наши позиции стали выгодны только ему. Пользуясь превосходством своего огня, он каждый день вырывает из наших рядов до тысячи человек. Приказываю: орудия — кои заклепать, а кои потопить. С наступлением темноты выступить к Графской пристани. Охотникам — остаться для взрыва пороховых и бомбовых погребов. Благодарю за службу! Молодцы!

Никто не ответил генералу привычным «рады стараться». Павлов ушел в свой блиндаж. Молча вернулись солдаты и матросы к недоеденной тюре. А после тюри пошла работа.

Не было ни разговоров, ни шуток. Все делали, что приказано было. Делали с толком и аккуратно, но так, как роют могилу или сколачивают гроб.

И словно сотня кузниц работала сразу — такой здесь стоял стук, и грохот, и звон. Стучали обухи о железные ерши, вколачиваемые в пушечные запалы. И огромные молоты били по орудиям, пока чугунные цапфы не разлетались в куски.

Работали до вечера. К восьми часам вечера матросы сорок первого флотского экипажа и солдаты полков Селенгинского, Владимирского, Якутского сошли с бастиона и вышли на Театральную площадь.

За спиной у себя они слышали взрывы. Пламя пожаров, зажженных нашими охотниками, освещало дорогу. У Николаев-

ской батареи все остановились. Мост через бухту был полон людей. Он оседал под тяжестью обозов и пушек, и его захлестывали волны.

У стен батареи сидели на узлах женщины. Плакали дети. Ветер гремел сорванным с крыши листом железа. А люди всё подходили, и часть за частью всасывалась в общий поток на мосту. Уже и Селенгинский полк вступил на мост, и Якутский, и матросы сорок первого экипажа...

— Тяжеленька, — сказал матрос, остановившись посередине моста и поправляя на себе лямку.

— Орудие... — отозвался солдат из десятой артиллерийской бригады. — Ясное дело — чугунок. Ну?

— Уморила меня... Э, будь ты неладна! — крикнул матрос.

— Потрудишься, дяденька, — сказал солдат: — пушка-то, вишь, под Синопом была.

— Во как! Синоп!

— А ты думал... Приходил к нам на бастион старый комендор с этой пушки, однорукий... Все про нее обсказал. Называл ее «Кузьминишной», «Ильинишной»... Нет, «Никитишной» называл. Сказать нечего — герой-пушка. Да дело кончено. Ну?

— Похороним, значит, по-моряцки, с честью, — сказал матрос. — В месте тихом, в месте покойном... на дне морском.

«Никитишну» подкатили к краю моста и столкнули в воду. Пушка не всхлипнула, не плюхнула, камнем пошла на дно.

Покончив со своими пушками, защитники третьего бастиона прошли мост налегке и ступили на Северную сторону. Там они остановились, обернулись...

Город-богатырь распростерся на той стороне в крови и пламени. Огонь то взмывало, то он вдруг опадал, и казалось, что это Севастополь тяжело дышит израненной грудью. И выл ветер, и встревоженное море тяжело било в берег... На берегу, под стенкой Михайловской батареи, спал мальчик в матросской куртке. Он прикорнул к лафетику медной мортирки, обхватив ее руками. Николка не дал топить свою мортирку. Увидя, что матросы подтаскивают ее к краю моста, он повалился на нее, и его стала бить судорога.

— Ой, дяденьки миленькие! — кричал Николка, обливаясь слезами. — Ой, дяденьки, голубчики...

— Отойди, щенок! — прикрикнул на него боцман. — А то сейчас и тебя в воду кину!

— Кидайте! — вопил Николка. — Вместе кидайте! Ой, миленькие!..

А когда боцман попытался оторвать Николку от мортирки, Николка укусил его в руку. Боцман треснул Николку кулаком по голове, и Николке показалось, что бухта огнем вспыхнула.

— Тьфу, чтоб тебя!.. — выругался боцман и слизнул с руки кровь. — Пропади ты и со своей мортирою! Ночуй тут. Придут французы и в плен тебя возьмут. Шкуру спустят — будешь знать... Пойдем, хлопцы; шут с ним, с таким дураком!

Николка не хотел в плен к французам. Шкуры своей он тоже не хотел им отдавать. Обливаясь кровавым потом, он один перекатил тяжелую мортирку на Северную сторону. Докатив ее до Михайловской береговой батареи, он свалился там полумертвый от усталости и через минуту уже спал, не слыша ни воя ветра, ни страшного грохота взрывов.

Ночью на Николку набрел Елисей Белянкин. На Городской стороне пылала морская библиотека; огонь бежал по всей Екатерининской улице; как огромный погребальный факел, горел в Южной бухте подъемный кран. Отсветы пожара играли на лице у Николки, которое было все в разводах от грязи и копоти. Ресницы и брови были у него опалены порохом. Мальчик спал, и Елисей не стал его будить, а присел тут же, на камень у стенки батареи, и стал смотреть на бухту. Он заметил, что корабли, стоявшие еще вчера в Большой бухте, и в Южной, и в Корабельной, все теперь стали в один ряд посередине Большой бухты, между Северной пристанью и Павловским мыском. Первым в ряду от Северной пристани отчетливо вырисовывался на зареве двухпалубный восьмидесятичетырехпушечный корабль «Императрица Мария».

Елисей вынул трубку изо рта и прищурился. Да, «Императрица Мария»... А за нею — «Париж»... А там — «Чесма» с «Кулевчой»... Потом — «Храбрый», «Егудиил», «Константин»... Зачем они выстроились посередине рейда, словно на генерал-адмиральском смотре?

За грохотом взрывов на Городской стороне Елисею не слышно было, как стучали плотники на кораблях, как работали они там топорами, и долотами, и буравами... А потом корабли стали погружаться все разом, будто по сигналу.

Елисей вскочил, глянул на спящего Николку, точно ища у него ответа, и снова обернулся к кораблям. Они уже погрузились до половины... Потом до второй палубы... Верхняя палуба «Императрицы Марии» под водой!.. Одни мачты высятся, передняя мачта, на которой когда-то вольно реял флаг вице-адмирала Нахимова... Елисей закрыл глаза. Когда он спустя минуту опять глянул влево, лишь верхушки мачт виднелись над водой и через них перекатывались набегавшие волны. Елисей сел на свой камень, прислонился к стенке батареи и задремал.

Утро пришло серенькое, неприветное, без голубого неба и красного солнышка. У Елисея затекли ноги и ныло все тело. Когда он проснулся, около него стояла Марья с Мишуком. Всю ночь Марья и Мишук проискали Елисея в толпах людей, кото-

рые всё валили и валили на Северную сторону через пловучий мост.

Но вот уже и мост развели, оттянули все восемьдесят четыре плота к Северной стороне. И когда отчалили от Графской пристани последние баркасы, то не осталось в Севастополе ни души. Только огонь, да ветер, да бездомные собаки. Неприятель боялся мин и в Севастополь еще не вступал.

XLVI

Неодолимая

Юньев шел, увязая в гудах растрепанного фашинника, но скоро с товарищами своими выбрался на чистое место. Меркнул день, полный тревоги... Надвигалась ночь... ночь, когда защитники Севастополя сошли с бастионов и переправились на Северную сторону. Южная сторона была вся охвачена пламенем. Было светло, как днем.

От Графской пристани отчалили последние баркасы. Однако не успели они добраться до середины рейда, как из огненной стены, которою пристань была теперь отгорожена от Екатерининской площади, вырвался человек. Без шапки, в окровавленных лохмотьях, с опаленными волосами, но со штуцером на ремне, он в два прыжка очутился у балюстрады и, воздев кулаки, завился вьюном. Вслед за ним из огня выбежали еще трое или четверо тоже истерзанных вконец, и с ними французский солдат без кепи, и все они заметались, завопили...

— Братцы-ы, ребятаушки-и! Агу-у, га-а! — разобрали на отчалившем пять минут назад пароме, глубоко осевшем под тяжестью полусотни битюгов в запряжках и повозок с зарядными ящиками. — Братцы-ы, ой, о-ой!

На пароме, на одной повозке, взгромоздился на целую гору ящиков ездовой солдат. Он стоял, как одеревенелый, наблюдая поыхание пламени на Городской стороне и прислушиваясь к грохоту взрывов. Услышав крик на пристани, он встрепенулся, взгляделся, еще взгляделся, не веря своим глазам... И когда убедился, что это не как в сказке птица-феникс, о которой говорили, будто такая есть, живет в огне, что это не птица, а жив-человек из огня выскочил и за ним, за этим, еще — тоже люди, все мечутся и вопят...

— Иголкин Ильи-ич, ты ли, ай кто-о? — закричал тогда ездовой, скатываясь со своих ящиков вниз.

И тут же сразу услышал ответно:

— Ермолай Макары-ыч, дру-уг!

На глазах у ездового от парома тут же оторвалась шляпка

и понеслась к пристани, словно по воздуху, не по волнам. Ермолай Макарыч в себя прийти не успел, как Иголкин и поручик Юньев и еще два солдата и один матрос вместе с французом без кепи — все до одного были в шлюпке доставлены на паром. И пока грузный паром подбирался к Северной стороне, ездовой все ходил вокруг Иголкина и обтрагивал его и поглаживал, точно сисясь удостовериться, что это все-таки Иголкин, засевший вчера насмерть в Малаховой башне и уведенный, как уверяли, из башни в плен. Полсуток не прошло, а он, гляди, снова на воле жив-человек и в ус не дует, улыбается во весь свой рот до ушей.

Сомнений бытъ не могло. Это подлинно был неистребимый Иголкин, который в огне не горит и в воде не тонет.

Иголкин накануне как сказал, так и сделал.

Чуть засумерничало и спустились они в балочку — Юньев, Иголкин, еще трое русских пленных и с ними со всеми два конвойных солдата, — чуть залезли они все по тропочке в орешник, как Иголкин свистнул и, свистнув, не стал даже гукать, а просто стукнул в ухо одного из конвойных, того, который очутился у него под рукой. Румяный парень, сырой, как говядина, вылутился было на Иголкина, но сразу после затрецины получил от того же Иголкина подножку и удар кулаком в грудь. «Сырая говядина» выронила из рук свой штуцер, закатила глаза и опрокинулась в орешник, задрав штиблеты.

Другой конвойный, бывший землекоп из предместья Сент-Антуан, мгновенно сообразил, что более удобный случай вряд ли представится скоро. Солдат-линеец был уже не молод, ему осточертела бесцельная война на чужой земле, и он давно решил как-нибудь разделаться с этим, а там будь что будет. Увидев, как парень-говядина закатился вверх штиблетами, солдат сам сунул Юньеву в руки свой штуцер, сорвал с себя тесак и, отшвырнув его, сказал:

— Довольно, месье! С меня довольно! Не хочу. Доверьтесь мне, господин поручик, и мы будем спасены. А если что заметите — стреляйте мне в спину.

Он пошел вперед, и за ним следом двинулись Юньев и Иголкин со взведенными на штуцерах курками.

— Одно подозрительное движение с вашей стороны, — сказал француз Юньев, — и вы будете трупом.

— Слушаюсь, господин поручик, — отозвался, не оборачиваясь, француз. — Не беспокойтесь... не беспокойтесь, месье. А парень... пока он очнется, да пока вспомнит, да сообразит, мы уже тем временем будем далеко. Он ведь у нас бретонец, а бретонцы — они малость тугоумы. У них это есть. Да, месье...

Француз, все так же не оборачиваясь и не оглядываясь назад, стал со своими недавними пленниками петлять в ореш-

нике и привел их всех к пещере, где пустые жестянки из-под консервов валялись вперемешку с пустыми бутылками из-под рома.

— Будем молчать, — сказал француз. — Пусть каждый думает о своей матери, которая его ждет не дождется. Пусть тем временем совсем стемнеет.

Иголкин устроился у входа в пещеру со штуцером наизготовку. Бока у Иголкина ныли, в лопатках саднило, в локтях мозжило, живого места на Иголкине не было. А полная ночь — когда она еще наступит! Солнце где-то за синей тучей садится в море, спускаясь к горизонту цыплячьими шажками. Вот если бы можно было Иголкину да подтолкнуть красное солнышко прикладом штуцера! Катись, мол, шариком, поскорее закаты вайся, не надобно тебя. Так нет же, мешкает, сделает шаг — и оглянется... и оглянется...

От нечего делать Иголкин промурлыкал раза два «Домик по-над речкой, там кума живет» и стал затем знакомиться со своими невольными товарищами. Оказалось, что оба солдата, сидевшие с ним и в Малаховой башне, были, как и сам Иголкин, Иваны: Иван Трофимов и Иван Митарчук. Иваном оказался и матрос: Иван Мехоношин. Такое совпадение удивило Иголкина: в одной пещере четыре Ивана! Когда он обратился с этим к Юньеву, поручик приказал ему сидеть тихо, в рот воды набравши.

Иголкин подумал, что хорошо бы взаправду хоть каплю воды в рот, а то и во рту так, чорт его знает, словно пороху нажевался. Но в это время француз встал, бросил Юньеву несколько слов и пошел к выходу. И пустились они снова петлять за французом, где по тропинке, а где целиком, поминутно хоронясь, потому что ночь была светла: в облачном небе широко разлился розовый отсвет гигантского пожара, огненного моря, словно выступившего из берегов.

Они слышали рядом с собой, где-нибудь за купой деревьев, французскую речь, возгласы перебранки, бряцание и топот разводимых караулов, переключку часовых. Но всё только на минуту, потому что звуки эти, едва возникнув, покрывались оглушительными взрывами, которые доносились из Севастополя... из Севастополя, куда они рвались душой, но к которому надо было подбираться убийственно медленно, всё хоронясь и петляя, всё в обход и в обполз.

Подобрались они к Севастополю со стороны второго бастиона. Но на бастионе теперь не было ни людей, ни орудий. Не теряя времени, Юньев со своими четырьмя Иванами и передавшимся ему французом бросился в Корабельную слободку. Там тоже не было ни души, да и слободки теперь не было никакой. Чуть брезжило за Инкерманом... По всхолмленному месту, где

одни головешки и битый кирпич, стлался дым... На Павловском мысу, на батарее, язычки огня, плоские и заостренные, жадно облизывали штукатурку цоколя.

Вдали за Южной бухтой Юньев разглядел какую-то суматоху на Графской пристани. И, оставив уже ненужного ему француза, поручик повел свой отряд через Пересыпь на Городскую сторону и дальше, по Екатерининской улице, которая обозначалась теперь не домами и оградами, а двумя стенами огня.

Кто там суматошится на пристани? Свои или неприятель? Будь это неприятель, думал Юньев, его пикеты стояли бы теперь на каждом перекрестке. Но в городе — никого, ни своих, ни чужих, одни собаки воют на огонь, укрываясь где-то в развалинах, не рискуя выйти оттуда, чтобы увязаться за человеком. И, решив, что он еще застанет на пристани хотя бы последнюю полуроту арьергарда, Юньев припустил бегом по мостовой, а за ним след в след бежал Иголкин с остальными Иванами. Иголкин бежал и оглядывался, все ли Иваны налицо. Но все были налицо, беспокоиться теперь было не о чем. Правда, Иголкин не знает, что там будет дальше, но будет, что будет, и как поручик прикажет.

«Хорошее начальство — поручик Юньев Михаил Павлович», — подумал опять Иголкин и, оглянувшись еще раз, увидел, что француз поспевает позади всех, не отстает голенастый, четет как ни в чем не бывало.

Так добежали они до Екатерининской площади, где путь им преградила сплошная стена огня. Иголкин, не мешкая ни минуты, нисколько не раздумывая, с разбегу ринулся в огонь и продрался через него, как сквозь колючий кустарник. И перед Иголкиным сразу открылась Большая бухта с баркасами и паромами, а за бухтой — Северная сторона... А там, от Северной, все дороги вели в Большую Россию, где Иванов не счесть, где Рязань и Казань, и Уральские горы, и Балтийское море!

Это придало Иголкину силы. Обожженный, истерзанный, но несокрушимо живой, он вьюном завился на площадке пристани перед балюстрадой, потрясая кулаками.

— Братцы-ы, ребятушки-и! — вопил он, корчась от боли. — Ребятучки-и-и!

Ермолай Макарыч, ездовой солдат из артиллерийского обоза, первый услышал этот крик. А теперь Ермолай Макарыч был в полном восторге от новой неожиданной встречи с Иголкиным. Истинно молвил Иголкин Ильич еще год тому назад, за Кадыкочем, под самую под Балаклавой. «Гора, — сказал, — не сойдется с горой, а человек с человеком, глянь, и встретились».

Но и эта встреча была им, увы, ненадолго.

— Эх, время нету, — вздыхал Иголкин, поплеывая на свои ожоги. — Я бы тебе порассказал, браток!

И верно: времени для приятного разговора было в обрез. И начинать не стоило!

Паром зачалился за сваи у Михайловской батареи, и друзьям пришлось расстаться.

Ездовой погнал куда-то к Волоховой башне сгружать свои ящики. Юньев, уводя с собой француза, поплелся с ним разыскивать штаб. А все четыре Ивана, словно сговорившись, привалились к стенке батареи и заснули до пробудки. Елисей Белянкин, сидевший тут же, не обратил на них никакого внимания. Всякий делал теперь, что считал нужным: кто спал, кто бодрствовал; кто песни пел, кто слезы лил.

Скоро к Михайловской батарее подошла вся семья Спилиоти. Старый Христофор со своим костылем, Жора и Кирилл и Зоя... Они примостились подле Белянкиных на камнях и молча смотрели, как кончался Севастополь. И Даша подошла с Успенским, и Николкина мать прибрела откуда-то и, плача, стала гладить свалявшиеся волосы на голове у Николки. А Николка все спал, обхватив свою мортирку, которую обглядывали и ощупывали Жора с Мишуком.

Первым нарушил молчание Христофор Спилиоти.

— Умер, — сказал он, глядя на дым, который разостлался над Городской стороной белым покровом.

— Кто умер? — спросил Успенский.

Христофор не ответил, а только кивнул головою к Городской стороне.

— Севастополь умер? — сказал Успенский. — Не умер и не умрет. Жив будет, но уже другой. И другая теперь будет Россия.

— Какая другая? — спросил Елисей.

— Неодолимой была, неодолимой и останется, — сказал Успенский. — А жить, Елисей Кузьмич, станет хоть сколько-нибудь краше. Стыдное дело, чтобы человек у человека был рабом. Первое, не станет больше на Руси крепостных рабов. Десятка лет не пройдет...

— А разве это можно? — удивился Елисей.

— Можно, — ответил Успенский. — И не такое еще можно. Видишь, горит? — И Успенский показал пальцем на Корабельную сторону.

— Горит, — подтвердил Елисей. — Наша, Корабельная... Вишь, как полыхает! Уже на батарее занялось...

Широкая лента пламени вдоль верхнего карниза Павловской батареи была в непрерывном движении. Огонь, как ржавой пилой, вгрызался гигантскими зубцами в раскаленную кровлю.

— Да, — заметил Успенский. — Шибко пошло. Далеко, брат, видно при таком огне. Всю Россию видно: рабство, нище-

та, бездорожье, неправда... Все теперь, как на ладони, обозначилось. Пришла пора, переделается все...

А на Северной стороне, около Михайловской батареи, уже кишмя кишело. Солдаты, ополченцы, женщины с узлами, сбитенщики с самоварами... Два молодых матроса хлебнули где-то в харчевом балагане лишнюю чарку и шли обнявшись, напевая:

Моя головушка бездольная,
Забубенная хмельная...

Они остановились против Елисея и Успенского, улыбаясь, с затуманенными глазами, и затаили во весь голос:

Прощай, слободка Корабельная,
Да-эх, родимая сторона!

И пошли дальше, распевая и покачиваясь.

Николка проснулся. Мать купила ему крендель и кружку горячего сбитня, и Николка молча завтракал, не обращая внимания на Жору с Мишуком, которые прилипли к его мортирке. На груди у Николки тускло поблескивали крест и медаль.

Унтер-офицеры стали собирать свои рассеянные по всей Северной стороне части. То тут, то там раздавались выкрики:

— Которые Охотского полка — сюда!

— Селенгинские, сбивайся у Приморской батареи!

— Волынцы, к четвертой береговой!

— Тридцать третий флотский экипаж! — кричал боцман, тот самый, что прошедшей ночью грозился Николке и стукнул его кулаком по голове. — Тридцать третий экипаж! Сбор у Волоховой башни! Есть тут кто из тридцать третьего?

— Есть, дяденька! — отозвался Николка, который числился по тридцать третьему экипажу.

Николка мигом сунул за пазуху недоеденный крендель и вскочил на ноги. Боцман таращил глаза и на Николку и на мортирку и вдруг улыбнулся во весь свой большой рот с вышибленными передними зубами:

— Ох, и ловок же, чертенок! Припёр-таки мортиру. Ну, ва-ли к Волоховой... артиллерист!

И он пошел дальше берегом, выкрикивая:

— Тридцать третий экипаж! Тридцать третий! К Волоховой башне тридцать третий флотский!

Николка натужился и потащил за собой мортирку. Жора и Мишук тоже ухватились за лафетик, и все трое лихо покатали Николкино орудие в пролет между казармами и батареей.

— Славные ребята, — кивнул им вслед Успенский.

— Все они на Корабельной такие, — сказал Елисей, вставая с камня: — пальца им в рот не клади.

Встал и Успенский. Ему пора было к раненым, которые были

размещены теперь на Михайловской батарее. А Елисей пошел на почтовый двор. И пока он шел, его все томила и томила и за душу хватала песня:

Прощай, слободка Корабельная,
Родимая сторона...

Перед почтовым двором в дощатой палатке дверь была раскрыта. Там полно было офицеров, флотских и армейцев, и на улицу вырывались их звонкие голоса.

Несколько дней назад отъезжал отсюда в Киевскую губернию капитан второго ранга Лукашевич. И Елисей тогда выпил стакан вина за русский флаг... за русский флаг в Севастополе. И Лукашевич вспомнил Синоп... да, Синоп. И Марфа пела... О чем пела она? Кажется, о чем-то очень хорошем.

«И не прощай, а до свиданья,— стал припоминать Елисей,— мы встретимся в желанный час... Как же поется дальше? Опять забыл!»

Елисей обернулся. Вдали синела бухта, Севастополь был повит дымом... И смутно-смутно выступали сквозь черный дым желтые холмы Корабельной слободки.

— «Мы встретимся в желанный час, — повторял Елисей, стараясь припомнить, как дальше. — Мы встретимся...»

Но припомнить, как дальше, не успел. Из Симферополя пришла почта, и Елисей принялся за работу.



ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Счастливого плавания!	3
II. Дедушкина пропaja	8
III. Солдат-горемыка	16
IV. В открытом море	22
V. Турецкие капуданы	26
VI. Барабаны бьют тревогу	30
VII. Разговор с «Никитишной»	37
VIII. Птица-пигалица	42
IX. Лазарет	48
X. Возвращение	53
XI. Три товарища	58
XII. Чудесный ящик	62
XIII. Был в сражении при Синопе	65
XIV. Дорожные думы лекаря Успенского	68
XV. Письмо из Одессы	75
XVI. Снова с почтарской сумой	83
XVII. Дальше с почтарской сумой	88
XVIII. Дача Кортаца	93
XIX. Вторжение	99
XX. Матросик	107
XXI. День на Альме	115
XXII. Худые вести	128
XXIII. Трудная задача	138
XXIV. Корабли идут на дно	145
XXV. На походе	151
XXVI. Сабля капитана Стаматина	159
XXVII. Большая бомбардировка	166
XXVIII. Христофор Константинович	188
XXIX. В Севастополь и из Севастополя	200
XXX. Прощай, не рыдай!	208
XXXI. Записка, найденная в каске	211

XXXII. Яков Вдовин, человек вольный	223
XXXIII. В поход за бабушкой	232
XXXIV. Встреча в зарослях кизила	242
XXXV. Ночью в подполье	251
XXXVI. Встреча под старым кленом	260
XXXVII. Широкая масленица	269
XXXVIII. Николка объявился	276
XXXIX. Николка — артиллерист	289
XL. Хорошая партия	295
XLI. Бомбы — не пряники	304
XLII. Душа Севастополя	318
XLIII. Встреча с «Никитишной»	326
XLIV. Малахов курган	334
XLV. В крови и пламени	346
XLVI. Неодолимая	351

ДЛЯ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Д а в ы д о в З и н о в и й С а м о й л о в и ч

КОРАБЕЛЬНАЯ СЛОБОДКА

Ответственный редактор И. И. Прусаков.
Художественный редактор Н. И. Комарова.
Технический редактор Д. Ф. Пчёлкина.
Корректоры Е. Б. Кайрукштите и
А. В. Ясиновская.

Сдано в набор 27/IX 1954 г. Подписано к печати
20/XII 1954 г. Формат 60 × 92¹/₁₆ — 22,5 печ. л.
(21,71 уч.-изд. л.). Тираж 30 000 экз. А08630.
Заказ № 1125. Цена 7 р. 50 к. Детгиз. Москва.
М. Черкасский пер., 1.

Фабрика детской книги Детгиза. Москва,
Сушецкий вал, 49.

Цена 7 р. 50 к.

Зем. Добыгодъ ~ КОРАБЕЛЬНАЯ СЛОБОДАКА